

ISSN 0130-7673

# Н О В Ы Й М И Р

*N M I V R Y*

3

---

1995

3

Н О В Ы Й  
М И Р

1995

# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 3(839)

Март, 1995 г.

## УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“»

## СОДЕРЖАНИЕ

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — За поруганной поймой Мологи, стихи	3
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ — Мост Ватерлоо, рассказы	7
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА — Радости жизни, рассказ	27
ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ — Тихая комната, рассказ	45
МИХАИЛ КРЕПС — Чаши маленьким богам, стихи	55
АНАТОЛИЙ КИМ — Онлирия, роман. Окончание	59

## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ — До свиданья. До завтра. До следующей встречи, стихи. Перевела с польского Наталья Астафьева	113
ЗБИГНЕВ ХЕРБЕРТ — Дельфины и морские львы означают далекое плаванье, стихи. Перевел с польского Владимир Британишский	115

## ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ — Воскресшее слово. Главы из книги	118
---	-----

## ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Два провозвестника. Заметки	153
--	-----

## ВРЕМЕНА И НРАВЫ

МАРК КОСТРОВ — «Я хочу, чтоб вы знали мое мнение...»	177
Л. АЙЗЕРМАН — «Из таких крупинок складывается история...». Заметки учителя-словесника на полях школьных сочинений	192

## В МИРЕ ИСКУССТВА

АЛЕКСАНДР ТУМАНОВ — Она — и музыка, и слово. Об М. А. Олениной-д'Альгейм	205
--	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### ПО ХОДУ ДЕЛА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ — Ортодокс, или Новые пуритане 234

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 237

Леонид Юзефович. Оппозиционеры, но не карбонарии  
С. Ларин. Азеф в зеркале своих писем

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЛЕОНИД ТАГАНОВ — «Как дух наш горестный живуч...» 243

#### КОРОТКО О КНИГАХ:

Виктор Бердинских. — Д. К. Зеленин. Избранные труды:  
статьи по духовной культуре. ♦

В. Кургузова. — Гастон Башляр. Психоанализ огня 248

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 251

КНИЖНАЯ ПОЛКА 253

ПАМЯТИ ИГОРЯ ДЕДКОВА 255

SUMMARY 256

---

**Поздравляем  
БУЛАТА ОКУДЖАВУ  
с присуждением ему  
литературной премии Букера 1994 года**

---

**Дорогой Булат Шалвович!  
Желаем Вам здоровья, плодотворной творческой работы,  
хотим видеть Вас постоянным автором  
нашего журнала**

---

---

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

\*

## ЗА ПОРУГАННОЙ ПОЙМОЙ МОЛОГИ

\* \*  
\*

Месяц ромашек и щавеля  
возле озерной сурьмы.  
Словно на родине Авеля  
снова убитого мы.

Нового Авеля, легшего  
рядом неведомо где,  
кротко улыбку берегшего  
в русой с медком бороде.

Стадо с приросшею кожей  
к ребрам спасается тут.  
Лютые над бездорожием  
овод, слепень и паут.

Светлое небо порожнее.  
Слышатся окрик и кнут.  
С каждой минутой тревожнее  
по воскресениям тут.

Все в этой местности пьющие  
с каждым стаканом грубей.  
Кульги ветров загребущие  
да колокольни, встающие  
тихо из мертвых зыбей...

\* \*  
\*

Под кровавую воду ушедшие  
заливные покосы губернии.

В Сорской пустыни ждут сумасшедшие,  
что омоют их слезы дочерние.

И безумец глядит в зарешеченный  
лес в оконце ворот — и надеется

в заозерном краю заболоченном,  
что в застиранной робе согреется.

А другого, в траве прикорнувшего,  
ододело унынье досужее.

Настоящее жутче минувшего —  
думать так, земляки, малодушие.

Сердце ищет как утешения  
бескорыстно, непривередливо

пусть неправильного решения,  
только б верного и последнего!

Было ясно, теперь помрачение;  
и, блестя раменами, коленами,

иван-чая стоит ополчение  
в порыжевших доспехах под стенами.

### Старик

Собака похожа на злую лисичку,  
лениво лежит у крыльца на краю.  
Старик достает из кармана отмычку  
и нас приглашает в хибару свою.  
В окне оглушительно квохчут лягушки,  
сквозь тусклое небо видать далеко...  
Ты радостно пьешь из купеческой кружки  
со сгустками сливок живых молоко.  
Ты слишком доверчива!

Пахнет угрозой,  
и ласковый старец, хитер и небрит,  
к туманному зеркалу с выцветшей розой  
лицом повернувшись, за нами следит.

Трава шевелится на дикой дорожке,  
лиловые заросли тянутся к нам...  
И дождь размывает коровьи лепешки,  
подобные впрямь поминальным блинам.

\* \*  
\*

Окно — что аквариум с мутной  
зеленою толщей воды,  
где в залежь хвои беспробудной  
впечатаны белок следы.

Шиповнику белому надо  
держаться притом на плаву.  
И катятся гранулы града  
по кровельной жести в траву.

Надежна его баррикада  
по сада периметру — и  
шиповнику белому надо  
заглядывать в сенцы твои.

Сосед, повелитель ищейки,  
еще допотопный совок,  
в юродской своей тубетейке,  
ответил кивком на кивок,

но чудится скрытая фронда  
в приподнятом ватном плече;  
солдату незримого фронта,  
чье званье кончалось на ч,

лишенцу партийного сана, —  
что нужно теперь старику?  
Занюхал свои полстакана  
и, словно алмаз без ограна,  
ждет смерти на левом боку.

\* \*  
\*

За поруганной поймой Мологи  
надо брать с журавлями — правей.  
Но замешкался вдруг по дороге  
из варягов домой соловей  
и тоскует, забыв о ночлеге  
и колдуя, — пока не исчез  
над тропинкой из Вологды в греки  
полумесяца свежий надрез.

Расскажи нам о каменной львице  
на доспехе, надетом на храм,  
о просфоре, хранимой в божнице,  
как проводит борей рукавицей  
по покорной копны волосам.

Но спеши, ибо скоро над топью  
беззащитно разденется лес  
и отделятся первые хлопья  
от заранее всклубленных небес.  
Но еще и до хроник ненастных  
по садам не осталось сейчас  
георгинов в подпалинах красных,  
ослеплявших величием нас.

### Нищие в электричке

В новорожденной пижме откосы  
и в отбросах, как после крушенья.  
Только-только рябины над ними  
начинается плодоношенья.

У московского хмурого люда  
побуревшие за лето лица,  
лбы и щеки в досрочных морщинах,  
но вздохнешь — начинают коситься.

В электричке открытые двери  
и в глубоких порезах сиденья.  
Входит тетка с двумя пацанами  
и заводит свои песнопенья.

То ли беженцы, то ли пропойцы,  
побираться решилось семейство,  
кто бы ни были, но понимаешь:  
не подать им две сотни — злодейство.

...Это голос сыновний, дочерний  
говорит в нас, сказителей баек,  
блудных детях срединных губерний,  
разом тружениц и попрошайек.

\* \*  
\*

От посадских высот — до двора,  
где к веревкам белье примерзает  
и кленового праха гора,  
наступает такая пора,  
за границей какой не бывает.

В эти зябкие утра слышней  
с колоколен зазывные звоны  
и с железнодорожных путей  
лязг, когда расцепляют вагоны.

Из источника лаврского тут  
богомольцы в кирзе и ватине  
с кротким тщанием пьют  
и — идут  
приложиться к святыне.

Над жнивьем радонежских лугов  
и оврагов обвал облаков.

А еще за четыре версты  
скит — ковчег богомольных усилий.  
Это там — и над ними кресты  
потемнели, крепки и просты, —  
спят рабы Константин и Василий.

\* \*  
\*

Поплавки рубиновой лампады  
и зеленой — с корнем из пеньки,  
словно это визави посада  
бакенов маячат огоньки,  
медленно сносимые теченьем...

В том же с ними праздничном ряду  
ленты заполярного свеченья  
и рубцы на соловецком льду.



---

---

Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ

\*

## МОСТ ВАТЕРЛОО

*Рассказы*

### ВАСЕНЬКИ

**В** общем, это была не семья, а целая слобода.

Считаем: сама Антонина, то есть Тося, баба Тося, теперь уже без мужа дяди Володи, который в положенное судьбой время убрался с водяной в анамнезе, ходил так года три, высокий и пузатый, как министр, а Тося, вынося свой душевный груз на улицу, на дворовую скамейку, говорила все о больницах и о том, как «самому» спускают воду там, в шестьдесят седьмой.

Тося все сносила на улицу и командовала целой скамейкой бабок своего подъезда, в случае чего заводила дикий крик, ясный и страшный по содержанию, от чего леденело все живое, ибо про каждого кое-что знала и еще добавляла, кто с кем живет, кто кого с кем прижил (дочь с отцом, сестра с братом) и что мачеха выгнала пасынка с беременной женой, родной отец ни слова; далее, что у директора школы старуха мать курит и ее внук шести лет курит и приучает Тосиногу внука Генерала пяти лет, а корнеевская дочка гуляет, не ждет своего из тюрьмы, ох, он и придет и т. д.

До Генерала мы еще не добрались, поскольку у Тоси своих детей было девять штук, причем, когда пузатый министр, ее муж, был еще не пузатым и ушел на фронт, она проводила его с пятью, а встретила через четыре-то года с шестью, младший Васька путался в ногах, учился ходить, что ли.

Короче, муж вселился обратно в свою семью, где старший сын Сережка уже в свои десять лет ходил в третий класс, остальные девки кто во что горазд, младшие шастали в заводской детсад, да еще Васька ползал, плод материнской страсти или результат изнасилования, мало ли: Тося никому ничего не говорила, однако скамейки знали, что Васька не батькин сын.

Затем посыпались еще девки, и последняя оказалась Мариночка, любимая дочка, поскребыш, переросшая впоследствии в мать отсталого в развитии сына, которого она также родила без мужа, как ее мать родила Ваську.

Короче: мать, Антонина, с кем-то спуталась (или ее, как говорят бабы, ночью в стретили, это бывало после второй смены), и к приходу мужа с войны был готов этот Васька.

Далее: третья по счету дочь, Галька, принесла в подоле сына Мишку, и, наконец, последняя, Мариночка, ничего никому не сказав, вдруг на глазах полезла, как тесто через край, через свои юбочки и платица, через самое себя, ходила с задраным впереди подолом — и Тося, образно говоря, почернела от горя (то есть побелела от горя, она белела в тяжелые времена, бывают такие женщины) и все кричала внизу во дворе про других страшные вещи, и нате: родился тоже Васька.

Маленького Ваську называли так в честь старшего Васьки, которого в те поры уже не было в семье, и след простыл, так что уже много лет мать ездила к нему на могилку, то с рассадой, то с банкой краски серебрянки, красить ограду, за оградкой лежали у нее старая мать, затем Министр, ус-



покоившийся навеки после десятой водянки, и Васенька, которого в шестнадцать лет вынули из-под грузовика, но шофера оправдал судмедэксперт, который обнаружил на теле у Васеньки одиннадцать ножевых ран, и к тому моменту, когда грузовик тронулся и аккуратно переехал подложенного под задние колеса Тосиново ребенка, дело было уже сделано и Васенька не дышал.

Говорили, что шофер выбежал посмотреть, через что перевалили задние колеса и так сильно трянуло, и что он как ненормальный всем твердил, что этот сам бросился под задние колеса: хотя непонятно как.

Васенька при жизни был высокий уже в двенадцать лет, широколобый, кудрявый, и уже в двенадцать лет он перестал учиться и приходить домой, туда, где его ждал его пузатый батя с готовым ремнем за все дела, а Васенька, наоборот, начал ходить куда его звали, а звали его в основном студенты Университета имени Патриса Лумумбы в свое общежитие, давали ему выпить и покурить и укладывали спать в свои мужские постели, иностранные студенты стран Азии и Африки, и Васенька так там и прижился, бродил из комнаты в комнату и поворовывал поесть и где чего подвернется, и его наконец поймали коменданты и сдали в руки милиции, а оттуда он попал куда-то в колонию для малолетних преступников, куда же еще.

Куда же еще девать изнасилованных, испорченных детей.

Мать Тося возила ему бедные передачи, он просил курева и каких-нибудь конфет, она наскребала деньжонок, устроилась ночным сторожем в гараж, не спала ни днем, ни теперь ночью.

Там, в колонии, он вскоре стал известен как объект любви, бабки на скамейках туманно об этом говорили, используя оборот «там узнали, каку ему статью дали», а шел мальчик как раз по двум статьям, воровство и мужеложство.

И Васенька улучил момент и сбежал, мать в его оправдание говорила на скамейке, что его там избивали по ночам, каждую ночь, ему было уже пятнадцать, но домой он не явился, мать опять таскалась вся белая по подвалам со здоровой идеей вернуть сына к месту отсидки, а в шестнадцать его уже нашли под грузовиком с одиннадцатью ножевыми ранами, поработал какой-то маньяк, к которому Васенька, возможно, сам пошел в лапы, раз некуда было деваться: дело происходило в морозы.

Тося-то утверждала, что там не один маньяк поработал, раны были разные, целая шайка, один бы не справился, принесли и положили под колеса, но мало ли что Тося кричала во дворе своим глухим подругам, следовательно закрыл дело, объяснив, что оно повисло, «висяк».

И потом, много лет спустя, когда все слезы были выплаканы, а восемнадцатилетняя Мариночка, единственная из всех детей похожая на Васеньку (тот же лоб, зеленые глаза, так же всегда смеется), Мариночка вдруг быстро разбухла и пошла рожать без мужа через год после школы, вот тогда Тося решила: пусть ребенок будет Васенькой.

К приходу нового Васеньки в семейном гнезде произошли уже большие дела, вышеупомянутая дочь Галька, родившая когда-то тоже без мужа сына Мишку (Мишка этот-то как раз в ответ на вопросы бабулек во дворе, а где же его папка, отвечал еще в детстве известной фразой «мой отец подох»), — так вот, эта Галька у себя на «Буревестнике» нашла туберкулезного Толю, и они, оба маленькие, пузатые, как бочонки, произвели на свет Генерала, и бабка Тося, успокоенная на старости лет хотя бы этим, что все приходит, что дочь обосновалась и вышла замуж, пусть за Толю, пусть привела туберкулезника в дом и прописала, с намерением дальше получить отдельную квартиру, пусть он пьет и сволочь, но Галька вышла замуж (скамейка во дворе заткнулась, когда свадьба вывалилась во двор с гармонисткой и пьяными бабами в мужских костюмах, одна была с морковкой в ширинке).

В честь этого бабка Тося держала Генерала, маленького и крепкого, как бочонок, на подушке у себя на кровати, и он сидел, выставив тугое брюшко, вылитый генерал.

Это было первое желанное дитя в семействе, старшие давно отпочковались, и уже имелись внуки, бабка Тося их не различала по именам, а тут собственный Генерал сидит на подушке и тянет ногу в рот, а старший, Мишка, наоборот, выгнан из материной комнаты отчимом, и, памятуя прошлые драмы, Тося взяла бездомного Мишку и поселила в углу у себя на кресле-кровати, так что в трехкомнатной квартире оказалось в наличии всего два внука: Мишка и Генерал.

И все было бы уже хорошо, в одной комнате баба Тося с Генералом и одичалым с детства Мишкой, в другой комнате живот к животу Галька с туберкулезником, а в третьей, маленькой, тихо живет, песни поет пионерка и комсомолка Мариночка, любимое дитя.

Ан нет, Мариночка опять-таки родила неизвестно от кого, назвали Васенькой, родня подарила деньги, Мариночка в восемнадцать лет накупила всего: полированный шкаф, сервант, детскую кроватку и себе диван-кровать, затем положила в кроватку свою ношу, пеленала, кормила, шила, пела песенки, вязала, а потом вышла опять на работу, оставив ребеночка бабе Тосе, то есть Мишке и Генералу.

Васенька так и рос при них и неожиданно к пяти годам вырос без единого слова: то ли его старшие внуки затюкали, забили, то ли мать отравила своими горькими мыслями, когда он сидел в ее утробе, мало ли.

Мариночка поздно опомнилась, бабка Антонина считала, что до трех дети не должны разговаривать вообще, а потом кто как, и к врачу не обращались.

Насобачился кивать или головой мотать — и хорошо.

Марина добилась консультации у специалистов, те сказали, что ребенок может говорить, но не говорит: такой вид заикания.

Мариночка побегала и устроила своего Васеньку в специальный детский сад при психбольнице, и Васенька приходил домой только на субботу-воскресенье, ничего не требовал и молчал, как бы учтя опыт предыдущих сгинувших поколений детей.

Однако как-то все в очередной раз рассосалось, Толе как туберкулезнику все-таки дали квартиру, они уехали, прихватив с собой своего бандитского Генерала, а Мишка без слова ушел в армию охранять северные рубежи, от него и писем не приходило, и тут Васенька немного отошел, оттаял и стал, запинаясь, говорить, даже правильно говорить, выученный логопедами, торжественно и медленно, как диктор. И он даже пошел не в тихую спецшколу для дураков, а в обыкновенную хулиганскую дворовую школу, где дым стоял коромыслом и дрались на всех переменах, били стекла и мочились так, что вся школа шибала сразу при входе чем-то кислым, — нянек сокращали в те тяжелые уже времена, денег у школы не было.

То, что тихий Васенька все-таки миновал спецшколу для отсталых разумом детей, это Марина постаралась, походила по министерствам здравоохранения и просвещения, но добилась своего, умная выросла, высокая, красивая молодая женщина, стройная и прекрасно сама себе шьет, одевается не хуже других, глаза зеленые, лоб широкий, рот тонкий, похожа на Грету Гарбо.

Есть, однако, маленький недостаток: стоит ей встретить бывших соседей, как она начинает рассказывать об отце Васеньки, гигантском миллионере, директоре авторемонта, у него своих детей пятеро, дом в два этажа в зеленой зоне, новая жена, но и Васю не забывает, и выхлопотал, чтоб ребенка взяли в нормальную школу, Марина ему так прямо и сказала: твой ребенок, ты отец, постарайся, никогда ничего у тебя не просила, ни денег, ничего, это прошу, ты отец.

Тут глаза ее, широко расставленные глаза под светлым, широким лбом Греты Гарбо, эти глаза ее загораются, и она повторяет, на все лады повторяет это святое слово «отец», которого и сама-то не знала, отец умер года через четыре после ее рождения.

А на скамейке глухие бабки давно говорят, что нет никакого директора, что Маринка сама плакала-переплакала во всех приемных и кабинетах, все сама.

Одна стояла, борясь за честь своего молчащего Васеньки, и победила хоть в этом.

## МОСТ ВАТЕРЛОО

Ее уже все называли кто «бабуля», кто «мамаша», в транспорте и на улице. В общем, она и была баба Оля для своих внуков, а дочь ее, взрослый географ в школе, полная, большая, все еще жила вместе с матерью, а муж дочери, ничтожный фотограф из ателье (неравный брак курортного происхождения), — муж этот то приходил, а то и не являлся.

Баба Оля сама жила без мужа давным-давно, он все уезжал в командировки, а затем вернулся, но не домой, плюнул, бросил все: имущество, костюмы, обувь и книги по кино; все осталось бабе Оле неизвестно зачем.

Они так и поникли вдвоем с дочерью и ничего не делали, чтобы вернуть ушельцу вещи, было больно куда-то звонить, кого-то искать и тем более с кем-то встречаться.

Папаша, видно, и сам не хотел, было, видимо, неудобно — счастливым молодоженом, имеющим маленького сына, являться за имуществом в квартиру, где гнездились его внуки и жена-бабушка.

Может быть, считала баба Оля, ТА его жена сказала: плюнь на все, что надо, утром купим.

Может быть, Она была богатая, в отличие от бабы Оли, которая привыкла к винегрету и постному маслу, ботинки покупала в ортопедической мастерской для бедных инвалидов, как бы детские, на шнурках и шире обычного: из-за шишек.

Облезлая была баба Оля, кроткий выпученный взгляд из-под очков, перья на головке, тучный стан, широкая нога.

Баба Оля была, однако, удивительно доброе существо, вечно о ком-то хлопотала, таскалась с сумками по всяким заплесневелым родственникам, шастала по больницам, даже могилки ездила приводить в порядок, причем одна.

Дочь ее географ в этом мамашу не поддерживала, хотя сама была готова расшибиться в лепешку для своих так называемых подруг, их кормила, их слушала, но не бабу Олю, отнюдь.

Короче, баба Оля легко улепетывала из дому, настряпав винегретов и нажарив дешевой рыбешки, а дочь-географ, малоподвижная, как многие семейные люди, зазывала подруг к себе, шло широкое обсуждение жизни с привлечением примеров из личной практики.

Муж географа обычно отсутствовал, этот муж из фотоателье привычно вел побочное существование при красном свете в фотолаборатории, и мало ли что у него там происходило, сама дочь-географ прошла когда-то через этот красный свет, вернувшись с курорта в обалделом виде, юная очкастая дылда с припухшими глазами и как будто замороженным ртом, а потом она и привела домой фотоработника (к тому же алиментщика и без жилья), к порядочной маме и тогда еще папе в их маленькую трехкомнатную профессорскую квартиру, дура.

Дело прошлое, много воды утекло, а баба Оля, оставшись и сама без ничего после ухода профессора, ни рабочего стажа, ни перспектив на пенсию и ни копейки в зубы, а также в проходной комнате (фотограф с географом быстро заняли изолированную после ухода отца, так называемый кабинет, раньше они с детьми жили в запроходной, теперь пошли на расширение, что способствует семейной жизни, а баба Оля как спала на диване в гостиной, так там и застряла), — она теперь по своей новой профессии много топала и шлепала по лужам, будучи страховым агентом, колотилась у чужих дверей, просилась внутрь, оформляла на кухнях страхо-

вые полисы, вечно с пухлым портфелем, добрая, нос потный, зоб как у гуся-матери.

Некрасивая, болтливая, преданная, вызывающая у посторонних людей полное доверие и дружелюбие (но не у своей дочери, которая ни в грош не ставила мать и полностью оправдывала ушедшего папу) — такова была баба Оля и совсем не жила для себя, забывая голову чужими делами и попутно тут же при знакомстве рассказывая свою историю блестящей певицы из консерватории, которая вышла замуж и уехала с мужем по его распределению в заповедник тмутаракань, он там делал диссертацию, а она родила и т. д., в доказательство чего баба Оля даже исполняла фразу из романса «Мой голос для тебя и ласковый и томный», хохоча вместе с изумленными слушателями, которые не ожидали такого эффекта, поскольку в буфете начинали звенеть стаканы, а с подоконника срывались голуби.

Дочь-то, разумеется, а также и внуки не выносили бабы Олина пения, поскольку из бабы Оли в консерватории росли оперную, а не комнатную певицу, причем редкого тембра драматическое сопрано.

Однако и на старуху бывает проруха, и в данном случае баба Оля как-то не выдержала бремени и хлопот от бесплодных звонков по чужим подворотням и вдруг заваялась в кино лично для себя: там тепло, буфет, картина иностранная и, что интересно, множество сверстниц у входа, таких же теток с сумками.

Какой-то как бы шабаш творился у дверей маленького кинотеатра, и баба Оля, кривя душой и уговаривая себя хоть немного отдохнуть, потопала неудержимо, влекомая странными чувствами, к кассе, купила себе билет и вошла в чужое тепло фойе.

У буфета толпились люди, была и молодежь парочками, и баба Оля тоже взяла себе какой-то сомнительной сладкой водички, бутерброд и якобы пирожное за бешеные деньги, гулять так гулять, а затем, утершись клетчатый платком мужа, в непонятном волнении она вместе с толпой вошла в зал, села, сняла с себя меховую кубанку на резиночке, шарф, расстегнула зимнее обдерганное пальто, когда-то шикарное, — синий габардин и чернобурка, в зеркало лучше не смотреться, — и тут погас свет и возник рай.

Баба Оля увидела на экране все свои мечты, себя молоденькую, тоненькую, как тростинка в заповеднике, с чистым личиком, а также увидела своего мужа, каким он должен быть, и ту жизнь, которую она почему-то не прожила.

Жизнь была полна любви, героиня умирала, как мы все умрем, в бедности и болезнях, но по дороге был вальс при свечах.

В конце баба Оля плакала, и все вокруг сморкались, и потом, еле перебирая ногами, баба Оля отправилась снова собирать дань, как трудовая пчела, опять поцеловала две запертых двери и, сломавшись на профессиональном поприще, поползла домой.

Автобус со слезящимися стеклами, парное метро, одна остановка пешком, третий этаж, густой домашний запах, детские голосишки в кухне, родное, любимое, знакомое — стоп.

И вдруг баба Оля как наяву увидела перед собой полное нежности и заботы лицо Роберта Тейлора.

Назавтра она опять мчалась в тот район пораньше с утра, застала клиентов на дому, собрала с них деньги, завязала еще несколько знакомств на кухнях в тех же коммуналках, приглашая людей выгодно застраховать жизнь и еще по дороге в качестве приза получить компенсацию за все ушибы, переломы и операции, что самое заманчивое, и люди охотно ее слушали, задумывались о судьбе, дело продвигалось, и затем баба Оля опрометью кинулась в знакомый кинотеатр на утренний сеанс.

Там, однако, шел уже другой фильм, детский.

Тем не менее у кассы баба Оля застала одно полузнакомое лицо, вчерашнюю бабульку в каракулевой папахе, еще довольно молодую, бабулька тоже прилетела в этот кинотеатр с утра пораньше и теперь, обездоленная,

спрашивала, где висит киноафиша, явно чтобы пробраться в другую киношку, где демонстрируется любимая картина.

Баба Оля насторожила ушки, переспросила, поняла суть вопроса и на завтра — только на завтра — в одиночестве засеменяла на свидание с любимым и опять вернулась в тот волшебный мир своей другой жизни.

При этом она уже меньше стеснялась других бабулек, и в том числе себя, и на выходе видела счастливые заплаканные лица и сама утиралась большим мужским носовым платком, оставшимся ей на память, как осталось ей на память мужское шерстяное белье, так называемое егерское белье, и она поддевала это белье в морозы, а также и кальсоны на ночь, а дочь носила в школу папины клетчатые рубашки под сарафан: надо жить!

«О Господи, — думала честная и чистая, как горный хрусталь, баба Оля, — что со мной, какое-то наваждение. И главное, эти старухи бегают с сеанса на сеанс, кошмар...»

Сама она себя старухой не чувствовала, у нее еще многое было впереди, мало ли: бабу Олю ценили на работе, уважали клиенты, она содержала теперь семью и даже купила детям аквариум и ездила с ними на Птичий рынок за рыбками, надеясь забыть ТО, главное (баба Оля умела управлять своими страстями, умела жертвовать собой, в тмутаракани например).

Однако ни фи́га не вышло, говорила себе баба Оля после очередного посещения клиентов на дому: о чем бы ни говорили, она обязательно снова и снова вворачивала любимое имя, Роберт, название фильма («Мост Ватерлоо») и подробности жизни актеров.

Люди пытались рассказывать ей о своем, а баба Оля опять упоминала, допустим, позавчерашний сеанс и в каком кинотеатре дальше пойдет картина.

Она уже сама чувствовала, что скатывается куда-то вниз, особенно в глазах клиентов, что она уже не так прилежно внимает всем этим историям, не так заинтересованно, как раньше, обсуждает их квартирные интриги, суды, измены, планы, а что она уже слушает все это как бы машинально, кивая и хлюпая носом в поисках носового платка, но что сквозь всю эту дребедень, накипь, пену жизни просвечивает то, главное: муки ЕГО. И, попутно, муки ЕЕ.

И наконец баба Оля окончательно определилась в жизни.

Она плюнула на все условности.

И главной своей задачей баба Оля почитала теперь не страхование и не сбор взносов, а внушение погруженным в персть земную клиентам, именно что внушение мысли, что есть иная жизнь, другая, неземная, высшая, сеансы, допустим, девятнадцать и двадцать один, кинотеатр «Экран жизни», Садово-Каретная.

Глаза ее при этом сияли сквозь толстые очки.

Зачем и почему она это делает, баба Оля не знала, но ей было необходимо теперь нести людям счастье, новое счастье, нужно было вербовать еще и еще сторонников «Робика», и она испытывала к редким новобранцам (новобранкам) нежность матери — но, с другой стороны, и строгость матери, была их проводником в том мире и охранителем от них правил и традиций. У нее уже имелась толстая тетрадка с переписанными из газет статьями о Роберте Тейлоре и Вивьен Ли.

Там же были вклеены портреты и кадры из фильма, тут поработал никуда не годный зять под красным фонарем в своей сомнительной фотолаборатории: с паршивой овцы!

Худо было то, что орды теток и бабок слетались на священнодействия, это уже был какой-то содом и гоморра, рыдания, истерики, ходили по рукам поэмы.

Был установлен день рождения «Робика», и они отмечали это свое рождение в фойе кинотеатров, пили кагор и беленькую, шумели перед сеансом, а баба Оля, как строгий жрец, праздновала одна дома на кухне.

Встречаясь, они рассказывали друг другу, как было, баба Оля же не допускала до себя эти их пустяки, хранила свою тайну, но в тиши ночей сама писала стихи и потом неудержимо поверяла их своим клиентам, выбрав момент.

Не бабулькам же декламировать, им прочтешь, они тут же читают тебе в отместку доморощенные глупости типа «И много девушек так сладко перешупал», тьфу!

Баба Оля проборматывала свои возвышенные стихи особо избранным клиенткам, торопилась, шмурыгала носом, очки заплывали слезой.

Слушатели маялись, глядели в сторону, как тогда, когда она, расчувствовавшись, пела в полную мощь, и баба Оля понимала всю неловкость своего положения, но ничего не могла с собой поделать.

Где, когда и как постигает человека страсть, он не замечает и затем не способен себя контролировать, судить, вникать в последствия, а радостно подчиняется, наконец найдя свой путь, каким бы он ни был.

— Это безобидно, — твердила себе баба Оля, счастливо засыпая, — я умная женщина, а это никого не касается, это, наконец, только мое дело.

И она вплывала в сновидения, где один раз даже проехала с Робертом Тейлором на открытой машине, оба они сидели на заднем сиденье, больше в ЛАНДО никого не было, даже шофера, и ОН полуобнимал плечи бабы Оли и преданно сидел рядом.

Вот кому расскажешь такое!

Однажды только был позорный момент, потому что не шляйся ночами! (как сказала дочь-географ).

Баба Оля шла развинченной походкой после сеанса где-то у черта на куличках, чуть ли не у Заставы Ильича — охота пуще неволи, — и ее обогнал молодой мужчина, высокий, полный, в шапке-ушанке с опущенными ушами (а баба Оля шла по-молодому, кубанка набекрень, и чуть ли не пела в мороз, напевала «Растворил я окно»), и этот молодой человек на ходу, обогнав бабу Олю, заметил:

— Какая у вас маленькая нога!

— Шшто? — переспросила баба Оля.

Он приостановился и задал вопрос:

— Размер ноги какой?

— Тридцать девять, — удивленно ответила баба Оля.

— Маленькая, — печально откликнулся молодой человек, и тут баба Оля ринулась мимо него домой, домой, к трамваю, хлопая портфелем.

Но затем, ночью, уже по трезвом размышлении, жалкий и больной вид молодого человека, его шаркающие подошвы, небритый, запущенный облик и тем более темные усики смутили бедную бабу Олю: кто это был?

Она пыталась сочинять о нем известные истории типа мама умерла, нервное потрясение, уволился, сестра с семьей не заботится и гонит и так далее, но что-то тут не совпадало.

Баба Оля, несмотря на упреждающие крики дочери, следующим вечером опять поехала на фильм туда же, на тот же сеанс.

И она начала понимать, посмотрев еще раз на Тейлора, кто встретился ей на темной улице после кино, кто это шел больной и запущенный, тоскующий, небритый, но с усиками.

И действительно, если подумать, кто еще мог таскаться искать свою любимую, когда о ней забыли в целом мире, кто мог бродить по такому месту, как Застава Ильича в 1954 году, какой бедный и больной призрак в маловатом пальто, брошенный всеми, бродил, чтобы явиться на мосту Ватерлоо самой последней душе, забытой всеми, брошенной, используемой как тряпка или половик, да еще и на буквально последнем шагу жизни, на отлете...

## УСТРОИТЬ ЖИЗНЬ

Жила молодая вдова, хотя и не очень молодая, тридцати трех лет и далее, и ее посещал один разведенный человек все эти годы, он был каким-то знакомым ее мужа и приходил всегда с намерением переночевать — он жил за городом, вот в чем дело.

Вдова, однако, не разрешала ему оставаться, то ли негде, то ли что, отнекивалась.

Он же жаловался на боли в коленях, на позднее время.

Он всегда приносил с собой бутылку вина, выпивал ее один, вдова тем временем укладывала ребенка спать, нарезала какой-то простой салат, что было под рукой, то ли варила яйцо вкрутую, короче, хлопотала, но не очень.

Он говорил длинные речи, блестя очками, дикий какой-то был человек, оригинальный, знал два языка, но работал по охране учреждения, то ли следил за отоплением, но все ночами.

Денег у него не было никаких, а был порядок: он ехал занимал у кого-нибудь малую сумму денег, затем, легкий и свободный, покупал свою бутылку и, будучи уже с бутылкой, здраво рассуждал, что везде он желанный гость, а тем более у вдовы друга, у которой свободная квартира.

Так он и делал и по-деловому ехал откуда ни возьмись со своей бутылкой и со своими здравыми мыслями о своей теперь ценности, в особенности для этой одинокой, для вдовы.

Вдова же дверь ему открывала, памятуя, что это был мужнин друг, и муж всегда считал, что вот Саня хороший человек, но в том-то и дело, что при жизни этого мужа Саня как-то редко появлялся на горизонте, в основном только на круглых мероприятиях типа свадеб, куда уже всех пускают, а на дни рождения и всякие праздники типа Нового года его уже точно не звали, не говоря о случайных посиделках и застольях, самом лучшим, что бывало в их жизни — разговоры до утра и так далее, взаимная помощь, общее лето в деревне, за чем потом шла дружба детей и детские праздники: бытие со своими радостями.

Во все эти дела Саня допускаем не был, ибо, несмотря на свой светлый разум математика и знание языков, он напивался по каждому случаю до безобразия и просто начинал громко орать всякую чушь, произносил громовые бессмысленные монологи, безостановочно кричал или пел песню Окуджавы «А что я сказал медсестре Марии», где, как известно, были слова «Ты знаешь, Мария, офицерские дочки на нас, на солдат, не глядят», и он это свое кредо выгоняемого пропевал бурно, хотя и без мелодии, кричал как ишак, пока мальчишки не брались за дело и действительно не выпроваживали его вниз по лестнице.

Он, видимо, и сам не знал, что с этим поделаться, так как сквозь выпадение памяти что-то, видимо, светило, какие-то жуткие воспоминания, и в дальнейшем этот Саня как бы исчез из поля зрения, на ком-то женился, привез жену из Сибири, сестру друга по студенческому общежитию, что ли, и она приехала под его крыло, молодая провинциальная барышня, тут же дали квартиру, правда в далеком научном городке, но все же под Москвой.

Родил ребенка, начал вроде бы новую жизнь как младший научный сотрудник, хозяин себе и своей семье, и все меньше о нем было слышно в столице, как вдруг — бац! звонит.

Звонит тем и этим, назойливо хочет поговорить, ладно, а потом или занимает деньги, или уже с бутылкой является в семейный дом, в теплое гнездо, где дети, бабки и кровати, — с бутылкой, как агрессор, но агрессор потому, что не хотят.

Если бы его хотели, звали, усаживали, уговаривали, он бы успокоился и, может быть, сказал бы что-нибудь путное, даже бы помолчал, даже бы заплакал над собой, поскольку ясно было, что жена его теперь тоже гонит,

кончилось его очарование высокого, стройного, очкастого жителя столицы и интеллигента, кончился его английский и немецкий, его университетское образование и университетский круг знакомых — она, простая периферийная молодая женщина с простой профессией учительницы, видимо, созрела, поняла весь ужас своего положения, простые бабы очень быстро все понимают, и она тоже начала гнать его.

И все надежды на поговорку типа «мой дом — моя крепость» рухнули, а ведь именно только это одно и остается человеку, дом и семья, дом и дети, дом свой, койка своя, ребенок свой!

Ребенок свой, и ничей другой, он слушает разинувши мокрый ротик, он покорно ест и ложится спать в кроватку, которую ты ему сделал, он обнимает перед сном, прижавшись как птичка, как рыбка, и любит именно своего папу.

Но тут жена присутствует как тигр и не позволяет пьяному отцу любить ребенка, вот закавыка, разлучает, орет, видимо, известную песню — денег не вносишь и т. д. Научилась у тещи орать, объясняет Саня, теща открыла ей путь-дорожку.

Вот тебе и жизнь.

И неудивительно, что Саня уезжал, и уезжал вон из своего городка, а куда — в столицу, и тут повторялась уже известная история с тем, что его и здесь никто не принимал.

Хорошо, он вообще увольняется с работы, уходит от жены, все, полный конец, уехал из городка и нашел себе работу в Москве, в теплом месте, дежурным при котельной.

Вот там и началась его та жизнь, к которой он был приспособлен и для которой, видимо, и был рожден, хотя родился в приличной семье строгих уставов и всегда был отличником в детстве.

Но разум и душа, заметим, — две разные вещи, и можно быть полным дураком, но с основательной, крепкой душой — и пожалуйста, все тебя будут уважать, и даже можешь стать главой нашего государства, как уже бывало.

Можно же родиться буквально гением, но с безосновательной, ветреной и пустяковой душой, и пропадешь буквально ни за грош, как это тоже уже неоднократно случалось с нашими гениями пера, кисти и гитары.

И вот Саня был как раз каким-то гением чего-то, но на работе его не приняли, не поняли, с работой он вечно лез не туда и не в те сроки, не по тем планам, не в масть руководителю, высовывался, ничего не понимая в раскладе, а потом и вообще махнул рукой, и исчезло его второе (после семьи) возможное спасение — завлечь кого-нибудь своей работой, дать понять хоть кому-нибудь о своей роли в этом мире, о пользе, о своем даре.

Нет, рухнуло и пропало, никто не увлекся, не помог, никому оказались не нужны его труды, у каждого было свое собственное маленькое дело, не нашлось сподвижника. Какой сподвижник у враля и крикуна может быть, спросим, а он-то кричал, возможно, и по делу, как в том случае с песней Окуджавы, намекал аккуратно, не в лоб: офицерские дочки на солдат не глядят.

А без сподвижника самый даже гений — пустяк.

У всех был хоть один да сторонник, у всех гениев, хоть брат, хоть мать, свой ангел-хранитель, хоть друг, кто верил, или любовница или вообще посторонняя старуха, которая пожалеет и пустит ночевать, но Саню не жалел никто.

И Саня нашел себя в обществе таких же нестройных, некрепких душ, работников по котельным, подвалам и больницам, слесарей, ремонтников и ночных дежурных.

Время их было темное, невидимое, не заметное никому, ночью все люди спят, а нелюди ходят, бродят, бегают насчет бутылки, собираются, пьют, кричат свои пустяковые слова, дерутся, даже умирают — там, внизу.



У всех у них все когда-то было и сгнуло, осталось только это — бутылка и друзья, и Саня тоже, бывало, не спит с ними, а потом почистится, помоеся под краном — и встал аккуратный, в очках, чисто выбритый, все они там в подвалах считают своим долгом бриться, бороды презирают, да с бородой никто и на работу в подвал не возьмет, видимо, считают, что раз не может бриться, то и вентиль, глядишь, не закрутит, и трубу не заткнет: может, наследие Петра Первого, недоверие к бороде посреди механики и циферблатов.

Саня брит, помыт, глаза сверкают от невольной влаги за линзами и звонит по своему ритуалу.

Скажем, звонит этой вдове, что приедет.

Она отнекивается. Все они отнекиваются, что делать.

Тогда он поступает следующим образом: звонит теперь уже в дверь.

Вдова открывает, а за ней маячат ее мать и ребенок.

Что же, дверь открыта, и Саня с порога провозглашает, что приехал на такси и нет ли такой-то суммы, точно до копейки.

Молодая вдова жметса, у нее и у самой ничего нет, с какой стати к ним да на такси, думает она, что за спешка, но старушка мать с готовностью начинает шарить по карманам, и хоть требуемой суммы не нашлось (Сане нужно ровно столько-то с финальным числом что-то сорок семь), но он все же деньги получил и чинно-благородно откланивается и бодро идет к лифту.

Далее возникает новое видение: Саня является через пятнадцать минут с бутылкой и тортом.

Вдова вся холодеет — Саня теперь остался на целый вечер, но зато старушка мать довольна и даже приятно возбуждена видом мужчины с тортом и бутылкой, какие-то у нее шевелятся радужные подозрения.

Старушка мама здесь не живет, у нее своя конура, и — о совпадение — у нее тоже какая-то такая же легкая душа, легкая, неустойчивая, крики и слезы по пустякам, добра и отходчива мгновенно, все отдаст и подарит, святая, явка в любое время к кому угодно, душа странницы.

Это только внешне она старушка-бабушка, а внутри там сидит вечный бродяжка, сумы переметные, все мое ношу с собой, все квитанции по уплате за газ-воду, к тому же глухая, глубинная тоска и одиночество, жажда света и тепла и ездит к дочери, как соберется.

А та в смятении, поскольку с годами старушка становится явно беспризорной, говорливой, с прокурорскими интонациями, что все ее бросили, с требованиями и проклятиями, а на самом деле ее надо покормить, обувь-одеть, помыть, обогреть, спать уложить, старый ребенок и полнейшая сиротка.

И жизнь уйдет только на это.

Итак, один дом, одна кухня, одна хозяйка с ребенком и две эти сироты, которые сидят и возбужденно ждут угощения.

Бабушка сияет, ее тоже не больно звали на праздники, она сама являлась, так сложилось — а праздники для нее, как для всех одиноких, это смысл жизни.

Далее: бутылка раскупорена умелыми руками Сани, яйца сварены, капуста нарезана, картошечка кипит в кастрюле, двое беглецов сверкают очками, только у Сани это близорукость, и у него крошечные за семью слоями стекла воспаленные глазки, а бабушка горит огромными очами, как филин, очки плюс четыре.

В фокусе у них стол под лампой, бедное хозяйство, которое им кажется королевским, тут же свет, тепло, посуда, их обслуживают, к ним относятся как к дорогим гостям, и уже бабушка заводит, как ей кажется, серьезный и даже судьбоносный разговор с Саней о том, не будет ли волноваться жена.

И оказывается, что Саня уже подал на развод!

На самом-то деле подала его жена, добилась суда и даже уплатила со своей стороны, но Сане не это важно.

Он начинает скрежетать что-то о роли женщины, что-то наболевшее, что надо расстреливать, когда в дом водят при ребенке, в то время как родной отец прописан и его уже не пускают.

Так что он даже уже и разведен.

А что? — явно мыслит бабушка, ей всегда нравились именно те дочкины знакомые, ни к селу ни к городу, которые хорошо, по-пустяковому вежливо обращались именно к ней, по старинке именно и прежде всего к мамаше — а так и принято у них, с уважением к старым, а также брить бороду, носить какой-нибудь галстук, несколько простейших правил, пока не розлито, — у дочки и такие случались гости, приведет какая-нибудь ее подруга друга, а у того руки трясутся и единственное в хозяйстве сваренное всмятку яйцо дрожит в руке, когда другая рука целится ложечкой, одно неосторожное движение — и летит все это хозяйство прямо на брюки, на застежку, белок с желтком, дочка никого не гонит и всех угощает, тоже возмутительный был случай, одно яйцо в доме и то пролили!

Однако Саня наливает всем поровну, и пока бабушка по-девичьи пригубливает, а хозяйка разрывается между почитать на ночь дочке, постирать ей бельишко на завтра и звонит телефон, тут — хоп! в бутылке уже на дне и уже Саня громовым голосом излагает бабушке свои последние приобретения в смысле информации — он эрудит, любит странные факты, он же гений, он страшно много читает и хочет теперь составить программу для составления кроссвордов, он знает, сколько платят за кроссворд, он страшно нуждается, но нужен и нужен компьютер, и есть планы: устроиться на ночную работу в вычислительный центр, там полно компьютеров.

Ура! — считает бабушка, и в ее сознании брезжит, что она сейчас устроит жизнь своей одинокой дочери, а ребенок кричит из комнаты, чтобы продолжали читать, и в результате бабушка возникает в прихожей, где дочь поникла над телефонной трубкой, и старушка восклицает, как ей кажется, по-матерински верно:

— Закругляйся, ты что, полчаса тут болтаешь, все ждут еды. Охилела совсем. Ребенок плачет, ты что.

А дочь не слышит, что говорит ей тот, который ей дорог, у них длинный, с замиранием сердец диалог по производственным проблемам, по чьей-то диссертации, не тема важна, а тон.

— Ты что, — возглашает бабушка, — на меня тут шипишь, пора есть! Картошка готова! Надо есть! Почитай ребенку, ему пора спать. Поздно уже, кончай болтать. Он уйдет.

С ударением на «он».

Завершается это тем, что Саня сидит и, наоборот, никак не хочет уходить, и «пусть он переночует!» — громко шепчет бабушка, которой тоже не хочется тащиться домой в стариковскую холодную конурку, и для Сани сооружена раскладушка на кухне, а бабушку ждет тахта, а хозяйка поспит на надувном матрасе, но Саня все разглагольствует и поглаживает больные колени и не хочет спать, ведь ночь — это его царство.

Тем не менее все уложены, погашен свет, как ручей журчит холодильник, по потолку веером расходятся редкие лучи от снегоборочных машин, блаженно спят изгнанники и бродяги, похрапывает дочка, у нее явно начинается простуда, опять сидеть с больным ребенком и не ходить на работу, надо оставлять дома бабушку, думает на полу хозяйка, это будет фейерверк на две недели, упреки, плач и примирения, а что делать?

А тем двум чудится, что все в порядке, они в теплом доме, им наконец нашлась мать и можно начать жить сначала, и все будет как у людей, чистота, семья, праздники, сплошные праздники, пироги на столе, кто-то все решит, и так будет, ни страха, ни одиночества, а хозяйка на полу слушает похрипывания ребенка и тоже думает о будущем, и слезы текут по вискам.

## ТЕЩА ЭДИПА

Некто, повинувшись зову судьбы, покупает дом в деревне, вернее, хочет купить, но незадача, ничего нет.

Этот некто, обремененный семьей бородатый молодой человек, простодушный, но влекомый страшной мыслью о детях, молоке, грибах и свежем воздухе, начинает буквально рыть землю и едет просто на поезде в места, которые ему случайно назвали как благодатные: это дремучая Россия, пять часов ночным поездом в выходные по морозу, тихий, теплый провинциальный вокзальный зал ожидания со спящими шеренгами в теплых же платках, шапках и ушанках и с двумя осторожно бродящими по рядам худыми собачками без дома и пищи, как и наш соискатель теплой избы, избы где-то там, за десятки километров пути на местном автобусе, который пойдет только через два часа, отсюда и зал ожидания, тут хотя бы тепло в пять утра.

Автобус-то затем приползает на место поиска, но ничего нашему слишком простому искателю не обломилось, а зато он познакомился в сельпо, ища пропитания, с местным молодым мужичком городского вида, который и привел его купить молока к теще, а затем и к себе в почти городскую квартиру обождать автобуса.

Он знакомится с мирной семьей, молодые ребята, она красавица, он синеглазый, бородатый и длинноволосый, как мученик с иконы.

Молодые говорят, что изба есть, полуброшенная изба, ибо хозяйка старуха Ойка взята дочерью на воспитание вон из деревни (40 км отсюда).

Взята так взята, как добраться до хозяев?

Но адреса этой тоже уже пенсионерки дочери пока нет.

Обещают найти.

Еще раз выходные, еще раз ночной поезд, мечты на короткой и узкой третьей полке общего вагона о земле, картошке, молоке и т. д. и как нам обустроить все это, качался-качался наш бородатик и прибыл снова туда же, в нетронутое сонное царство вокзального зала ожидания, только на сей раз оживленное групповым портретом в интерьере, восточной семьей, которая беспутно шатается взад-назад из дверей в двери в полшестого утра, впереди сам в усах, праздные руки в брюки, сзади то ли дочь, то ли жена на вид пятнадцати от силы лет, волокет два здоровенных чемоданчика, и к каждому приклеен и висит, еле перебирая ножками по полу, экземпляр, две папашиных репродукции, выпученные черные глазки, носики клювами, только без усов.

Вся четверка шествует важно, олицетворяя собой факт, что и сюда проникла волна цивилизации и не один бородатый искатель счастья бороздит местный океан, еще людишки приплыли, уже с югов, и то ли у них в чемоданах последнее, покидали и сбежали, то ли привезли товар на продажу: так начинается торговля, миграция, вавилон, так оживают города.

Затем искатель счастья едет туда, в поселок городского типа, берет наконец адресок, пьет чай со смородиновым вареньем и с разговорами, едет обратно на автобусе в город, добирается до цели и стучит в мирную дверь, обитую клеенкой, звонок еле тренькает.

Да, открывает дочь Ойки, милая, славная женщина в толстых вязаных белых носках, и возникает идиллическая картинка, опять чай со смородиной, только при еще одном украшении стола в виде нелепо улыбающейся сухой старушки, которая после угощения уселась в прихожей на подзеркальную тумбу, одной ножонкой (толстый белый носок) гребет по полу, другая протянута повдоль подзеркальника, и идеально чистая белая вязаная подошва глядит прямоком на возможного зрителя, если бы кто вошел в этот храм чистоты и пестрых ковриков (олени, индийские расцветки, бархатная синева с ядовито-зеленым, красно-желтое типа червонного золота, плюш, сервант со стекольным изобилием, бедность).

Бородач, однако, стесняется смотреть по сторонам и слышит, что да, изба есть, мама совсем плохая, никого не узнает.

— Ба! — взывает дочь, — знаешь, кто пришел?

Она смеется, и ба тоже, с силой помаргивая, охотно щерит пустой рот.

— Ба, к тебе избу пришли покупать! Покупатель!

Ба все еще щерится, подставив нижнюю губу корытом.

Внезапно она раздражается хитрой речью, усиленно моргая и смеясь:

— Дан та бонать ка бон вона ка да.

— Хочешь? — лукаво спрашивает довольная дочь.

— А как бона вон та бон та ну.

— Врач, — делится дочь с бородатым посетителем, — врач сказал, она шизофреник.

Странник-искатель рад, что добрался до корня дела, он пьет чай третий бокал, проводит пальцами по молодой буйной бороде, и когда хитроумная хозяйка уводит речь в сторону, он в ответ, как всегда в затруднении, начинает грызть любимые ногти.

Разговор идет такой:

— Я, — говорит дочь, — за ей слезу, а она встанет посреди да и наложит. На диван два раза наделала. А что, ест хорошо. Утром встанет: чего, ба, завтракать? Она понимает, смеется. Три раза в день кормлю. Моешь ее, у ей на животе складки, жирная, хорошая.

Дочь испытующе смотрит на соискателя избы, но тот грызет указательный палец, обрабатывая его, как белка орех.

Дело в том, что бородатик смущен, предыдущие знакомцы, молодая пара, порассказали ему о том, что баба Ойка последние два года шаталась без призора по деревне, лежала у людей под окнами, прося ее пустить, а собственная изба стояла нараспашку, без огня.

Иногда он и привозили бабе поесть, но она не ела, а готовила по-своему, смешивала с дерьмом и оставляла так вроде на посмешище, сама скакала расхристанная по огородам, выдирая у кого морковку, у кого обрывая огурцы с помидорами, и это дело очень не нравилось деревенским, кому оно нужно.

И, видимо, к дочери Ойки наезжали с попреками и просьбами убрать бабулю.

Теперь же дочь говорила с явным прицелом на бывших соседок, как ее мать хорошо живет: кому охота при полной деревне родни возбуждать общественное мнение!

Хочется быть в порядке, как все люди.

— А сей день она брякнулась с подзеркальника, а, ба, брякнулась?

Мать неопределенно улыбается, выставив нижнюю губу и застрявший в ней кончик языка.

— А, ба?

— Нна гнить ка анады дать.

— Шизофреник, — откликается дочь.

Затем идут переговоры, как ехать и куда и когда совместно оформлять покупку, и наш будущий владелец с обгрызенными перстами встает уже у дверей, чтобы держать путь обратно.

Но тут, отработав свое, приходит хозяин, Сам или Он, и хозяйка рассказывает ему, что вот, нашелся покупатель, Сам тоже стоит у дверей, маленький, большеголовый, с носом курносый, как у смерти, с крупными челюстями, огромным лбом и мощными надбровьями, под которыми глаз не видно.

Нечто фантастическое, думает покупатель, актер на фильмах ужасов, но ничего, благообразно слушает, кивает, порядочный человек, жена и трое детей да приютили тещу.

Даже что-то симпатичное, Феллини бы дорого дал за такую внешность, скромный, порядочный малорослый семьянин, да и жена маленькая, а бабулька просто стручок.

Семьянин серьезно кивает, отец и муж, зовут Слава, и тут вдруг из ванной комнаты раздается как бы грубое покашливание, еще один персонаж просится на волю.

Дочь выпускает из ванной белую небольшую свинку, чудо изящества, и выясняется, что свинка чистоплотна и не пачкает, где живет, то есть на полу в ванной, а просится и даже гадит только на полу прихожей и только в подставленную миску.

— Сосед шумел, что свинья живет, а я говорю, приходите да понюхайте. Я мою за ней! За этой мою и за енттой мою, две свинки-те у меня!

Старая свинка возбужденно хихикает, давая понять, что она здесь повесный член общества, затем снова усаживается на подзеркальник, выставив одну ногу пистолетом.

Хозяин удаляется на кухню, а хозяйка на прощанье рассказывает, что прошлый год свинка была у ей худая, борзовала, болела, борзовала, хотела гулять, и нынче взяли хряка, хряк кладеный, яички вынутые.

А на том еще году был хряк, вот умный, мяса его хозяйка не могла есть, все понимал, как человек, так что половину детям отослала и Само-го кормила, даже плакала, а сама не ела, такой был умный хряк!

А свинья здорово борзовала, из-под себя весь пол вытаскивала, лежит и головой не ворочает, зачем-то рассказывает хозяйка, температура у ней, я ей в тарелочке пить носила, марганцовки разведу и мажу ей писку.

Так выступая, хозяйка провозжает умного молодого хряка (это он уже про себя подумал), и тот вылезает на холод, чтобы ехать, опять тащится до автостанции и, дождавшись автобуса, посещает теперь уже своих почти друзей, которые дали ему адрес и обо всем договорились, та самая молодая пара.

Ну что, ну как, а Ойку видел?

Он рассказывает, а ему в свою очередь тоже сообщают то, чего раньше не говорили.

Оказывается, Ойка гуляющая была старушка (сейчас ей восемьдесят один) и лет с пятидесяти пяти спала со своим зятем, тем самым из фильма ужасов.

Молодой человек не может переварить информацию и снова принимается грызть пальцы.

А подошедшая вовремя бабушка семьи, добрая и пузатенькая, еле вползши на больных ножках, подхватывает, что Ойка и к сыну своему ложилась, и к внуку (Саш, подвинься) под одеяло, а он встал и ушел — но куда уйдешь, не к соседям же! — сидел всю ночь в разрушенном клубе, родители были в городе.

— Они все и уехали-те, — говорит бабушка в заключение смеясь, — кто куда.

Далее бабушка подчеркивает:

— Ихова изба получше нашей, тама ничего не изгнило. А дочь Ойки-на теперя бабку-ту взяла, бабка по шизофрении большую пенсию получает, выхлопотали первую группу, да она и так хорошо огребала. Теперя и дом продали. Тоже деньги большие. Солить, что ли.

— Да, — откликается бородастик, — но за ней надо убирать.

— Это ладно, — поправляет его бабка, — она караулит, чтобы у их опять с зятем не началось. Потому она ее не брала к себе и туда не ездила. Поверишь (она уже с приезжим на «ты»), поверишь, Ойка тогда идет по деревне, а они едут из города ей навстречу, она его видит, кричит, вот Слава, мой муж, идет. А последнее время вообще — бежит в поле, ложится, поет: «Ой, мамынька, ой, возьми меня к себе», так-то поет, плачет. Слушать не было возможности.

Молодой человек выходит на мороз, ждет автобуса, садится и едет в город на станцию, все представляя себе этот дом, где они будут жить, брошенный дом, в котором так борзовала старуха, что лишилась разума, чтобы уже больше ничего не помнить, весело улыбаться, просто и чисто жить

среди плюшевых ковров в роскоши, и кофта у ней зашита на месте пуговиц, чтобы бабка не заголялась, дочь старается.

Дочь, видимо, полюблила свою мать и смотрит за ней, как за своей свинкой, думает нового хозяина.

Теперь у них все в порядке, размышляет он, все прощено, все как у других.

В конце-то концов, надо всем простить, такие дела, хотя для этого приходится ждать, пока человек не станет такой свинкой, что ли, думает умный отец (и сын, заметим) перед своей дальней дорогой. Перед дальней своей дорогой домой.

## НЮРА ПРЕКРАСНАЯ

Такой красивой, как эта Нюра в гробу, во-первых, она никогда не была при жизни — может быть, если представить себе выпускной бал и ее прежние шестнадцать лет, но печать трагедии на лице!

Люди смущенно толпились вокруг гроба, было чему смутиться — лежала совершенная спящая красавица, да еще печальная, юная, безнадежно больная, да что там, мертвая: во что не верилось.

Брови взлет, нежный припухший (как от слез, ведь она умирала семь дней) рот, Господи!

Но и имелось нечто другое, от чего люди мялись: это все была работа оператора с мертвыми, оператора в том смысле, что он (вроде бы), увидев ее, сказал, присвистнув (мысленно, видимо, присвистнув): оставьте нас одних.

Материал был божественный, хотя, повторяю, семь дней пыток после операции, полная неподвижность, слезы, боль, все это Нюра вынесла и умерла, исхудав как ребенок.

Так что гример-оператор со своей гробовой косметикой, видимо, создал произведение искусства, запомнившееся всем на оставшуюся жизнь.

Намерение заказчиков было не смущать публику видом страшного после страданий личика молодой Нюры, а смутили другим: как такое отдавать сырой земле?

Земля была действительно сырая в тот день, но дождик, слава тебе, Господи, не шел, а то бы растаяло творение классика-гримера.

Толпа взирала изумленно, смущенно, муж, совершенно потеряв голову, ополоумев, говорил что-то типа «вот лежит моя Нюра» и какую-то даже прощальную речь, что прощай, моя красавица, растерялся.

Мать Нюры выглядела просто раздавленной, никакой, полиняла в толпе, а статная, рослая была красавица тоже в свои пятьдесят лет, но истаяла, слезы растворили ее лицо, месиво было какое-то, а не лицо.

Муж с красным, она с известковым, серым, а Нюра в гробу нежно-загорелая, чтобы он провалился, этот оператор, с его ящиком красок.

Толпа была смущена еще и потому, что все хорошо знали, какой темно-обугленной пришла Нюра к своему концу, вроде загорелая после отпуска (только приехали с мужем с юга), однако же именно как головешка, тревожные, горящие, сухие глаза, сухой, спекшийся рот, тоска снесла эту молодую красавицу, тоска и печаль, ибо муж давно жил на стороне с подругой и уже был ребенок, а Нюра не смогла родить ребеночка и всюду ходила со своей собакой.

Кстати, после автокатастрофы, когда Нюру отвезли с развороченной спиной в больницу (удар пьяного водителя пришелся на заднее сиденье машины, где Нюра сидела с собакой), Нюра умерла, а песик, находившийся у нее на коленях под ее защитой, остался жив, и после похорон, во время поминок, его отнесли к соседям, он ничего не мог понять, искал и искал, видимо, сошел с ума. Его защитило бедное Нюрино тело.

Стало быть, Нюра ушла красавицей, которой она, возможно, никогда не видела себя, — спокойные брови взлет, так называемые «ласточкины

крылья», и горящие обидой черные глаза, навеки спрятанные под тяжелыми веками.

Все были еще смущены и потому, что тут явно прослеживался какой-то слишком уж простой, даже примитивный сюжет: ненужное, бросовое и лишнее, скандальное и плачущее погибло в муках, а спокойное, терпеливо ждущее с ребенком на руках живет и скоро свадьба.

В этом смысле гробовой художник как бы показал миру, какое сокровище ушло, да что толку-то, думали все с досадой.

А некоторые (видимо) мялись оттого, что подозревали нехорошие дела, что судьба способствовала мечтам небрачной пары, хотя именно о таком ужасном развороте событий, о развороченной спине, они никогда не думали даже в самых страшных снах, которые, как известно (страшные сны), являются именно мечтами, но вот вам пример: мечтали — получили, да еще вдостало больше.

Нет, нет, но да, да и еще раз да.

Слишком простой сюжет, слишком простой и ничего никому не давший, ничему не научивший, ибо никто, в мечтах разоряющийся на смерть ненужного человека, никто, повторим, ничему не научится, не содрогнется в ужасе над собой, жизнь идет вперед и вперед, и нет сомнений ни у кого, что мечты напрасны, мечтай сколько угодно.

Но ведь не напрасны эти мечты, в конце концов они так или иначе сбываются, как в случае с несчастной Нюрой, и Нюра не просто так умерла, по-видимому, раз ее печальный образ витает над разбежавшейся толпой, раскрашенное, обиженное лицо.

## МИЛЬГРОМ

Молодая девушка в первый раз в жизни сама шьет себе платье, куплено три метра дешевого, по рублю с чем-то метр, но удивительно красивого штапеля, черного с пестрыми кружочками, как какой-то ночной карнавал.

Девушка эта бедная студентка, это раз. Второе, что она только что вылупилась из школьной скорлупы в прямом смысле слова: на развалинах старого коричневого форменного платья сделана юбка, получилось коряво, криво и косо, но платье конец.

И не для весны такая юбка, на дворе стоит май тысяча девятьсот лохматого года, жаркая весна и нечего надеть.

Третье, что студенточка, пыхтя над страницей «Шьем сами» из женского журнала (объем груди, какая-то половина переда и т. д.), попыталась скроить себе платье и потерпела полный крах.

Пропало платье, труд и 3 р. с копейками денег, а стипендия 23 рубля.

Тут мама вступает в ход событий мощной поступью, мама всю жизнь шила все у портнихи, пока не настали тяжелые времена, девице восемнадцать лет и кончились алименты.

Портниха, таким образом, отпала, мама сама думает, что делать, но вот проблема: денег нет.

Денег нет, девушке восемнадцать, на дворе жаркий май, какие случаются раз в сто лет, экзамены, а дочь лежит буквально за шкафом (там у нее топчан) и плачет, скулит.

Мама звонит своей мудрой старшей подруге Регине, еврейской польке из племени московских (новых) жен Третьего Интернационала, весь этот Коммунистический Интернационал в тридцатых годах тайно сбежал из своих стран, из подполья, горами и морями в СССР, переженился в Москве, будучи в эмиграции, и затем ушел с лагерной пылью в небеса, а Регина, отбыв ссылку в Караганде, вернулась с победой, получила прежнюю квартиру на улице Горького, и мать студентки, тоже много повидавшая на веку, прилепилась к ней учиться уму-разуму как к бывшей подруге еще своей, в свою очередь, матери, которую тоже ждут из далеких мест в эту весну.

Регина всегда одевалась с варшавским шиком, у нее бывали кавалеры в ее шестьдесят, и она выслушивает растерявшуюся мамашу студентки с пониманием. У Регины есть постоянная помощница Рива Мильгром, Регина европейская дама, белые пухлые руки как у царицы, в доме жесткий порядок и приходит Мильгром.

Так ее зовут, Мильгром, по партийной привычке только фамилия.

Так вот, Мильгром имеет швейную машинку «Зингер», и девушка со свертком идет к Мильгром по жаре в рыжей шерстяной юбке известного происхождения (мама носила платье, выносила до желтых полумесяцев под мышками, дочь вынуждена была таскать это дело в школу, не имея возможности поднять руку, всегда локти по швам, муки ада, наконец верх с отпотевшими подмышками отрезан и выкинут, хотя мама возражала — может выйти жилетка, но ребенок помчался к мусоропроводу и выкинул, зато осталась корявая юбка, в чем и идем косо и криво по майской жаре).

Поверх юбки, чтобы скрыть неудачное место отреза, кое-как подшитое, — нитки не те, да и руки не из того места растут, — поверх юбки надета материна кофточка, тоже с темными подмышками, опять держи локти по швам.

Студентка идет как новобранец, опустив голову и наблюдая за своими зелеными зимними туфлями на толстой подошве, руки по швам, а кругом уже Патриаршие пруды, вернее, дома над прудом, пахнет нежной майской зеленью, мимо шмыгают молодые люди и идут гордые девушки в летних платьях.

Мильгром встречает заказчицу в своей комнатке где-то наверху, под палящими московскими небесами, где-то чуть ли не на чердаке, тихая Мильгром, большие влажные глаза, очень белая кожа и полное отсутствие зубов, нос висит, зато подбородок вперед, как кошелек, на вид Мильгром уже старуха.

Раскрыта швейная машинка, мелькает сантиметр, и тихая Мильгром начинает длинный рассказ (а сама записывает тот самый объем груди) о своем сыночке, о красавце Сашеньке.

Оказывается, Сашенька был такой красивый, что люди на улицах останавливались, и однажды даже фотографировали его для конфетной коробки.

Девушка видит на стене указанную перстом Мильгром фотокарточку, ничего особенного, маленький мальчик в матроске, большие черные глаза, тонкий изящный нос, верхняя губа выступает козырьком над нижней. Трогательный кудряш, но не более того. Губы тонковаты для ангелочка, рот у него мильгромовский.

В данное время у девушки не то что мыслей о ребенке, еще и друга-то нет, ухажера, кавалера, несмотря на солидные восемнадцать лет.

Все наука, наука, экзамены, библиотека, столовка, грубые зеленые туфли и коричневое шерстяное платье с вылинявшими мамиными подмышками, страх сказать.

Девушка равнодушно смотрит на стену и видит еще один портрет, увеличенную фотографию, видимо на паспорт, ибо с уголком, портрет теще-душного офицера в большущей фуражке.

Это он, Сашенька, уже вырос, пока обмеряли объемы талии, пока записывали и критически смотрели на порезанные вкривь и вкось куски материи за рубль двадцать, и Сашенька уже женился и есть внучка Ася Мильгром.

Далее старуха Мильгром успокаивает студентку, что не одна она такая корявая, что сама Мильгром тоже в молодости была неумеха, ничего не могла, ни яичницу, ни суп, ни пеленку подрубить, а потом научилась: жизнь научила.

На каком-то этапе длинного и хвастливого рассказа о Сашеньке надо уже уходить, а платье останется и будет дошито завтра.

Через три дня девушка, которая боится выйти на улицу в своем чудовищном наряде и не умеет ни хорошенько постирать, ни погладить. ни



пришить, полные слез глаза и лежание с книжкой, собирается наконец идти к Мильгром и говорит матери: иду к Мильгром.

— Она несчастная, — откликнется мать, — такая несчастная жизнь у нее, у Мильгром! Муж ее буквально бросил молодую, отобрал у нее ребенка, маленького ребеночка, и не разрешил с ним встречаться, то есть как бросил: он сначала взял Мильгром из буквально литовской деревни, она была необыкновенной красоты, шестнадцати лет, но по-русски не говорила, только по-еврейски и по-польски, а потом он развелся с ней, тогда было так можно, свобода, пошел и развелся. И он привел к себе в комнату другую женщину, а Мильгром сказал уходить, она и ушла. Ей было семнадцать лет. Мильгром чуть с ума не съехала, все дни и даже ночи проводила напротив на улице под своим бывшим окном, чтобы увидеть ребенка, а Регина ее нашла, Мильгром уже лежала на бульваре вся черная, Регина же выступала за всех угнетенных. Она устроила ее в больницу, потом взяла к себе домработницей, Мильгром спала у нее в коридоре. Потом, когда Регину арестовали, Мильгром пошла на швейную фабрику ученицей, заработала себе какие-то копейки на пенсию и вот комнатку дали.

Девушка рассеянно слушает, потом идет к Мильгром, не вникая в информацию, и видит всю ту же каморку под крышей, где сладковатый запах старых шерстяных вещей буквально удушает при жаре.

Все плавится в лучах жаркого заката, Мильгром достает чашки, приносит с кухни чайник, и они пьют чай с черными солеными сухариками, роскошью нищих.

Мильгром опять хвастливо рассказывает о сыночке Сашеньке, сияющее лицо Мильгром обращено к стене, где висят две фотографии, причем, думает девушка, если мама правильно говорила, откуда у Мильгром фотографии?

Сашенька-взрослый смотрит со стены замкнуто, холодно, в расчете на офицерский документ, фуражка торчит как седло над большими черными глазами, здесь-то он уже очень похож на мать.

Какими слезами, какими словами вынудила Мильгром своего Сашеньку подарить ей снимки?

Мильгром счастливо вздыхает под своей стеной плача, а затем радостно сообщает, что у Асеньки уже выпал первый зубик: все как у всех есть и у Мильгром.

Девушка надевает платье, смотрится в зеркало, выбирается из сладковато-затхлого запаха вон, наружу, на воздух, на закат, проходит мимо многочисленных окон и подъездов, где, как ей кажется, обитают одни Мильгром, идет в новом прохладном черном платье, и счастье охватывает ее. Она полна радости, и Мильгром полна радости за своего Сашеньку.

Девушка в самом начале пути, движется в новом платье, на нее уже смотрят и т. д., через пять лет появится у ее дверей мальчик с кустом роз, где-то ночью вырвал, — а Мильгром явно в конце, но может наступить время, и девушка мелькнет в конце Малой Бронной в совершенно ином образе, будет носить в сумочке фотографии своего взрослого сыночка и хвастливо рассказывать о нем на скамейке на Патриарших, а позвонить лишний раз не решится, а самому ему некогда.

Черное платье мелькает на светлой майской Малой Бронной, при полном закатном свете, и вот все, день догорел. Мильгром, вечная Мильгром, в старческой комнатке среди старых шерстяных вещей сидит как хранитель в музее своей жизни, где нет ничего, кроме робкой любви.

## О, СЧАСТЬЕ

Две маленькие женщины думали про себя, что они уже старухи (22 года), и одна была как Брижит Бардо, русский смуглый вариант, все в большом порядке и мальчики смотрят со значением, а другая была пришей кобыле хвост подруга, преданная и любящая подколодная

змея, которая обожала свою Марусю до такой степени, что заодно влюбилась и в ее мальчика Боба, и иногда они втроем ходили куда-нибудь в гости, к Боба знакомым художникам и поэтам, черненькая Маруся, высокая как трость, глаза прожекторы, посмотрит — осветит, а рядом ее ядовито-вежливый Боб, тоже худой и высокий, мечта многих девушек: руки плетями, глаза запавшие, зубы волчьи, когда ухмыляется, большие, белые и острые.

И тут же впритирку всегда эта малозаметная, как она думает про себя, хотя тоже не лыком шита в любом другом месте, но не рядом с ними, тут все идет в тартарары, смотрит на свою Марусю и думает: все взоры только на нее, и правильно.

И что прикажешь делать в такой ситуации, когда вот они, мечты, сбывшись: ее взяли с собой в гости в такой дом, народ отмечает Первомай, бренчит гитара (скоро ее грохнут об угол), поэты читают в темной спальне при свече, бродят бородатые в свитерах Хемингуэи, художники и писатели, но ни один не нужен, вообще ничего не нужно этой бедняге, стоит она с бокалом сухаря в руке у книжных полок нервничает, а Маруся и Боб пошли покурить на балкон, там далеко видно ночную Москву: идут ранние шестидесятые годы, скоро многих посадят, многих из тех, кто тут пирует, начнутся лагеря, ссылки, обыски, эмиграция, подполье в виде кочегарок, диспетчерских при больницах и сторожевых комнатух с телефоном и топчанчиком — короче, все разлетится.

Возможно, это вершина их молодой жизни, пик радости; возможно, каждый потом, сидя где-нибудь в Париже или работая в лагерных мастерских по пошиву брезентовых рукавиц или по вязанию картофельных сеток, — они все будут вспоминать этот странный первомайский праздник в квартире Литвиновых, сломанную гитару (так никто и не спел) и сломанный же хула-хуп, эта зарубежная диковина была сведена на нет, в восьмерку, одним пьяным орлом по скручиванию подков: опа!

Полное одиночество в этой квартире, полной народу, можно закурить, можно взять журнал «Kobieta i zycie» (Польша), но тоска смертельная по Марусе и Бобу, которые о ней забыли и тихо смеются на балконе, овеваемые майским ночным ветерком в толпе других курающихся.

Специально не пошла, осталась тут, избавиться от этого наваждения, может, кто-нибудь подхилнет и можно будет отвлечься, поговорить, но никто не подходит, все слоняются с ошалелым видом, тут же сидят на полу, в кухне все забито, в спальне опять-таки не протолкнуться, там Сапгир, Холин и Сева Некрасов, поэты, там младший Кропивницкий.

И наша девушка, беленькая, большеглазая, бледная как смерть (понятно почему), старуха двадцати двух лет, остановившимся взором смотрит мимо балкона, к ней и приближаться-то незачем, все написано на лице: любовь, ревность, обида; уйти, уйти, думает эта беленькая сама про себя, надо уйти раз и навсегда, но она не уходит.

Любимая подруга возвращается с балкона, тихо смеется над нашей бедняжкой, говорит: «Скукотища какая тут», говорит: «Ты сегодня клево выглядишь, все на тебя смотрят, обрати внимание», и мученица теплеет, безумная ее любовь к этим двоим (а Боб остановился с каким-то диким в бороде и дает ему сигарету и прикурить, это художник Зверев, сколько ему жить-то осталось, но проживет еще у своей старухи Асеевой, которую, все это знают, он ласково называет как-то вроде биздюля), безумная любовь к Бобу и такое чувство, что без Маруси невозможно существовать, Маруся красавица и запоминает английский словарь столбцами, даже сама пугается и швыряет словарь под кровать.

Но не это важно, Маруся всеобщая мать, пригревает, снисходительна во всем, Маруся сама себе шьет и вяжет, у нее мама тоже просто мечта, тоже жалеет всех вокруг — как блондиночка любит Марусину маму, как любит!

Маруся стоит у книжных полок и не ведает, что мама ее умрет через два года и Маруся сразу же после похорон мамы родит недоношенного сыночка, но не от Боба.

Боба уже не будет на ее горизонте, давно его нет, он бросил Марусю, как только она забеременела, хотя проявил заботу, сам достал ампулу и вколол ей укол, был страшный вечер при настольной лампе, обошлось без больницы, без аборта, никто ничего так и не узнал ни дома, ни на филфаке, но все это будет иметь далеко идущие последствия для Марусеньки — опухоль, операцию, трудные роды и т. д.

Когда он сказал Марусе, пришел в очередной раз и сказал со своей знаменитой улыбкой, что очень сожалеет, но больше ничего у них не будет, она чуть не покончила с собой, пошла проводила Боба до его подъезда и на обратном пути шагнула под машину закрыв глаза, но он, как выяснилось, шел следом за ней и спас, обхватил руками, привел ее к ней же домой, трахнул, но через час все-таки удалился со своей волчьей ухмылкой: жизнь его, видимо, протекала уже в иных мирах, он шел навстречу своей гибели, как потом оказалось.

Как потом оказалось, он незадолго до того лихо украл с международной полиграфической выставки монографию Босха, такой вид спорта; в результате был выгнан из своего архитектурного института, и это как раз и была эпоха укола при настольной лампе и прощания — а затем Боб, проще простого, никому не сказав ни слова и никого собой не обременяя, даже специально порвав с друзьями, был взят в армию с третьего курса и там, в далеких семипалатинских степях, облучился на полигоне и вернулся домой уже списанным инвалидом, правда без диагноза «белокровие», тогда такие диагнозы вслух не произносились.

Так что когда он через два года пришел домой к матери и отчиму умирать от лейкозавия с копеечной пенсией, Марусенька уже была замужем, бегала к матери в онкологию, держалась молодцом и готовилась к родам.

Боб и Маруся перезванивались.

Наша вторая героиня, беленькая, тоже родила в тот год, на три месяца раньше Марусеньки, была неожиданно для себя счастлива и любила своего мужа и сына, забыв обо всем на свете.

Она знала от Маруси обо всех перипетиях, но позвонить Бобу не решилась — наверно, многие не решались ему позвонить в те поры, такова человеческая психология, неудобно как-то звонить приговоренному: ну как ты, что ты, а он в ответ что должен говорить, спрашивается?

Дело кончится тем, что они обе, обнявшись, будут плакать на похоронах Боба, когда гроб с его немислимо исхудавшим телом пойдет вниз под траурную фисгармонию Донского крематория.

А сейчас Маруся стоит в литвиновской квартире и не знает, что в конце концов все ее раны зарастут, все затянется теплым покровом жизни, деточки оклемаются, а ее собственная красота так и останется при ней, никому не нужная, мужу тем более, опасная, чувственная красота, приманка для автобусных знакомств, для служебных дней рождения и приключений в командировках и домах отдыха.

А та, которая так страдала и так любила прекрасных своих друзей, Марусеньку и Боба, на всю жизнь запомнит эту теплую первомайскую ночь, когда они втроем шли, торопились к закрытию метро, Боб с Марусей и она сбоку, и как они облегченно хохотали, уйдя из скучного дома, а майская ночь плыла всеми своими звездами над Москвой-рекой, вверху и внизу тоже, мерцали теплые огни, и очень хотелось плакать — от счастья, видимо, от счастья.



---

---

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА



## РАДОСТИ ЖИЗНИ

Рассказ

... **И** очью ко мне приходят ненаписанные рассказы, и я говорю им: кыш! Что толку приходить? Не написала — и уже не напишу: их больше, чем меня. Этот дисбаланс занимает мысли в моменты тупой кухонной деятельности или у стекла троллейбуса, что в самом конце, где жизнь видится как бы назад-вперед и очень соответствует жалостливому состоянию души. Скорей всего я вычеркну слово «жалостливому». А может, оставлю для будущей реакции в ближнем зарубежье моей родины, где дошкольная подруга, разгребая навоз на огороде, скажет своей внучке: «Помнишь тетю, у которой мы были в Москве? Она до сих пор из себя корчит». Подумав, она вполне может сказать: «Крест, святая икона! Чего ей в жизни надо? Какой жалости? Мужчины всегда были при ней. Не скажу какие, не скажу, но зарплату носили. Она что — с огорода кормилась? Все обещает написать про наше с ней детство. Вот посмеюсь так посмеюсь». Тут она задумается, моя подруга. Ее голубые чуть навывкате глаза остановятся, и сама она застынет с вилами, пока внучка не закричит: «Бася! Ты что?» Подруга тихонечко всхлипнет, но мысль, которую держала в замирании, скажет громко, чтоб и в соседнем огороде, и что по-за ним слышали. Важная мысль. *«Если она про меня что-то напишет, я ее сама — этими вилами»*. Тут у нее так кучеряво взрыхлится навоз, что придется вытирать подбородок подолом, и на этом простом деле она уйдет от меня надолго, до зимы, когда закрутит наконец все банки, почувствует пустоту, захочет позвонить, но вспомнит, сколько теперь это стоит, разозлится на меня же, потому что, когда все *это началось*, я ее уверяла — как это хорошо и правильно, и не пристало ей больше всего гордиться своей однокурсницей, которая всю жизнь работает экскурсоводом в Музее Ленина, кандидат наук и прочая. «Собой гордись, — говорила я ей. — Сбой». Но все, как выяснилось, набрехала. При эпохе ленинского экскурсовода моей подруге было лучше.

Впрочем, это получается рассказ про подругу, а я о ней уже писала — хватит с нее — и даже вил в бок избежала. Когда она прочла рассказ, она себя не узнала. «Это надо же! — сказала. — Быть такой верной одному. Малохолдная какая-то! Верить! В этой жизни! Честно скажи: это у тебя такое было?» — «У меня», — ответила я, хотя до этого вся дрожала, не обидится ли она, что я рассказала ее историю. «Ты сроду простодырая, — покачала она головой. — Прости, Господи, но ты хоть и умной числишься, а дурости у тебя процент выше. Я тебя сразу узнала, с первой строчки».

С тех пор я не боюсь писать о самых близких мне людях — *никто себя не узнаёт*. Понятие о себе — вещь таинственная и непознаваемая. Я точно знаю, мы — земля незнакомцев. Мы притворяемся, что знаем друг друга.

И мир непознаваем. Мне все больше это нравится. Раньше мечтала «дойти до сути», теперь — не хочу. Опять же как сказала бы подруга: «Тебе бы все блукать в потемках».

Блукать — бродяжить. Замечательное умственное дело. Лучше — нет. Никто никого не знает, никто ничего не знает. Истина не там, где мы.

К чему это я все? К тому, что приходят рассказы и я говорю им «кыш!». А потом еще придумываю и несуществующую реакцию на ненаписанное! Двойное сальто-мортале в голове — истинно русская деятельность. Нынешнее поколение с треском выбирается из нашей сокрушительной созерцательности через влагалище, пахнущее бергамотом. Правильно делают, между прочим. Если уж рождаться, так чтоб уж хорошо вокрут пахло. Я им завидую, ибо сама так не умею.

Многого не умею. Какого же черта прутся они ко мне ненаписанные? Эдакие славенькие эмбриончики, которых только выпусти... Но мне слабó превратить их даже в клопов, тараканов, медуз, всякую тварь и хоть таким образом, но дать им жить. Жить! Чтоб они проверещали про свое пусть даже через поганенькое, но тело, если приличное, с человеческими ушами, в кроссовках там или суконной юбке, я не удосужусь дать?

...были перепутаны вместилища. Не туда сыпанули. Расперли меня изнутри товаром, а ножки, носящие груз, дали тоненькие, слабенькие. Дыхалка ни к черту, коленочки хрустят, просто никуда не годятся и норовят выскочить круглой своей головочкой из розового гнезда, чтоб мне уж совсем и окончательно сломаться.

«Про что это она? — недоумевает подруга. — Про радикулит? Артрит? С какой такой тяжелой работы? Ведрами воду носит? Или туда-сюда в сырой погреб? Это ж какие у нее могут быть трудности тела?»

Никаких, дорогая, никаких! Нет у меня ни огорода, ни погреба, и ведер у меня нет. Настоящих. Так, одно название.

У меня другое. Они приходят, а я не могу. Это не болезнь, подруга, это хуже. Скажу тихо: это что-то сексуальное. Знаешь, что я делаю, когда они приходят? Я называю адреса, куда им податься. Как нормальная порядочная шлюха. Я посылаю к тем, у кого момент острого плодоношения. Когда не успеваешь отряхивать тяжелые ветки. Или отряхиваться самому. Вещи, конечно, разные. Так и хочется на этом затормозить и позлословить. Но меня начинает мутить оттого, что во мне прорезается *это*. В корыте, что есть вселенский охул, поклеп и зависть, уже столько помылось! А я знаю, что это такое — общая помывка... Серая пена на ободьях, вода, уже остуженная более высокими по рангу телами, моя слабая гордость, что я в этой очереди за чистой не последняя. За мной сестра и брат. Потом этой водой вымоется пол... Грязную воду разбрызгают по двору на «заразу пыль». «Экономика должна быть экономной». Нет воды в наших краях, нет. Но живем. Живем, как если бы вода была...

Я давно это заметила. Это наше свойство — жить при отсутствии как при наличии. Эдакая легкая неприспособленность бытия. В окно вместо стекла вставить фанерку. И убеждать, что так даже лучше. «Знаешь, через стекло солнце очень жарит». А окно, между прочим, выходит на север, и солнце туда не попадает никогда. Недавно, уже в наше время, моя гостья из провинции, разувшись, пошла по квартире в полиэтиленовых пакетах. «Замечательно, — сказала она. — У вас дождь, а у меня ревматизм. Пакеты мне дают гарантию сухих ног».

Диву даешься, какие у нас гарантии. У нас в природе заложено: из ничего — все, никто — всем. Самоигральность пустоты. Кто бы мне еще объяснил, почему это именно у нас, владеющих такими пространствами и богатствами?

Так вот, возвращаясь к мысли про сегодняшних пишущих и про себя как бы вчерашнюю... Я их, дурачков малолетних, люблю, но странную любовь. Не победит ее рассудок мой. Вот они. Обклевали всю мою вишню. Горланят. Косточки где, косточки от вишенок? В них. В их пузе. А мои за-

всегда горсточкой на столе. Обсосанные, беленькие. Я с ними еще поиграю. Я сложу из косточек морду с лопоухими ушами, потом выключу морде глаза, чтоб не пялилась, дура. Я играю, а они переваривают жизнь. Вот в чем дело.

Мы такие разные, что наша любовь невозможна, так сказать, по определению, данному одним пуристом во время оно в статье против мухи-цокотухи. Брак между мухой и комаром, вещал пурист, невозможен изначально. Не получится у них, говоря по-простому. Бедные влюбленные, пройдя такие страдания, упрутся в материальную часть. Нынешние поняли эту проблему совсем не так, как я. Когда я в их возрасте читала пуриста, я еще задавала себе вопрос: а нет ли малепусенького смысла в такой здравости воспитания, если — извиняюсь за повторение — результата не получится? У нынешних даже мимолетного признака цепляться за физику любви нет. Они ее окоротят, если что. Или увеличат в длине и весе. Потому что *любовь*. А аксессуары ее, в конце концов, есть вещь придаточная. Это мы до сих пор живем в поясе невинности вместе с противогоазом и только в таком виде позволяем подойти к перу там или карандашу... Бесплезно звать к жизни сдавленную плоть, даже если ее распеленали. Она все равно тяготеет к поясу, она, можно даже сказать, его алчет и жаждет. У распеленатого тела могут оказаться и странные свойства. Оно может разрастись, как тесто в квашне, и очень опасно оказаться рядом — соьбет и уничтожит освобожденным сырым мясом. В общем, пока я разбираюсь с самой собой, ну до ненаписанных ли рассказов мне? И я, повторяю, говорю им: кыш!

Но бывает и так. Не взяв, не проняв меня нежным дуновением, рассказы приходят ко мне влажным теплым касанием, что ничем, кроме влияния порока времени, объяснить нельзя. Тогда я чувствую, как вдавливаются мои сомкнутые губы, и я криком кричу — внутренним, конечно, я девушка стойкая, — чтоб не разомкнуть их, иначе...

Тут бокom вторгается совсем другая история.

Интересно наблюдать, как это происходит. Еще путной строчки не сотворено, еще герой именем не назван, а и касание уже было, и до целования дошло. Имейте в виду, что пояс невинности и противогоаз при мне... Секс в мешке. Хороший конкурс для открытых площадок профсоюзных здравниц.

Так вот рассказ мне блазнится про тетю Таню, даму и просто приятную, и приятную во всех отношениях, позорище рода, лучшую выпускницу бахмутской гимназии, предательницу родины и семьи, учительницу и каллиграфу школы, радостную давалку налево и направо, спекулянтку, авантюристку и обожаемую булю двух внуков, Талика и Толика, так ин бреви. Вкратце! Оттолкнуть тетю Таню с занимаемого ею места в природе и в моей голове невозможно совершенно, но получилось, что сравнила побуждение к писанию с поцелуем — тут-то бочком и вылез мальчик в латаных штанах, не доходящих до носков. Сверкало живое молодое тело в просвете каждодневно подравниваемой ножницами бахромы и взмытого вверх резинкой натянутого носка, и делалось от такого пейзажа стыдно, даже временами противно, если бы не курточка, запечатленная во всех фильмах пятидесятых, двуцветная, на кокеточке, с карманом, из которого у бедных торчала расческа, а у тех, кто побогаче, самописка. Мальчика звали Женя, и он, что называется, торчал, в смысле выбивался из ряда. Он носил галстук, презираемый нашим школьным пролетариатом. «Гудочек!» — неодобрительно смеялся народ и мог бы Женю схарчить по всем правилам сжирания чужака в стаде: уже клацали зубки и набегала слюна, готовая полить перед укусом жертву, но случились на их хищном пути женщины-малолетки. Мы. Девочки. Барышни. Дуры. Комсомолки. Мы увидели еще одно отличие Жени (отличие от мужской половины). Не только в галстукe оно гнездилося. Оно было выше, шире и глубже. Оно было даже выше актера Самойлова, говорящего стихами в фильме «В шесть часов вечера после войны». Вы спросите, что может быть выше?

И я вам скажу. Выше может быть сходство с портретом Олега Кошевого, который висел в школьном коридоре. Первый слева.

Вот что производило и впечатляло. Он был на самом деле хороший, этот Женя. Скромный. Вежливый. Он здоровался с моей мамой. Хотя к таким тонкостям мы приучены не были, и одного этого было достаточно, чтоб схлопотать в темном месте, но опять же сходство... Сходство парализовало. Через это переступить было нельзя. Тут надо сразу сказать: Женя по большому счету такого сходства оказался недостоин. Он не дотянулся не то что до лица, до ноги героя. Так и прозябал всю жизнь рядовым инженером сельхозтехники, а мог бы схватить в обе руки комсомольско-партийную линию, а потом, глядишь, и пробаллотироваться на каком-нибудь уровне в какую-нибудь говорящую думу. Школа очень ждала от похожего человека и похожего подвига — встретить что-нибудь грудью, прыгнуть в шурф. Но... Увы.

То еще время. Уточню, не с подначкой: мол, *то еще время!* А конкретно — то время в смысле не это. Пятидесятые, а не девяностодесятые. Кошевой на портрете, а Женя ходит по школе как ни в чем не бывало. Живет незаметно. Это плохо, поэтому просачивается слух, что его какая-то там тетка якшается с баптистами.

Мы не верим слухам, мы ждем, что он встанет вровень с героем. Мы аж дрожим от нетерпения подвига и смерти. И в этот острый момент коллективного экстаза он кладет на меня глаз. Так в жизни всегда — высокое и низкое рядом. Подвиг, и загнутая на воротнике из собаки косичка, и возникшее желание ее выпрямить, и ток. Ток чистой воды, тогда синтетики и в помине не было, и если предметы и вещи «стреляли» — значит, работал натуральный движок. Где-то там, в области солнечного сплетения, немного вниз и влево.

Я все пропускаю, потому что рассказ о Жене не сопит мне в ухо, дышит совсем другой, о тете Тане. И не просто дышит, а — то самое... Он *целует*, если уж называть вещи своими именами. И в этой только связи и возникает Женя. У него большой и широкий рот. Он давит меня им, а я, как Брестская крепость, охраняюсь сцепленными зубами. Для нынешних поцелуй вообще не считово, так, мазня, а нас надо было брать частями. У нас годы уходили на освоение пространства. Одним словом, нас брали как целину — коряво и бестолково.

Боже! Как я жалею, что по-человечески так ни разу и не поцеловалась с Женей. Влюблена была по уши, по маковку, но когда дело доходило до дела — стояла насмерть. Зачем?

Затем... Затем, что это все тетя Таня. Которая задолго до того, в мои еще десять лет, объяснила, что «ротик надо раскрывать пошире», а «губки распячивать», что *там* (там!) должно быть чисто-чисто, и это, девушка, поважней твоих отметок. Что пахнуть от девушки должно духами (бергамотом, тетя Таня, бергамотом), а не «мышками», что «этого хотят все, даже коммунисты», это — главное, «даже питание потом».

От ее науки влажнели трусики и было стыдно, хорошо и страшно. Но вот парадокс образования. Казалось, знаешь как... Объяснили же дуре. Но именно тети Танина наука привела к краху моей первой любви. Я не могла, как меня учили. Но и третьего пути, кроме стоять насмерть или делать губки пошире, я не знала. Мы потыкались друг в друга, как два щенка, и я рванула от него первая. Свою дочь Женя назвал моим именем. Приятно, но я этого не заслужила. Я была бездарна, неловка, неумела. Это потом я скажу — секс в мешке. Тогда и слова такого не было. Мы были пестики и тычинки, хотя рядом звенела, пыхтела и громыхала такая жизнь!

Один талантливый малый сказал тут как-то по ящику: «Это была сексуальная эпоха». Полно врать, сказала я ему, а потом подумала: кто его знает. Ведь именно про тетю Таню будет мой рассказ, чего-то же *именно он* пробился через все мои душевные ломания рук и ног.

Она умерла на девяностом году, сохранив красивейший почерк человека, выучившего каллиграфию еще до революции.

\* \* \*

...Сразу после войны нас выселили из квартиры, которую дедушка построил на свои кровные в двадцать девятом году. Наши дома называли жилкооп. «Вы где живете?» — «На жилкоопе. А вы?» — «На мелкой промышленности». Так у нас говорили.

Вернувшиеся из эвакуации начальники приглядели не разрушенные войной наши каменные домики с садочками, палисадниками, клумбами и выпихнули нас из них, можно сказать, в двадцать четыре часа. Какие там права и законы! Во-первых, мы в отличие от эвакуированных провели войну на оккупированной территории, а потому нам полагалось за это отвечать. Но главным больным местом нашей семьи был дядя Леня, который с сорок первого года сидел в Бутырской тюрьме как враг народа. Можно сказать, мы были счастливы, что нас — бабушку, дедушку, родителей и троих детей — не выгнали на улицу ни в чем, что нам по справедливости советской власти полагалось, а дали комнатенку в так называемых финских домиках, куда мы и втиснулись, окружив собой огромную, встроенную в комнату печку. Финны, хоть и отсталый по сравнению с великим советским народ, не подозревали, что в двухкомнатной квартире будут жить аж четыре семьи. В другой комнате жили две молодые пары, пригнанные из Западной Украины на поднятие разрушенных шахт. Комнатка для ванной — ах, эти финны! — была превращена жильцами в угольный склад, потому как соседи тоже построили посреди комнаты печку. В туалете, к которому вода не была подведена изначально, странным образом оказался поставленный унитаз. Когда жилкооповские подружки приходили ко мне в гости, я им его демонстрировала, и они удивлялись и возмущались людьми, которые могут ходить по-большому в квартире. Это ж какие надо иметь понятия? Мои объяснения про воду не прохонжé. Какая вода? Откуда ей взяться на такое?

Интересная история была с нашей мебелью. Ее некуда было брать из оставленного дома. Ее растыкали по знакомым, прося об этом как Христа ради. Труднее всего оказалось приткнуть пианино. В конце концов его поставила к себе в сарай моя учительница музыки. Когда мы с мамой накрыли инструмент старыми одеялами, сестра учительницы музыки, учительница географии в нашей школе, сказала маме: «Передайте, Валечка, Федору Николаевичу (дедушке), что он проиграл наше пари». Я из книжек знала, что такое пари, но вообразить не могла, к чему его присобачить в нашей жизни. Пари и унитаз с нашей жизнью не сочетались. Это были пришельцы из других миров, и вызывать они могли только удивление. От этого и запомнились слова о пари, и еще потому, что мама цыкнула, когда я спросила, что имела в виду учительница. Всю дорогу она ругалась, что вечно я лезу куда не надо, что вечно идиотские вопросы, что нельзя до такой степени «ничего не понимать самостоятельно, без лишних вопросов, если дан ум».

Дан ум... Данум... Даум... Даун...

Недавно я в каких-то там воспитательных целях сказала своей внучке: «Человеку дан ум, чтобы понимать». — «Ах, бабуля! — ответила моя кукла. — Ум может быть умным, может быть и дурацким. Наверное, у меня дурацкий». Она хитро посмотрела на меня: мол, что с дурочки возьмешь? И ускакала своим путем.

Я представляю, что бы со мной сделала моя мама при таком развороте рассуждений. «Дан ум» был вечным рефреном нашей семьи. Можно подумать, преуспели! Так вот пари, оказывается, было такое.

*Учительница географии:* Не надо строить в жилкоопе дом. Если строить, то свою личную саманную мазанку. С государством ни на каких условиях связываться нельзя: все равно отнимет и скажет, что так и надо.



*Дедушка:* Спорим.

Время показало, у кого был ум.

Мы безропотно гнездились у печки, а потом родители, не выдержав скучности, пошли строить ту самую мазанку. На стройку брали мою младшую сестру, чтоб нянчить совсем маленького брата. Послевоенного сыночка мама с глаз своих не спускала и не доверяла никому.

Я же оставалась сторожем финской комнаты, потому что — мало ли что... Пригнанные с запада украинцы не внушали моей семье доверия. Одна из соседок все норовила заглянуть в нашу комнату, где прямо посередине стояло трюмо, соседка всегда вскрикивала, допрежь всего остального увидев в зеркале себя, хлопала дверью и кричала тонким голосом: «Шо це таке в них стоить високе?» «Дура, никогда не видела трюмо», — брезгливо говорила мама. Дура много чего не видела, даже наш скарб — без пианино, буфета, комодов, дивана — был оглушительно роскошным по сравнению с бытом несчастных вербованных. Как было после этого не сторожить комнату?

И вот я оставалась одна. Я не открывала ставни, потому что в полумраке поставленные абы как вещи: трюмо посередине, кушетка на попа, разновысокие кровати под единым одеялом, шкаф в простенке между двумя узкими, но высокими окнами (ставни к ним были много ниже, потому что их сняли с петель на старой квартире и привезли завернутыми в скатерти), — так вот, все это в сумраке способствовало моему буйному воображению.

В полумраке все казалось красивым подземельем, где я — пленница влюбленного в меня ксендза: прочла какой-то роман без начала и конца, продававшийся на базаре постранично на самокрутки и кульки для семечек. Дедушка любил «спасать книги». У меня до сих пор стоит Пушкин с семнадцатой страницы, а Гоголь с сорок второй. Гоголь почему-то шел шибче. Видимо, быстрее загорался. Или более соответствовал семечкам.

Однажды, когда я убедительно и страстно объясняла ксендзу, что любила, люблю и буду любить только краковского шляхтича, не помню, как там его звали, скажем, Кшиштоф, дверь распахнулась и тетя Таня просто ворвалась в комнату. Перво-наперво она раздвинула ставни и открыла настежь окна, и хоть сразу потянуло шахтой и газом, оставила их открытыми. «Ничего, — сказала она. — Не сдохнете». Потом началось непонятное. Она стала двигать мебель, хотя двигать было некуда, все втиснулось едва-едва, но в решительных движениях тети Тани был некий мне непонятный смысл, который она не считала нужным объяснять, потому что говорила мне другое:

— Я тебя прошу — исчезни. Погуляй где-нибудь. Погода хорошая. Сходи на Ленина...

Ленина — наша главная не то улица, не то площадь возле шахтоуправления. Там всю скрипит и ухает клеть, там, застилая небо, крутится шахтное колесо, там воняет обогатительной фабрикой, но площадь-улица тем не менее главная, а потому и выложена булыжником, как в каком-нибудь большом городе. Ленин и Сталин, улыбаясь, сидят на белой скамеечке, окруженные тяжелой цепью, на которой дети, не достигшие идеологического минимума, всегда норовят раскачиваться, но с воспитанием и образованием у нас строго — не забалуешь. Девочке, влюбленной в шляхтича Кшиштофа, делать в этом месте абсолютно нечего. Разве что нежно потрогать цепь и преисполниться любви и преданности совсем другого рода. Что, кстати, нетрудно. Преисполненности было во мне сколько угодно. Пока я соображала, что к чему, тетя Таня из двух наших кроватей уже соорудила нечто диваноподобное. На подушки, разбросанные так и сяк, были брошены мамины шелковые косынки (один из предметов воделе-ния соседок-хохлушек). Стол тетя Таня развернула углом к кроватям, положив на клеенку камчатую скатерть, которую использовали у нас по редким в ту пору праздникам, но следы от этих праздников, как теперь говорят, имели место быть. Но изобретательная тетя поставила на два пятна

скрывающие их предметы. В синем треснутом кувшине, правда, лежала детская клизмочка. Ее тетя Таня грубо вынула и сунула в ящик, а кувшинчик бац — на стол. На второе пятно была водружена соломенная хлебница, которая хлебницей тоже не была, потому как уже осыпалась изношенным телом.

В комнате резко похорошело. Уходить из нее не хотелось.

Стук в дверь был царапающе-нежным, а потому чужим. Соседки-украинки в дверь не стучали, они ее просто открывали. Или кричали из прихожей: «Тётю! Тётю! Вас можно чи ни?» Совсем посторонние барабанили в общую дверь, а знакомые мамы и бабушки подходили к окну и стучали в стекло согнутым пальчиком.

— Ах! — сказала тетя Таня, сбрасывая с себя вязаную кофту и победоносно поправляя роскошную грудь, жарко всплывающую в декольте. — Ах!

Она открыла дверь, и в комнату вошел мужчина в шляпе и с большим портфелем. Мужчина был отмечен и особыми приметами. Во-первых, шляпа его была на белой бельевой резинке и до красноты сдавливала ему подбородок. Тут надо сказать, что шляпа в наших краях — вещь редкая, ее за так не носят. Ею метятся, выделяютя. Шляпу носит у нас местный хулиган и пугало, он же чечеточник в шахтной самодеятельности, он же рубщик мяса на базаре, — Коля, Колян. Я так и не знаю, Колян — это производное от «Коли» или все-таки фамилия. Как Гдлян, например, или Малян. Не важно. Так вот рубщик-чечеточник-хулиган носит велюровую шляпу и синие сатиновые шаровары. Он не снимает шляпу нигде, он обозначается ею в кино, на танцах, на улице-площади Ленина и просто так, идя по городу и неся, к примеру, в газете кости для холодца. «Малохольный», — говорит бабушка и грозит ему вслед кулаком. Но, насколько я помню, никаких бельевых резинок у Коляна на шляпе не было. Когда бывало особенно ветрено, он натягивал шляпу на уши, одновременно подтягивал вверх шаровары и шутил: «Закон природы. Если что-то тянешь вниз, то другое тянешь вверх. Бойль-Мариотт». И кто бы ему осмелился перечить? Только моя бабушка с кулаком протеста, как санкюлотка какая.

Поэтому шляпа на резинке у гостя тети Тани впечатление произвела... И как шляпа. И как на резинке.

Портфель тоже был непрост. Он был толст, что не может вызвать особых эмоций к самому понятию. Толстый портфель — норма. Как и старый — кожаный — портфель Жванецкого, первоклассника и так далее. У этого портфеля были деревянные ручки синего цвета, отчего сразу становилось ясно: ручки взяты из детского набора фигурных кубиков. В наборе было именно так: синенькие — длинненькие, зеленые — квадратные, а красные — треугольничком.

— Иди занимайся к учительнице, — нежно сказала мне тетя Таня, пока я остолбенело изучала ручки и резинки. — Девуля идет к своей учительнице музыки. Она такая способная. И имеет пальцы. Но где тут поставить инструмент? Где? А гаммы, ганон... Это же надо непрестанно, как Буся Гольдштейн. Иди, девуля, иди. Хорошо занимайся, долго!.. Ах, Мишенька, — услышала я, когда за мной закрылась дверь, — нам воздастся за наши муки.

Это, конечно, я придумала сейчас. Такие слова. Я не знаю доподлинно тети Таниного воркования за дверью. Почему же мне написалось именно это, высокопарное, если все остальное — про музыку, пальцы и про скрипача Бусю — чистая правда? Все дело, видимо, в Кшиштофе, в нашей с ним любви. Безропотно уходя из дома, я ведь не могла соотнести свое почти бездыханное от вознесения чувство с этими чужими пошлыми резинками! С другой же стороны... Не дура же я была, поняла в конце концов смысл шелковых косынок на взбитых подушках. И для полной их красоты от себя возложила на них самое главное из прекрасного — страдание. Не просто как атрибут любви, а как знак ее качества. Помните еще эту раскоряку на лежалом товаре? Поэтому слова глупые придумались сейчас,

но они были точно в масть моему подземелью, охальнику ксендзу и Кшиштофу, скачущему на лошади с огромными белыми зубами. Зубы у лошади, не у Кшиштофа.

Что же это за роман был мною тогда прочитан? И могло ли быть так, что, прочитав его в свои детские годы, я не узнала его во взрослые? Не узнала же я через много, много лет Женю. Мы долго ехали напротив друг друга в одной электричке. Я подумала: «Какой унылый дядька. Весь прокисший от жизни. Вон даже в уголках глаз накопилось. Вытер бы, что ли...» И он вытер. Достал сложенный чистый, но выжелтевший от стирки носовой платок, промокнул закись и как бы извинился: «Такую грязь подымает ветер».

Я бесспорно знала этот голос. Я так подумала: «Знакомый голос». И все. Ничего больше. Я ведь опиралась на сумку с продуктами, я была «дачным мужем» у своей семьи и таскала сумки до стона в горле, который иногда случался сам собой. Иду и вдруг как затрублю, как хоботное. Вот я и отметила — голос знакомый; но дядьку закислого я не знаю, это точно. Тем не менее поверх очков незаметно я в него вперилась. Лысоватый, но не так, как лысеют умные, — с залысин. А как лысеют примитивы, точно по макушечке, блюдечком, еврейской кипой. Хрящеватый нос с красными прожилками на крыльях не говорил мне ни о чем, разве что носитель его или был гипертоником, или любил выпить, а может, и то и другое сразу. Нет, голос был знаком сам по себе, с человеком напротив он не мог быть связан хотя бы потому, что все *мои мужчины* лысели со лба. У каждого ведь свое тщеславие. Но тут рядом с ним освободилось место, и он закричал кому-то в тамбур: «Оля! Оля!» Подошла с тяжелой, как и у меня, сумкой молодая женщина, плюхнулась рядом, посмотрела вокруг озлобленно и обиженно сразу, как смотрят все сумчатые сестры нашей земли. И все сразу прояснилось. Надо же, как это я не увидела сразу! Эта Оля, как я понимаю, названная в мою честь, была копией ее бабушки, матери Жени. Именно с таким выражением она объяснялась со мной, девятиклассницей, почему я не пишу письма ее сыну, первокурснику. Господи! Да я к тому времени забыла его напрочь! Как и никогда не существовавшего Кшиштофа. Пока она смотрела на меня зло и обиженно, отловив мое возвращение из школы, в трех метрах переминался с ноги на ногу «очередной единственный», и я, смущаясь самого разговора со взрослой женщиной, думала о ее сыне низкие слова. И гордости-то у него нет! И жалкий он! И штаны у него короткие и латаные. И вежливость его определенно из подхалимажа к моей маме. Фу, как это я могла...

У Оли, как и у ее бабушки, светлые волосы курчавились на висках, а на скулах разбросано сидели светлые пятнышки широких веснушек. И сразу через лысину-блюдечко, через красные прожилки и грубый хрящ носа, через закись глаз проступил, определился Женя. Ну как же его можно было не узнать, если он каким был, таким и остался? Вон и нога белеет из-под коротковатых джинсов, и голос тот же, и дочь Оля. Не Маша, не Катя, не Перепетуя, а Оля! Сейчас я им откроюсь, признаюсь — и сойдет, к чертовой матери, с рельсов электричка, потому что вспыхнет у Жени такая сила любви, какая и была мне обещана. Он ведь такой. Он верный. Он похож на Олега Кошешого. Ну и что, что инженер-механизатор и вроде бы как не преуспел? Это же надо еще разобраться, что такое успел, а что такое нет. Одним словом, я напряглась для прыжка через время и пространство. Держа ручки сумки левой рукой, я правой наизусть впустила себе хохолок, я была, что называется, совсем готова, но тут увидела его глаза. Он смотрел на меня, как смотрят на схему метро в поезде. Тухло и слепо. Я была для него не просто безразлична (безразличие все-таки слабенькая, но эмоция), я была для него пятном на стекле вагона, не больше. Ни одной частью своего существа я не вызвала в нем себя же прежнюю. А я ведь, как говорят знакомые, хорошо сохранилась — и глаз у меня еще поблескивает, и прическу я себе выгодную придумала, и вообще на меня еще кладут глаз, правда мужчины уже поношенного возраста. И, между

прочим, особенно в электричке. А тут сидит тот, кто мок часами под стрехой, кто заваливал меня сиренью так, что в моих ноздрях навсегда остался запах сирени, сломанных веток, влаги, и это мой запах, я не просто люблю сирень, я ею как бы насыщаюсь, как бы обпиваюсь и давно хочу, чтоб на моей могиле рос куст сирени. И это все Женя, эта сволочь, что сидит напротив и в упор меня не видит, я ж искрю вся, а ему по фигу. Он даже задремал рядом с дочерью, вполне по-домашнему посвистывая носом.

Неужели такому я откроюсь? Нет уж! Спи спокойно, дорогой товарищ! Спи...

Выходя, я толкнула его. Нарочно. Хотелось ногой, но я посчитала — жирно ему будет моя живая нога. Толкнула сумкой. Он встрепенулся, виновато подтянул под себя ноги.

— Извините, — сказал он.

— Да ладно, — засмеялась я. — Живи.

Из тамбура я оглянулась на него.

Он растерянно смотрел мне вслед. Что-то проклюнулось в нем? Может, и у меня, как и у него, голос остался прежним, молодым? Или ему что-то хорошее снилось, а тетка с сумкой толкнула, да еще и тыкнула. С виду казалась интеллигентной женщиной, а на деле обернулась хабалкой. Как все.

...Надо себя описать. Хотя именно этим я и занимаюсь. Надо описать себя ту, которая была вытолкнута за дверь тогда, давным-давно. Есть подозрение, что тетя Таня, выпихивая меня примитивно и грубо, считала меня душой. А это для меня в любое время моей жизни вещь оскорбительная.

Конечно, я была отличница, и это было почти клеймо, и, конечно, баловства там или «не тех» понятий в наш дом допущено не было, но что такое «жить с немцем» я знала еще в оккупацию, а слово «лярва» и того раньше, можно сказать, в младенчестве, потому как словом этим была названа моя дорогая мама. Приходила к нам перед самой войной на жилкооп тетка в берете наисокос и кричала, кричала... Мама в этот момент сидела на чердаке, а лестницу туда бабушка положила лежмя и накрыла чувалом. Я и тогда все поняла, потому что не понять было невозможно. Мама моя — писаная красавица, а тетка набекрень — говорить не о чем. Главный инженер — он что, идиот? не понимает, где красота, а где не? Конечно, он понимал и приносил маме конфеты, кому же их еще носить, как не первой красавице? Иногда он привозил ее с работы в красивом фаэтоне, и мы, дети, верещали вокруг красавца жеребца, ожидая как редкостного дара, как затмения солнца, момента, когда, отставив назад метелку хвоста, жеребец шмякнет на землю огнедышащие кружочки и мы будем замирать от величия и неповторимости природы. «У коровы-то — о!», «А у лошади — во!», «А у человека — фи!» Нет, человек сравнения с лошастью не выдерживал. Слаб он был и рядом с коровой. Даже коза побеждала его оригинальностью своего дерьма. Вот собака... Собака шла вровень.

Главный инженер, высадив маму, уезжал, красиво тряхнув вожжами, мама смущенно шла домой, бабушка подымала кулак кверху. Вот где-то тут в горячих миазмах лошадиного помета и обрелось значение неприличного слова. Так что закрытая за мной тетей Таней дверь ничего для меня не закрыла. Совсем наоборот. Виделись подушки, и трепещущий седьмой размер груди, и след от резинки, как у повешенного, и весь последующий кошмар, от которого одновременно кружилась голова и тошнило. Самая загадочная и привлекающая сторона жизни становилась в этот момент омерзительной, но возникал и резонный вопрос: почему же тогда старые люди (тете Тане тогда было лет сорок пять) идут на это? Не понимают они, что ли, как противны? С другой стороны, меня давно колотило от романов о любви. Я постоянно была чьей-то возлюбленной, и все у нас «с ним» было, все! Но как — боже мой! — это было красиво! Как изящно снимались сюртуки, как нежно спускались штанишки, какие кружева потопляли нас, и ни единого резиночного следа на теле, никаких вспучен-

ных под столом портфелей. *Это* должно быть красиво — или пусть его не будет никогда.

Жизнь шла. Старым грешникам не мешала никакая погода. Мне же очень часто деваться было некуда. Появись я у кого-то из знакомых, тут же возник бы вопрос: «А кто ж сторожит финскую комнату? Или вербованные съехали?»

Между тем задождило. На нашей домашней стройке уже поставили кухню, поэтому там можно было и ночевать, и в финскую комнату возвращались только бабушка и бабушка.

Я же оставалась дневным бомжем.

Ночным бомжем, как потом выяснилось, был возлюбленный тети Тани. Дело в том, что он считался как бы в командировке и скрывался ночами в каком-то заброшенном доме. Их у нас еще лет десять после войны было навалом. Взорванная электростанция, турбина которой полетела к чертовой матери, зато комнат и залов... Там жили цыгане, опять же вербованные и разный другой бродяжий люд. Немцы, уходя, подожгли город и тут же драпанули, поэтому многие дома удалось потушить сразу, часть только наполовину. Так как в основном это были дома местного руководства, а оно, вернувшись из эвакуации, свою квартирную проблему решило при помощи отъема у таких, как мы, то вполне добротные дома долго стояли наполовину сожженными. Одной комнаты нет как нет, а в другой на стене часы идут и детская кровать стоит застлана. Своровывали, конечно, все быстро, но бомжевать было где. Крыша. Какая-никакая койка. И даже презент в виде бегущей из крана воды. Я сама ходила за водой в такой разрушенный дом, нигде не шло — не капало, а там напор — залейся.

Так вот в этой истории — два бомжа. Дневной и ночной. Девочка и престарелый (лет сорок, не меньше) любовник. Раз командировка, то понятен и раздутый портфель, и даже шляпа на резинке. «Миша! Миша! — наверное, кричала ему на прощанье жена. — Надень головной убор, мало ли что!...» И, держа шляпу за резинку, догоняла мужа у калитки.

За время бомжевания я хорошо изучила рельеф местности и все заветренные стороны нашего городка. Я знала, что на шахту Артема лучше идти по шпалам, а на шахту «1-1 бис» через деревню Щербиновку. Что шахта Ворошилова мне недоступна, потому как идти надо будет мимо «нашей стройки», а вот феноловый завод для прогулки вполне подходящ, иди себе и иди прямо и прямо.

И хоть время было смурное и считалось опасным, а вот бродила малолетка целыми днями там и сям, по дорогам и без, и никто ее ни разу не тронул. И мысли такой малолетка в голове не держала, потому что никто ее чужим дядей не пугал. Шелковые косынки берегли, это да, полотняный мешочек с мукой прятали... Но за детей не боялись.

И все-таки как веревочке ни виться... Я захворала. Не прошло даром кружение по терриконам и балкам малой родины, невзирая на погоду. Все к тому шло. Тапочки-лосевки мои за ночь не успевали просохнуть, и я уже несколько дней ходила с мокрыми ногами.

Бабушка обнаружила мою высокую температуру ночью, потому как спали мы с ней вместе. В четыре руки, не зажигая света, они с бабушкой обложили меня укусуными тряпками. Ложку аспирина я запивала гадостью из соды, масла, молока и меда. На меня положили тулуп. Утром я была вся мокрая, но температура такого удара не выдержала — упала. Поэтому порядок жизни решено было не менять — они уходят, я остаюсь дома. Лежу с тулупом на ногах. «Ходи на горшок», — сказала бабушка.

Тетя Таня влетела в пропахшую уксусом комнату ровно в свое время. Я уже научилась класть к ее приходу подушки сикось-накось и бросать на них яркие мамини косынки. Тетя Таня на порог, а у меня уже — нате вам! — готов приют любви. Даже пятна камчатной скатерти прикрывают. Мне нравилась эта сторона греха — сторона декоративно-постановочная. Театральный реквизитор во мне явно пускал тогда ростки. Я, например, завязала на месте потерянной кровати бомбошки малиновую розу из

ленты, которую не вплетала в косички, потому что она была одна — лента, а косичек все-таки — две. Они располагались у меня чуть выше и сзади уха, строго натягивая височки от уголков глаз на восток, если смотреть слева, и на запад, если справа. Или на север-юг, как больше нравится. Косички кончались метелочками на плечах, бантики же сидели параллельно височкам, что по прошествии времени заставляет задуматься о странной определяющей роли виска в жизни девочки, но ей бы тогда мои досужие благоглупости, когда она цепляет малиновую розу на ложе любви.

Так вот запах кислоты, шатающийся послетемпературный ребенок и тетя в шелковом и черном.

— Хымины куры! — закричала она, что означало — бред, чепуха.

Какая болезнь? Абсолютно здоровая девица. Что она, тетя Таня, больных не видела? У нее до войны от скоротечной чахотки умер любимый старший сын Вовочка. Так что насчет болезней как таковых пусть ей не забивают помороки. Она их видела. Она похоронила восемнадцатилетнего красавца, от которого даже в его смертный час пахло цветами, а не кислятиной и тухлостью. Так что, девуля, выметайся Христа ради и не морочь голову интеллигентным людям.

— Твоя бабушка, моя сестра, сроду была панической женщиной. Она рисует картины в голове одна страшней другой и сама их пугается. А я рисую в голове букеты, и у меня ничего плохого не случается.

К этому моменту у тети Тани не только умер красавец сын Вовочка, но и муж Аким Прокофьевич, добрейший и милейший человек, по указанию тети Тани работавший в немецкой комендатуре писарем, за что и был арестован и умер в допре от разрыва сердца и отчаяния, потому что никаким предателем Аким Прокофьевич не был, никакими тайнами не владел, а просто он как полоумный обожал свою жену и делал все, как она велела. Можно сказать, что в дилемме родина и тетя Таня последняя побеждала сразу и навсегда. Когда ему объявили, что он будет сослан и сгноен, дядя Аким прежде всего представил, что никогда не увидит тетю Таню. Большого горя, чем это, у него не могло быть, и жизнь абсолютно теряла смысл. Он и умер, как бы закончив все на земле. К вопросу о букетах. Можно себе вообразить, что, когда его, высоченного и красивого мужчину, выволакивали из камеры, тетя Таня рисовала в своей голове букет ромашек или там васильков. Пожалуй, васильков лучше. Огромный такой оберемок цветов, частично с комочками земли на тонких корнях, тонет в широкой — для фруктов — хрустальной вазе, и некоторые васильковые особи, утопленные в воде, тем не менее смотрят на тебя через стекло как неутопленные, и от этого мне лично делается страшно, не знаю, как вам. Но это ведь я нарисовала такой букет в своей голове, а не тетя Таня.

Тетя Таня вытолкала меня из кислой комнаты, всучив в руки горшок. Спрятав его в угольный склад, я побрела по улице. И встретила быстро семенящего дядю Мишу, как обычно в шляпе с резинкой. Он шел и делал вид, что меня не знает. Этому уже была уважительная причина. Мои путешествия по окрестностям обогатили меня разнообразными знаниями. Например, я случайно разнюхала его семью. Однажды я припала губами к водопроводному крану напиться водички, а к нему с ведром пришла моя одноклассница. Одноклассница была из застрявших у нас эвакуированных и была для нас во многом чудной: не так говорила, не так плела косу, от нее не так пахло. Она объяснила мне, что неприлично пить воду губами из трубы. А то я этого не знала! Моя мама пришибла бы меня, застань за таким занятием. Я бы много чего услышала от нее про *разные губы* и *разные рты*, которые до меня хватали кран. Я бы час полоскала рот марганцовкой, и если б меня вытошнило, это, с точки зрения мамы, была бы просто-напросто внутренняя дезинфекция. Поэтому одноклассница-чужачка с ведром, имеющая мнение насчет того, что прилично и неприлично... Ей ли меня учить! Я сказала ей, что я пью нарочно. Я проверяю воду. Я наплела ей, что мне дали противоядие, что я ищу в воде горечь яда, что остатки фашизма могут проявиться в самом неожиданном месте. Но этот

кран хорош. Она может смело подставлять ведро. Представляю, какой бы хохот вызвала я своим сочинением у коренного народа. У чужаков другой опыт. Он заслоняет путь к местному здравому смыслу.

Вот почему с чужаками легче справляться. Лиля (Лиза? Лина? — имя у нее тоже было с чужинкой), вереща и громыхая ведром, побежала домой. Ее надо догнать до того, как она начнет рассказывать про фашистскую горечь, иначе мне несдобровать. Но она хорошо бегала, эта не аборигенка, она просто налетела на стоящего во дворе мужчину, который хоть и снял шляпу, но что с того? Странгуляционная полоса была на своем законном месте... На шее. Я, как хорошо знакомому, хотела ему все объяснить, но он сурово меня спросил: «Чего тебе, девочка?» Мозги мои скрипнули, но все сообразили. Тем более что Лиля-Лина визжала: «Папенька приехал! Папенька приехал!» Через много, много, много лет на михалковском «Обломове» я стала как полоумная хохотать, одновременно умываясь слезами, когда некий ребенок, бежа в глубину экрана, кричал: «Маменька приехала! Маменька приехала!» Как я могла объяснить сидящим возле связь того и другого? Как? Тем более что связи как таковой и не было. Было нечто во мне одной-единственной на всем белом свете, а посему для других интереса представлять не могло. Что с того, что папенька приехал, не уезжая никуда, и бежать к нему надо было не по цветущему лугу, а по кривой улице, разбитой машинами с коксом и углем, бежать, громыхая цинковым ведром, испугавшись слов о горечи воды, бежать, не ведая, что следом бежит та, что испугала и была испугана этим сама, ах, папенька, спасите нас, дурочек. «Что тебе, девочка?» — сказал папенька и затворил калитку, оставив меня за ее пределами. Что-то громко рассказывала Лиля-Лина, вышла женщина с ведром — мама, что ли? — прошла мимо меня, пожала плечами. «Чего эти дети только не выдумают, чего не выдумают? А еще из хорошей семьи».

Значит, она знала нашу семью?

Значит, знала и тетю Таню?

Но это было до того. До того, как тетя Таня выставила меня с горшком больную из дома и я встретила чужого папеньку, который сделал вид, что меня не знает. Идти никуда не хотелось. В ближайшей балке, а у нас их сколько хочешь, я присела на камень и заплакала. Я теперь понимаю: плакала во мне болезнь, которой хотелось лечь в кроватку, хотелось укуса на лоб и горячего чая. Посидев и поплавав, я побрела куда глаза глядят, получилось — к бабушке. И вся эта история, несмотря на некоторую местную экзотичность, могла быть забыта навсегда, не случись шифер. Именно в этот день дедушка взял в конторе подводу, чтоб привезти на нашу стройку шифер. Это обстоятельство было посильнее, чем Фауст у Гёте. Дедушка, бабушка, мама, моя младшая сестра бережно, как яички Фаберже, складывали в стопочку шиферины, восхищаясь их красотой и уместностью в текущей жизни. Уж осень близится... Какое сравнение может быть шифера с толем? Даже смешно ставить этот вопрос, и мама нежно проводила рукой по серому телу шифера и говорила: «Как бархат!» Это свойство нашей семьи — выражать восхищение при помощи несуразных сравнений. Перец у нас такой горький, что аж пищит, шифер, естественно, бархатный. Главное ведь — передать восхищение, а это достигалось. Когда уже кончали переключать шифер с подводы под навес, сквозь двор прошла я. Как рассказывала потом бабушка, я вошла с одной стороны и, не глядя ни на кого, как лунатик, прошла мимо родных и шифера и, переступая через огуречную огудину, направилась к выходу с другой стороны стройки, ну вроде как чужая собака вбежала и выбежала. Видимо, за последний месяц во мне так хорошо сформировался процесс хольбы, что даже в тот момент, когда градусник зашкалило, а сознание почти покинуло, ноги мои все равно шли.

Если бы не сопровождающий шифер дедушка, история закончилась бы монологом бабушки на тему «что еще ждать от этой сестры-сучки?». Дело в том, что тетю Таню я выдала сразу. Я назвала две вещи — горшок и тетю

Таню. И моей умной бабушке стало понятно все, и она сказала дедушке: «Езжай на работу, я тебе обещаю — ребенок не умрет».

Но дедушке этого было недостаточно. Он сел на освобожденную от шифера подводу и уже через двадцать минут вытаскивал из кровати с малиновой розой «папеньку». Он поставил его голым во дворе, выбрасывая ему в неправильном порядке вещи: первым был выброшен ремень, потом ботинки, а трусы шли напоследок. Пришедшие со смены вербованные украинки не могли глаз оторвать от голого мужчины, стоящего посередине двора, они не визжали, не забились под кровать, а стояли с открытыми ртами и смотрели *туда*, в то самое место, которое наш герой старался прикрыть руками, но, как выяснилось, ладоньки имел махонькие-махонькие, и простраство стыда и наслаждения вылезало из-под них и даже как бы просачивалось. Тете Тане дедушка дал возможность одеться. Тут сказалась родственность, ничего не скажешь.

Тетя Таня была отлучена от нашего дома на несколько лет. Она встречалась с бабушкой тайком не только от дедушки, но и от мамы, которая не могла простить тете Тане не тяжелую и длинную болезнь, в которую я свалилась, а мое участие «в этой гадости». Долгие годы мама бдительно следила, не проявится ли во мне микроб распутства, не пойду ли, сбитая в малолетстве с правильного толка, не тем путем. Тетя Таня костерила меня налево и направо, употребляя один, но бесспорный аргумент: «Вы только подумайте! Так предательски поступила будущая женщина!» Ее роман с человеком в шляпе кончился на голом моменте во дворе раз и навсегда. Было много других романов, но они уже прошли мимо меня. Когда же наконец все помирились и тетя Таня стала у нас снова бывать, меня настигли угрызения совести. Меня стал мучить грех предательства, а роман оброс разнообразными душещипательными деталями: как тетя Таня шевелила пальчиками ног в тазу, задрав подол, и объясняла мне, как это важно — иметь нежную, как персик, пятку, вот у нее именно такая, и она регулярно трет ее пемзой, чтоб, не дай бог, не закошлатилась, как у Кати (у бабушки). «У тебя такой пятки не будет, — со знанием говорила она мне, — у нас большая половина женщин в роду плоскостопная. Это меня Бог миловал!» Тетя Таня влезала в лодочки тридцать четвертого размера, а я стыдливо подбирала под себя свои плоскостопные ступни с некондиционной пяткой.

Был такой момент — я захотела перед ней повиниться. Я уже училась в университете, приехала на каникулы. Тетя Таня долго напрягала лобик, хмурилась, но так ничего и не вспомнила.

— У тебя, девица, такое живое воображение, как у твоей бабушки. Ну ты же знаешь... Она в голове рисует картины...

— А вы букеты.

— Букеты? С чего ты взяла? Букеты я люблю получать. От мужчин. А рисовать в голове? Я что, неполноценная?

Тетя Таня была полноценная на сто процентов. В свои семьдесят она перехватила по дороге едущего из Сибири во Францию своего первого возлюбленного, белого офицера, сына хозяина наших шахт, прожившего длинную и разнокалиберную жизнь где-то в тайге, уже ближе к Америке. Тем не менее умереть он захотел во Франции, где жили его братья и сестры. Благо время уже было вегетарьянское, и ему и его детям было разрешено умирать где хотят. На свое горе (а может, счастье?), он решил посмотреть «родительские рудники», сделал крюк и напоролся на тетю Таню. Я тогда жила далеко, тоже, считай, ближе к Америке. Историю эту мне рассказала мама. Как тетя Таня опять и снова обольстила бывшего возлюбленного, как он ошалел (тети Танино определение) от ее красоты. Как он забыл Францию, а поперся в загс, прижимая ее к ноге (потому как в росте это было полтора и два метра). Но возникла загвоздка с его пропиской, и любовникам дали отлуп. Они пошли в церковь (в другом городе), но во дворе ее остановились. Судили-рядили и — о великий страх! — все-таки испугались. (А чего, спрашивается? Чего можно испу-



гаться в семьдесят — восемьдесят? Видимо, все того же, раз испугались...) Сибирские дети и французские братья и сестры завалили блудящего папу и брата телеграммами. «Старик стал нараскоряку, — говорила мама. — Ты бы его видела! В минуту рзвалися. Тетя Таня наша быстро сообразила, что, останься он, ей его еще и хоронить придется, а до того и горшки могут возникнуть... Она быстренько отправила возлюбленного в Париж — и как в воду глядела: он по дороге умер. А может, не умер? Я ведь все знаю от нее. Тете Тани приятней думать, что умер, чем что ходит по Парижу. Но я тоже думаю — умер. У него такой вид был — на ладан». Так рассказывала мама.

У тети Тани был роман и в восемьдесят, и в восемьдесят пять... «И всегда с участием тела, — брезгливо говорила моя мама. — Не просто чайку попить».

Я пишу, а за окном плачет лето. Который уже июнь у меня стонут от сырости почки. Болезнь оттуда, от той детской простуды. Каждый раз, когда постанывает почка, пощипывает и сердце. И я опять и опять начинаю бродить по местам детства. Вот и тетя Таня возникла оттуда. Исполнила ли я ее желание продлиться в жизни, еще и в моем слабом изложении?

Как выяснилось — нет. Она опять пришла ко мне в бессонницу и села рядом, охорашивая на своем бесплотном теле невидимые мне шелка. «Я ничего больше не помню, — сказала я ей. — Ничего». Она вздохнула, как могла бы тяжело вздохнуть божья коровка, и я поняла, что дело свое я еще не сделала. Но уже знала, в чем оно... Сам этот переход от полного незнания к оглушительному знанию хорошо бы умело и умно описать. Но где их взять — умелость и ум? Это гости редкие, аристократические, а тут надо взять и грубо объединить Эпикура и моего приятеля Зотова, который, нагрузившись книгами в Москве, долго и шумно соображал, что из книг сбросить, чтоб не надорвать почку. Чувствуете — опять почка, в смысле завязь. Сбросил трехтомник Лотмана со строгим указанием сохранить, а главное, не лапать без нужды. Он знал эту мою привычку: если вокруг меня не гнездится сразу полтора десятка книг, так я вроде и не при деле. Ну, в общем, влезла я в Лотмана, а в нем про Сквороду, который писал про Христа и Эпикура. Как в сказке: есть шкатулка, а в ней яйцо, а в нем иголка. Иголочка и ковырнула мысль: христианство — религия радостная, поэтому в одну связку Христа и Эпикура соединять вполне грамотно. Мои неглубокие мысли на этот счет вряд ли кого-нибудь заинтересуют. Я ведь эпикурейцев сроду не видела, насчет пожрать, попить и потрахаться народ, конечно, встречался, но вот чтоб любить наслаждения да и быть христианином — тут в моих мозгах происходит скрип и нестыковка. И только я, мимолетно позанимавшись философией, решила, что пришла пора делам важным и серьезным (мне надо было заказывать портрет для надгробия моей тетки, истинной тетки, не тети Тани, напоминаю, она была мне, по сути, бабушкой) — так вот, одеваясь соответственно предстоящему делу — тускло и серо: надгробие же! — я поняла, чего не договорила о тете Тане.

Об ее умершем от туберкулеза сыне Вовочке я уже упоминала в связи с его благоуханием накануне смерти. У тети Тани был и младший сын — Талик. Он был старше меня лет на пять, в детстве это на целую эпоху. Почему-то в нашей, как теперь говорят, русскоязычной украинской семье он один предпочитал язык украинский. Привычные понятия, сказанные хоть и родным по сути, но не принятым по жизни языком, определили Талику славу балагура и острослова.

— Ой, як я злякався! — говорил Талик, обходя нашу беззлобную, но шумливую собаку, и всем уже становилось весело, что он «злякався», что такой большой, а пугливый... Надо же — злякався.

— Ну как твоя невеста? — спрашивала бабушка (это к примеру).

— Дбає скрыню, — отвечал Талик. Готовит приданое. И мы уже понимали, что очередная невеста, как и все предыдущие, еще не царицка, а у Талика простой.

Здесь многое было непонятно. На Талике гроздьями висели девки, а он их по одной отшелкивал, как гусениц. А этого не должно было быть, потому как не могло быть никогда. Дело в том, что у Талика от природы не удалось то самое местечко, без которого женитьба может оказаться вещью весьма проблематичной. Однажды он нам, девчонкам, продемонстрировал свою птичку-невеличку, говоря с веселой скорбью:

— Оце така у мене, дивчата, штуковина, на тильке попысать и хвата...

Почти у всех нас росли братья, которых мы нянчили, поэтому понятие, каким *это* должно быть, имелось. Но он продолжал похохатывать над собой и всеми, используя «ридну мову», а потом взял и женился на молодой заведующей детским садиком. Девушка была еще та! Из пионерской речевки: тот, кто смотрит «Фантомас», тот и родину продаст. Нина все знала точно. Женщине в ярко-красном неприлично — не девочка. Девочке в темно-синем нельзя — не женщина. Без подкладных плеч вещь не носят, она не сидит и не смотрится. Колено должно быть закрыто всегда, потому что только идиот может забыть о существовании у колена еще и подколенной ямки, а это та же подмышка, только снизу. Неприлично ею сверкать в лицо людям пожилым. Я напоминаю, что речь идет о перфектном времени, можно сказать, по давности почти античном, а по строгости норм так инквизиционном. Сама Нина была строга и в одежде, и в мыслях, возможно, и в душе — но это мне неведомо, ибо души тогда не существовало. Мы все, как один, состояли из физики и химии, делились клетками, потом распадались в прах, и Нина, четко зная конец и начало, радостно наполняла середину одной известной ей радостью — питанием. Во всяком случае, машина с продуктами для детского сада вначале приезжала домой к Нине, где подвергалась «аннексии и контрибуции», только потом облегченным весом двигалась в детский сад. Но попробовал бы кто что-то сказать!

Нина была членом райкома, Нинин детсад блистал чистотой и наглядной агитацией, и самое удивительное: питание в нем, несмотря на крюк, который делала машина, было отменным. Тайны социализма в этом не было. Как ее нет вообще в материализме. Атом — он и есть атом. Ковыряйся и познавай. К Нине дети попадали по благу, за взятку, ее молили взять ребенка «на любых условиях», и Нина ставила условия исключительно продуктовые. Поэтому молоко у нее было самым жирным, мясо самым молодым, рыба самой свежей. Тетя Таня заворачивала дармовые куски так, чтобы они не выглядели продуктами, и приносила моей бабушке. И в этом подаянии, пожалуй, было больше хвастовства, чем щедрости. Все-таки старость у моей бабушки была куда менее питательной и вкусной, несмотря на очевидное ее моральное превосходство, и тетя Таня, разворачивая кусок говяжьей печенки, как бы намекала на небесспорность добродетели. Кто это лично разговаривал с Богом и тот ему точно подтвердил, как жить нельзя, а как можно? Кто? Может, поговори с Богом честный человек, который потом Божьи слова не приспособит для своей корысти, то получится, что жить надо по хотению, по страсти, а не по долгу и верности? Вот ты, Катя, какая уж из себя жена-жена и мать-мать-мать? А хорошо тебе, Катя, честно скажи, хорошо? Зубов нет, нервная экзема чешется, матка опустилась к самому выходу наружу, пальцы на ногах карабкаются друг на друга как малахольные, одна на них обувь — галоши, а кто тебе, Катя, принесет нежнейшую печенку — пять минут и готова?

Талик и Нина родили Талика и Толика. Тогда еще не было манеры крестить напоказ детей, народ от этого дела поотвык, подзабыл, да и где крестить, если церкви близко не было. Но опять же... Атеизм атеизмом, а кто его знает на самом деле? Грубо говоря, вроде Бога и отменили, — а если не грубо, а тонко? Отчего болит душа, если ее; заразы, как бы и нет? А стыд — это что? Вот все вроде хорошо, все путем — а душу тянет? Это какого рода предмет? Одним словом, детей не крестили, а крестных назначали, именно на случай души. Вот я и стала крестной Талика, сына Талика. У меня до сих пор есть фотография хорошенького младенца, абсолют-

но беспишного, как и его батя, на которой написано каллиграфическим почерком тети Тани: «Дорогой крестной от Талика».

Так вот и жили. Как под квачем проваливались десятилетия, оставляя отметинами в памяти отрезанные груди у подруг, массовое оглупление мужчин, чужим телом пахнувшие трусики дочерей, девочек-невесток, которые приходят робко и садятся краешком попки, а потом вдруг хрясь! — а это уже ты сидишь на стуле краешком. Возможно, у кого-нибудь взлетает время вверх, к небу. Возможно. Возможно, там... Я не была в Аргентине. И я не была тетей Таней. Потому что только у нее и случилось все исключительно в радость. Даже смерть. Понятно теперь, почему я облокотилась на бесспорные авторитеты Сквороды и Лотмана? Тут, возле чего-то недосягаемого, и гнездится тайна тети Тани.

Однажды, далеко от тех, послевоенных, времен и ближе к сегодняшним, я получила от тети Тани единственное письмо. Ей было уже лет восемьдесят семь, она только-только вышла из своего последнего романа: старый большевик, орден Ленина, костяная нога, спец-столовая-поликлиника. Одним словом, цены большевику не было. Его можно было поставить рядом только с юным сыном владельца рудников в пятнадцатом году, что до нашей эры, влюбленным в выпускницу-гимназистку Танечку. Но, пожалуй, большевик был даже выше, потому как время выдвинуло вперед значимость столовой и поликлиники. Конечно, протез — минус существенный, ибо пока то да се... Отстегни, пристегни... Тетя Таня — и ляганье ремней? И громкое падение ноги на пол? И жалобное: «Танечка! Подкати мне ее ближе»? Нет, не перевешивали гречневая крупа и филе трески такие подробности. И тетя Таня отказалась закрепить этот как бы последний союз, огорчив этим не только ветерана партии (старик плакал и сморкался, а очки его были мутные, невымытые), но и его детей, которые давно мечтали о старухе, подкатывающей или там подносящей съемную ногу отцу. Огорчилась и Нина, которая нуждалась в большем жизненном пространстве. Она уже не могла разойтись с тетей Таней в узеньком коридоре. Кому-то из них приходилось входить во встроенный шкаф, чтоб пропустить другого, и всегда после этого на пол валялись шапки из ондатры, лисы, норки, и однажды именно в норку пописал кот Савелий. Куда она после этого годилась? Шапка? Даже стираная и сбрызнутая духами «Клима»? Как раз в этот момент, когда шапка выветривалась на балконе, Талик и звезданулся на своем мотоцикле. Насмерть.

Мне написала об этом мама, добавив, что со стороны тети Тани полнейшая дурь была вызывать их телеграммой, «будто ближние края и мы молодежь какая... Но ты же знаешь тети Танин ум...».

Я как-то упустила сообщить, что все мы уже жили в разных городах, что Нина, поднакопив материальных ценностей на наших шахтерских харчах, перевела эти ценности в дом на берегу Азовского моря, как известно, лучшего в мире по теплоте и безопасности плавания. Метров триста шагаешь, пока вода начнет затекать в пуп, если он, конечно, не торчит на животе дулечкой, тогда затекания не происходит. Иду дальше. Так что жить в доме с садом в таком месте — это завоевание жизни сродни членству в бюро райкома или машине «Лада» в экспортном исполнении (доблести ушедшего времени).

Рассказав за ужином мужу и детям, что погиб какой-то неизвестный им родственник, я напоролась на удивленные глаза домочадцев.

— Будем плакать? — спросил сын. — Или обойдемся минутой молчания?

— Обойдемся, — ответила я. — Хотя можно и без иронии. Нестарый еще человек и родственник к тому же.

А потом пришло письмо. Сто раз выгребая и выбрасывая всякую бумажную муру, это письмо всегда откладывала в сторону. Привожу его полностью:

«Уважаемая и дорогая Ольга Сергеевна! (Уже опупеть можно.) Сообщаю вам скорбную весть — в страшной кровавой катастрофе погиб наш

дорогой сын Виталий Акимович. (Имелось в виду мой и ее, общий? Ну да ладно, тут что ни строчка, хочется восклицать и всплескивать.) Смерть вырвала его из рядов тружеников и из лона любящей семьи. На славу потрудились медицинские работники, собирая тело покойника, и ты не поверишь, девушка, в гробу он был как живой, такое было мастерство косметики. Не скажу, что под костюмом, не видела, мать такого не вынесла бы, но лицо как от хорошего парикмахера. Ты, может, помнишь, у нас такой был — Нема Губерман? Он ухаживал за мной еще до войны, но ты знаешь мои устои. У меня был дорогой муж, который любил меня без памяти и в конкурсе с Немой победил с убедительным счетом. Они дрались в Дылеевской балке, кто видел, тот это подтвердит. А потом Нема эвакуировался и как в воду канул, а мой дорогой муж грудью встретил оккупантов. Это известно истории.

Дорогой наш Талик был красив в гробу, и все молодые женщины — не поверишь, даже посторонние — норовили подойти и поцеловать его, и если бы не твердая рука Нины, это никогда бы не кончилось.

Вы, Ольга Сергеевна, работаете в кино и вполне можете это снять, и это будут такие слезы, что ты, девушка, сможешь получить лауреата и станешь известна всей стране в большей степени, чем в меньшей. Про количество венков и говорить не приходится. Это что-то невозможное. Венки занимали пол-улицы, и не думай, что проволочные, как для бедных, — из елок и живых цветов, просто, можно сказать, гирилянды. Речи тоже не кончались, если бы не твердая рука Нины, люди бы говорили сутками. Все подчеркивали, какой великий человек был Виталий Акимович, как много он сделал для людей, как Данко. Могилу ему вырыли в десяти метрах от главной аллеи, рядом два Героя Социалистического Труда и завуч школы, молодая совсем женщина, — рак матки. Я плохо видела от слез, а еще и от гипюрового черного платка, который все время сползал на лицо, исключительно тонкий, старинного качества материал. Поминки были в ресторане «Золотая рыбка» — самом лучшем в нашем городе. Я не говорю про узвар и кутью, это мы отдаем дань нашему неграмотному прошлому, когда и пища-то хорошей не было, а только то, что под ногами. Но мы не ударили лицом в грязь, не посрамили нашего возлюбленного сына. Девуля! У нас было все. И свинина, и осетрина, и копченые куры, и всякая остальная мелочь. Но семье погибшего это ничего не стоило, общественность города с радостью взяла все на себя и не расходилась до глубокой ночи. Чтоб облегчить мне страдания, из кабинета директора ресторана принесли для меня мягчайшее кресло из Финляндии, цвет беж, и подкатили мне столик на колесиках. Такое удобство, скажу тебе. И я получила прекрасную возможность слушать воспоминания друзей моего единственного, не считая покойного Вовочки, сына о его жизни и деятельности. Ольга Сергеевна! От имени всех присутствующих на знаменательном событии я прошу вас не оставить жизнь и деятельность моего сына, а вашего близкого родственника без следа. Девуля! Кино просто просится — такая биография. И детство в оккупации, Талик ведь все время точил нож на врага, а был совсем невинное дитя. И его общественную работу на ниве профсоюза. Сколько культурных мероприятий он провел для простых людей. А какой он был семьянин! Про это ходят легенды, как он отвезил Нину с аппендицитом. А сколько трагических исходов от легкомысленного отношения к болям в боку? Талик же пошел к соседу, и тот, не считаясь с личной жизнью — к нему приехала дама из Воронежа, детский врач, разведенная, — отвез Нину в больницу. Ты же помнишь его! Отзывчивость, отзывчивость и еще раз отзывчивость — девиз моего сына. И ничего себе — только скромность».

Далее в письме следовал перечень всех надписей на венках. Надо уметь читать, господатоарищи, чтоб во всей этой траурно-бюрократической мути усмотреть нечто! Но тетя Таня усмотрела! Великий генератор превращений, она претворила муть в золотое слово, а горе в радость, и я все думаю: в какой момент трагедии включился ее пламенный мотор?

Вот звонок. В дверь? По телефону? Или крик с улицы: «Убился! Убил-ся!»? И старая женщина вдруг понимает, до нее *доходит*, что речь идет о ее сыне. Что она начинает делать допрежь всего? Кричать? Плакать? Пада-ет замертво? Нет. Она лезет в комод за гипюровой косынкой. Похороны в ее возрасте — вещь частая, косынка недалеко, к тому же тетя Таня с моло-дости обожает черное. Оно ей идет. Когда-то, когда-то к черному шелку шла коротенькая стрижка черных как смоль волос. Челочка уголочком, ви-сочки высокие, выше уха. Брови, выведенные карандашом не на месте бе-лесых коротеньких всходов, а где-то там, на середине лба, чтоб подчерк-нуть удивление радостностью жизни. И крохотная бородавчатая родинка у носа обмазывалась тем же слюнялым карандашом и называлась мушка. Губы, конечно, тоже рисовались, хотя в этом не было никакого резона. Сочные, яркие, они раньше всего остального определяли главное — страстность и жадность к жизни. Когда, подчиняясь моде, она рисовала губы сердечком, это главное выпирало особенно. Нет, не для чайной ло-жечки радости родился этот ротик, а для хорошей деревянной поварешки, в которой горячее не горячо, холодное не холодно, а потому хлебай — не хочу. Радость моя, жизнь!

Я ответила тете Тане открыткой, буквы в ней были расставлены широ-ко, чтоб меньше влезло слов. Потому что их у меня не было — слов. Тети Таниными я не владела по причине полной жизненной бездарности. В собственной же лексике — увы! — было слишком много желчи. Слава богу, что мой над-ум вовремя это протрубил. А то бы с подачи низа, пот-рохов, могла бы ляпнуть черт-те что и потом ела бы себя и выплевывала, ела и выплевывала. Дело в моей жизни обычное.

А вот теперь, когда мое время стало потихоньку сжиматься, вытесняя в другое пространство, в другие миры несказанное, невыполненное, именно тетя Таня прорвалась через непроходимую стену между... Между чем? От-куда она свалилась на меня? У меня ведь другое на столе — какая-то горь-кая женщина с суицидом в голове, какие-то слабо говорящие на неизвест-ном миру языке мужчины, печальные дети в пупырышках диатеза, да мало ли чего определено мною как важное, наипервейшее на ближайшие как минимум десять, повезет — пятнадцать лет. Дай мне их Бог, дай, не по-купись.

Но подкралась тетя Таня. Она дышала мне в ухо и целовала меня сво-ими необъятными губами. Только склонностью к сентиментальной фан-тастике можно объяснить странное предположение, что это были губы мальчика Жени. Игра воображения? Печаль, что мальчик вырос и подхра-пывает в электричках, как какой-нибудь молодой старик?

Тетя Таня ест тетя Таня. Сумела меня достать. Она применила свое средство — любовное. Наверное, пролетая над Юпитером и Череповцом, она размышляла: «Эта девуля, Катина внучка, сроду была малокровная, я ей лично оттягивала веко и смотрела — одна бледнота. А семья позволяла ей читать до помрачения. Они спятили на образовании, как будто от этого у женщины делается другое устройство. Как будто книжки могут заменить поцелуй и тем более... Я говорила это своей сестре-дуре Кате в лоб: «У де-вочки подрастают грудочки. Это так красиво, Катя, нет слов! Объясни ей эту красоту». А она на меня мокрым веником. И платье на девулю напяли-вали старушечьего цвета, чтоб ни намек на грудочки, ни намек на по-почку, подчеркивалась одна голова, набитая книжками. Ах боже ты мой! Вот пролетаю над Череповцом — и нету у меня слов для выражения отно-шения к Череповцу и всему остальному. Какие же идиоты!»

Я рассказала все как могла. Спи спокойно, тетя Таня, а хочешь — ле-тай. Хотя о чем я говорю? Разве по тебе эта бабочкинская жизнь? От эль-фов только Дюймовочке кайф... Да что там говорить... Вся надежда, что где-то что-то набрякнет, где-то что-то раскроется, возникнет завязь — и тетя Таня вернется на землю целоваться, как только она умеет.

---

---

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ



## ТИХАЯ КОМНАТА

*Рассказ*

**В** прочем, он совсем не старик, на вид лет пятидесяти семи, высокий, усталый, нелюдимый; в его осанке проговаривалась порода, которую не удалось размыть и ледяному течению золотоносных северных рек, точно состав у его костей оказался иным, чем у многих тысяч других людей, навсегда ушедших в вечную мерзлоту, и они наделены от природы таким запасом прочности, что способны выдержать еще более тяжкие удары судьбы. Лицо его, проплывавшее в мутном окошке трамвая, мгновенно отпечатывалось в вашей памяти, как сумрачная серебряная медаль, посвященная давно забытой битве, как доисторическим резцом высеченная маска, все реже примеряемая природой к людям, живущим в разные эпохи, но обладающим такой прямой и ясной статью. Непонятно только было, к чему это благородство черт и экономность движений, ведь каждая прожитая им минута теперь была пронизана бытом, совсем другие предметы и знаки должны были быть развешаны на подвижных крюках улетающих в вечность мгновений — например, доспехи воина, астролябия или древние папирусы ученого, но уж никак не картофель или брюква, которые он, бережно ощупывая, сварливо прицениваясь к ним, покупает на рынке, не помойное ведро, которое он раз в три дня выносит во двор с особым чувством собственника, наживающего какой-никакой мусор, и не витая тесемочка, на которой он остановил свой выбор, после того как дотошно обследовал близлежащий галантерейный магазин. Тесемочка понадобилась ему для связки ключей — для ключей от общей квартиры и от собственной комнаты, — и теперь, топчась на самодельном, сплетенном из цветных тряпичных лоскутов половичке перед дверью, он извлекал их из нагрудного кармана пиджака с такой же гостеприимной готовностью, с какой апостол Петр у небесных врат встречает праведников, торопясь обрести самого себя в райских просторах своего жилища как дорогого, заслужившего наконец себе покой гостя. Из этого же кармана, как нагрудный носовой платок, выглядывал уголок потертой на сгибах медицинской справки, сообщавшей, что пенсионер такой-то «страдает болезнью Меньера, выражающейся во внезапно наступающих приступах: внезапном падении, головокружении, рвоте, нарушении равновесия. В случае проявления приступа на улице или в общественных местах просьба к гражданам оказать больному помощь: помочь ему лечь, положить его на теплое место, голову обливать холодной водой, ноги согреть, вынести на свежий воздух из душного помещения, только не на солнце. Не усаживать и не поднимать голову. Вызвать „скорую помощь”». Круглую печать на справку поставил он сам лично, помогая нерасторопной медсестре: он взял у нее из рук эту резиновую штуку, чтобы своим дыханием отогреть каждую букву, прежде чем она отпечатается на бумаге, и, таким образом, всякий уличный свидетель случавшегося с ним время от времени несчастья имел дело с документом, заверенным теплым оттиском его собственного дыхания.

Когда-то знавшие его люди, наверное, были бы весьма разочарованы молитвенным и согбенным выражением его руки, в которую жэковская

сотрудница, как очередную пайку, вложила эти ключи — один большой и один маленький. Если б знавшие его прежде люди присутствовали при этой сцене, они были бы возмущены той торопливой обывательской готовностью, с какой он принял ключи из рук безжалостного государства, перемоловшего их общие судьбы в лагерную пыль, их непрощающие лица окружили б его гневным кольцом, его, так легко нарушившего высокую скорбную торжественность этого момента, по сути предавшего их коллективное чувство чести и трагически поправленного достоинства... Но все это были литературные люди, его знакомцы, жизнью которых так или иначе правила литература, обрекающая героя на поступки, выгодные ей самой, литературе же. Даже тот ад, в котором побывали некоторые из них, не смог отнять у них их литературу, как у него — его статью, поэтому он им не верил. Искусства быть не должно, говорил он. Оно, как лисий хвост, замечает следы перенесенных страданий. И трагической земли, начиненной подвалами, полными мук, вида которых не в силах бывает вынести даже тюремный врач, тоже быть не должно.

...Он стоял, прислонясь к дверному косяку. Это был его собственный дверной косяк, и он мог простоять, прислонившись к нему, хоть до следующего утра. На старом, стертом паркете лежал квадрат солнечного света, из которого раскрытый ящик с инструментами, внесенный в центр комнаты, выкроил продолговатый кусок тени. Он рассматривал стены первого в своей жизни жилища, в которых всходило его прекрасное одинокое будущее, гладил и ощупывал их чуткими пальцами, как любящий муж ощупывает чрево своей беременной жены. Выражение его рук было музыкальным. Он готовился к погружению в прекрасный мир бытовых подробностей, в мир собственности, в котором каждая минута будет озарена наслаждением вольного труда. Он вобьет их в стены, эти минуты, как крепкие, с умом подобранные гвозди, и развесит на них привычки, которыми так долго не мог обзавестись. Здесь будут книжные полки, а здесь шкаф, большой шкаф... здесь вешалка, а на подоконнике следует завести цветок...

Он обошел несколько магазинов в поисках штапеля для штор, ему хотелось и того, в сиреневых разводах, и этого, с глазками, и в мелкую клетку — он трогал ткань, мял ее в пальцах, принюхивался, но покупать не торопился. В одном маленьком магазине он набрел на почти воздушный, светлый батист, усеянный мелкими цветами. И теперь, вечерами подсаживаясь к окну, занавешенному новыми шторами, он мысленно составлял из них букеты — пока ткань не становилась чисто белой, как простыня, выгоревшая от жара его воображения. Он следил из окна за журавлиным клином улетающего вечернего света, часами смотрел на закат, затканый печально вчерашних красок, красотой воспоминания... Может, в такие минуты муза подходила к нему бесшумно, вплотную, так, что штора чуть шевелилась от ее дыхания и он слышал хрустальное позванивание легкой рифмы.

Если попытаться свести в один общий портрет черты его облика, отпечатавшиеся в памяти знавших его людей, то поневоле подумаешь, что дьявольские силы, исковеркавшие его судьбу, исправно поработали и здесь, над размыванием его личности и человеческой физиономии, с тем чтобы оставить потомкам смутное, зыбкое, как бы все время убывающее на наших глазах изображение, стертое, как у заключенных на картине Ван Гога. Одна женщина, работник редакции журнала, в который он приходил со стихами, вспоминала о нем так:

— Он был страшен, страшен, как огромный паук или краб, загребавший конечностями при ходьбе. Руки — как клешни, стригущие воздух, ступни огромные и косолапые. И под стать его телу был голос — сорванный, хриплый, изломанный. Одет он был во что-то темное, большое, точно с чужого плеча, в какую-то хламиду, как Христос у Крамского. Он вызывал страх и желание немедленно отвести глаза. Стихотворения его я

прочитала позже и была потрясена несовпадением его облика с их чистой и культурной интонацией...

Она вспоминала, как однажды повстречала его на улице. Редакция журнала в те времена располагалась неподалеку от большой московской булочной. Он стоял на углу перед витриной булочной согнувшись, как всегда, и с пристальным вниманием, цепко, точно в лицо интересного собеседника, всматривался в хлеб за стеклом, в нарядные, франтоватые булочки, плетеные с маком и сдобные с изюмом, с румяной корочкой, обильно смазанные желтком. Здесь же пышные, высокие, белые хлебы из лучших сортов пшеницы и ржаные, обдирные, посыпанные солью хлебцы, черные, густо покрытые тмином буханки, каравай с запекшимся по исподу гребешком... Она знала, что он получал пенсию, которой должно было хватать на скромную жизнь. Но взгляд его был настырен и вездесущ, как у голодного, который мысленно до желудочных колик пытается насытиться всем этим ржаным и пшеничным... Но, наверное, не голод в эти минуты горел в его взгляде. Он наслаждался почти осмысленной жертвенностью хлеба, от которого шло тихое свечение, он чувствовал глубокое братство между ним и человеком. Батоны, булки, буханки, ватрушки, булочки косяком плыли сквозь человеческое небо в небеса, к которым тянулись всходы будущего каравая.

Она сказала: «Здравствуйте» — и он, как человек, которого оторвали от чудесного видения, повернулся и мрачно наклонил голову. И тут же пошел прочь, загребая ногами гнилой мартовский снег.

Другая женщина, редактор его единственной прижизненной журнальной публикации, совсем иначе описала его:

— У него была поразительная осанка, с какой в прежние годы и в самом деле невозможно было удержаться на воле. Много я видела известных писателей, они все перебивали у нас в журнале, но даже у самых маститых, к кому приходилось гонять курьера за их рукописями, хотя они жили в двух минутах ходьбы от редакции, не было такой осанки, как они ни пыжились. Это, наверное, врожденное. Он был высок, временами, когда чувствовал к себе расположение, делался красив, очень тщателен и разборчив в одежде. Помню его в длинном, черном, широком, почти рыцарском — на нем — плаще... Речь его была яркой, образной, за ним хотелось записывать. Он сопровождал свои рассказы плавной и крупной, как у священника, жестикуляцией. Замечательно читал свои и чужие стихи, особенно Пастернака, влияние которого чувствовал на себе какое-то время. Он любил хорошего, умного собеседника, буквально впивался в него и долго не отпускал...

Трудно было заманить его на человеческие собрания. Зрение его теперь было устроено таким образом, что, окажись он даже в палате лордов, он и там увидел бы знакомые физиономии мужиков, сук, насекомых и либеральной 58-й статьи у параша. И сколько бы его ни уверяли, что здесь собрались джентльмены, он знал, что подует ветер перемен, о котором теперь ходило столько разговоров, — и картина будет именно такой, какая отпечаталась навечно на его сетчатке в рембрандтовском свете барачной коптилки, когда с человека слетает, как сухая листва с дерева, двадцать веков цивилизации и он превращается в голодного, угрюмого, злого зверя, подстерегающего такого же зверя... Неприятно было то, что он часто отвечал невпопад, такая, что ли, у него была манера, и не столько слушал говорившего, сколько смотрел на его шевелящиеся губы... Этот ветер перемен, возражал он, доносит запах разложившихся трупов, и только. Реабилитация — насурьмленный, напомаженный труп. Культ личности — самая отвратительная ложь, которую он когда-либо слышал. Не было ни культа, ни личности, был ветер очередных перемен, принесший обильный урожай лицемеров и ласковых садистов. «Краткий курс», книжица людоеда, вызывала в нем меньшее отвращение, чем современные книги и статьи, написанные унылыми казуистами и ушлыми дураками. Он был бескомпромис-



сен. И когда ему однажды в запальчивости ответили, что таким непримиримым его сделала тяжелая судьба, он поднес к носу собеседника кукиш и с кривой ухмылкой возразил, что судьба его была самой обыкновенной-разобыкновеннейшей, судьба как судьба.

В наследство от прежних жильцов этой прекрасной комнаты ему досталась картонная коробка, доверху наполненная старыми елочными игрушками, когда-то подаренными рано умершему от дифтерита ребенку. Игрушки пролежали на антресолях многие годы нетронутыми, бережно упакованные для сохранности в обрывки старых, пожелтевших от времени газет. Странно, что никто из предыдущих жильцов этой комнаты не польстился на них; впрочем, это имело свое объяснение. В тридцатые годы елки были под запретом как пережиток царского режима. Специально назначенные домкомом общественники с наступлением новогодних праздников неутомимо рыскали по квартирам, заглядывая в окна, присматриваясь к заснеженным тропинкам, на каком-то повороте вдруг усеянным зелеными иголками, которые иногда приводили прямо к нарушителям... Занимаясь благоустройством своего жилища, он не сразу разгадал мистический смысл дара, пылившегося на антресолях, в первый момент увлеченно беглым осмотром и ощупыванием сквозь газетную бумагу лежавших сверху хрупких стеклянных шаров. Но однажды, заделав алебастром глубокие дыры от гвоздей, принадлежавшие, должно быть, шишкинским медведям или зайцам деда Мазая, он решил дать себе отдых, снял ящик с антресолей, присел на корточки перед ним и принялся очищать богатый стеклярус и воздушное стекло от газетной шелухи. Первым на свет Божий появился ослик из папье-маше с Христом на спине, въезжающим в елочный Иерусалим. Он подержал на ладони вещь, удивляясь ее мягкости и прочности, решая в уме, какое же послание из прошедших времен она в себе заключает, и машинально бросил взгляд на желтый обрывок газеты, в который игрушка была завернута. «...«Призовите на помощь все силы ума и, памятуя о последствиях, отвечайте на последний и решительный вопрос: вы ли это писали?» Митрополит отвечал: «Я несколько раз говорил вам, что это написано мною»...» Как странно, сказал он себе, отложив лоскут газеты и показывая на ладони ослика, как странно. Он был на этом процессе еще юношей вместе с отцом-священником. Дело митрополита Вениамина слушалось в помещении бывшего Дворянского собрания, вход был по билетам. Он вспомнил, как с раннего утра на Невском от Гостиного двора стояла плотная толпа верующих, ожидавшая проезда митрополита, как, когда он наконец появился, люди упали на колени и запели: «Спаси, Господи, люди Твоя...» Не спас. Владыку Вениамина расстреляли, о чем было напечатано в «Известиях», — в то же утро эта газета с официальным сообщением о суде над непокорным владыкой рассеялась по тысячам рук читателей, из которых ее вырвал небрежный ветер последующих событий и унес — в историю, что ли, в вечность, как пишут поэты? Нет, не только в вечность, не только в историю, а и в пыльные закоулки кладовок, где стоит консервированное в банках лето, и в новогоднюю мишуру, в вечнозеленый шум праздника, в елку с подтаявшим прошлогодним снегом, от которой натекло на пол вот этой лужицей слов, срочных сообщений и смертоносных вестей. А ослик — ослик все идет по еловой, усеянной дождиком и стеклярусом спирали со святой ношей на спине в синий город Иерусалим, трусит вдоль еловых лап к высокой рождественской звезде... А вот и она сама, сверкающая, торжественная вифлеемская звезда, обвитая газетными списками расстрелянных по делу Кирова... Каждая звезда на небе хранит такие списки, с каждой, должно быть, невидимо свисает газетный серпантин, испещренный именами, телетайпная лента с замороженными в ней датами. И вот время-белка скакнуло с ветки на ветку обратно — газетный обрывок, отрывок из речи Сергея Мироновича на Пятнадцатом съезде: «Оппозиция говорит: мы за единство... Можно, конечно, товарищи, на многом играть, но есть все-таки у нас в партии такие вещи, по поводу которых злословие недопусти-

мо ни для кого. Я говорю о единстве партии...» Посмотрим же, какой игрушке сей оратор пошел на обертку, — да, так и думал, плюшевый зайка, набитый ватой, с картонным барабаном в лапах... Он улыбался, раскладывая газетные фантики в одну сторону, игрушки — в другую, и каждая вещь была обернута своим дополнительным смыслом, и внутри каждой, как зернышки в зрелом яблоке, светился символ.

...Каким главным свойством наделяет человека эта заполярная земля, над которой висело туманное, недоразвитое солнце — его лишь условно можно было причислить к условной природе, простиравшейся вокруг людей на немислимые расстояния, возраставшие, по мере того как они слабели и надежда на возвращение таяла в их сердцах, точно их на оторвавшейся льдине все дальше и дальше уносило в черную воронку космоса и прежняя родина исчезала из виду сперва как берег, потом как звезда, а уже после как мысль... Эта ледяная земля наделяет человека страшной, непривычной, невозможной для живого существа звериной искренностью. Не постепенно действует она; приучая человека к себе, но, как полунощный налетчик, срывает с него все сразу, швыряет его, голого, по горло в хрустальный снег, в котором бригада одноруких инвалидов-самострелов прокладывает путь на участок лесозаготовок, — голого, как корень, вырванный из земли, голого, точно поднятого из могилы трубами Страшного суда, просвеченного насквозь невыносимым светом истины. Эта земля сама была истиной, была планетой, вознесенной над Землей, заповедником искренности, вот почему сюда постепенно перебралось и само Время, если иметь в виду безусловную искренность времени, эпохи. Здесь, на голой земле, а не там, в шелку знамен и в слаженных воплях из репродукторов, оно выразило себя с истерпявающей полнотой и правдивостью. Там, за горами, за лесами и озерами, осталась лежать страна как страшная сказка, сочиненная кромешниками, и Время, нуждавшееся в неподдельной действительности, перебралось на грандиозные ледяные обочины этой сказки с ее массовыми забегами в будущее, массовыми показательными процессами, с ее рубиновыми звездами, вокруг которых, визжа, как точильное колесо, бешено вращалась страна.

Здесь нет места притворству. Оно процветает в субтропиках. Оно ютится у батарей парового отопления, его проносят под полой теплых шуб. Человек облачен в притворство как в еще одну кожу. Он может жизнь прожить, как артист, меняя костюмы, из которых всякий раз появляется как бы заново на свет Божий, как Афродита из пены морской, так и не узнав самого себя, не услышав собственной мысли. Встретив по дороге раздавленную собаку, он не узнает себя. В инфузории под микроскопом себя не узнает. Ведь он не одноклеточное. Клетки его головного мозга богаты мыслью, как медовые соты. Он и не подозревает о грозном звере, дремлющем внутри его, не знает о том, что будет с ним и с его уважаемыми клетками головного мозга, если его перестать кормить, что сделается с его речью, мыслью, чувствами. И когда речь в нем засохнет, как некогда могучая, прекрасная река, когда от громады родного языка отколется крохотный островок обиходных выражений, когда свет, изнутри освещавший воспоминания, погаснет и память почти сольется с темнотой, когда чувства уйдут по одному или все сразу, как освищенные артисты со сцены, — что тогда останется от человека?

Его рассказы о том, что остается от человека.

В молодости он был частым посетителем больших книгохранилищ. Зрелище стоящих во множестве в образцовом порядке книг на полках, уходящих в перспективу, как в века человеческой мысли и истории, настраивало его на торжественный лад. На улицах, в различных собраниях и литературных кружках, которые он так же охотно посещал, кипело время, и от его шума закладывало уши, как на большой высоте; в залах библиотек царила академическая тишина, но время проникало и сюда сквозь невидимые щели. Некоторые книги разделяли судьбы своих авторов и бес-

следно исчезали в подвалах, как и люди, их писавшие; растерянные работники библиотек, покоряясь циркуляру, один за другим снимали с полок очередные провинившиеся фолианты. Ему случалось спрашивать ту или иную книгу, уже намеченную на изъятие из литературного процесса, и интеллигентная женщина с тихим голосом, обслуживающая его, вдруг опускала глаза, точно он совершил бестактность... Пауза была полна взаимного замешательства: он все понимал и, уже уходя, косил взглядом в свой формуляр, нет ли в нем особой отметки о том, что он, читатель такой-то, интересуется запрещенной литературой; библиотекарьша же думала, что ей снова не удалась интонация отказа, что взгляд, опущенный долгу, был излишним комментарием, — беда заключалась в том, что формы отказа как бы не существовало, отвечай как знаешь, а как знаешь — делалось все страшнее.

В лагере он был отлучен не только от книг, но и от своей памяти о них. Последними догорали в нем стихотворения тех или иных авторов, которыми он, худо-бедно, кормил свою память в тюрьме, они исчезали в ней построчно, будто стихи обугливались по краям, сгорая. Казалось, что человеческие слова улечиваются из всех словарей, толковый Далев вокабулярий ужимался на глазах, как шагреновая кожа, теснимый настырной, грубой, жестокой и безжалостной эпохой нового варварства. Когда срок наконец окончился, он появился в Москве с отметкой в паспорте «минус десять городов». Само собой, из его новой жизни вычиталась и мечта о библиотеке, потому что работа, которую он мог найти в небольших районных поселках, отнимала много времени. Тогда он полюбил случайные библиотеки своих квартирных хозяев, пылящиеся на скромных этажерках, возникавшие как проявление какого-то немотивированного блуждающего духа. Они торчали на полочках, как чучела разномастных птиц, подстреленных в разных лесах и в различные времена года; но со временем между этими книгами натягивались силовые поля, пронизывающие тексты корневой идеей первоначального равенства семантики и фонетики, размывая как ненужные границы корешки изданий, благодаря чему учебник географии для четвертого класса, например, перетекал в немудреную затрепанную книжицу «Щупальца спрута», оплетавшие в свою очередь стоящую по соседству «Мадам Бовари», слипшуюся с совершенно удивительной, неизвестно как сюда залетевшей заморской птицей — брошюрой Горейса Упополя «Достоверны ли наши сведения о правлении Ричарда III?». Эти книги олицетворяли собою демократическую идею всеобщей библиотеки — книги разной степени потрепанности, различной ценности, не все одинаково любимые простодушными хозяевами, они вдруг сошлись в общий хоровод. В них ощущалась гармония существования на самом глубоком, фонетическом уровне и общая слаженность хора, как в будке у часовщика, где на разных гвоздиках вразнобой стучит под увеличительным стеклом Время. Постепенно и он сам начал прикупать книги, складывая их в картонные ящики. Вскоре оказалось, что с каждым новым переездом ему все труднее передвигаться из-за ящиков книг, так что, когда ему наконец удалось вернуться в Москву, у него уже была приличная библиотека.

...От разнообразной гаммы чувств, которыми способен насладиться человек на воле, здесь остается едва теплящаяся в нем инстинктивная воля к жизни, колоссальный мир звучаний сводится к лаю собак и мерзкому мерзлomu звуку рельса, поднимающего на работу; радуга красок, схваченная сорокаградусным морозом, подергивалась серой хмарой без единого вкрапления зеленой жизни, солнца, радости бытия. Возможно, в этой природе и была своя суровая красота, но глаз не в силах воспринять ее. В условиях вечной мерзлоты хрусталик стачивается, отказывая в существовании всем цветам, кроме этого, серого, он входит в обиход глаза как пайка, необходимая для поддержания жизни. Описания Данта плодоносят красками, как цветущий луг в мае. Реальность, которую он узнал, была тоща, сквозь живот у нее прощупывались кишечные петли и позвонки. Здесь, на снегу, ничего такого вырасти не могло, кроме костров, у которых грелся

конвой, да дезинфекционной бочки, никаких страданий незаконной любви, как у Данта, уязвленной совести, неутоленной гордыни: здесь человек страдает уже не как личность, а просто как живая тварь — от голода, холода и непосильного труда.

Прачка в бане, починочный ночной сторож, бойлерист, делопроизводитель, прораб — словом, те, кто не возит тачку в забое, не валит лес и не собирает стланик, их зрение, возможно, выцветает и цвет неба, и багровый сполох огня в печи, но для тех, кто на общих работах, выдохлись все краски и умерли оттенки; серые длинные дни, серая пустыня и куда-то бредущие тени.

Создавая свои рассказы, в которых каждое слово несло печать мучительной, испепеляющей душу правды, он, конечно, не думал ни о своей прижизненной, ни даже о посмертной славе и, как выяснилось впоследствии, оказался прав, ибо вся его жизнь, его душа, все в нем было отмечено особой тишиной сумерек, как будто кровь, текущая в его жилах, впадала в глубокую, сосредоточенную на себе подземную реку, струящую воды сквозь ровный, на одной ноте пейзаж, и ничего громогласного с его именем вязаться не могло. Невозможно себе было представить, что он способен на какие-то публичные обвинения, яростные высказывания, размашистые жесты, о которых могли бы судачить люди, восхищаясь им или возмущаясь, он не оставил за собою ни малейшего плацдарма, на котором могло бы закрепиться досужее любопытство. У него не было приятелей и учеников, не было кружка, душой которого он бы являлся, общества, центром которого считали бы его. Фигура его иногда возникает на периферии биографии такого-то творца, или, вернее, тот появляется где-то с краю его судьбы как эпизодическое лицо, но героев, каких-то ключевых фигур, в его жизни не видно. Он был разочарован в человеке и в то же время писал: «Я ищу настоящих людей, кто сильнее и тверже меня». Это строки из его стихотворения. А вот из письма: «...на следствии меня не били. Если бы били — не знаю, что бы я сделал и как бы себя вел». Опыт пережитого страдания значит для него больше, чем ум, больше, чем порядочность, больше даже, чем талант. С высоты своего опыта он смотрит на людей, и его почти потусторонний пронизывающий взгляд их отпугивает. Его «печаль достигла вершин отчаяния» (Сведенборг), но он не мизантроп. Ему недостает общения, простого разговора, иногда он ощущает почти физическую потребность в слушателе. Но этот его взгляд — он может в мгновение ока рассеять едва возникшую приязнь, задушить на корню простое любопытство.

«Я очень хотел сделать из Пастернака пророка, но ничего путного не получилось», — писал он другу. Странная фраза, в ней есть нечто останавливающее внимание, ключ к разгадке... Хочется поневоле подвергнуть эту фразу ученическому, морфологическому разбору. Уж слишком она не случайна, чересчур симптоматична, в ней он, сам того не желая, проговаривается весь, вся его сотканная из противоречий, из странностей личность с ее ребяческой гордыней и романтическим наивом, с беспощадным, трезвым и даже высушенным умом видится сквозь прозрачную влагу чувства, которое водило его рукой... Подлежащее, конечно, «я», сказуемое — заносчивое «очень хотел» и неопределенное «сделать»; Пастернак, перед которым он когда-то преклонялся, выступает здесь в роли дополнения, это не столько имя собственное, сколько обозначение некоего обобщающего принципа; а вот «пророк», напротив, выступает как имя собственное, пафос которого снимается последующим безличным глаголом «не получилось» и определением, взятым напрокат из ненавистного ему иронического ряда, «ничего путного». Смущенно, скомканно, заслоняясь от самого себя «Пастернаком», он пытается в этой фразе передать суть своего расхождения с поэтом, стихи (стихия) которого когда-то были (была) его воздухом... Так в ком же он разочарован — в себе или в нем? Что, собственно, он хотел сказать Пастернаку? Размахнулся на «оставь все и следуй за мной»? Если так, то что — «все»? Повесь свой быт, свою семью, свою ли-

температуру на гвоздик в прихожей, как пальтецо, и следуй — куда? Ведь как бы он сам ни отрешивался от «литературы», ни злился, когда слышал, что «разрабатывает колымскую тему», ни оправдывался в письмах, что проза его выстрадана им как документ, все-таки это была литература. И все-таки, хотел он того или нет, и «пастухи в плащах немарких», и немецкие овчарки, и мерзлый стланик, и бирка с номером на ноге, и списки расстрелянных, и отрубленные у замерзших беглецов руки в почтовой сумке, везомые в район для дактилоскопии, — все, что видели глаза, все, от чего леденела душа, поневоле сделалось материалом, «темой», и единственным, что он мог бы поставить себе в вину, это то, что окунает перо в чернильницу, а не в отворенную вену и что пишет на бумаге, а не по небу, глубоким лемехом вынимая из него розовые, голубые, перламутровые пласты, что слово его, выгнанное из памяти обмороженными пальцами, все равно не заставит человечество «оставить все», а явится прежде всего литературой, на которую он обречен в силу своего дара.

Казалось, он изобрел свой «супчик», для того чтобы раз и навсегда решить проблему собственного питания, но это было не так. «Супчик» был составной частью свободы, омывающей его теперь со всех сторон, в нем расцветали безграничные возможности для личной воли, разложенные в свою очередь, как радуга, на множество составляющих, каждая из которых была связана с возможностью свободного выбора, словно с путешествием, предпринятым в юности... Вокруг картошки или моркови змеились городские маршруты, обраставшие впечатлениями и облагороженные целью. Колбаса была не только продуктом, но символом самости, идеей защищенности и главным действующим лицом в ритуале приготовления «супчика». Луковка обросла традицией приобретения луковки. Пучок петрушки сманивал его за горизонт, в веселое пространство рынка, пестрого, как самодельный половичок перед дверью. Помидор возводил его в особый статус покупателя. Каждый овощ дышал уверенностью в себе и могуществом, изнутри мерцая жертвой, обновляющей жизнь, от каждого, как от жизненно важного органа, исходили бесчисленные артерии, по которым пульсировало будущее. Мир натуральных продуктов гремел варварской новизной, его революционные возможности были неисчерпаемы, не то что усталый, сам на себя оборачивающийся мир рукодельных вещей, говорящий на выморочном языке сомнения. Этот туго спеленатый бесконечной мыслью гастрономический мир стоило пел о своих сладких глубинах на языке превращений, к которому не может быть глух поэт, о вечной молодости земли и солнца, об изначальной нерушимости бытия, корнями уходящего в Бога, проливающего на человека полную меру своей благодати.

Например, гремучая гладкая фасоль, расписанная, как перепелиные яйца, хранилась всю зиму и весну и поэтому как бы знаменовала собою уходящее время: горстка — понедельник, горстка — вторник, горстка — среда...

Приготовление «супчика» заменяло ему общение.

Итак, вот список продуктов с их качествами, разлитыми в природе и смешанными в существах: зрелая фасоль, горький лук, сладкая морковь, рассыпчатый картофель, мягкий помидор, бесконечная капуста, острые специи, соленая соль — весь мир, истекающий смыслами, как на ладони. Все перемежается свойствами, обменивается запахами и льнет к жизни, как стрелки часов к циферблату, в алюминиевом тигле, в жару превращений.

Прежде он не умел готовить. Первоначально в «супчик» входило только три компонента: докторская колбаса, картофель и лук. Потом он стал потихоньку варьировать, действуя вслепую, как алхимик: добавлял то одно, то другое, добываясь какого-то особого, изысканного вкуса своего единственного блюда. Потихоньку набрел на мысль о том, что лук и морковь в кастрюлю лучше уж класть обжаренными в масле. «Вполне элегантно», — сказал он сам себе, попробовав варево. А как прозвучит здесь свекла? Свекла не прозвучала, но зато, подглядыв, как соседка готовит щи, он

пленился идеей капусты. Он чувствовал себя изобретателем, гением, открывшим новый, универсальный рецепт насыщения, и ему хотелось поделиться с людьми своим открытием. Но редкие его гости, отведав «супчика», думали: до чего же должен был дойти человек, чтобы теперь с восторгом хлебать это варево...

Некоторые воспоминатели утверждают, что в последние годы своей жизни он влачил жалкое, нищенское существование. Доведись ему при жизни услышать такое, в какую бы ярость он пришел! Он умел быть яростным и даже любил свою ярость как большое, всамделишное движение души, любил «спускаться с лестницы» досужих посетителей, явившихся выразить ему какое-то свое невразумительное чувство вроде сострадания, любил распахнуть окно и свирепо прокричать им вслед что-то ехидное, любил «дать пинка»; покидая какую-то компанию, обожал «хлопнуть дверью», после чего хозяева и гости еще долго недоумевали, гадая, чем могли обидеть его. Необузданные поступки действовали на него освежающе. Таким образом он часто «ставил точку» на отношениях с людьми, в чем-то его разочаровавшими.

Легенда о крайней его бедности спустилась с парадной лестницы штампов... Это был не просто образ художника, доблестно терпящего нужду. Старые, линялые лохмотья, в которые его наперебой одевали воспоминатели, были окрашены в идейные тона. А ведь ему хотелось быть красивым, хотелось выглядеть состоятельным. Получая семьдесят рублей пенсии плюс «горную надбавку» в семь рублей, он умудрялся покупать себе вещи, которые считал изысканными. Он наивно верил, что одевается по моде, что парусиновые полосатые брюки, приобретенные им в комиссионке, носят не одна только шальная молодежь, но и добропорядочные писатели тоже, что в темной шляпе с большими полями он выглядит современно и что он, черт возьми, заслуживает хорошего парикмахера... Он с возмущением рассказывал любимой женщине, как однажды парикмахер, с сомнением на него покосившись, заметил ему, что салон у них первоклассный и что стрижка будет стоить два рубля. «Представляешь, он решил, что я недостаточно состоятелен!» Возможно, он завел бы гвоздику в петлице назвал своим будущим биографам... Они не видели, как он, поплеывая на утюг, пританцовывал вокруг рубашки, как повязывал галстук перед зеркалом, радуясь встрече с самим собой, свежесбритым и хорошо одетым, собираясь в театр. Он отправлялся на Таганку смотреть спектакль, играя роль благополучного, со вкусом одетого театрала.

После него остался большой и пестрый архив. До самой своей смерти, пришедшей за ним в самое холодное и нелюбимое время года — в середине января, — он старался обрасти архивом, бережно собирал отходы собственного творчества: черновики, наброски, письма, спичечные коробки с какими-то образами, настигнувшими его на улице, календарные листки и рецепты... Все, что оказывалось в поле его эксцентричного каприза, он немедленно присваивал, обращая в свое имущество: бережно снимал с расчески волосы любимой женщины и клал их в конвертик, туда же — засохшие лепестки роз, подаренных ею ко дню его рождения, хранил смешные ее записочки и ученические перья ее детей, с помощью которых он превращал яблоко в яблочного ежа, желтый кленовый лист, прибитый ночным дождем к подоконнику и обнаруженный поутру... Можно было подумать, что все эти конвертики он намерен отсылать по одному куда-то в ждущую его вечность, до востребования самому себе... С каждой прогулки он что-то приносит в виде добычи, как птица в клюве, собирающаяся вить гнездо, — трамвайный билет, красивый камушек; его спутница посмеивалась и добавляла в этот улов что-то от себя — вязальную спицу, монетку. Господи, думала она, растерянно наблюдая за ним, как должна быть нежна, добра, ребячлива эта вечность, если она возьмет на себя дело сохранения вот этих капель дождя на кленовом листе, обломка веера... «Смейся, смейся», — бормотал он, все принимая. Он-то знал о том безвоз-

душном ледяном пространстве, о пустыне без тепла и без души, которое мы зовем Временем, знал, как там трудно вить и крепить нам свои гнезда, как тяжело с этого берега на тот забрасывать свои сети, как чуждо звучат там наши слова, растасканные эхом по закоулкам неведомых созвездий...

Помимо основного художественного наследия, заключавшегося в его рассказах, стихотворениях, эссе и критических статьях, после него осталось множество писем. Его адресатами были разные люди. С одними он был связан родственными узами, с другими еще более прочно — лагерной судьбой, с третьими его породнили талант и общие художественные цели, четвертые были просто случайными людьми. Со странным чувством читаешь эти письма... Он вырывается из тихого шелеста страниц какой-нибудь резкой, почти грубой фразой, негодующим восклицанием, во весь рост, живой и невредимый, с размашистым яростным жестом, с горькой иронической складкой у рта... Но вот другие слова растворяют образ этого человека в вечном эпическом образе художника, размышляющего о жизни, об искусстве. Эти письма особенно прекрасны — письма поэта к поэту, плывущие над нами, как величавые облака. Адрес не важен, и автор письма остается в стороне, письма плывут из одного края неба в другой, обнимая землю чистейшим открытием, как слезою. В отличие от обычных писем они путешествуют не навстречу друг другу, а как бы в одну и ту же сторону — в сторону солнечного диска, дарящего жизнь всему, в сторону искусства и творений тех, кто его создает, их собственного сердца и Бога. И все в этих письмах, что не от высоты, то есть достаточно сложные отношения друг с другом, с современниками, с бытом, — все это оседает вниз, на уровень обывательского взгляда, жадного до мелких житейских подробностей, которых достаточно и в других письмах, в письмах к родным и друзьям, где он то приветлив и великодушен, то сердит и мелочен, сварлив, как старая дева, нежен и беспомощен, как ребенок.

Среди этих писем есть написанные уже из этой комнаты сразу после вселения в нее, выделяющиеся особым тоном умиротворенного покоя и даже угадываемого счастья... Они не содержат в себе ни одного слова, от которого хоть на мгновение повеяло бы художником, ни единой метафоры, украсившей бесприютное описание этой комнаты, ни одного энергичного глагола, выразившего чувства человека, наконец обретшего жилище. Только одно прилагательное освещает эту комнату, как голая лампочка, — благодаря бесконечному повтору в письмах оно горит с удесятеренным накалом, от него и до сих пор идет свет предсмертного счастья человека, знавшего лишь одни казенные стены, лишь скорбные крыши барачных, занесенных снегами, невыносимый шум и тесноту общежитий. Оно накатывает на бумагу, как волна: «тихая»... «тихая»... «тихая»... «Я получил тихую комнату» — этим тихим словам, как погребальному эху, и суждено было улететь в так называемую вечность.

Тот, кто внимательно читал эти письма и сопоставил даты, понял, что тихая комната в те времена уже имела тайную дверь в стене, за которой существовал переход в еще более тихую, тихую, как снег, как облако, как внутри себя камень, комнату, куда вскоре и отбыл жилец тихой комнаты, покинув ее благословенные стены. И еще они знали, что комната вовсе не была тихой: дом стоял прямо у Хорошевского шоссе, по которому со скоростью душ, заверченных безумным вращением одного из кругов ада, с грохотом и воем мчались машины... Но он этого слышать не мог: много лет назад ему повредили барабанную перепонку, после чего со временем мир вокруг него начал постепенно стихать, и в тихую комнату он вошел почти глухим, глухим.

---

---

МИХАИЛ КРЕПС



## ЧАШИ МАЛЕНЬКИМ БОГАМ



Пчела поводит бархатным плечом,  
Обнову зорко выбирая,  
Многозеркальна мысль ее, причем,  
Своих причин не разбирая,

Ум изворотлив, как в бутоне лепесток —  
Губам подобен очертаньем,  
В эфирное ничто оранжевый мосток, —  
И даровита дарованьем,

Смесь не случайная нектара и дождя,  
Ожившая в цветной мензурке,  
Весь хоровод причин и следствий низводя  
К простой мазурке —

Она все ведает, не зная ничего,  
Панбархатная и нагая,  
И трудится чело, и жало, и плечо,  
К душе дорогу пролагая...

### Дар

*Скороговорка*

К майской туче Тютчев чутче  
Ласточкиного крыла,  
Он умел о громе лучше,  
Четче, чем она сама.

Вседержитель слова даром  
Не изволил одарить —  
Может грома лишь ударом  
Туча с миром говорить.

В землю мечет молний стрелы,  
Робких птиц пускает влет,  
Надувает щеки белы,  
Ливнем бьет и слезы льет.

Кто, казалось, мог бы чутче  
О самой себе навзрыд?  
Так вот нет же — Тютчев лучше,  
Тютчев чутче говорит!



### Птиц язык

Птиц язык — язык заик,  
Он прекрасен и понятен,  
Он пестрей небесных пятен,  
Мозаичней мозаик.

Птиц язык — язык заик,  
Он летит над летним бором,  
Занимая разговором  
Тех, кто мал и кто велик.

Рыбам — влага и плавник,  
Паркам — ливень и садовник,  
Девам — муж или любовник,  
Птицам дан язык заик.

Птиц язык — язык заик,  
В нем коленца, кольца, трели  
Всех оттенков акварели,  
Отголоски всех музык,

Птиц язык — язык заик.  
Птичьей песне много ль надо?  
Ей ни рая, ей ни ада,  
Только воздуха на миг!

### Наступление фотосинтеза

На ветке дуба висит розовое махровое полотенце и расстраивается:  
«Почему во мне не происходит процесс фотосинтеза?»

Окружающие листья его утешают:  
— Не у всех это начинается одновременно.  
Рано или поздно  
фотосинтез наступит и у тебя.  
Чем ты хуже других?

«Действительно, чем я хуже других? —  
думает махровое полотенце и успокаивается. —  
Нельзя же так не верить в себя!»

Махровое полотенце утирает слезы,  
улыбается и терпеливо ждет наступления фотосинтеза.

### Хуторянки и кони

Конь, я роту хуторянок  
На закате приведу —  
Выбирай из них любянок  
Хоть в наездницы, хоть так,  
Чтобы вечером не скучно  
Было время коротать  
И косить овальным глазом  
На пугливую ладонь.

Коль наездница — согреет  
 Спину девичьим теплом,  
 Коль проказница — погладит  
 Ноздри ласковым бедром.  
 Конь, любую хуторянку  
 На закате выбирай —  
 Хоть скачи ее по полю,  
 Ветром задирай подол,  
 Хоть лаской колени гривой,  
 Хоть засматривай в глаза —  
 Гладки белые колени,  
 Жарки конские глаза.

На рассвете девок много,  
 На закате ни одной,  
 Девки кони разобрали —  
 Мчать и время коротать.  
 Ох, охочи хуторянки до хохочущих коней!  
 У него бока крутые и молочные у ней.

### Пушкин

*Из «Песен западных сардин»*

Пушкин — рыбка золотая,  
 Сеть над рыбкою — Дантес,  
 Рыбка, в сети попадая,  
 Ощущает смерти вес.

Видит фуксы, видит флоксы,  
 Горы, взоры резеды,  
 Отмечает парадоксы:  
 Воздух тяжелой воды,

Свита не коварней света,  
 Книгочей всегда ничей,  
 Слово легче пистолета,  
 Тело пули горячей.

Зыбка-Пушкин, рыбка-Пушкин,  
 Мене, текел, упарсин,  
 Лучших слов прилежный Плюшкин,  
 Пушкин-Плюшкин, сукин сын.

С кем трепался, с кем стрелялся,  
 С кем шутил, кого родил,  
 То ль на удочку попался,  
 То ли в сети угодил.

Пушкин, рыбка золотая!  
 «Да-с, дала-с, Данзас, Дантес...»  
 Рыбка, небом пролетая,  
 К нам теряет интерес.

### Медуза

Жизни фонарик, светящийся в черной воде,  
 Что ты расскажешь и чем о случайной судьбе  
 Перед нестрогим Творцом на нестрашном суде?

Весь — воплощенье заветных французских свобод,  
 Зонтик и колокол, облако и небосвод,  
 Есть ли в твоём лексиконе «назад» и «вперед»?

Бьется ль греховная мысль в лиловатом стекле  
 К звездам прижаться, оставить свой след на скале,  
 Баб-эль-Мандеб переплыть иль хоть Па-де-Кале?

Музыка моря, неслышная миру пока,  
 Бьется ли в маленький колокол без языка,  
 Жаждет ли выразить свет, синеву, облака?

Звучность и вечность мечтами равняя в правах,  
В сердце с надеждой на речь, со звездой в головах,  
Часто ли мыслью томишься — я порох иль прах?

Хрупкий, живой, безупречный стеклянный цветок,  
Если ты поискам голоса чужд и дорóг,  
Богу зачем ты? Вернее, зачем тебе Бог?

### Одинокое пианино

По пляжу гуляет одинокое пианино.  
Радуетя солнцу и смотрит на опустевшие ракушки.

К пианино подходит лев  
И, сняв шляпу, учтиво говорит:  
— Можно на вас поиграть?

— Нет, больше на мне никто не будет играть! —  
Гордо отвечает одинокое пианино.

— Нет так нет. — Лев учтиво надевает шляпу  
И отходит прочь.

«А может быть, все-таки надо было согласиться?» —  
Думает пианино, бросая взгляд на опустевшие ракушки.

Одинокое пианино улыбается белыми клавишами  
И мечтательно смотрит за горизонт.

### Пчела

Из тесной трубочки цветка  
С добычей пятится пчела  
С улыбкою у хоботка,  
С мохнатой думой у чела.

Не сосчитать пчелиных лет,  
Да и какое дело нам,  
Не отличившим пустоцвет  
От чаши маленьким богам.

Мы, чудом не удивлены,  
Природу пробуем на вкус,  
Сосуды топчем без вины  
И убиваем за укус.

А ты летишь, легка, легка,  
Сестра цветка и ветерка,  
Опустошенная душа,  
В крылатом воздухе шурша.



---

---

АНАТОЛИЙ КИМ

\*

## ОНЛИРИЯ

*Роман*

### ОБЛЕТАЮЩИЙ КВАРТАЛЫ

**И**нчуть не удивило старца, что летит пред очами его некое человекоподобие с громадными крыльями, распростертыми за спиною. Не удивило, а всего лишь вызвало желание представить взору небесного ангела (за которого он и принял меня) свое немыслимое злодеяние — убийство, очевидно, какого-нибудь некрупного домашнего животного или маленького ребенка. Не знающее ничего, кроме собственной тоски одиночества, погубленное творение Господа проводило меня взглядом, исполненным всей пустоты того мирового пространства, в котором никто еще не зажигал звезды.

Игнатия Потужного бесшумный пролет небесного ангела с широко распахнутыми серебристыми крыльями застал в минуту крайней озабоченности. Старая собака Сильва, которую пришлось зарезать кухонным ножом, удивительно бурно противилась смерти, билась в ванной, хотя до этого пролежала в мучительной агонии трое суток, не принимая пищи, лишь запаленно дыша, откинув на коврик голову с закрытыми глазами и оскалив рот с прикушенным языком.

Игнатию Потужному, у которого Сильвушка прожила около десяти лет, под конец кошмарно представилось, что собака вовсе и не собирается испустить дух: будет лежать так вот и жить, питаясь запасами его жизненной энергии. И когда это безумное предположение обратилось в нем в стойкую уверенность, Потужный взялся за нож. Он был отставным офицером авиации, уже много лет как вышел на пенсию, уволившись еще нестарым человеком, — вся истребленная временем жизнь промелькнула для него будто одно неприятное мгновение.

Он развелся с женой, женился в другой раз, но со второю также развелся; от нее и досталась ему Сильва, которую он сегодня неумело заколол большим кухонным ножом. А когда он это сделал и, нервно покуривая, дожидаясь на кухне, пока собачка стихнет и зачоченеет, то вдруг понял, что жизнь его вся прошла пустотой и нежитью. Хотя и помнилось вроде бы, что он летал на сверхзвуковых самолетах и однажды, пролетая над Атлантикой, встретился в небе с парящим ангелом. Потужный сделал тогда крутой вираж и развернулся, желая вновь увидеть неопознанный летающий объект, с тем чтобы атаковать его, — и нигде не обнаружил одинокого летателя. Вернувшись на базу, Потужный не доложил командованию об этой встрече в небе на высоте двенадцать тысяч метров над уровнем моря, но именно этот случай и послужил подлинной причиной того, что он вскоре, как только пришел срок, сразу подал в отставку — и никогда больше не пытался вернуться к полетам.

А теперь произошла вторая встреча, в минуту жизни для него самую нехорошую. И бывшему летчику хотелось пожаловаться небесному чину, что вся бессмысленность человеческого существования тогда и выявляется, когда есть два мира и в том, где человеку надо умирать и ложиться в гроб, вдруг появляется некий турист из мира другого, в котором не знают подобных забот. Старая собака Сильва кончалась в маразме естественной звериной дряхлости, но от долгой близости к хозяину она стала почти что человеком и столь же нелепо и жалко, как ее двуногое божество, цеплялась за жизнь.

И в минуту, когда он завернул мертвую Сильву в куцый остаток армейской шинели и положил посреди комнаты на пол, ему стало абсолютно ясно, что в его проживании долгих дней и годов человеческого было столько же смысла, сколько и в отошедших Сильвиных днях... Тут он раздвинул штору и увидел меня. И столько было вражды и неприятия во взгляде старого офицера в отставке, что мне тоже захотелось, как и ему когда-то, совершить в воздухе разворот, вернуться и атаковать его.

Но я был на службе, и мне предстояло облететь еще много кварталов, мои личные порывы и чувствования не шли в разряд служебных обязанностей. Когда я нанимался, отцы города из мэрии особенно подчеркивали необходимость сдерживать мне свои эмоции, а лучше и вовсе никак их не проявлять, потому что в усталом сознании городских обывателей могут возникнуть самые агрессивные порывы в ответ на мои вполне мирные психические пассажи. Так объяснили мне в мэрии. Я должен быть лично безучастен ко всем людям — таков мой служебный долг.

Перемещаясь по московскому небу, облетая городские кварталы, я обязан был лишь строго и молчаливо совершать свое волшебное парение, как бы производить чудо самым невозмутимым образом. При этом, исполняя свою работу на глазах у миллионов граждан, я ни с кем из них не должен был вступать ни в какие сношения, никого не выделять своим вниманием. Городские власти полагали, что таинственность и беспрецедентность моего появления в небесах, среди высотных домов, надо во что бы то ни было оставлять в пределах необъяснимого. Им казалось, что тоска и тяжкая скука примитивного существования, охватившие граждан в ожидании часа ИКС, пока еще сдерживаемые мелочными страстями городских низов, могут заполнить весь духовный эфир общества. И чтобы граждане не сошли с ума и не устроили мятежей в преддверии Нового царства, отцы города и наняли меня на эту странную работу.

Мне положили довольно высокий оклад, дали служебную квартиру в одном из тех же семнадцатизэтажных домов, которые я должен был облетать. Для хранения и содержания крыльев выделили подвальный отсек в бывшем гараже министерства культуры, которое было упразднено в Последние Времена, и туда я мог добираться или на автобусе № 39, или в метро до станции «Баррикадная». В ненастную погоду и по вечерам, когда по телевидению шли многосерийные фильмы, я мог и не летать, но должен был находиться в своем подвале при крыльях и ждать распоряжений по телефону. Со мной обычно был связан чиновник мэрии, почему-то из санитарно-технического отдела, — Воспаленков Егор Викторович.

В тот день, когда я встретился взглядом с бывшим летчиком, чиновник мне позвонил вечером и разговор начал очень круто.

— Кто разрешил вам вступать в контакт с жителями города? — властным начальственным голосом молвил он в трубку.

— Не было этого и не могло быть, — спокойно возразил я.

— На вас жалуются, что вы повисаете напротив окон, беспокоите жителей, подсматриваете за ними.

— Но вы подумайте — зачем это мне? — отвечал я, стараясь не обращать внимания на его сердитый тон. — Мне безразличны все люди. Мне неинтересна их жизнь. Я не имею любопытства ни к чему и ни к кому.

— Это хорошо, — одобрил чиновник. — Но как вы объясните тогда жалобу гражданина Потужного?

— Я всего лишь посмотрел в его глаза.

— Вот видите! А говорите, что не вступаете в контакт.

— Значит ли это, что мне не рекомендуется смотреть людям в глаза?

— Ни в коем случае! — был ответ. — Их близость обычно начинается с того, что они смотрят друг другу в глаза.

— Ну хорошо. Спасибо за предупреждение. Я больше не допущу подобно...

Прошло с того случая несколько месяцев. Я по-прежнему облетаю микрорайоны Москвы. Все меня видят, ко мне уже привыкли, я стал для москвичей такой же обычной вещью, как речные трамваи, метро или высотные остроконечные здания сталинского времени. Люди мирно и благополучно движутся к своему концу, и я им никак не мешаю.

В глаза им я больше не смотрю, внимания особенного ни на кого не обращаю. В смутном шевелении миллионов теней, происходящем внизу, подо мною, уже не различаю я ни одного пятнышка или вскрика отдельной судьбы. Я работаю на городское управление, как бы совершенно забыв, что оно непосредственно связано с этим грустным миром скользящих по дну земли теней.

Отцы города поступили не очень мудро, наняв меня на работу. Подобно тому как у одного летчика исчезло желание летать на самолетах после встречи со мною в небе, дорогие москвичи и гости столицы теряют интерес к своему существованию, когда видят меня. Ведь для них я, парящий в небе, широко распластав свои серебряные крылья, — как бы живая реклама будущего рая. И их теперешнее собственное доживание в мире, лишенном всякого чудесного начала, кажется им убийственно плоским и лишенным всякого смысла. И они как бы мысленно торопят свой конец — чтобы приблизить явление того самого, о чем намекает парящий над Мневниками или Ясенево крылатый ангел.

Только одного они не знают, увлеченные мысленными проклятиями всему и вся: в раю никто их не будет любить. Там не знают любви к несчастным и убогим: таковых в раю просто не будет.

Я потому изгнанник и одинокий путешественник по мирам, что захотел искать тех, кого могу полюбить. Меня древние греки называли Прометеем. А один московский поэт назвал меня Печальным Демоном. Я первый из ангелов, нарушивший запрет Бога появляться перед людьми в своем допотопном виде. Я не боюсь наказания, смерть мне не страшна. Мне нравится в людях их изначальная склонность к предательству и отречению. Поэтому я и возжелал облагодетельствовать род человеческий. Я хотел его научить добывать вселенский огонь и затем с огненным мечом в руке восстать против Бога и пойти на завоевание Его рая.

Но ничего не вышло, и всем нам скоро конец. Все дьявольское умрет вместе с нами, и умрет навсегда, потому что не воскреснет. А пока что я буду работать в муниципалитете, спокойно облетать кварталы и при этом избегать сношений с гражданами города. Случай с летчиком Потужным послужил хорошим уроком: не стоит попадать в такие обстоятельства, при которых тебе вдруг захочется повернуть назад и атаковать неизвестный летающий объект. Как знать, кто находится в этом загадочном аппарате, — вдруг не безнадежный грешник, абориген Земли, а какое-то неизвестное тебе блистательное лицо из небесного ангелитета?

Нет, я буду спокойно и терпеливо облетать городские кварталы новых микрорайонов, не глядя в сторону людей, не обращая внимания на их тоскующие взоры. Пусть пройдет достаточно времени, чтобы они совершенно привыкли ко мне и потеряли всякую привязанность к своему городу, все более заваливаемому мусором. И однажды я повисну посреди неба, замру с распростертыми крыльями — и громогласно возведу всему московскому народу свое подлинное имя. И народ вновь должен пойти за мною на завоевание высших демократических свобод.

Когда-то я сам жил в московской толчее и ходил понизу, спеша на работу или возвращаясь домой, и множество людей мельтешило рядом со

мною, заслоняя телами один другого, и почти никого из них я не знал. В городском муравейнике особи трутся в давящей тесноте метро и автобусов, будучи совершенно неизвестными между собою. Но я не захотел смириться с этим неукошительным правилом отчуждения и вознегодовал против тех, кто преосуществлял его, — своих ближних, которых я не знал, в толпе которых тонул, захлебываясь ненавистью.

Но однажды мне снова удалось взлететь над человеческим потоком, и я увидел разбегавшиеся ручьи людских устремлений, пенная накипь которых была особенно мутна и тошнотворна в час утренней тишины, свежести, когда весеннее солнце окрасило ободранные стены возведенного городского коммунизма в цвета золота и бронзы.

Теперь я тихо лечу мимо окна тринадцатого этажа, за которым лежит в постели парализованная старуха дворянка — она пела скрипучим голосом известный романс прошлых веков, как раз в том месте с бессмысленными словами, что, мол, *я вспомнил время золотое*, и по ее коротко стриженной голове бежал шустрый таракан, а в промышленной зоне городской тюрьмы № 4, расположенной через два квартала, резким голосом аукнул подъехавший к воротам тепловоз.

Именно в тот миг, огибая угол дома, я заметил соседа старухи, пожилого мнительного писателя, за его пишущей машинкой, которая перестала наклеивать на бумагу буквы, и автор многих вдохновенных строк глубоко задумался, вслушиваясь в пение из-за стены, в старушечий дребезжащий речитатив, которому вторил грандиозный городской фон: гул автомобилей, каменный шорох стареющих домов, подземное бульканье канализационных клоак.

Писатель думал о том, как отвратительна смерть в одиночестве старости, имея в виду происходящее за стеною, и не знал о том, что сам-то умрет совсем уж скоро, через четыре дня, намного раньше, чем желанная смерть придет за старухой соседкой, которой предстоит мучиться, сгорая от боли в язвах пролежней, еще девять месяцев и семнадцать дней. Но за углом дома пошла торцовая стена без окон, и на несколько секунд мир человеческий, явленный моим глазам через прямоугольные дыры оконных глазниц, исчез вместе с последним своим изображением — унылой писательской фигурой, сгорбившейся над пишущей машинкой.

Некоторое время назад, до 1914 года, когда еще существовала та Россия, которую любили многие, я сам гулял по ее луговым и лесным дорогам с некой ни с чем на свете не сравнимой радостью в душе... Бежала пролетка по дороге, влекомая доброй лошадыю, и это мелькало внизу, прямо под тем местом, над которым я теперь совершаю свой полет. А в то время был я домашним учителем при детях первогильдийного купца Прекаликина и с ревностным самолюбием представлялся Петром Андреевичем, хотя еще и не окончил на юридическом, и летом каждый день ездил на дачу Прекаликиных в Кунцево, откуда до железнодорожной станции присылалась за мною пролетка с кучером Евстигнеем. Кучер этот умер семидесяти шести лет от роду и похоронен там же неподалеку, в поселке Сетунь. А я в тот раз прожил, кажется, не очень долгую жизнь и кончил дни где-то в каменных дебрях Москвы седым художавым человеком с грустной мнительностью во взоре, коллекционером граммофонных и патефонных пластинок, коих набралось в моей коллекции, кажется, штук девятьсот.

Всякое этакое промелькнуло внизу, пока я неторопливо летел вдоль торцовой беззаконной стены семнадцатизэтажного дома, миновав которую повернул за угол и вновь двинулся мимо человеческих жилищ примерно на уровне уже пятнадцатого этажа. И словно все прошлые мои людские существования, вновь обретя горестное воплощение, замелькали перед моими немигающими глазами, я перестал различать, что мое и что — из чужой судьбы: мужское и женское, старческое и детское, кислота и щелочь, бульканье, стоны, синий кухонный чад и умирающий взор любви — все это было то же самое, все то же самое, буде явлено сие в Филях, Зарядье, Сетуни или в Замоскворечье.

Мне стало грустно оттого, что, как-то, много веков назад, пролетая этим же кусочком пространства, я видел перед собою дали свежей, незамутненной страны, лесные березовые неимоверные бело-зеленые зарева под безмятежным небом — являла силу и нежную радость бытия срединная Русь, красавица с молодым сладким лоном. Теперь же за железобетонными стенами многоэтажных домов немощно допревала эта русская жизнь, обернувшаяся позором, и тысячи тысяч огненных игл беспощадно кололи раны ее пролежней. А обреченный писатель слушал пение запертой в однокомнатной квартире старухи дворянки, поглаживая свою ухоженную седую бороду — и вдруг ощутил абсолютную пустоту и холод в ответ на все свои написанные ранее вдохновенные строчки.

Высыхающие апрельские лужицы и размазанная по тротуарам талая вода превращались в тончайший пар; пар увлажнял оскудевший к весне холодный воздух, и в нем как бы вновь зарождались невидимые клеточки человеческой надежды. И, пробужденные ею, двое на семнадцатом этаже средь бела дня предались любовным утехам прямо в низком кресле, небрежно побросав на соседнее мешавшую одежду — коленопреклоненный фавн перед разругавшейся нимфой, чьи закрытые глаза и мученическая улыбка не могли скрыть ее ликования и торжества.

Этих-то я приметил еще ранним утром, облетая квартал первый раз в полумраке невнятного городского рассвета. С дорожным мешком на спине, бодрый и целеустремленный, сей городской мужичок бедного интеллигентского обличья вышел из своего подъезда и направился к правому крылу дома, в сторону, где была автобусная остановка. Но поравнявшись с соседним подъездом, он воровато оглянулся, приостановившись, а затем проشمыгнул туда, впопыхах пушечно грохнув дверью на тугой пружине.

Вожденная и сладостная ждала его на самом верхнем этаже — но не в своей квартире, где находились, кроме нее, еще восьмилетний сын и мать-пенсионерка. Уехавшая в командировку подруга оставила ключи от своей однокомнатной холостяцкой берлоги, сочувствуя и споспешествуя свободной любви. И она была воистину свободной во всех своих устремлениях и фантазиях, и мне представляются длинные весла, чудесно сложенные, неторопливо загребавшие гладкую воду озера, в которой отражено небо, бездонное голубое небо.

Но внезапное помутнение в зеркале небес — и уже иные стихии, другая действительность явили себя в однокомнатной убогой квартирке эмансипированной женщины, социалистической гетеры на вольных началах. Бело-розовые молнии человеческих рук, ног, их яркое мелькание и слхлствывание в полутьме зашторенной комнаты — картина грозы, начало которой было столь свирепым, мощным и неотвратимым. Тут возник тонкий, упорно повторяющийся звук, музыкальный и звероподобный одновременно, — женские любовные стоны, которые издавала молодая женщина, разводка, живущая одна с сыном и больной матерью — чья мать, в свою очередь, лежала парализованной в однокомнатной квартире на тринадцатом этаже — *«...вспомнил время золотое»*.

А до всего этого, когда-то, была десятилетняя прелестная девочка в золотистых кудерьках, с вдохновенными темными глазами — шла вдоль берега моря, разговаривая сама с собою и, может быть, бормоча заученные стихи, а у ее ног сверкала-извивалась нежная кромка распластанной на песчаной отмели волны. Взгляд, невзначай брошенный в сторону моря девочкой, вдруг вспыхнул необычайным оживлением, она замерла на месте: над синей водою в прозрачном воздухе явился великан из облачной полупрозрачной взвеси. Остановившись в пространстве, он тоже обратился к ней ослепительно белым лицом, затем дружелюбно взмахнул рукой и медленно полетел, словно гонимый ветром, в правую сторону над горизонтом, постепенно истаивая в воздухе.

И хотя эта девочка тоже помахала в ответ рукой, и проводила улетающую фигуру прощальным взглядом, и всегда помнила об этой чудесной встрече — никогда не верила эта женщина, наделенная здравым смыслом



своего людского окружения, что на самом деле была эта встреча, а не явилась в зыбком детском воображении.

Облетая московские кварталы, я из всех своих нежных чувств самое нежное испытываю при встрече с этой женщиной, которая не смогла поверить очевидности нашей встречи и, в сущности, триста трижды раз изменяла мне, отдаваясь другим мужчинам — вот как и теперь, — хотя и хранила в душе неизменное влечение и устремленность только ко мне. Но придет день и настанет час, когда я снова появлюсь перед нею, на сей раз воплощенный в человеческое, в грубо мужское, и она всецело станет моею — вся истерзанная неверным своим ожиданием облачного жениха, который явился отроковице на заре ее туманной юности.

Этот город, эта страна, эти люди, совершенно порабошенные и одержимые бесами, павшими на них в июньскую ночь 1914 года, и с того времени обреченные вырабатывать в итоге всей своей объединенной исторической деятельности одно только зло, гнев и насильственную смерть, — как они мне надоели с этой своей беспредельной привязанностью к земной жизни! С каким отвратительным смирением терпят они надругательства над собою, надо всем, что божественно в них, и с какой лютой жадностью цепляются за любую возможность, чтобы только еще немного подышать воздухом своего безнадёжного мира.

Я облетаю Москву на малиновой вечерней заре, когда небесный свет еще не настолько угас, чтобы зажглись уличные фонари, и город тонет в огнедышащей полумгле, замутненной туманностями смога. Меня еще хорошо видно — на фоне синих чернильных теней, разлитых в массивах высотных домов. Я парю, проплываю гигантским голубем-дирижаблем, исполненным багрового сияния. И обреченные москвичи смотрят в этот час на меня, мечтательно предполагая какие-то собственные возможности подобного же вольного полета...

Но тут я начинаю грозно, могуче взмахивать своими крылами, как бы неоспоримо доказывая всем, что летать можно только лишь с помощью крыльев. Для этой цели, собственно, и наняла меня московская мэрия — чтобы я отрезвляюще воздействовал на умы фанатиков, которые готовы ради испытания счастливого мгновения прыгать с плоских крыш высотных домов и выбрасываться из окон сталинских небоскребов... Отцы города, официально признавшие приближение часа ИКС, по долгу службы все равно продолжали заботиться о гражданах древней русской столицы и в поисках эффективных мер борьбы с летунами-самоубийцами напали как раз на меня. Когда я пришел к ним и без обиняков объяснил, кто я и чего хочу, они не испугались, не стали даже настаивать на том, чтобы я продемонстрировал перед ними какие-нибудь чудеса: сразу подписали со мною контракт.

Не представляли городские чиновники только одного: чтобы я, объявивший себя мятежным ангелом, таковым и был на самом деле. Все они, стопроцентно, решили, что моему коварству и хитрости нет предела: дескать, вот сам Сатана объявился, а хочет выдать себя за мелкую сошку, рядового демона. Чинуша Воспаленков Егор Викторович — тот даже откровенно смеялся надо мной и грубил, вел себя так, как обычно ведут работники правоохранительных органов с пойманным преступником. И хотя они не взяли меня в ковы и не свергли в преисподнюю на тысячу лет, но обращались со мною как победившие или, пожалуй, будет точнее — как господа следователи уголовного розыска с провокатором-бандитом, который из страха или подлой выгоды согласился работать противу своих на пользу ментам...

Что за твари... слов больше нет. Приняли меня за князя, наняли на работу, определив зарплату в тридцать сребреников, и засунули в однокомнатную служебную квартиру. Москва... Мое прозвище Москва было с четырнадцатого года. До того я работал в этой же стране, жила и в этом же городе — но в тот роковой для нас год я был призван, как и все, под зна-

мена князя, и после разгрома мне снова пришлось пасть на Москву. На короткое время я стал ее грандиозной канализационной системой, а затем и двумя революционными переворотами семнадцатого года... Потом, скрываясь от зорких глаз князя, а также от сотоварищи свои, я многие годы держал то одну какую-нибудь самую заурядную душу, то другую. Князю я окончательно перестал подчиняться... Тридцать седьмой год и все последовавшее за ним — мои дела, и подобная работа не для серой бесовни из новых бюрократов демонария!

В бесконечной войне Царя с князем мне надоело участвовать — я решил воевать сам по себе. Так оказалось значительно интересней переживать эти Последние Времена. Но больше всего мне хочется умереть, умереть... Ах, скорее бы! Вот же я — весь открылся. Жду нападения, господя! Но что-то никто не торопится...

Так бы до самого конца и тянул я свое время — в рутине московского обывательского существования, — если бы не эти полеты. В Россию новомодная религия пришла позже, чем в Америку и Европу, и поначалу казалось, что она вовсе не привьется здесь, где народ вошел в Последние Времена словно в дурном сне — после двух мировых войн и нескольких революций. Ни один серьезный эмиссар всемирной ассамблеи левитаторов не побывал в России. Долго не приезжали и частные инструкторы-практики.

И вот появляется в Москве этот финн... До него в городе было уже немало попыток самостоятельно освоить полеты без крыльев, и все они заканчивались падением и гибелью необученных летателей... Тогда и стал Келим жить в моей квартире, а работать устроился в грузинскую бригаду строителей, которая совместно с финнами-монтажниками возводила высотную гостиницу. Келим установил бдительное наблюдение за финским парнем. Мы с Келимом пришли к выводу, что тот, который обучал финна, должен будет когда-нибудь засветиться. Вот тогда и узнаем наконец, какому умнику пришла в голову идея научить людей летать... Среди высших членов демонария не так уж много было крупных личностей, способных породить столь значительную идею, как соблазн полетами без крыльев.

Но в ту самую ночь, когда Келим собирался изловить и допросить финна, этот парень бросился в проем окна с девятого этажа и, уверенно взмыв над крышами высотных домов, скрылся в ночном небе. Теперь уж Келим посчитал себя обиженным — клиента у него утянули из-под носа — и на следующий же день отправился в Финляндию искать улетевшего монтажника. А я стал во время своих облетов внимательно следить за площадками крыш высотных домов, предполагая, что когда-нибудь и увижу скопление людей, готовящихся к полетам под наблюдением инструктора...

И однажды в середине июня я заметил сверху такую группу на кровле семнадцатизэтажного дома в Мневниках. Они были одеты в яркие разноцветные спортивные костюмы, натянули, чтобы не мерзнуть, на головы вязаные шапочки, а на руки перчатки. По одним только этим зимним шапочкам и перчаткам я догадался, что вижу перед собою то, что давно искал увидеть. Перед сплоченной толпой стоял напротив, отдельно, и что-то всем объяснял человек с седою, совершенно белой головой и черными, как сажею наведенными, бровями — надменный инструктор левитации, которого нетрудно было определить по виду, и я атаковал его.

Предполагая, что в нем скрыт кто-то из демонов высокого разряда, я решил сразу же нанести удар сокрушительной силы и сбросил на него бетонное кольцо, верхнюю секцию башни-градирни, которую я снял, пролетая в эту минуту над территорией тепловой электростанции. Удар был таким мощным, что от него просела крыша здания со всеми балками и плитами и рухнула на пол верхнего этажа, перекрытия которого, в свою очередь, не выдержали и упали на нижний, — и в несколько секунд нарастающая тяжесть разломанных железобетонных плит провалила перекрытия всех семнадцати этажей дома, а затем расперла и внешние стены, составленные из больших блоков, которые посыпались, как косточки домино.

Мгновенно рухнуло огромное здание, и руины его окутались громадным облаком пыли, над которым взмыла одинокая темная фигурка человека — это был инструктор полетов, единственно уцелевший из множества людей, находившихся в момент катастрофы в доме и на крыше. Я увидел его стремительно летящим, словно пущенная ракета, от Мневников, где произошла катастрофа, в направлении микрорайона Крылатское — и сверху вновь атаковал его, на этот раз воспользовавшись скорострельным плазменным автоматом. Все выстрелы были точны, я видел это по вспышкам возгорающейся одежды в тех местах, куда попали пули, но это не сбilo с траектории инструктора, по-прежнему быстро удалявшегося к западной окраине Москвы.

Там в небе догорала багровая поздняя заря солнцеворотного месяца июня, огненные кудели пылали над голубым силуэтом прямоугольного, мертвенно-геометрического Крылатского, и я, тихонько опуская оружие, невольно залюбовался причудливой игрой в жизнь, в надежду и мечту, в ласку и упоенность начал безжизненных и призрачных, какими являлись в Божьем мире яркие всплески световых эффектов в небе на исходе дня. И в это мгновение на моем теле с противоположной стороны, с восточной, вспыхнули язычки огня вокруг пылающих пулевых пробоев. Какой уж там совершив немыслимый маневр, с какою невероятной скоростью облетев по кругу пространство — я не знаю, но с тыла меня обстреливал из плазменного пулемета севший мне на хвост и захвативший господство в высоте неизвестный летатель.

И уже падая вниз огромным комом пламени, на лету разваливаясь на огненные клочья поменьше и вдруг увидев перед собою прямую, как луч, голубую полосу Гребного канала, — я понял, что сбит над трибунами Водного стадиона. И мелькнула во мне догадка, что инструктор, пожалуй, мог быть и вовсе не кем-нибудь из нас, одиночек, как я полагал вначале, а воякой из крупных чинов демонария. Плазменного оружия в нашей армии было совсем мало — только лишь трофейное у некоторых офицеров...

Я упал в воду Гребного канала, под водой быстренько освободился от остатков крыльев — безобразные пузырящиеся ошметки всплыли в этом месте на поверхность канала, на котором было пусто в столь поздний час... И только одинокий энтузиаст — из новичков, видимо, — неуверенно выгребался в сторону лодочной станции на шатком каноэ, стоя на одном колене и орудуя коротким веслом.

Ничего не стоило мне лишь прикосновением пальца опрокинуть жалкую лодочку и затем, когда незадачливый спортсмен ухнул с головою в воду, я подплыл к нему и схватил за горло. В темноте, выпучив глаза, бедняга в последнюю минуту успел заметить меня и, отчаянно забарахтавшись, пустил из широко раскрытого рта огромный серебристый клубок пузырей. Он еще стремился каким-то образом рвануться вверх и хватануть воздуху — как и все они, жалкие, никогда не понимавшие того, что не Бог обрек их на смерть, а князь. Так и дергался бедняга и содрогался в моих руках до конца, пока душа его не замерла и, выскользнув из тела, не слилась с тишиною подводного мира Гребного канала, на спорткомплексе Крылатском... Спи теперь спокойно до трубного гласа и не поминай меня лихом, спортсмен.

А я вылезу из своей прожженной шкуры и с удобством расположусь в твоём новом юном теле. Потом всплыву и, громко отфыркиваясь в тишине, отыщу на воде перевернутую лодку, рядом весло с короткой рукояткой — и, подталкивая на плаву, направлю залитую доверху посудину в сторону берега. Затем, вытянув каноэ на берег, я вылью из него воду, для чего мне придется еще раз перевернуть лодку, и вскрою, водрузив ее на голлову, понесу берегом в сторону лодочной станции...

Итак, в загустевших сумерках я тащу лодку на голове, мне девятнадцать лет, я студент экономико-статистического института Иванов, вскоре я стану, пожалуй, чемпионом Европы по гребле на одиночках-каноэ.

Однажды, будучи на международных сборах в болгарском городе Варна, я вдруг получу тайную весть и поеду оттуда в городок Кюстендил, чтобы встретиться там с резидентом главной канцелярии, который передаст мне некое предложение лично от князя. Выполнив поручение, я получу наконец возможность умереть — об этом и сообщит мне резидент. Ликвидирует же меня мой старинный однокорытник по звездному училищу карлик Ватанабэ.

*В те лихорадочные последние дни Старого Времени в европейских странах летателей было гораздо меньше, чем в Америке и Японии. Объяснялось это тем, что самые первые клубы были созданы в этих богатых странах и, соответственно, лучшие, сильнейшие инструкторы собрались именно там. В европейских городах клубных летателей больше всего появилось в Париже. Поначалу они обжили, словно воробы, Эйфелеву башню и крыши собора Парижской Богоматери, но после многочисленных жертв власти города запретили им практиковаться в этих исторических местах, и тогда стайки парижских левитаторов перебрались в район небоскребов, название которого, увы, я уже совершенно забыл.*

### КАРЛИК ВАТАНАБЭ

По улицам Парижа одиноко бродил карлик по имени Ватанабэ. Среди людей он был очень богат, потому что являлся единственным сыном таинственного Ватанабэ, который изобрел средство лечения от рака. Самого кудесника никто не знал в лицо: тот прятался от толпы и лишь высылал за огромные деньги свое лекарство. Но в Японии и Америке многие видели его сына-карлика, известного левитатора, — теперь он решил посетить Европу и уже три дня как был в Париже.

Он очень хотел посмотреть Лувр, но работники Лувра в эти дни бастовали, и ни за какие деньги ему не удалось попасть в знаменитый музей. Зато он побывал в «Гранд-Опера» и увидел фрески Марка Шагала, которые ему совершенно не понравились. Он нашел, что аляповатая живопись прославленного художника выглядит нелепо среди классического интерьера и портит его, словно нищенские заплаты, поставленные на аристократическое платье с золотым шитьем.

На третий день Ватанабэ пригласила группа богатых японцев, бывших в то время в Париже, посетить вместе с ними одного французского черного мага, который для немногих избранных проводил экскурсии в потусторонний мир. Карлик Ватанабэ слышал, что в Европе стали заниматься подобными делами, и любопытства ради поехал — куда-то на Монпарнас, где была квартира-студия мага. Там двенадцать японцев, восемь мужчин и четыре дамы, были усажены на диваны вдоль стен, затем погасили свет и в крошечной темноте их облили, вероятно, пеной из огнетушителя. После сеанса маг объявил, что ключья пены, облепившие платье, и растерянные лица посетителей являются материальной субстанцией того самого иного мира, в котором они только что побывали. Японцы с вежливыми улыбками благодарили и выходили из студии, вытираясь бумажными салфетками, которыми их щедро снабдил маг-хозяин.

Карлик Ватанабэ был опечален столь наглым произволом, которому подвергся, и, распрощавшись со смущенными партнерами, пошел в одиночестве гулять по парижским улицам.

Время было предрождественское, площади и тротуары очищали от бурого осеннего мусора. Солнце мягко вызолотило бульварные кущи почти без листьев, текучее импрессионистское солнце. Затерянные лоскуты его света горели лихорадочными пятнами на старых стенах и мансардных откосах. Все это напоминало Ватанабэ те полотна ранних импрессионистов, в которых жив Париж — при лазоревом свете такой любви к жизни, от которой задыхаешься и тихо плачешь, когда тебя никто не видит. В картинах

была эта любовь, а на знакомом по картинам Париже, по которому шел сейчас карлик Ватанабэ, трепетал лишь ее далекий отсвет.

На Елисейских полях в витринах магазинов выставлена была одежда и обувь с такими ценами, что Ватанабэ прищелкнул языком и покачал своей огромной головой. Ему не нужны были эти женские шубки и туфли на высоких каблуках, с золотой отделкой, но он был одним из тех немногих, которые могли бы покупать в магазинах «Максим». И все же не имеющему любимой женщины, семьи или близких родственников карлику Ватанабэ, в сущности, не могли бы принадлежать все эти вещи. Да он и не хотел вещей, его интересовали только картины художников. В этот первый его приезд в Париж Ватанабэ мечталось о радостном чуде: купить рисунки или картины Тулуз-Лотрека, при жизни такого же несчастного, как и он сам.

Он очутился перед входом в метро и вдруг решил прокатиться по подземке. Ему никогда еще не приходилось ездить в метро. Он даже не знал, как это делается, но служивая девица в форме, ярко накрашенная, помогла карлику взять магнитный талончик и пройти за турникет. Стоя уже по ту сторону загородки, Ватанабэ долго кланялся ей, благодарил за внимание.

В метро он увидел огромные увеличенные снимки певца Ги Моршеля с его молодой женой-красавицей. Карлик улыбнулся: такие же богатые люди, как и он сам, создавали рекламную славу престарелому певцу, который рискнул бракосочетаться с юной особой. Богатым хотелось быть уверенными в том, что настоящее мужество, обеспеченное большим состоянием, не знает старости и дряхлости. Старику иметь при себе молоденькую жену, которая станет старухой гораздо позже, чем он сам, а скорее всего которому никогда не видеть ее старой, приобрести такую супругу весьма лестно и утешительно. Всем своим видом она утверждает, что богатые бессмертны. Карлик Ватанабэ улыбался тому, что богачи за подобное заблуждение готовы были платить деньги, много денег. Бумажными символами — фикцией ценности — они хотели заплатить за фикцию бессмертия.

Он впервые в жизни ехал в вагоне метро, и ему было удивительно приятно покачиваться вместе с другими пассажирами в такт движению поезда, словно в некоем танце, в котором может участвовать всякий, будь то горбун или прямой, карлик или гигант. Парижское метро открыло ему истину, к которой он раньше никак не мог прийти: ехать вместе со многими людьми навстречу своей судьбе гораздо спокойнее и приятнее, чем шататься по миру одному демоном.

И ему вспомнилась его собственная мысль по поводу «Препарата Ватанабэ», исцеляющего от рака. Тот, кто помогает больному уйти от *такой* смерти, всего лишь передает его смерти *другой*. Но неужели они не понимают, что все равно я беру их? Покупающий лекарство попросту глуп, а тот, кто выставляет за это дорогую цену, хорошо их дурачит... И лишь теперь карлику Ватанабэ стало понятно, как он ошибался. Нет, не для того только, чтобы от одной погибели перейти к другой, покупали люди лекарство. Им надо было всего лишь вот так, как сейчас, вместе ехать куда-то, одинаково покачиваясь под неровный ход и ритмичный стук поезда, еще чуть-чуть подольше в этом участвовать...

Да, нам кажется, что мы обязательно приедем куда-то, и это такая же фикция, как те деньги, которые платят богатые мира сего за свое иллюзорное комфортабельное бессмертие, думал карлик Ватанабэ. Он чувствовал себя в данный момент представителем парижского простонародья, захваченным иллюзией Братства, Равенства, Свободы. Но ради этой сиюминутной иллюзии, также дающей ощущение бессмертия, платить пришлось в тысячу раз меньше, чем сегодня мы заплатили черному магу за экскурсию «на тот свет», подумал Ватанабэ. Всего лишь цену магнитного талончика в метро — и ты едешь, свесив ноги с сиденья вагонного кресла. Ты охвачен странным тотальным чувством благополучия в ближайшем будущем, куда и доставит всех пассажиров метро поезд.

Его мысли были прерваны тем, что какая-то крашенная старая женщина на соседнем, через проход, кресле вдруг покачнулась и упала головой на плечо своей полной соседки, женщины помоложе. Та молча отпихнула старуху, а затем поднялась и с возмущенным выражением на черноглазом напудренном лице удалилась в соседний вагон. Упавшая, поникнув головой, съезжала по спинке кресла все ниже и ниже и вскоре должна была, по всей вероятности, рухнуть в проход.

Но тут карлик Ватанабэ, доселе спокойно сидевший, мирно побалтывая ножками, живо соскочил с места и поспешил на помощь. Он вскарабкался, навалившись животом на край сиденья, в освободившееся кресло и подхватил сползавшую пассажирку за плечи. Приподнял и осторожно выпрямил ее обмягшее тело, утвердил его поустойчивее — и наложил руки на седую голову старой дамы. Затем, продолжая стоять на сиденье кресла, молвил, обращаясь к остальным пассажирам:

— Мадам и месье! Прошу вас не беспокоиться. Эта женщина больна, я установил диагноз. У нее опухоль в головном мозгу, и теперь внезапно случился склероз.

Пассажиры молча смотрели на карлика Ватанабэ, все так же мерно покачиваясь при неровном ходе вагона. Некоторые сразу отвели глаза и старались делать вид, что не замечают его. Он же, придерживая одной рукою старуху за взлохмаченную голову, другою размахивал в воздухе и держал речь перед безмолвными парижанами:

— Эта дама уснула самым глубоким сном и, в сущности, может уже больше не проснуться. Раковая опухоль у нее развилась на том участке мозга, где вызывается летаргический сон. Ее должно посчитать очень счастливой, эту старую даму, потому что она может умереть во сне, не зная даже, что умирает. Сейчас опухоль у нее еще небольшая, примерно с лесной орешек, но процесс будет нарастать, мадам и месье, и очень скоро опухоль станет величиною с каштан. Тогда эта дама может умереть, и я не знаю, будет она испытывать при этом какие-нибудь физические страдания или нет.

По-прежнему никто никак не отзывался на слова карлика Ватанабэ. Уже все пассажиры старались не обращать на него внимания, уткнувшись кто в газету, кто в пустоту перед собою. И только пришедшая из соседнего вагона женщина-ревизор сделала ему строгое замечание:

— Месье, у нас не принято вставать ногами в кресло.

— Но я должен был установить диагноз, мадам, — оправдывался карлик Ватанабэ. — Я это делаю с помощью рук, которые у меня особенно чувствительны. — И он выставил перед собою ладони, похожие на лапы тюленя.

— Сядьте на место, не стойте ногами в кресле! — еще раз приказала женщина-ревизор, обтянутая узкой формой, в каскетке с полицейской кокардой. — А к этой женщине, если она больна, я вызову врача.

— Я Ватанабэ, — сказал карлик, горделиво выпрямившись. — Я великий врач всех времен и народов. Это я, именно я, а не кто-нибудь другой, создал «Препарат Ватанабэ».

— Хорошо, месье, но только не стойте грязной обувью в кресле, — в третий раз повторила женщина.

И тогда карлик Ватанабэ сделал то, чего ему ни за что не следовало делать... Он вспомнил, что на одной из картин Марка Шагала, чьи фрески в «Гранд-Опера» ему так не понравились, новобрачные изображены летящими, как подхваченные ветром шелковые шарфики. Почему-то вспомнив это, карлик Ватанабэ сам взлетел под потолок вагона и плавно закружился над головами пассажиров.

И все они, а вместе с ними и строгая женщина-ревизор, как один, подняли головы и замерли с выражением тупого удивления на лице. Только больная старуха, впавшая в летаргию, сидела в кресле, свесив на грудь свою седую всклокоченную голову.

Карлик Ватанабэ совершенно забыл, что они едут глубоко под землей, что над головою у них не воздушное небо, столь любовно изображенное художниками-импрессионистами в их прозрачных картинах. Он даже не подумал о том, что сейчас, возможно, поезд идет под речным дном, снизу пересекая Сену, и над головою — толща земли, черный ил с утонувшими в нем калошами, с мертвыми рыбами, пластиковыми бутылками и ржавыми велосипедами. А может быть, поезд шел как раз под громадным готическим собором со свинцовым фундаментом, с глыбами вмурованного в стены дикого гранита...

Ничего такого не представляя, карлик Ватанабэ сделал последний выразительный жест над головами парижан, едущих в поезде по глубокому подземелью, и, как нож в масло, ушел в стену вагона и исчез за его пластиковой обшивкой.

Таким образом, карлик Ватанабэ был убран с пути и больше уже не мог помешать моим планам. Скорее всего, размазавшись по стенке тоннеля парижского метро, японский чародей перестал подавать всякие признаки своего присутствия (я, д. Неуловимый, мог снова вернуться к своей главной заботе в Париже), и если даже, проблуждав в толще подземелья многие годы, когда-нибудь и вынырнет снова на поверхность дух карлика Ватанабэ, к тому времени с Парижем будет покончено, со всем Старым Светом также, — и превратится человеколюбивый онкологический демон в одинокого оборотня с грохочущим среди ночной тишины тоскливым и неистовым голосом, выкрикивающим на японском языке ругательства по поводу того, что он столь легкомысленно и позорно дал себя обвести во круг пальца: «*Ко-онаёро-о!*»

Ах, не все ли равно тебе, неохотно отзовусь я из темноты карлику Ватанабэ. Все мы чего-то суежились на этой земле и ненавидели друг друга. И все, будучи эмигрантами неба, так старательно изводили друг друга — для чего, спрашивается?.. Не так уж много было нас, сброшенных с небес, когда-то учившихся в одной школе. И не столь долгим оказалась наша власть над этими...

Так думал я, величайший д. Неуловимый, в угрюмом состоянии духа продолжавший ехать в вагоне парижского метро, из которого только что вылетел карлик Ватанабэ. Старуха со всклокоченными волосами, постепенно съезжавшая с сиденья, клонясь в сторону прохода, вдруг встрепенулась, ожила и выпрямилась на своем месте. И некий господин азиатского обличья, человек с седыми белыми висками и широкими темными бровями, словно наведенными углем, усмехнулся и, уже больше не глядя на старую даму пристальным и тяжелым взглядом своих длинных глаз, встал с места и направился к выходу. Вскоре поезд подошел к станции, и седой иностранец вышел из вагона и смешался с толпой.

Это был господин Мэн Дэн из Южной Кореи, крупный коммерсант и одновременно миссионер корейской ассамблеи летающих братьев. Недавно подвергнувшись яростному нападению московского демона, этот верный слуга д. Неулового едва спасся. Из России он был немедленно направлен в Париж — здесь дела д-ра Мэна пошли гораздо успешнее, чем в России, и теперь миссионер мог разворачивать свою деятельность без японской конкуренции.

Свободный полет без крыльев начал бурно распространяться во Франции и, как уже говорилось, сразу же ознаменовался множеством смертельных прыжков дилетантов с Эйфелевой башни. Господин Мэн Дэн мог пожать на французской земле богатый урожай, и я, убрав с его пути одного из могущественных соперников, собирался помочь ему наладить широкую рекламу.

Все эти важные дела отвлекали на себя мое внимание, и путешествующая молодая чета, Орфеус и Надежда, оказались на какое-то время полностью предоставленными самим себе.

Они поселились в маленькой, но дорогой гостинице на Монмартре и, когда демон отстал от них, вдруг почувствовали великое равнодушие ко всему окружающему миру и поняли, какой нелепостью было это задуманное свадебное путешествие. Два дня они прожили в Париже, совершенно не выходя из отеля, обеда и ужины заказывали в номер, отключили телевизор и, в сущности, почти не вылезали из постели. На третий день, однако, Надежда взяла машину напрокат и повезла Орфеуса в Руан.

Париж в те дни содрогался от чудовищного внутреннего напряжения, ожидая часа ИКС, и в воздухе над знаменитыми монмартрскими мансардами появились первые летающие люди. Надя начала рассказывать мужу о том, что видит перед собою на улицах и в парижском небе, но Орфеус вежливо попросил ее не делать этого и ехать молча. Не подчиненная больше темной воле демона, речь жены, произносимая на немецком языке прежним сочным грудным голосом, без хрипотцы, звучала удручающе скучно и уныло, Орфеусу это мешало гораздо больше, чем ее одержимые речи на непонятном русском. Он смутно, сквозь толщу своей слепоты, ощущал настроение последних дней мира, кое-что знал и по рассказам жены, делавшей добросовестные устные репортажи, а также строившей прогнозы на будущее, — но слепой Орфеус давно уже находился совсем в ином Путешествии... И там «вчера» никак не отличалось от «сегодня», «сейчас».

Тогда, в Руане, Надя припарковалась напротив знаменитого готического храма и успела лишь сообщить ему, что с башенок Руанского собора в тот час, когда они подъехали к нему, бросились в полет сразу несколько человек. Почти все благополучно отлетели, только двое сорвались и, очевидно, упали где-то поблизости.

Орфеусу показалось, что он даже слышал звук падения незадачливых летателей. Тогда и полились слезы из его пустых глазниц, закрытых черными очками.

— О чем ты плачешь, Орфеус? — спросила жена, осторожно беря его за руку.

— Разве я плачу? Надя, это я так смеюсь.

— Над кем же, Орфеус, ты смеешься, неужели над теми, которые только что, минуту назад, разбились у нас на глазах?..

— *У тебя на глазах*, — перебил муж жену, — они разбились у тебя на глазах, и я смеюсь вовсе не над ними, беднягами... Я смеюсь-и-плачу, Надя, о тех, которые благополучно улетели...

— Но почему? Почему?

— Потому что они не знают, как их обманули.

— В чем же обман, Орфеус? Ведь ты же знаешь, какие настали дни: разве можно смеяться-и-плакать над теми, кто хочет просто спастись от смерти?

— Не о них только, но обо всех нас, живущих и живших, я плачу, Надя.

— Но почему?

— Потому что нас обманули, потому что все мы живем страдая и умираем протестуя. Даже Христос в последнюю ночь протестовал и мучился — даже Его обманули.

— Орфеус! Орфеус, о каком обмане ты все время говоришь?

— О таком, Надя, когда тебя мучают и внушают при этом: вот, скоро, скоро с тобою все будет кончено, ты умрешь. Вспомни: и Христос на кресте, перед тем как испустить дух, крикнул: «Кончено!» Он умирал, Надя, как человек: одну только смерть Он видел перед собой, и более ничего.

— И что же, Орфеус? Разве это не так? Разве не для каждого это: впереди только она? Даже для Сына Божьего.

— Да, мы проходим через всю жизнь с чувством смерти. А ведь ее нет, Надя.



— Что же тогда есть, если ее нет? Чего ждут люди в эти Последние Времена?

— Воскресения. Смерть — это воскресение. И оно уже есть. Мы все уже вечные, Надя. **Мы воскресшие**. Но мы не знаем об этом... А эти люди, которых я не вижу, боясь часа ИКС, хотят летать...

— Но если все так, допустим, и ты знаешь, что это так, — почему же ты плачешь, Орфеус?

— Потому что мне жалко всех... С тех пор как я узнал об этом, мне невозможно стало жить от жалости...

— Когда же ты узнал «*об этом*», бедный Орфеус?

— В Виттенберге, — ответил он, — недавно... Однажды ты уехала кататься на велосипеде, а я дома так крепко, так сладко уснул, и мне приснился сон... Сначала как будто бы ранним утром мы с тобой *увидели* из окна: в парке перебегали через поляну — смутно-зеленую, налитую слабым туманцем понизу — грациозные призрачные олени, закидывая рога и обгоняя один другого... Да, Надежда, я все это ясно, ясно *видел* во сне... Потом люди с ружьями, мужчины и женщины, охотники, графские гости, убили этих оленей, целых двадцать две головы, а вместе с ними убили и девять кабанов, двух лисиц и одного несчастного зайца. Все эти трофеи были разложены на траве аккуратными рядами ровным прямоугольником и для чего-то еще и окружены бордюром из наломанных еловых лап. Подошли четыре мордастых егеря с валторнами, стали в кружок друг против друга и по команде одного из них: «Ein — zwei — drei — fahr!» — враз задудели какую-то тягучую мелодию... И после этого откуда-то появился граф, упитанный мужчина в годах, но с невинным детским выражением на пухлощекое лицо. Он подошел к микрофону, снял шляпу с пером, при этом обнажив бледную лысеющую голову, и произнес перед гостями-охотниками следующую речь... Я ее запомнил до слова, Надя! Вот она: «Дамы и господа! Благодарю всех вас за то, что вы откликнулись на мое приглашение, хотя у каждого, я понимаю, много и своих дел. Нам сегодня сопутствовала удача, и нет среди номеров прошедшей охоты ни одного, кто бы не стрелял, и также нет ни одного, чьи выстрелы оказались бы неудачными... Мы радуемся нашему успеху, но вместе с этим смиренно просим прощения у двадцати двух оленей, девяти кабанов, двух лисиц и одного зайца-русака, убитых нами на этой охоте. И хотя их жизнь была прервана буквально на всем скаку, я хотел бы в утешение им напомнить вот о чем. Они без колебаний и сомнений устремились в ту сторону, где им представлялось спасение, они при этом не оглядывались и не озирались с тоскою. И каждый из них прямоиком стремительно уносился в вечное существование, и громкий выстрел, раздававшийся в честь каждого, салютовал момент обретения бессмертия доселе смертным существом. Подобным же образом и нам, дамы и господа, обещано блаженное существование, если мы будем столь же послушны во исполнение повеления жить и спасаться, как эти звери, — и никогда не станем проявлять нетерпения, а также нескромного любопытства. Бог обещал вечное блаженство всем, Он его нам и даст. Но будем терпеливы и скромны — всему свое время. А те, которые хотят летать, как ангелы, уже сегодня, те могут, конечно, этому научиться, — но они, господа, в Царство Божие попадут отнюдь не раньше нас»... И вскоре я проснулся, Надя, и услышал, что за окном капает по листьям деревьев дождь. Тебя еще не было дома, где-то далеко, в гулкой глубине замка, лаяла собачка Руби. Бессмертие во сне было обещано, но для того, чтобы получить его, все же требовалось сначала умереть наяву.

Так говорил в Руане плачущий без рыданий, без всхлипываний слепой Орфеус, и ему был задан женою тот вопрос, который являлся главным вопросом для всех христиан земли (и для всех демонов, рассеянных по дну земного мира):

— Воскреснут все, Орфеус?

— Все, — спокойно ответил он. — Каждый, кто жил, тот умер для того, чтобы воскреснуть.

— Вот уж и не думала, — тихо промолвила Надя. — Я полагала, что воскреснут только добрые. А всем злым — смерть, ничто, тьма и молчание... Я не думала, что смерть — это всеобщее обязательное воскресение.

Она проследила рассеянным взором за тем, как новая группа летателей сорвалась с башенок собора и, словно веселая ватага воробьев, брызнула вверх и скрылась за крышами домов.

— Разве ты не знала об этом? — удивился Орфеус, продолжая между тем неслышно плакать. — Я подумал, что ты не хотела учиться летать только потому, что тоже знала...

— Нет, Орфеус, не поэтому... — мягко, с глубоким волнением в голосе отвечала Надя. — Но не надо плакать, мой дорогой... И так слишком много унижений было для нас.

— Из-за этого и плачу, Надя... Чем дольше я нахожусь в Путешествии, тем грустнее мне становится. Почему наша жизнь на Земле получилась такой страшной?.. Зачем вечным путешественникам нужно было на этой зеленой, хорошей Земле делать такие пакости? Об этом уже и говорить не хочется... Давай вернемся в Париж, а потом поедем обратно в Геттинген.

— Что ж... Я согласна.

И они поехали назад, в Париж, даже не выйдя из машины в Руане. Прежний номер в гостинице на Монмартре был свободен, и они снова заняли его. Еще два дня и две ночи провели они в нем, никуда не выходя и ничего не зная о том, что происходит в городе, в стране, во всем мире...

Телевидение, радио и все газеты в это время были наполнены предположениями, прогнозами, гаданиями и новыми сенсационными сведениями о сроке часа ИКС. Ученые и писатели пророчествовали.

Гигантские пожары охватят хаос разрушенного мира, и меж тучами миллионных дымов взвоятся и зареют темные летающие точки... Что же это будет? Птицы или спасенное благодаря самому себе летающее человечество?

Этими страстями и заботами бурлил и переполнялся весь мир, но в маленьком номере парижской гостиницы на Монмартре стояла глубокая тишина, словно в могильном склепе. И две живые души, два человеческих тела обитали под укрытием широкого легкого одеяла, в полусонном забытии, погруженные в оцепенение мысли, воли и дремлющего инстинкта жизни. Порой один бессознательно шевелился, и тогда, с трудом услышав его, шевелился и другой. Но эти слабые звуки не отражали какого-либо действия, которое следует как ответное действие человека: просто невнятный шорох бытия вызывал в тишине ответное эхо. Ночь и день, жизнь и смерть, любовный позыв и глубочайший провал бесчувствия являли здесь свои общность и неразделимость. Вся предыдущая жизнь, которая дотекла тихими шелестами простынь до этой гостиничной постели, была точно так же безответна в своей тоске приближения к концу.

И все же она текла — беззвучно и яростно пожирающая время и ждущая смерти жизнь. Но кроме этого ожидания ничего другого не содержалось во всей тысячелетия продолжавшейся юдоли человека на земле. Не мог создать Бог столь нелепой и злобной жути — нет, Он и не создавал такого. Мы все могли бы засвидетельствовать это — мы, бывшие рядом с Ним у Начала Мира и зажигавшие звезды в Его небесах. Творением, вздвигнутым по Его замыслу, являлся и человек, который никогда не должен был умирать — и мог бы летать, как ангелы.

*Его коснулось зефирное веяние отдаленных признаков материка, ведь он однажды уже пересекал Атлантику, только в обратном направлении — от Америки к Европе. И может быть, вид небес у пограничья суши с океаном всегда более домашний, руно на кучевых облаках покурдрявее, мех на серых медведях грозových туч менее клокаст и дик, — летатель Френсис Барри по каким-то невнятным еще признакам неба и атмосферного дыхания ощущал*

*приближение суши. И как никогда чувствовал он сейчас свою неразрывную связь со стихией слов, от которой зависела реальность земли и неба, морского простора и выразительных, словно дикие животные, поднебесных туч.*

## ЛЕТАТЬ КАК АНГЕЛЫ

В разрывы туч иногда прорывалось солнце, и тогда громадная океаническая плита покрывалась ослепительными вспышками, мешая смотреть. Френсис Барри опускал на глаза очки с затемненными стеклами — и сразу же неистовое кипение солнечных бликов превращалось в глазах его в ровное голубоватое сияние.

По компасу он должен был, двигаясь по сороковой параллели, выйти теперь к берегу чуть южнее Нью-Йорка, но земли все еще не было видно и океан в громадно-синей своей пустынности являл впереди, как и позади, один лишь бесчувственно-ровный горизонт. Беспокойство начало охватывать Френсиса Барри, по мере того как время шло, он летел в режиме высокого волевого напряжения, почти перестал выходить на свободное планирование, последнюю ночь вообще минуты не спал — американского же берега все еще не было видно.

И вдруг с какого-то момента он стал замечать, что по отношению к ближайшим кучевым облакам движение его намеченным курсом как бы совершенно прекратилось: то ли эти облака резко изменили направление полета и, подгоняемые попутным ветром, сравнялись в скорости с его продвижением, то ли полет замедлился, несмотря на все его усилия. Однако по сопротивлению встречного воздуха летатель определил, что скорость его ничуть не уменьшилась. И не могло быть того, чтобы северо-восточный пассат, устойчивый в данное время года на этой широте, вдруг переменял направление. Что-то во всем этом начинало проявляться непонятное и грозное.

Френсис Барри хотел произнести словесную формулу ОН-1, которая открывалась учителем каждому летателю перед его первым самостоятельным полетом, — молитву летателей, поднимающую и удерживающую в воздухе, — но что-то произошло с его памятью: он начисто забыл слова молитвы. Тогда и пришел к нему безграничный страх и трезвое осознание своего пространственного положения; он почему-то повис высоко в небе, под самыми облаками, над темно-синей однообразной океанической плитой, без опоры ногам и без рычагов машины в руках.

Летатель Френсис Барри как бы очнулся ото сна и обнаружил себя в воздушной пустоте над бездной моря... Но сон будто являл свое продолжение: Барри не падал, хотя и не летел вперед. А вскоре настала ночь, и, казалось, совершенно внезапно вспыхнули в небе звезды.

Его начало сносить в юго-западном направлении. Через несколько часов он увидел на горизонте темный зубец острова, отчетливо выступавший на фоне чуть светящегося неба. Сверившись по звездам и приборам, Френсис Барри установил, что его снесло к Бермудским островам.

И тут он заметил, что чуть повыше его движется в том же направлении некий другой летатель, и Френсис принялся вспышками прожекторного фонаря подавать ему сигналы. Улетевший уже довольно далеко вперед неизвестный левитатор приостановился и, развернувшись, заскользил по воздушной горке навстречу световому призыву. Приблизившись на расстояние десятка метров, он сделал вираж, выровнял направление и движение полета с Френсисом Барри и, включив свой яркий прожектор, осветил его.

— В чем дело, приятель? — произнес незнакомец резким, жестким, грубым голосом.

— Вы случайно не из нью-йоркского клуба? — спросил Барри.

— Да, — ответил незнакомец. — У тебя какие-нибудь проблемы?

— Что-то я ничего не пойму... Лечу от Гибралтара на Нью-Йорк, и вот почему-то снесло меня к Бермудам.

— Ничего удивительного, парень. Нью-Йорк не принимает. Установил заградительную зону вдоль побережья до самого Бермудского треугольника.

— Что же делать?

— На Нью-Йорк лететь нельзя, — отвечал левитатор, могучего сложения человек с густыми сросшимися бровями. — Двигаться можно на Майами, далее на Хьюстон и к Санта-Фе.

— Что? Только в этом направлении? — недоуменно вопрошал Френсис Барри.

— Вот именно, — был ответ. — По этому коридору можешь лететь свободно хоть до самых Гавайев.

— Но почему именно по этому?.. И кто это установил? — возмутился Френсис Барри.

— Я это установил, — ответил с насмешливым вызовом незнакомец. — Тебя это устраивает? Ты думаешь, для чего мне надо было бы тут крутиться? И вообще — тебе, кажется, неизвестна моя персона. Я д. Нью-Йорк... Что, не ожидал такой встречи?

— Но я вам ничего плохого не сделал вроде бы... — смог только и вымолвить в ответ Френсис Барри. — Я один из первых клубных тренеров Нью-Йорка... Я работал, выходит, на вас...

— А сейчас ты работаешь на Европу? — с резким смехом выкрикнул Нью-Йорк. — Ну и возвращайся туда обратно. А в Америке тебе уже нечего делать, у нас-то все в порядке... Только в двух штатах еще не набрано клиентов, я же говорю: в Нью-Мексико и на Гавайях. Лети туда или — обратно в Европу! — И, отведя в сторону луч прожекторного фонаря, д. Нью-Йорк досадливо насупил свои густые брови. — Не свети мне в самые глаза, пожалуйста, — сердито попросил он.

— Но я почему-то забыл формулу ОН-1, — безнадежным голосом молвил Френсис Барри, тотчас выключив фонарь. — Невероятно, но так получилось, мистер Нью-Йорк... Что-то не в порядке с моею головой.

— Это твои проблемы, — сухо и спокойно констатировал д. Нью-Йорк. — Я сказал тебе все, что хотел. Бай-бай!

И, тоже потушив фонарь, д. Нью-Йорк с места стремительно, мгновенно удалился сразу на огромное расстояние и стал невидим. Френсис Барри вновь остался в одиночестве — в виду Бермудских островов, без уверенности в полете, позабывший молитву летателей...

Медленно продвигаясь в ночи к далекому еще острову, угрожающе быстро теряя высоту, летатель подумал об оставленном несколько дней назад в Марокко ученике, который таким же образом, наверное, потерял волю и чувство полета. Ничем он тогда не смог помочь любимому ученику, другу, и даже, спохватился он сейчас, не удосужился напомнить ему о формуле ОН-1: может быть, ученик также забыл по необъяснимой причине заветную молитву.

Френсис Барри остался один над темным и неразличимо громадным океанским простором, испытывая острое, как укол в самое сердце, чувство вины перед оставленным в Марокко учеником, и в это мгновение их общего времени, ранним жемчужно-розовым рассветом, который наступал на Гибралтаре часа на четыре раньше, чем на Бермудских островах, Валериан Машке стоял на плоской крыше маяка. С нее только что на его глазах спрыгнули четверо богатых алжирцев в фесках, привязанных к головам темными шарфами, в длинных одинаковых балахонах, из-под которых выглядывали шаровары ярких цветов. Весело, гортанно переключаясь, громко хохоча в прозрачной тишине утра, четверо алжирцев благополучно отлетели в голубизну залива и вскоре превратились в едва заметные точки.

И, глядя им вслед, Валериан Машке как бы в одно мгновение от начала и до конца целиком проследил историю возникновения, развития и, наконец, нынешнего преосуществления левитации. Бог создал нашу вселенную, связав все ее отдельные части между собою законом всемирного тяготения и окружив мироздание единым гравитационным полем. В этом

мировом поле все вещественные отдельные предметы тяготеют друг к другу, и поэтому человек может ходить по земле, точно так же как бегают по ней звери и ползают муравьи. И лишь духовные тела ангелов, единородных детей Божиих, не подчинены своду гравитационных законов вселенной — для них существуют свои законы. Поэтому они, созданные в духовном теле, могут летать без крыльев в воздухе — и даже в безвоздушном пространстве. Духовным телам ангелов крылья не нужны, в древности ими пользовались лишь для красоты и достижения сходства с птицами. Человек же, обладающий Адамовой душой, но не духовным телом, летать без крыльев *не имеет права*. Только с нарушением вседержущего гравитационного закона возможна сегодня человеческая левитация. Поэтому с этой минуты мне становится совершенно ясно, что, беря не из рук Бога дар свободного полета, мы снова повторяем первородный грех — опять ворует у Него то, что Он по доброте Своей хотел бы даровать Сам...

Когда в Нью-Йорке, на Уолл-стрит, Френсис Барри впервые прошептал мне на ухо молитву и затем приказал перелететь к противоположному небоскребу на уровне сто девятого этажа, я не смог этого сделать, хотя надлежало преодолеть всего каких-нибудь двадцать — двадцать пять метров. И тогда Френсис крепко прижал меня к себе и, стоя спиной к улице, выкинулся вместе со мною из окна... Но он не ангел, Френсис Барри, нет. Он любил курить, буйные кудри его и борода пропахли табачным дымом. И он не демон — труслив как заяц и, несмотря на свое поистине богатырское сложение, всегда боялся малейших конфликтов с соседними компаниями в кабаках, особенно если там были темнокожие парни... И все же кто-то ведь научил Френсиса Барри летать!

Мне бы очень хотелось узнать, кто наши учителя...

Но теперь уже поздно, я этого не узнаю. Потому что сейчас прыгну с крыши маяка. Я не могу не сделать этого. Надя, Наденька милая! Ты говорила, что вышла за меня только из-за моего голоса: мол, таким голосом может петь титан, полубог, способный раздвинуть головою камни и выйти из горы, в которую он был заточен. Ну, не знаю, для чего такому громиле еще и петь, но я был счастлив, Надя, что тебе нравится мой уникальный бас. И однако, когда я познакомился с Френсисом Барри, для меня все перестало существовать, кроме полетов. Я могу сказать, что каким-то непостижимым образом я и на самом деле пожертвовал нашим малышом, о чем ты как-то сказала мне: *такой маленький, такой милый и так рано ушел*, — пожертвовал и тобою. Музыка, пение тоже стало для меня делом второстепенным, *далеким*. Один лишь полет остался в моей жизни.

Вот я и стою теперь на крыше маяка близ Танжера; пока мне никто не мешает, но я уже слышу звуки шагов множества ног, гремящих по железным ступеням винтовой лестницы вниз, еще далеко, у самого основания круглой башни. Я понимаю теперь, что, украв у Бога знание полета, учитель передал его мне: в моих руках похищенная драгоценность... Но мне хочется летать, и это уже неодолимо. Когда впервые Френсис отпустил меня в воздухе и я полетел рядом с ним, я почувствовал, что люблю эту мгновенно познанную свободу больше жизни. И великое преобразование произошло во мне: я перестал бояться смерти. Отныне все мои действия и чувства совершались и зарождались в чудесном пространстве, свободном от страха смерти...

И с улыбкой радости на лице я разбежался и бросился вперед, в воздух, всем сердцем устремляясь в голубую пустоту предутреннего моря. В последний миг услышал, как из люка, выводящего на крышу маяка, выплеснулись, словно звонкие фонтаны, голоса молодых людей — юношей и девушек. И еще я помню, что вовсе не полетел — сразу же камнем пошел вниз, соскользнув в пустоту мимо мелькнувшей белой крашеной стены маяка.

И тотчас увидел пуховые белые облака в синем небе над дальним берегом озера, посреди которого плыла странная пара: маленькая лодочка с одинокой фигурой человека и рядом белый лебедь с задумчиво изогнутой

шей. И я сразу же вспомнил, что это за озеро, вспомнил, какое имя у лебедя: Эмиль.

Я стоял на дороге, которая приблизилась по берегу почти к самой воде озера, в моей руке была длинная странническая палка, на мне был великолепный дорожный костюм: широкая блуза с отложным воротником, короткие штаны-шорты до колен, шерстяные носки и крепчайшие башмаки на пластиковой подошве, не знающей износа.

В самом начале, после того как я возник на берегу озера, мне все стало ясно, и память моя пробудилась вся. Я прожил не бог весть какую замечательную жизнь, и если бы не встреча с двумя людьми в той жизни, она осталась бы для меня навечно нежеланной и беспамятной.

Первая встреча — это ослепление от внезапно вспыхнувшего перед глазами зарева, зимний холод и обрамленный леденящим морозом аромат молодого женского тела: в тридцать лет я нашел жену в снежном сугробе глухой ночью на окраине Москвы...

Вторая встреча — это учитель бескрылого полета Френсис Барри. Однажды я увидел его, избиваемого двумя сопляками в затрапезном кафе в районе плац Пигаль, во время своих ночных прогулок по грешному городу Парижу; пришлось мне решительно вступить за беспомощного гиганта...

Теперь — после падения с крыши маяка в Танжере, на берегу Гибралтарского пролива, — я возник на берегу Гавринского озера, в России, там, где когда-то строил и так и не достроил свой дом. Я не знал еще, сколько лет длилась протяженность моей смерти, уцелел или рухнул дом после удара в мгновение ИКС. И увидел я по новом своем возникновении на земле друга и инструктора левитации — американца Френсиса Барри. Разумеется, что в лодке находился вовсе не тот же самый кроткий Френсис, который так боялся мелких хулиганов — настолько боялся, что все время как бы наворачивал, вызывал их на себя, и они слетались на него, как мухи на мед.

И лебедь Эмиль, ручная невеселая птица, которую знал я при жизни в Германии, в Шлезвиг-Гольштинии, теперь также не был тем же самым белым лебедем, понимавшим немецкий язык. И это озеро, и лодка в нем, и человек в лодке, и большая птица, плывущая рядом с лодкой, — это мой рай, в котором я оказался после смерти на Гибралтаре. В этом и сущность моего воскресения: воскресли не только я сам, но и все, кого я полюбил и запомнил на земле.

Между тем, пока я размышлял, стоя на берегу озера, опершись руками на длинный свой посох, озерная парочка постепенно приблизилась в мою сторону, и вскоре, пристав к суше, Френсис выпрыгнул из лодки, а лебедь Эмиль заходил плавными кругами недалеко от берега, сохраняя в изгибе шеи и в выражении птичьей физиономии прежнее классическое недовольство жизнью и нескрываемую мизантропию.

— Вот нам и пришлось встретиться, дружище Френсис! Хэлло! — первым приветствовал я друга, с раскрытыми объятиями шагая ему навстречу.

— Хэлло, Машке!

Мы обнялись; нет, по-другому теперь веяло от бороды и кудрей Френсиса Барри — не табачным дымом, а прохладой водной свежести, ароматом разогретой солнцем хвои, фиалковым запахом тишины туманных ночей...

— Тебе удалось тогда долететь до Нью-Йорка? — сразу же спросил я.

— Нет, — кратко отвечал Френсис. — Я оказался на Бермудах. А ты где закончил?

— Дошел пешком до Танжера, — рассказывал я, новоявленный Валериан Машке. — Там стартовал с крыши старого маяка.

— А я на Бермудах вынужден был сделать остановку, — сообщил Френсис. — Случилось невероятное с моей памятью: я забыл молитву! Бедняга, я считал себя конченным, почувствовал себя обманутым учителями и в свою очередь подумал о страшной вине перед своими учениками.

Те, которых научил я летать с помощью медитации и тайной молитвы, могли так же ее забыть, как и я, и в этом было грозное напоминание о высших силах, о которых я помнил, когда сам учился полетам. На Бермудах, переезжая с острова на остров на местных паромках, я имел достаточно времени подумать о разных тревожных моментах в нашем деле, о которых раньше как-то не было времени подумать. Дело в том, что блестящие результаты больше предрасполагали к торжеству и ликованию, нежели к сомнениям, и нам казалось, что достигнутое никуда уже не уйдет от нас. Почему мы были так устроены, Машке? Получив в подарок от матери на день рождения велосипед, я потом беспощадно гонял на нем по камням, буграм и ямам, падал и налетал на деревья, а однажды, разозлившись за что-то, в сердцах швырнул велосипедик с высокой насыпи шоссе вниз, в лужу. И ведь ни разу не подумал с благодарностью — тем самым не приостановив свои неистовства, — не вспомнил о нежном и радостном выражении на лице матери, когда мы с нею в магазине велосипед этот выбирали. Я, как и многие в те последние времена, вырос без отца, с одной лишь матерью, а ей вырастить сына без мужской строгости было нелегко, — впрочем, ты об этом и сам должен знать: ведь у тебя также не было в семье отца, Машке... Велосипеды-то мы швыряли с высокой горы в лужу, но никогда не вспоминали, какие были лица у матерей, когда они покупали их нам. Что за свинство! Ведь кто первым показал нам возможность левитации? Кто научил нас молитве? И кто впервые на практике продемонстрировал перед своими учениками бескрылое вознесение в небо? Позабыв об этом, мы носились по воздуху, как носятся мальчишки на детских велосипедах по лужам, и засчитывали чудесный дар в свои спортивные успехи. Так я, помнишь, установил рекорд, первым перелетев в одиночку через Атлантику из Америки в Европу. И других я учил летать, пожалуй, помня лишь о спортивных целях, и тем самым невольно внушал вам, что чудесная сила находится в вас самих, что вы *можете*, что вы уже бессмертны. И потом, когда было объявлено о приближении секунды ИКС, всякий летающий посчитал себя свободным от ответственности, потому что, мол, если все и рухнет, то это уже не касается его: он-то взлетит...

— Мне никогда не приходилось спрашивать у тебя, Френсис, — воспользовавшись наступившей в рассказе паузой, позволил себе задать вопрос я, — а кто был твоим учителем?

— Меня учил миссионер из Японии, — отвечал Френсис Барри, хорошо узнаваемый в новом своем воплощении, хотя и выглядевший сейчас лет на двадцать моложе того человека, которого приходилось мне встречать в жизни. — Это был горбун, ростом чуть повыше моих колен, но выдающийся летатель и очень талантливый инструктор. Теперь-то я знаю, что он был одним из самых страшных демонов на земле...

— Итак, теперь нам ясно, кто были наши учителя, Френсис... Но пришлось ли тебе раньше... ну, *тогда*... узнать об этом? — был мой новый вопрос ему. — И вообще: где и как у тебя все кончилось?

— Да, я начал догадываться, что мой учитель был демоном, — и тогда во мне стал иссякать полет. Но я еще смог перелететь с Бермудов во Флориду. Там окончательно и покинула меня уверенность. До Санта-Фе пришлось ехать поездом. Местные индейцы под руководством своих колдунов сами освоили полеты на незначительные расстояния. Помнится, я долго бродил по горам близ Санта-Фе, разыскивая кочующее племя индейцев-летателей... Я думал, что смогу упрощить их и они помогут мне восстановиться. Но за две недели поисков я попросту чуть не умер от голода и жажды, напрасно бродил по склонам, где растут эти вечнозеленые деревья, похожие на кусты, — во всех пустынных горах Нью-Мексико стояли, Машке, такие деревья-кусты, странным образом не сближаясь друг с другом, не образуя сплошного леса... так и торчали каждый в одиночку, сами по себе и сами в себе... Не нашел я индейцев-летателей и решил перебраться на Гавайи, где появилась какая-то мощная левитаторша, при-

ехавшая в Гонолулу из Финляндии. Помню, в газетах были снимки финской инструкторши — молодая женщина без одной ноги. В полет она выходила с костылями — для того чтобы потом, по приземлении, иметь возможность передвигаться по земле... Что-то тогда глубоко задело мою душу, и я решил лететь самолетом в Гонолулу и там заново начать у этой однойногой финской учительницы... Но то, что произошло на Гавайях, мой друг, то было совершенно чудесно и необъяснимо с точки зрения всего жизненного знания и всех бывших истин... Там я и узнал, что дьявол является богом старого человеческого мира и учителя наши — демоны... В одном из кратеров потухшего вулкана на острове Оаху я и погиб, и случилось это внезапно, наверное потому, что я совершенно не помню, как все произошло. Последнее, что осталось в памяти, так это смотровая площадка, расположенная внутри старого кратера, мисс Улла Паркконен вылезла из машины, опираясь на костыли, и какой-то усатый здоровенный мальчик, который приближался ко мне, протягивая в руке мохнатый кокосовый орех... Так и не знаю до сих пор, что со мною случилось: то ли упал мне на голову камень, слетевший с гребня кратера, то ли какой-нибудь гавайский бандит, охотившийся за Уллой, принял меня за ее охранника и уложил выстрелом из снайперской винтовки... Не знаю... Я тут же очутился на этом озере сидящим в лодке, и рядом плыл по воде белый лебедь. Первой же мыслью, которая пришла мне в голову, когда я понял, что воскрешен, была мысль о тебе, Валериан, — мне вспомнилось, как я оставил тебя на марокканском берегу одного, а сам улетел, пообещав прислать денег в Касабланку. Почему-то мысль о том, что ты мог заподозрить меня в предательстве, особенно мучила мою душу в самую же первую минуту моего воскресения.

— А я, как только упал с башни и очутился здесь и увидел лодку в озере и человека на лодке, то сразу же и подумал, что это, должно быть, ты, Френсис...

— И выходит, что мы встретились здесь по обоюдному желанию! Кстати, что это за страна, где мы сейчас находимся, что за место и что за озеро, такое дивное по красоте?

— Это моя прекрасная Россия, Френсис, главное поле Армагеддоново, на которое в августе девятьсот четырнадцатого года выпало больше всего огненных метеоритов. Здесь, мой друг, ангелы смерти пожали самый большой урожай. России в прошедшей человеческой истории дано было стать самой большой державой мира; самой великой — и самой несчастной... А местность эта, покрытая лесами и озерами, называется Мещерой. А вон там, на открытом месте возле самой воды, там когда-то стоял чудный недостроенный дом... Розовые керамические блоки пошли на облицовку первого этажа, второй был деревянным. Сверкающая крыша под белым металлом сияла и слепила отраженным солнцем того, кто издали смотрел на него... Ах, Френсис! Это был мой дом, я когда-то начал строить его на этом озерном берегу и уже подвел под крышу... Но вскоре демоны обрушили крышу над самую Россию. Они разогнали из страны по миру лучших музыкантов и художников. И мне пришлось уехать, Френсис, потому что тем бесам, которые восторжествовали здесь, не нужен был певец с таким уникальным голосом, как мой бас-профундо. И за несколько лет до начала времени ИКС я уехал в Германию, где была у меня древняя родня, с которой мои российские предки-немцы не прерывали связи со времен Екатерины Великой... Я когда-то мечтал прожить жизнь здесь и быть похороненным на местном кладбище, которое располагалось вон с той стороны озера, где виднеются эти белые березы... Да, кладбище было там... И вместо этого попал я, наверное, в танжерские братские могилы, куда власти бросали тела погибших летателей, со всех концов мира приезжавших на Гибралтар учиться бескрылому полету. В газетах и по телевидению марокканские и испанские власти в те дни, ты помнишь, непрерывно объявляли, предупреждали и предостерегали о недобросовестных учителях-само-



званцах, о массовых перелетах через Гибралтар, заканчивавшихся весьма плачевно, представляли фотографии и телерепортажи о тысячах смертей незадачливых левитаторов, о грандиозных — на километры, — рвах с захоронениями погибших...

— Ты полагаешь, что тебя положили в братскую могилу у Танжера?

— Другого предположения, Френсис, я сделать не могу.

— Хотелось бы и мне знать, где находится моя могила...

И только высказал свое пожелание Френсис Барри, как перед нами прямо из воздуха начал сгущаться, вначале прозрачный и как бы свитый из жгутов, словно сырой яичный белок, некий новоявленный субъект. Мы с американцем молча ждали, пока субстанция воскрешаемого окончательно сгустится и цвета ее определятся и обретут предельную яркость. И вскоре перед нами стоял незнакомец, одетый в новый джинсовый костюм, в шапочке с козырьком из той же джинсовой ткани. Лицо у него было смуглым — не то загорелое под солнцем лицо европейца, не то смуглое от природы лицо индуса или араба.

Растерянно и радостно улыбнувшись, сей новоявленный арабоиндоевропейец приветствовал нас взмахом правой руки и заговорил на том языке, на котором мы с Френсисом говорили здесь, — на русском, в чем там Френсис Барри совершенно не разбирался. (Еще одним из тысяч приятных даров для каждого воскресшего являлось владение любым языком. Но это было скорее владение одним всеобщим человеческим Словом.)

— Я Саид Мохаммед из Марокко, — представился он. — Мне пришлось когда-то принимать участие в похоронах летающих братьев. И я тебя хоронил, — показал он на меня, — ты разбился, когда неудачно стартовал с крыши маяка у Танжера. А тебя я не хоронил, — с улыбкою показал он и на Френсиса Барри, — но я видел тебя, и Уллу, и всех остальных, которых мгновение ИКС застало в старом кратере вулкана. В то время на Гавайях я проходил стажировку на степень инструктора у финки Уллы Паркконен. Она только в первый раз выехала с тобой на эту гору, чтобы попробовать тебя со скалы новичков. А я должен был дежурить в воздухе и как раз повис над вами, когда грянул этот грохот и океан перекосило и понесло в сторону, а меня самого швырнуло в небо, и я, наверное, через мгновение задохнулся и умер.

— Я ведь тоже когда-то был инструктором, Саид, — молвил со смущенным видом Френсис Барри. — А этот юноша — один из моих учеников, — кивнул он на меня. — Но, слава Богу, мы все здесь, а уж сколько там длилась смерть для каждого из нас — того никто не знает, да и это теперь ничего не значит... Мы все здесь, и перед нами такое чудное озеро...

— Гавринское! — воскликнул я.

И показал своим братьям, широко и радостно махнув рукою, на сверкавшее в светлых бликах озеро — и вдруг увидел на том месте, где в прошлой жизни стоял мой недостроенный дом и где минутою назад ничего не было, одно лишь ровное травяное сияние гладкого берега, возник вновь из воздуха дворец моей неосуществленной мечты! И даже издали, через озерное пространство, было видно, что дом вполне закончен, совершенно нов, свежеекрашен — сверкающая белая металлическая крыша на нем слепила глаза... Кто же это за меня достроил брошенный, незаконченный дом, кого благодарить и что я могу в благодарность, кроме своей жгучей, как звезда в ночи, беззаветной любви к Строителю?

— Господа, вон там мой дом, прошу вас зайти и отдохнуть, прежде чем вы отправитесь дальше, — пригласил я друзей. — Но также прошу меня извинить за то, что покину теперь вас: пока вы будете добираться пешком по берегу, я полечу, пожалуй, напрямик через озеро и посмотрю, все ли приготовлено к встрече.

Как раз в это время Френсис Барри и Саид Мохаммед заговорили о чем-то интересном для них — я уже не вникал, о чем, — и, приветливо

кивнув мне, они под руку неторопливо направились озерным берегом вправо по круговой дороге, которая тянулась, как и прежде, в ровной зеленой траве.

И без сомнений, сразу же, невесомо и быстро отделившись от земли, я полетел к середине озера, туда, где застыл на голубой глади белый лебедь Эмиль. Увидев меня и, возможно, приняв за другого лебедя, он широко распахнул крылья и, трепеща ими, стал набирать разбег, скользя по воде. Взлетев по широкой спирали и набрав высоту вровень со мною, Эмиль приблизился и полетел рядом, скосив глаз и с любопытством разглядывая меня. Эмиль, привет, мысленно произнес я, обращаясь к знакомому лебедю по-немецки. Дело в том, приятель, что мы с тобою были знакомы, а все, кто был с нами знаком и как-то стал нам дорог, те тоже воскресают вместе с нами. Прекрасно, ответил лебедь Эмиль тем же способом: мысленно произносимыми немецкими словами. Благодарю от всей души, продолжал он, но это ведь не значит, надеюсь, что я не смогу лететь туда, куда мне захочется, и делать то, что придет мне в голову? Эмиль, в этом мире, где мы с тобою сейчас встретились, все свободны и делают все, что им хочется!

Мигом перелетев через озеро, мы с Эмилем опустились прямо посреди двора перед новым домом. Он был свежевыкрашен светлой охрой по верхнему этажу, деревянному, и светился розовым сиянием новой керамической облицовки первого этажа. Крыльцо и входная дверь, расположенные с правой стороны фасада, имели такой девственный вид, что сразу было ясно: еще никто не входил в этот дом...

Вдруг из-за угла вывалилась темная гора лохматого меха — и громадный бурый медведь, убегая от кого-то, мягко и грузно протрусил мимо меня и лебедя Эмиля, мгновенно зыркнул в нашу сторону веселыми глазками и тут же скрылся за следующим углом дома. А из-за первого, откуда только что выбежал медведь, выскочил и резко затормозил перед нами на тоненьких выпрямленных ножках хорошенький белый козленок. Увидев незнакомых, он потупил ушастую голову и с воинственным видом выставил два серовато-розовых бугорка на лбу.

Лебедь Эмиль неодобрительно воззрился на застывшего — то ли сердитого, то ли смущенного — козленка и в свою очередь сам, не то осердись, не то смутившись, распахнул и приподнял крылья и замахал ими, со свистом рассекая маховыми перьями воздух... Тут вновь вывалил медведь из-за дома, оттуда же, что и в первый раз, и, чуть не наткнувшись с разбегу на козленка, рывкнул от неожиданности и отпрыгнул в сторону. С его появлением козленок забыл о нас и принялся гоняться за косолапым, который поднялся на задние лапы, побежал по двору, стал вразвалочку ковылять вокруг меня и лебедя, убегая от преследователя. Наконец тот догнал мишку и с торжествующим блеянием боднул его рожками в низко висящий над землею лохматый зад.

Притворившись, что под сильным ударом он не смог устоять, медведь упал вперед, перекатился через голову и сел с краю двора, широко разинув зубастую горячую пасть и вывалив язык. Козленок с отчаянным громким меканьем подскакал к нему и с разбегу, с прыжка, боднул зверя в брюхо — и пойман был им в воздухе и взят на передние лапы. Так и сидел медведь, прижав к груди козленка, как бы держа игрушку в лапах, и смотрел на нас горящими от возбуждения яркими карими глазами.

Тут подоспели и вошли во двор мои друзья, новоявленные Френсис Барри и Саид Мохаммед, остановились возле железной калитки в удивлении, повернувшись в сторону сидящего медведя.

И я рассказал:

— Господа, это, наверное, тот самый медведь, о котором я слышал, когда жил и строил здесь дом. Рассказывали мне плотники, как совершенно непонятно откуда появился в этих краях медведь... Медведей к тому времени уничтожили уже лет сто назад... И беднягу, неведомо как сюда

попавшего, загоняли и убивали всем скопом местных охотников и егерей, травили зверовыми лайками.

— А этот хорошенький, этот симпатяга откуда взялся? — весело спрашивал Френсис Барри; близко подойдя к медведю и присев на корточки, американец стал гладить козленка по голове.

— А козлят мне приходилось видеть тут довольно часто: их многие держали, коз и овец, в особенности одинокие старики и старухи. Не очень уж обильной была тут жизнь в Последние Времена, — рассказывал я. — Русский народ вымирал: детей не стало, школы закрылись, постепенно в деревнях остались одни старики. И я как-то однажды видел: идет по улице старушка и, громко приговаривая, словно воркуя над младенцем, несет на руках и тетешкает маленького козленка...

— Зачем же, брат, ты решил строить дом в этом печальном краю, где вымирал его народ? — спросил меня Саид Мохаммед.

— Затем, Саид, что возле этого дивного озера, на этом именно месте, где мы сейчас стоим, я впервые смутно ощутил, что смерти нет... Я получил здесь землю и начал строить дом, но в той жизни, видимо, не суждено было мне построить свой дом — такой, каким он виделся мне в мечтах и какой спроектировал я по своему вкусу.

— Но разве *этот дом* не тот, который ты строил? — спросил Френсис Барри, продолжавший гладить козленка, смиренно покоившегося в объятиях медведя.

— Нет, не тот, хотя с виду точно такой же, каким был в макете, — ответил я.

И тут бурый медведь, внимательно прислушивавшийся к нашему разговору, вдруг протянул лапу и погладил американца по лохматой голове, делая это почти так же, как сам Френсис Барри с козленком: с ласковым видом, бережными касаниями.

Американец невольно отпрянул, изумленно взирая на медведя, и вид у человека был столь забавным, что мы с Саидом не выдержали и расхохотались. Рассерженный нашим громким смехом, лебедь Эмиль ударил крыльями, как будто захлопал палками по ковру, и отошел с обиженным видом в сторону.

Я пригласил своих друзей в дом и сам тоже, радостно волнуясь, направился вперед, первым взошел на крыльцо и открыл входную дверь... О Боже, милосердный и щедрый! Ты теперь дал мне все, чего я хотел в той несчастной жизни! Мой дом изнутри был отделан светлым деревом, одет в прозрачный лак, и вся мебель была также из светлого дерева, ручной работы. Лестница на второй этаж, перила и точеные балясины — все оказалось в тон мебели и стенам из струганого дерева.

— Вот в таком доме я хотел прожить свою былую жизнь, Френсис, — сказал я своему другу и бывшему учителю по полетам.

Мы сидели на втором этаже в моем кабинете-студии, где стены были обшиты розовой ольхой, — комната имела прекрасные акустические качества. Френсис Барри уселся в мое кресло и принял позу, которую я любил принимать при жизни, когда садился за стол читать или писать... Я был тронут тем, что Френсис запомнил такую пустяковую, но все же чем-то милую для меня подробность из прошедшей жизни, и хотел поблагодарить его за внимание. Но тут заметил, что из раскрытого окна, спиной к которому сидел Френсис, из-под занавески тянется мохнатая толстая лапа с громадными скрюченными когтями — стала приближаться уже к голове американца...

Оказалось, медведь вошел вслед за нами в дом, поднялся по лестнице на второй этаж, затем пробрался в дальнюю комнату, там вылез из окна на карниз и снаружи пробрался по нему, прижимаясь брюхом к деревянной стене, к раскрытому окну студии. Он решил, видимо, еще раз подшутить над Френсисом Барри: высунув лапу из-под занавески, погладить ничего не подозревающего американца по его кудрявой голове...

Забрался на второй этаж самостоятельно и козленок, теперь он разгудывал из комнаты в комнату, постукивая острыми копытцами по деревянному полу. Только лебедь Эмиль со своими короткими лапами не смог подняться по ступеням крутой деревянной лестницы и потому, недовольный этим обстоятельством, в одиночестве бродил по гостиной первого этажа и сердито трубил, попутно заглядывая во все кухонные шкафы и глубоко засовывая голову в холодный каминный зев. Потому нам и казалось на втором этаже, что лебедь орал прямо из камина студии-кабинета, где мы сидели: каминны нижнего и верхнего этажей были соединены общим дымоходом.

— Разумеется, мы не можем ждать учтивости и корректного поведения от животных и птиц, — стал я утешать Френсиса Барри, который вынужден был пересесть на другое место, чтобы отвязаться от разыгравшегося медведя. — Простим им, помня о нашей вине перед ними. Да и почему, собственно говоря, нам можно их гладить, когда захочется, а им нас нельзя? Но я удаляю их, господа, чтобы мы могли спокойно насладиться нашей беседой и, прежде чем расстаться, закрепить нашу дружбу совместной медитацией на тему, которую я осмелюсь вам предложить.

Итак, нам предоставлена возможность существовать безо всякого страха смерти. При жизни, как все вы должны помнить, грядущая смерть каждого предопределяла правила поведения людей, которые никак нельзя назвать хорошими. Но вот мы сидим в удобных креслах в моем новом доме, медведь с козленком отправились гулять по лесу, лебедь улетел на озеро — никто теперь нам не мешает. Покой и тишина, господа, и смерти мы не помним. В нашей памяти лишь те мучительные страдания, которыми мы подвергались, приближаясь к ней и принимая ее. Но и эти пережитые страдания предстают перед нами в самых блеклых тонах, обессиленные в своем главном дьявольском качестве: держать в страхе человеческое сердце.

Господа! Никакого страдания больше нет, ибо нет смерти. В чем же тогда цена нашей жизни, слава существования, желанность бытия? Без своей смерти все мы, каждый из нас, свободны от страха за себя, от жалости к своей душе, от любви к самому себе. Помните, Христос принес нам: возлюбил ближнего, *другого-умирающего*, как самого себя? Это была поистине величайшая новость там, где каждый умирал.

Но теперь, господа, мой дорогой Френсис и милейший Саид, — теперь-то как, и зачем, и для чего нам надо любить ближнего, как самого себя? Я ведь себя уже не люблю, потому что я больше не умру. Всем сердцем я привязывался к жизни, потому что знал, что ее у меня когда-нибудь отнимут. А теперь? Дорога ли для меня вечная жизнь и бесценен ли я сам для самого себя, если я буду всегда, всегда? И ты, мой ближний: тебя я тоже никогда не потеряю. Никогда. И выяснилось теперь, Саид, Френсис, что, хотя и жили мы в разных странах и похоронены в разных могилах — мы одна Адамова плоть, исшедшая из чресл его и распространившаяся по всему земному шару за несколько тысячелетий.

Итак, в прошлом распределялось: *я и моя смерть; поэтому и моя жизнь*. Теперь же, после свершения часа ИКС, компоненты духовного бытия распределились по-другому. И стало так: *я и моя вечность; зачем мне моя жизнь?* Я не могу вечно любить себя, господа: это смешно и не нужно. Но ведь и друг друга, таким образом, любить мы не сможем — без любви к себе. Утратив смерть на этом свете, мы утратили, значит, первопричину и самый веский довод для любви друг к другу.

Ангелы Божии, наши подлинные учителя бескрылых полетов, возвышенные наши духовные надзиратели, — знают ли они любовь к ближнему? Первая пара людей, Адам и Ева, вначале созданная бессмертной, — была ли любовь между ними? Любила ли Ева Адама? Знал ли Адам божественную страсть и бесконечное душевное восхищение по отношению к священной супруге? Или та земная грешная любовь, страсть мужчины к

женщине и женщины к мужчине, произошла от самовольной связи дерзких ангелов с дочерьми человеческими еще до Ноева потопа?

И вполне возможно, господа, что наши земные супруги в прошлом, они же и наши сестры по Адаму и Еве, никогда не испытывали к нам той высшей и безумной страсти, которую они познали в своих допотопных связях с заоблачными женихами. По сравнению с ними мы, прахом замешанные и в прах уходящие, всегда унылые, угнетенные знанием смерти, вечно озабоченные, как бы в поте лица своего добыть хлеб насущный, — мы никуда не годились и были для жен наших непоправимо постылыми и безнадежно нежеланными. Вынужденные существовать с нами, чтобы пропитаться и рожать детей тем же способом, что и всякий зверь на земле, бедные наши жены тайно или явно, произвольно, но то и дело с тоскою посматривали в небо на пролетающие мимо облака — и порою изменяли нам с каким-нибудь явным дураком или смазливym сутенером.

Тогда в слепой ярости адамова комплекса, называемого нами ревностью, мы обзывали нашу женщину шлюхой, блудницей, проституткой и, памятуя о том, что именно из-за нее приходится в поте лица своего добывать на земле пропитание, вместо того чтобы преспокойно жить в раю, с ненавистью побивали ее камнями, палками, тяжелой мясорубкой, старым бронзовым канделябром.

Моя жена была сама корректность, интеллигентна в высшей степени, музыкант, так же, как и я, свободна словно ветер, но отнюдь не ветрена, ушла от первого мужа и вышла за меня из любви к искусству, как говорится: ей нравился мой уникальный бас... Я не могу сказать, чтобы мне было с ней плохо, что я не любил ее, — нет, такую женщину нельзя было не полюбить. Но я видел всегда и неизменно, что не я и не мой «пещерный бас» нужны ей, чтобы она могла стать воистину счастливой.

Вы спросите: а что ей было нужно? Ответу: несбыточность. Какой-нибудь иностранец, который в любой день может крутануться на одном каблуке и покинуть ее навсегда. Или тот древний натурализовавшийся ангел, который в некий достопамятный день, когда начался всемирный потоп, оставил ее барахтаться в воде, а сам величественно вознеся в небо, с грустным видом помавая ей рукою... И в конце концов, уже после того как мы расстались, моя жена нашла человека, которого могла полюбить, и это был точно иностранец — ослепший юноша, на семь лет моложе ее. Я никогда не встречался с ним в той жизни, но хотел бы встретиться в этой вот так же, как и с вами, друзья мои, и предложить ему соучастие в совместной медитации.

Любезные мои братья! Бренное существование уже позади, милостью Божией и кровью Христа мы выкуплены из рабства смерти — свобода и вечность с нами! Давайте в эти первые минуты беспредельности существования, дарованного нам Творцом Слова, Которое было в Нем — и Слово это было Любовь, — насладимся радостью свободы и сосредоточенно, глубоко и безоглядно погрузимся в созерцание Любви к Нему.

Потому что в этой Любви — начало и причина всего сущего, включая все звезды вселенной, каждую огненную каплю в них и все слова человеческие, созданные по образу и подобию Слов Божественных. Бог *есть* Любовь, как Солнце *есть* Жизнь, но между теми словами, которые соединяются связкою «*есть*», — чувствуете, какая существует дистанция? Единое Мира разделено пространством так же, как едино солнечное бушующее творчество и голубая незабудка на лугу — а между ними холодные просторы космоса. Затерянная среди тысяч голубых звездочек других незабудок любовь маленького цветка к солнцу и есть истинная Любовь, которую мы, человеческие существа, познаем только теперь, после Воскресения.

На земле, пока мы жили от рождения до смерти, Любовь для нас оказалась подменной похотью; и невеждами была даже сделана попытка искусственно создать в русском языке горбатенькое слово, как бы предна-

значенное заявить, что Любовь множественна: «л ю б О в и». Но разве истина такова, господа? Мы ведь, пока жили, не изучали науку этого слова. На русском оно имеет только единственное число. Слишком слабые, чтобы не испытывать страха пред царством смерти, мы прятались в садах голубых незабудок, не видя над собою солнца вполнеба.

Господа, когда теперь для нас окончательно выяснилось, что зло человеческое и смерть были всего лишь мелкой подлостью, учиненной завистливым сатаной, — а теперь мы с вами вместе, здесь, в моем доме у озера, — давайте на некоторое время погрузимся в глубокое, сосредоточенное молчание, посвященное памяти всех быстро промелькнувших человеческих жизней на земле, накрытых угрюмой тенью царствующего Зверя, так и не изведавших лучезарной ласки очей Того, Кто всегда с нами. Мы не научились любить, пока жили, и жить не могли по законам Любви, потому что на этой земле законом была для нас лишь смерть.

Собственно, по жизни нашей, какой бы она ни была у каждого, никто не был достоин спасения. Что бы мы ни придумывали, чего бы ни достигли в глазах друг друга — все это оказывалось дымом сгорающего костра, быстро тающим в воздухе. Так помолчим же, господа, и погрузимся в благоговейное созерцание Любви, которой мы были недостойны. Но вправде каждый лишь сказать: я был недостойн. И мы смиренно спрашиваем у Него: Господи, неужели это ради нас Ты решил убить смерть?

*Народу посреди площади в этот час было много — в основном молодежь Кюстендила, одетая в том же свободном мятом стиле по джинсовому стандарту, как и в американском городе Санта-Фе, — нежно созревающие девушки и опасно красивые, с резкими движениями и уверенными голосами юноши. Затеряться среди них, спрятаться в подвижной густой толпе, как хотел того Келим, подлетая к городку и рассматривая сверху Кюстендил, ему не удалось. Скорее, получилось наоборот: он стал слишком заметен в толпе; точно так же, как это произошло и в Санта-Фе, когда он, давно не бритый, со своей громадной фигурой пожилого грузноватого мужчины и с грузинской кепкой-аэродромом на голове, оказался посреди улицы в толпе респектабельных туристов... Молчаливые тусклые индейцы, продававшие с лотков серебро и бирюзу, внимательно и сочувственно смотрели там на него.*

## УБИТЬ СМЕРТЬ

Келим присел на краешек круглого фонтана рядом с каким-то чернявым стройным парнем с выбритыми висками, над которыми торчала напомаженная щетка волос. От грубых камней фонтанного парапета, нагретого за день солнцем, шло приятное тепло, и после долгого перелета через океан это было первым случаем, когда Келим смог обогреться. Он прикрыл глаза и, свесив на грудь голову, неожиданно для себя задремал. Какие-то громкие вскрики, смех парней неподалеку уже доходили до его сознания сквозь сонную пелену. Тяжелое чувство опасности, постоянно возникающее предчувствие близкой угрозы сошли с него, растворившись в теплова-то-зеленоватом мареве странного сновидения.

Одному из самых мощных ангелов, мятежному демону-убийце, снилось, что он снова обычный грузинский мальчик, никакой особенной службы не несет и в грядущие времена Нового Царства войдет в желтых сандалиях из свиной кожи, которые немного ему жмут. Из неисчислимого множества слов, от которых образуются все миры, пространства, ангелы и демоны, в спящее сознание Келима просочилось некое слово, по-грузински означавшее кувшин для брожения вина. И тотчас, свесив голову через круглый край огромного глиняного сосуда, мальчик в желтых сандалиях заглянул в черную бездну вселенной, в которой еще не было создано небесных тел. Бог создал пока что лишь сонм ангелов, свою семью, для

которой собирался отделить свет от тьмы и сотворить видимый мир. И далеко еще было до того вселенского мгновения, когда ангелы времени во всех пределах черной бесконечности включают свет — и разом вспыхнет он в созданной только что материи, расположенной в виде шаровидных тел во всей беспредельности, с удивительным равновесием и гармонией наполняя мировое пространство. Тогда и пронесется по всему космосу буря восхищенных возгласов невидимых зрителей — и начнется Время...

Но смотревший во тьму глиняного кувшина мальчик вдруг предошутил свою судьбу и сильно испугался... Келим очнулся от дремоты и, не успев еще окончательно прийти в себя, вспрянул с места и бросился стремительно бежать сквозь толпу по брусчатой площади. Парень с выбритыми висками испуганно вскочил и с изумленным видом посмотрел ему вслед. Никто Келима не преследовал, все на пути бегущего расступались, шарахаясь в стороны, он благополучно домчался до края площади и понесся вниз по крутой узкой улочке. Он знал, чувствовал, что его преследуют, настигают, хотя отчаянный бег Келима в толпе был совершенно одиноким.

Он впервые узнал об этом в Санта-Фе, американском городе штата Нью-Мексико, где дожидался летателя Френсиса Барри. Поселившись в отеле «Хилтон», в номере на втором этаже, он однажды днем смотрел с галереи вниз, на плавающих в бассейне женщин, одна из которых, с длинными белыми ногами, в голубом купальнике, особенно понравилась ему. Вдруг в его номере раздался телефонный звонок, и Келим с сожалением покинул полотняный шезлонг, в котором он вальяжно расположился с сигаретой в руке, с баночкой холодного пива, взятого из мини-бара, подставив лучам щедрого американского солнца свое громадное белокожее тело, покрытое по груди и животу черными обезьяньими волосами.

Звонил Нью-Йорк.

— Он вылетел с Бермудов рано утром, завтра будет, очевидно, в Санта-Фе.

— Спасибо, дружище, — поблагодарил Келим. — Сведения достоверные?

— Мне прислал факс один из моих мальчиков.

— О'кей! Буду ждать.

— Келим, ждать тебе не стоит, пожалуй, — вдруг необычно мягко, даже как-то смущенно прозвучал голос демона. — Знаешь, что я тебе посоветую, парень? Уноси оттуда ноги, да побыстрей.

— В чем дело? Па-ачему это? — непроизвольно от удивления перешел на русский язык Келим.

— Забейся куда-нибудь в такую дыру, чтобы тебя сам черт не нашел, — сквозь хриплый смех пророкотало в трубке.

— Если я правильно тебя понимаю, меня кто-то ищет?

— Я тоже так понимаю, Келим. А может быть, уже нашли... Что-то у меня свербит в правом ухе. Возможно, нас сейчас подслушивают... Тем более я могу сказать открытым текстом: тебя решено убрать... Хотя мы с ними и порвали, но кое-кто *оттуда* по старой памяти еще информирует меня, если появляется кто-нибудь важное... Келим, всех из бывшего нашего отдела решено ликвидировать, вот так...

— Па-анимаю, па-анимаю! — снова перешел на русский Келим. — Задача поставлена такая, значит...

— Чего ты там бормочешь, Келим? — с досадой молвил д. Нью-Йорк. — Говори, пожалуйста, нормально... Я не предлагаю тебе помощи, потому что практически ничем помочь не смогу.

— Спасибо, что вовремя предупредил, — ответил Келим. — Гудбай. Прощай, друг, — завершил он опять на русском языке.

— Больше не увидимся... Очевидно, и мне скоро крышка. Подошло такое время. С тебя начнут, парень, а такими, как я, закончат. Наши органы только так и действуют, ты ведь знаешь.

После разговора Келим еще докуривал начатую сигарету, сидя полуголым в кресле, и долго изучал пузырчатую мозоль на большом пальце правой ноги. Эту мозоль он набил за последнюю неделю, бегая по горам вокруг Санта-Фе за племенем летающих индейцев. Он ждал появления среди них известного инструктора, которого они пригласили на свой конгресс. Но Френсис Барри так и не появился, и индейцы перелетели из штата Нью-Мексико за Рио-Гранде, к малолюдным каньонам плато Колорадо... Пришлось Келиму поселиться в «Хилтоне» и ежедневно обзванивать все гостиницы города, спрашивая, не появился ли где мистер Барри... И все это ради того, чтобы еще на одну единицу увеличить число своих заслуг перед князем, который, оказывается, уже принял решение ликвидировать весь отдел смерти.

Американец Френсис Барри почему-то был особенно важен для руководства этого отдела, и Келим получил от резидента прямое задание на захват и ликвидацию известного в Америке и Европе инструктора. *(Я-то сразу догадался, в чем дело. Френсис Барри происходил из рода титанов, и, как все представители этого рода, он оказался очень талантливым и со временем, когда сам стал инструктором, мог воспитывать и беспорочных летателей, то есть таких, которых не ожидало внезапное падение. Однако это не устраивало ни ангелитет, ни демонарий: чиновники обоих ведомств решили не сговариваясь ликвидировать самостоятельность потомственных титанов и ангельских незаконнорожденных отпрысков, из которых и выходили самые выдающиеся инструкторы по полетам без крыльев.)* Не успев настигнуть его в Португалии, Келим решил встретить Барри в Санта-Фе, где должна была собраться ассамблея летающих индейцев, на которую тот и был приглашен.

И когда Френсис Барри на самой малой высоте, едва не задевая волны, перелетел через море и добрался до побережья Флориды, он уже от Джексонвилла вынужден был ехать на поезде. Не застав в Санта-Фе летающих индейцев, Барри отправился самолетом на Гавайские острова, где появилась Улла Паркконен, о которой он узнал из газет.

А тем временем Келим, который теперь мог бы безо всяких затруднений заполучить душу отчаявшегося летателя, не стал его дожидаться, бросил дело и срочно перебрался из Санта-Фе в другое место. Но по случайному совпадению он тоже оказался на Гавайях. Там он поселился в одном маленьком рыбацьем поселке на острове Кауаи. Келим выдал себя за выходца с этого острова, который давным-давно, еще в детстве, был вывезен в Штаты одним протестантским миссионером...

*Видимо, не все могло быть предопределено протокольной демонарских канцелярий — на самих демонов также распространялась неисповедимая вероятность судьбы. И мне, одному из той блистательной эскадрильи Ангелов Времени, которой довелось в начале Творения участвовать во включении вселенского света, — мне впоследствии приходилось множество раз наблюдать незавидные итоги судеб самых могущественных демонов, по разным причинам переметнувшихся от Бога к князю.*

Мог ли Келим предположить, что именно на Гавайские острова отправится последний из его опекаемых? Когда Келим увидел Френсиса Барри, разгуливающего в свите Уллы Паркконен по набережной Вайкики в Гонолулу, это оказалось равносильным тому, как если бы к волку, прокравшемуся в село и притаившемуся в канаве, подбежал глупый деревенский щенок, которого минутою раньше зверь вознамеривался схватить за шею и утащить в лес... Он в этот день привез свежую рыбу для одного корейского ресторана в Гонолулу и только что перегрузил ящики с катера в пикап, как заметил в десяти шагах от себя того, кого столь долго выслеживал.

Впереди разномастной небольшой толпы шла, опираясь на костыли, полноватая, но статная женщина с красивым большеглазым лицом, на котором светилась, не исчезая, мягкая самоуглубленная улыбка. Сопровож-



дение ее составляло довольно богатый набор этнических типов, начиная с каких-то розоволицых европейцев с длинными светлыми прямыми патлами, включая индусов в штанах-обмотках, с чалмами на бородатых головах и заканчивая группой маленьких, как пигмеев, но весьма чопорных японцев. И позади всех в этой свите прославленной левитаторши шли двое, о чем-то разговаривая меж собою: красивый стройный араб в феске, но в европейской тройке и Френсис Барри, одетый в белые шорты с нарисованными пальмами и в зеленую майку с попугаем на груди.

Когда вся эта пестрая толпа летателей прошла мимо, Келим впервые ощутил подлинный страх смерти, колючий и холодный, как свет звезды Антарес. На протяжении многих тысяч лет, переходя из одного человеческого существа в другое, чтобы совершать свою работу, смысла которой он и сам не понимал, нынешний Келим (а в прошлом — огромный список имен самых разных людей, населявших землю) никогда не знал ощущения собственной смерти. Но вот пришло время столь же важное, как и миг сотворения Света, когда сдвинулась и пошла вперед дотоле неподвижная машина бытия. Приблизилось давно предвещанное среди человечества мгновение ИКС, после которого смерти больше не будет.

И то, чему он раньше привычно подвергал своих подопечных, смерть — на этот раз действительно подлинная, вечная, пустая и окончательная, — должна была настичь и его, и всех других сынов погибели. Ибо в Начале смерти не было, Бог не замысливал ее, Он создал людей по Своему образу и подобию — вечными жителями. Но вот человек Бога предательски замыслил стать человеком сатаны и тем самым явился создателем собственной смерти — ею он украсил знамя своей строптивости, пойдя против высшей воли. Но теперь, выкупленный смертью Христа — *смертью смерть поправ*, — он должен быть возвращен в первозданное состояние бессмертия. И чтобы это произошло, должны быть уничтожены все ангелы смерти.

И вновь старая обида демонов на Того, Кто сотворил и Слово и Землю, планету-рай для людей, всколыхнулась в душе Келима. Та самая глухая, тяжкая и мрачная обида, заставившая столько ангелов отпасть от Бога и примкнуть к войску князя. Почему эти твари, едва видимые на поверхности земли, стали Ему дороже многих высших Его созданий? Почему один сын для Него стал любимее другого?..

Келим отвез рыбу в корейский ресторан, получил за нее деньги и после этого отправился в аэропорт, чтобы уехать с Гавайев. Еще не было у него в душе определенной тревоги, что *кто-то* приблизился к нему и следит за ним внимательным, бестрепетным взглядом, как, бывало, он сам смотрел на ничего не подозревавшего клиента. Беспрепятственно удалось Келиму взять билет на ближайший рейс до Сеула; и когда он проходил таможенный досмотр и миновал контрольный пункт, в душе у него еще ничего не шевельнулось.

В самолете после стакана вина и обычного пассажирского обеда он спокойно уснул, зная, что надо лететь часов семь без посадок, — и сразу же, как показало ему, проснулся в состоянии лютой тревоги. Самолет был еще в воздухе, но уже звучало по бортовому радио сообщение о предстоящей посадке в Сеуле — значит, проспал он весь перелет — черноволосые напудренные стюардессы пошли с любезными улыбками по рядам, проверяя, все ли пристегнуты ремнями.

Нет, в Сеуле ему нельзя было выходить, его *кто-то* ждал на выходе из аэропорта, притаившись за одним из бетонных выступов. Келим мгновенно покрылся потом и стал вытираться бумажной салфеткой, оставшейся после обеда в кармашке переднего кресла. Он очень редко убивал сам: только в тех случаях, когда клиент бывал настолько слаболов и труслив, что, несмотря на свое согласие умереть, никак не мог решиться взять в руку протянутый ему цветок орхидеи. В таких случаях Келим внезапным движением накладывал руку на голову клиенту и ломал ему шейный по-

звонок. И никогда он при этом не заглядывал в глаза убиваемого, как любили это делать некоторые другие демоны из их отдела...

Но сейчас Келиму почему-то представилось, что в последнем взгляде его жертв было то необходимое знание, которое оказалось бы спасительным теперь для него самого. И если бы это знание он смог бы каким-нибудь образом перенять, впитать в себя и затем, раскаявшись, в безудержном порыве вины упасть перед Господом, то Он вмиг изменил бы участь и человека, и его извечного врага на этой одной из самых малых капелек Своего мироздания... *Но палачи никому не поведают, даже Богу, о жгучих радостях своего ремесла и ни за что не отдадут другим ни одежды, ни драгоценностей с тела казнимых — они поделят все это между собою, бросая жребий.*

Келим пробирался по проходу к багажному отделению в хвост самолета, где лежала ручная кладь пассажиров. Народ уже был на ногах в нетерпении скорее выбраться к трапу, и Келиму пришлось с извинениями протискиваться меж пассажирами. Один из них, высокий человек с седыми висками и черными широкими бровями, словно наведенными углем, мимоходом скользнул взглядом по лицу Келима, и он мгновенно весь сжался и с откровенным яростным вызовом уставился на человека... Однако тот равнодушно отвел свои глаза, шагнул мимо и еще долго стоял спиной к Келиму, почти притиснутый к нему в предвысадочной толчее. Келим, успокоившись, благополучно пробрался к багажному отсеку.

Там уже никого не было, вещи все разобрали, на полке оставался только целлофановый мешок Келима, перевязанный крест-накрест оранжевой капроновой веревкой. В этом мешке ничего не было, кроме грубого брезента, которым обычно укрывали ящики с рыбой, да пары рабочих перчаток, залепленных рыбьей чешуей. Засовывая пакет глубоко под самую нижнюю полку, чтобы его не было видно, Келим с усмешкой подумал о своем компаньоне, Ноа Омуари, который ждет его возвращения и не знает, бедняга, где сейчас находится быстроходный катер, на котором напарник отвез груз рыбы... Еще раз выглянув сквозь занавески и убедившись, что последние пассажиры топчутся уже у самого выхода в следующем отсеке, Келим сам тоже влез под нижнюю полку и, выйдя из своего телесного состояния, превратился в некую заплатку на пахнущем рыбой брезенте, который лежал, свернутый много раз, внутри целлофанового мешка.

Он не решился выйти в Сеуле и тем же самолетом вернулся на Гавайи, однако ясное ощущение того, что за ним *кто-то* постоянно следит, вдруг появившееся в нем со времени телефонного разговора в Санта-Фе с д. Нью-Йорком, с тех пор уже не покидало его ни на минуту.

*Уничтожение демонов смерти было предназначено осуществить самим же демонам смерти. Следуя логике и законам демонария, так и должно было быть. Могучая организация заканчивала свой путь, ликвидируя кадры, самоуничтожаясь, — и это не потому, что ослабели ее устои, а потому, что просто пришел срок, и о том, что когда-нибудь так будет, мне, ангелу времени, было известно давно.*

*С того дня как Сын поведал Своему Отцу, сколь тяжело умирать человеку, и было, наверно, принято решение уничтожить смерть. Я не занимался непосредственно убийством, моей деятельностью было распространение чувства одиночества, безнадежности и печали, что приводило в конце концов к самоубийству. Я преуспел в своем скромном деле, и князь видел это.*

*И все же почему именно мне, непосредственно не входившему в высшие структуры органов, он поручил, когда настало время, организовать уничтожение самых жгучих демонов смерти? Видимо, следующим ходом этого Мирового Игрока предусматривалось пожертвование рядом крупных фигур, что было вызвано каким-то глубоким расчетом. (Или же — полным отчаянием, своеобразной истерикой игрока, проигрывающего партию.)*

*Обо всем этом я мог бы рассказать бывшему товарищу по допотопным нашим похождениям, находясь столь близко от него, но законы нашего ведомства исключали подобное проявление чувств... Князь собирался предать всех нас — что ж, если это ему удастся и через это он что-то для себя получит — его право. И я тоже, организуя последнее свое дело, не открою ведь своим древнеангельским друзьям, которых собираюсь уничтожить... Ибо таков закон, на котором построился этот мир, выкраденный нами у Отца... Каждый за себя. Один противу всех... О, я хорошо знаю, на край какой бездны приводит это, — недаром я столько лет прослужил демоном одиночества...*

*Когда я выполняю поручение — убью смерть, — кто же тогда убьет меня? Ибо закон демонария, который не может быть никем нарушен, даже тем, кто его создал, гласит: кто убивал, тот должен быть убит. Бедняга Келим, так же как и я, знает об этом — но для него стало совершенно невыносимо неизведанное им чувство приближения его собственной смерти. Я наблюдаю за его судорожными метаниями в Последние Дни, постоянно следуя за ним. И сейчас он — заплатка на брезенте, а я — зеркальная чебурина рыбы, прилипшая к одной из рабочих рукавиц, которые Келим зачем-то повез в ручном багаже с Гавайев до Сеула вместе с брезентом, положенным в целлофановый мешок.*

Вернувшись в Гонолулу, он предпринял отчаянный шаг — словно попытался как можно ближе подойти к жерлу действующего вулкана, чтобы выброшенные из него раскаленные каменные бомбы, летящие по крутой траектории, не упали бы ему обратно на голову. Он все же решил довести давно начатое против Френсиса Барри дело до конца. В глубинном сознании он ощущал словно слабое дуновение человеческой надежды, которой никогда не предавался раньше: не могут же они совершенно не считаться с моим происхождением и уничтожить словно собаку ведь я же состоял в конце концов на службе в карательных органах которые должны были наказывать этих гордецов возомнивших себя способными устроить рай на земле пользуясь украденными у Бога знаниями — ведь вся мера исправительных страданий для этого человечества наполнялась нашим трудом и творчеством, считал Келим, так что мы, согрешившие ради любви к земной женщине, были направлены на свою малоприятную службу также во исполнение испукательно-исправительного труда. Надо потрудиться еще — и тогда может быть...

Келим решил-таки вручить орхидею американскому летателю, но стал готовиться к этому делу довольно неосторожно и поспешно... Прежде всего ему надо было выманить американца из миссии Уллы Паркконен, занимавшей одну из вилл на берегу океана, на краю живописной лагуны. Финская учительница самые первые практические уроки по полету проводила в воде, в условиях невесомости, плавая с учениками по заливику в масках с дыхательными трубками. Подкравшись сзади, Келим навалился на плывущего вслед за другими новичками Френсиса Барри и, захватив его за шею, увлек в глубокой боковой отросток подводного грота. Келим затащил слабо сопротивлявшееся тело американца в пещеру и там, в темноте, включил подводный электрический фонарь. В ярком луче вспыхнувшего света мелькнули желтые, голубые, чернополосатые рыбы, и среди их порхающих стаяк в кипении воздушных пузырей повисло, широко разведя ноги в лапах, опрокинутое вниз головою тело американца.

Келим не учел одного обстоятельства: американец хоть и потерял способность летать в воздухе, но сохранил годами натренированные качества высококлассных летателей, в том числе и способность очень долгое время не пользоваться дыханием. Выпрямляясь из опрокинутого состояния, он загребал руками и, ослепленно моргая под ярким светом, старался рассмотреть того, кто напал на него. Затем, сделав какие-то выводы, он решил обратиться к неведомому покусителю и объяснить, что тот напрасно

надеется совершить свое нападение, оставаясь безнаказанным: американец протянул вперед руку и выставил браслет с телеэкраном, на котором ясно было видно людей из группы, повисших друг против друга среди пестрых рыб. Американец взмахнул рукой в сторону выхода из грота, что должно было означать: сейчас подплывут те, которые уже ищут его. И Келим, как бы мгновенно признав правоту доводов Френсиса Барри, быстро погасил фонарь, бросил его на дно пещеры, а сам мгновенно исчез из нее.

*Я попал в затруднительное положение, потому что в момент, когда Келим бросал фонарь, я на том фонаре был розовой пластиковой кнопкой для включения. Выйти из этого состояния, чтобы преследовать Келима, я смог не сразу и потому упустил много драгоценного времени. Когда я наконец помчался, внедрившись в некую голубую рыбешку с золотистыми крапинками, то непроизвольно был втянут в новый пещерный ход, куда буйно стягивалась и вода, и мне сразу стало ясно, что это выдавленная Келимом подводная нора, по которой он уходил из грота. Рыбка мчалась довольно быстро — и что же? Я вскоре нагнал в темноте не убегающего сквозь каменную толщу демона, твердого, как алмаз, и раскаленного, как магма, а размеренно мотающего ластами Френсиса Барри, который тоже был втянут водяным потоком в этот вновь образовавшийся проход. Быстро обогнав американца, голубая рыбка стремительно понеслась дальше и в крошечной темноте находила путь уже не с помощью зрения, а единственно по жгучему электрическому следу сильнейшего страха: каким-то образом Келим сумел узнать, что его преследуют и под водою.*

Стремительно дематериализуя перед собою пространство, Келим пробил тоннель от лагуны до одной глубокой впадины в середине острова, где в тени густых пальм расположилась маленькая деревня аборигенов, островитян, суший райский уголок. В тот час, когда все племя, состоящее из семерых взрослых мужчин и двенадцати женщин с детьми, собралось вместе, чтобы съесть зажаренную в костровой яме свинью, что-то темное, длинное и большое вспрыгнуло неподалеку от костра — и с таким звуком, с каким буйвол выдирает ногу из вязкой глины речного дна, непонятный предмет выскочил из земли и, никем как следует не рассмотренный, унесся в небо, с шелестом прорвавшись сквозь тенистые навесы пальмовых листьев. Из дыры, оставленной в земле неизвестным телом, хлынула струя воды, вместе с которой выпрыгнула и, словно утянутая на неведомой леске, унеслась в небо голубая трепещущая рыбка небольшого размера.

Мужчины племени, все, как один, в полинялых стареньких шортах, с тугими смуглыми животами и оттопыренными задами, подбежали к скважине, откуда хлестала вода, а женщины, все полные, даже тучные, по-домашнему пребывавшие в одних лишь пестрых юбках, с визгом помчались к хижинам, поднятым на сваи, и, отпихивая орущих детей, полезли вверх по приставным лесенкам, болтая грудями и мельтеша сверкающими голыми коленями. Дети орали и со страху подпрыгивали на месте, держа в кулачках подола рубах, мужчины воинственно ухали и, приседая на полусогнутых ногах, топтались вокруг скважины и угрожающе высывали языки, чтобы напугать злого духа, если тот объявится из образовавшейся дыры.

Вдруг он и на самом деле полез из нее — сначала перестала выливаться из скважины вода, затем высунул мокрую голову сам дух смерти. Аборигены пали перед ним на землю ниц и в ужасе замерли, крепко закрыв глаза — но это был всего-навсего американец Френсис Барри, которого втянуло вместе с морской водою в вакуум нового подземного пространства и вынесло по образовавшемуся проходу, как по шлангу сообщающихся сосудов, в долину блаженных аборигенов, расположенную на одном уровне с морской лагуной в старом кратере вулкана.

Случайно ли Келим вырыл каменный ход в затерянную на дне древнего кратера деревню гавайцев или он хотел столь необычным путем заявиться туда и спрятаться от своих преследователей?.. А может быть, он в

подводном гроте, готовясь убить американца, вдруг почувствовал присутствие рядом своей смерти и тогда, мгновенно утратив самообладание, отбросил электрический фонарь и в великом страхе, уже ни с чем не соотносясь, начал вонзаться головой вперед в каменную толщу вулканического острова...

Однако вскоре, когда резко поднялась температура воды в крошечной тьме, он понял, что уже в близких подземных слоях находится раскаленная магма. Назад он возвратиться не мог — чувствовал за собою погоню.

Возможно, Келим когда-то, в другом человеческом воплощении, знал об этой долине и впоследствии даже подумывал о том, чтобы спрятаться там под видом одного из жителей деревни. Но голубая рыбка уже плыла за ним, взятая на электрическую леску его страха, и Келим чувствовал позади себя ее тугий одинокий ход. Все остальные сотни райских рыбок подводного мира, толкавшиеся в гроте, резко шарахнулись от новообразовавшейся дыры и со всей силы заработали своими дивными многоцветными хвостами и плавниками, преодолевая стремительное течение, образовавшееся у начала скважины...

После того как дух смерти выскочил из-под земли и унесся за пальмы, в небо, появился американец в маске для подводного плавания, сильно ошпаренный термальной водой, покрытый на лице и плечах россыпями прозрачных волдырей. Он предстал перед коленапреклоненными гавайцами и сделал после столь долгого перерыва свой первый глоток воздуха — благоуханного, влажного, пропитанного ароматами орхидей, цветущих магнолий и свежей масляной краски, которою вождь племени решил покрасить свайные столбы своей хижины, — кричащей ярко-красной киновари.

Аборигены не хотели верить американцу, что он не дух смерти из подземелья, а явился из лагуны. Но когда Френсис Барри присел на корточки и палкой нарисовал на земле предполагаемую схему нового подводного тоннеля, соединяющего лагуну со старым кратером вулкана, мудрый вождь схватил большую банку с масляной краской, пробил ее с двух сторон топориком и швырнул в дыру на дне образовавшегося посреди долины круглого озера. Оно, установившись одинаково по уровню с внешней океанической водой, заняло в кратерной долине небольшую площадь: шагов двадцать в поперечнике. Воды из скважины больше не прибывало. Брошенная в дыру тяжелая банка с краской должна была, по замыслу вождя, достичь самой нижней части подземно-подводного хода, а вылившаяся из нее масляная краска потом всплыть в воде лагуны. Для контроля за этим экспериментом вождь послал к лагуне двух мускулистых пузатых молодцов, а Френсиса Барри велел связать по рукам и ногам и, уложив его на тростниковый хворост возле новообразовавшегося озера, кормить с рук, для чего были приставлены две женщины, которые чрезвычайно взволновались от возложенной на них ответственности и тотчас бросились с дубинами в руках гоняться за поросятами, чтобы убить их и зажарить.

Вождь объявил Френсису Барри, что если посланцы племени обнаружат в том месте лагуны, которую назвал американец, всплывшую краску, то он будет отпущен и в сопровождении надежного эскорта препровожден в Гонолулу; но если парни вернуться и скажут, что никакой краски там не всплыло, тогда пленник будет убит, тело его рассечено на куски и сожжено в костре, а весь ливер — сердце, печень, легкие и почки — будет пущен на жареху и съеден племенем, чтобы таким образом его членам навсегда избавиться от угрозы смерти...

Новый поворот в приключениях вначале не очень обеспокоил Френсиса Барри — однако на следующее утро, когда вождь криком оповестил всех, что краска так и не всплыла в лагуне, американцу пришлось в голову, что масляная краска тяжелее воды и потому вообще никогда нигде не всплывет!

Он еще расскажет при свидании после жизни своему бывшему ученику Валериану Машке о том, как выпутался из этого положения, — а пока что в то самое время, когда на Гавайских островах было утро, два военных самолета с ревом неслись над проливом Алекуихаха крыло к крылу, на близком расстоянии друг от друга, и одним из них был д. Келим, а другим (неведомо для Келима) был я, и оба мы летели после выполнения задания на военную базу в сторону острова Мидуэй. Келим решил почти непрерывно находиться в воздухе, но не в виде одинокого, заметного издали летателя, а воплываясь в боевые самолеты американских военно-воздушных сил, которые постоянно курсировали попарно от Мидуэя через остров Лисянского до экватории Гавайских островов и обратно. И я следовал за ним, перескакивая с одной машины на другую, и мы много часов провели в небе в этой бесподобной гонке.

Но однажды он успел перескочить на сверхдальнюю «летающую крепость», с целью условной бомбардировки отправляющуюся через Тихий океан и через всю Азию к Багдаду без посадки. И мне пришлось догонять его сложными путями, следуя от одной военной базы к другой, а затем в самолете дозаправки горючим в воздухе я настиг «летающую крепость» уже над Индией. Но в небе Израиля, после Багдада подлетая к намеченному для посадки аэродрому, Келим выкинул неожиданный финт. Под видом скоростного сигнала радиошифровки он внедрился в магнитофонную ленту системы связи французского самолета, летящего после той же условной бомбардировки Багдада назад во Францию...

На перелете через Эгейское море он еще раз сделал попытку скрыться, выбравшись на радиоантенну и соскользнув с нее в виде малой капли во влажную внутренность тучи, когда французский бомбардировщик попал в зону густой облачности. И уже в туманном чреве облаков, полагая, что его никто не видит, Келим принял тот самый классический вид, который нам строго было запрещено принимать перед людьми после всемирного потопы: летел в зоне сплошной облачности как крылатый ангел, печальный демон, дух изгнанья...

И вот он, весь мокрый и продрогший, не удосужившийся даже принять вид обычного летателя-левитатора, каких много появилось и в небе Болгарии, — Келим как был в своих демонических темных уборах, так в них и спустился на окраину маленького городка Кюстендил. Его видели женщины и дети, человек десять сбежало с горки и глазело, как он, почти не таясь, сбрасывает с себя крылья и, топча, дематериализует их. Потом он ушел, равнодушный и безразличный к тому, что обыватели глядят на него, — близко прошел мимо них, даже не подняв ни на кого глаз, волоча по пыльной дороге свои огромные ноги в пестрых гавайских кроссовках...

Он сидел на площади у фонтана и дремал, а я тем временем срочно вызвал из Варны боевика по кличке Иванов, известного раньше и как Облетающий кварталы, или Москва (кстати, он первым нарушил запрет Бога появляться небесным чинам среди людей в своем допотопном виде). Я решил, действуя от имени князя, поручить д. Москве убить Келима... Я смотрел на этого спящего, уронившего кудрявую голову на грудь уже немолодого грузина и вспоминал то время, когда мы с ним вместе учились законам Бога нашего, Которого любили, и наукам о природе вещей, которые были в этой вселенной Им созданы...

Он бежал по кривым улочкам Кюстендила, когда демон, которого называли когда-то Москвой, появился над городком и закружил в небе словно громадный орел. Жители городка, в основном болгары и турки, высыпали на улицы и взволнованно уставились на парящего демона. И многие из них, утром видевшие подлетавшего к городу Келима, теперь также приняли за него крылатого гиганта Москву. Никому из многогрешных жителей болгарского городка не было известно, что через некоторое время на глазах у них произойдет сражение, в результате которого один демон

смерти будет убит другим, после чего сам тотчас же будет уничтожен следующим исполнителем.

Но никому из видевших величественное сражение и участвовавших в нем не дано будет знать об его истинном значении — только лишь одному мне. Однако и для меня самого было неясно: что станет со мною, когда все уже произойдет и все эти болгары с турками из города Кюстендила получат бессмертие, — *что станет с ликующим кличем «время, вперед!»*, с этой неусыпной заботой зажигателей звезд? Куда денется непрестанно летящее вперед время, чей полет начался со вспышки всех небесных тел мироздания, которые и я зажигал при Сотворении Мира? Что будем делать мы, бывшие служители времени, хранящие в своей памяти все перипетии земной истории — от начала Зла и до его конца? Может быть, нас допустят к жителям Нового Царства, чтобы мы не давали им скучать и, как бродячие рапсоды, рассказывали бесконечные саги об их прошлом?.. А может быть, мы станем совершенно лишними на земле, где смерть окажется больше не нужна, — и тогда, перейдя в лучистое состояние, отправимся в вечный полет без времени.

*В том и заключается суть вечности, что действия мира происходят вне времени. Вернувшись в словесное состояние, мы уже пребудем в нем всегда — летая во тьме вневременья щебечущими ласточками никем не произносимых слов. Подводя нас к воскресению в слове, телесная смерть была, оказывается, всего лишь маленькой точкой, с булавочное острие, где соприкасались вершинами две опрокинутые друг на друга пирамиды, две наши ипостаси: говорящая и молчащая. Пройдя точку соприкосновения двух миров, я не освободился от прежних земных страстей — был свободен лишь от жестокой необходимости их осуществлять. И смерть не имела никакого отношения к тому, что все наше вечное, продолжающееся и за гробом, возникло и тянется из временного, связанного с жизнью.*

## БЕЗ ВРЕМЕНИ

Для меня, д. Неуловимого, захватившего душу Евгения, когда он был еще жив, было уже и тогда известно, что, пребывая в звучащем состоянии, человек вполне летает безо всяких крыльев. Звуки речи или шум от любой его малейшей деятельности — это уже полет в воздухе, неостановимое продвижение во времени. Разделяя существование людей на прижизненное и посмертное, князь обманывал их и загонял, нещадно хлеща бичом лютых угроз, в удобные для уничтожения душ концентрационные лагеря земных государств.

Теперь, после смерти Евгения, когда всего этого уже нет — ни разделения, ни обмана, — я могу, слава Богу, быть самим собою в русском слове, а о бедном теле несчастного Евгения, которое я когда-то так безжалостно терзал, можно не беспокоиться. Он воскрес и находится в своей *Онлирии*, где нет ни любовной страсти, ни ненависти. А я пишу на компьютере слова — превращаюсь в серую мышь, она побежала вдоль стены из угла в угол комнаты и попала в лапы кошке. Которая тоже, как и всё на свете, вначале была словом и лишь впоследствии бесшумно прыгнула вперед, закогтила мышку, мгновенно нагнула голову, перехватила добычу в зубы и негромко, но весьма грозно заурчала. В этих вибрирующих хищных звуках проявилось то самое, чему и было дано название «кошка».

Она вышла из темного угла на середину комнаты, настороженно оглянулась — длинный хвост мыши торчал сбоку кошачьей головы словно захватский ус. До этого вся упруго напряженная, кошка вдруг мгновенно смягчилась, потекла гибкими струями бесшумных движений и, выложив на пол свой охотничий трофей, сама улеглась рядом, благодушно поглядыва-

вая на оглушенную, помятую добычу... Которую когда-то называли «мышь» — и вот, почти в беспомощности предсмертного угасания, со слипшейся от кошачьей слюны шерсткой на спине, это слово на моих глазах превращалось в некое другое, пока еще непонятное и невнятное по звучанию.

Может быть, на русском языке это значилось бы просто как *природная еда кошки, обыкновенный звериный харч, муркина кровная пайка* — что-то малопривлекательное, с нюансами беспощадного уголовного зверства для тех, которые стали свидетелями этих строк, вот только что набранных на компьютере. В конце рассказа кошка должна съесть мышку, схавать, как выражались заключенные в русских концлагерях, но до этого грустного финала *было еще нечто*, чему названия нет и что, стало быть, не может вновь стать словом и воскреснуть.

Но разберемся сначала: почему мышь стала мышью и что это за судьба — быть мышью и в конце концов попасться в лапы кошке? Вначале она, вонзая в мое тело свои острые зубки, сделала это довольно грубо, так, что даже переломала мне кости, и я на какое-то время лишилась сознания. Очнувшись, увидела эту чудовищную зверюгу сидящей в мирной позе, и глаза ее ласково и дружелюбно смотрели на меня.

Она почти по-человечески улыбалась, всем видом своим ей хотелось выразить, наверное, тысячу сожалений по тому поводу, что она была не очень осторожна и невольно причинила мне боль. Я поняла ее и, смущенно пропищав что-то вроде: *ничего-ничего! пустяки! да что вы, об этом и беспокоиться не стоит!* — собралась с силами и, от дурноты пошатываясь, закрывая глаза, двинулась к углу комнаты, где была нора. Двигалась я почему-то левым боком вперед, и это невольно искривляло мой путь, уводя в сторону от цели, и я вынуждена была несколько раз поправиться, царапаясь и оскользаясь коготками на гладком деревянном полу.

Но когда я, продолжая карабкаться под ласковым наблюдением кошки, добралась-таки до норы и уже сунулась головою в благословенную темноту, на меня налетел мощный вихрь — и подкинул высоко в воздух. Я шлепнулась на деревянный пол, вновь оказавшись посреди комнаты. Это было ужасно, больно, постыдно, и, ничего уже не соображая, я опять потащила в сторону норы, от смущения и страха тихонько попискивая. Но повторилось прежнее — я снова уехала назад по воздуху далеко от норки в то самое мгновение, когда готова была уже шмыгнуть в нее.

Видимо, моя резвость на этот раз показалась кошке чрезмерной — она нагнулась и сделала еще один весьма многоопытный укус, после которого я стала совсем вялой, еле передвигалась по полу. Кошке же с той минуты стало неинтересно играть мною. Видимо, она поняла, что переусердствовала, нанеся мне последний укус. И кошка принялась даже помогать мне быстрее двигаться, подталкивая мое мышиное тело подушечками своих передних лап. Таким способом она подталкивала меня к самой норе — и в последний миг, когда я вползала в нору, цепляла меня за шкурку острым изогнутым коготком и выдергивала назад.

*Тогда я и решила, что надо танцевать* — собрала остатки своих сил, поднялась на задние лапки, передними подбоченилась и начала плавно кружиться на месте. Затем я, продолжая кружение, подняла одну лапку вверх, взмахнула ею над головой, а в другую лапку взяла кончик своего хвоста — мне захотелось рассмешить свою смерть. Вероятно, ни одна мышь на свете так не вела себя ни перед одной кошкой — моя мучительница буквально оцепенела, в изумлении уставясь на меня. И все же когда я, танцуя, приблизилась к дырке в углу комнаты, кошка на всякий случай простерла вперед лапу и мягко вытеснила меня на безопасное место.

Я все равно была съедена кошкой, тем самым исполнилось мое предназначение, и все «мышиное» вернулось к изначалу этого слова. А сама кошка тоже сдохла, вновь превратившись в «кошку», — как все на свете,



что могло быть обозначено словом и возвращено во вневременье. Но есть что-то и невыразимое, как танец мышки перед кошкой, и *такому* нет никуда возвращения.

Моя сущность звучит по-русски как «ангел», точнее же, Ангел Времени, и это я в эскадрилье себе подобных, таких, как Ватанабэ, Келим, Москва и многие другие, зажигал солнце в небе... Потом, когда мы летали над свежей землей, где еще не было ни одной смерти, однажды увидели стоящего посреди зеленой пустыни одинокого человека. Это был Адам, которому нечего было делать на этой земле. Поэтому должна была вскоре появиться и Ева.

Неизвестно мне, когда возвестилась первая смерть на земле, то есть имеется в виду: когда мы, ангелы, впервые узнали о том, что некоторые из нас окажутся выброшенными из ярко сверкающего потока времени в темную беззвездную неподвижность. Люди же назвали смертью полное отъятие времени от живых существ — акция, осуществление которой всегда имеет отвратительную видимость. С того дня, как впервые это случилось, всяк сущий на земле, будь то зверь, червяк или человек, стал отрываться — в распада частного существования — от общего бытия и выбрасываться в бездонный провал *вневремения*.

Счетчик умирающих начинался с нуля, но с часа изгнания первой человеческой пары и в дальнейшем, по распространении вглубь и вширь Адамова корня, количество мертвых душ на земле стремительно нарастало. Отщелкивали на счетчике и беспрерывно набегали новые ряды цифр — и вот уже трудно стало счесть тому, третьему, изгнаннику из рая, который и стал князем земного мира, сколько же мертвецов внесено в его торжественные реестры. Однако нам было ясно, хотя об этом и не произнесено вслух, что торжество этих списков фиктивно: во тьму и в бездну *вневремения* брошены будем мы, бунтовщики из допотопного демонария. А все племя народившегося Адамово-Евиного человечества, старательно внесенное нами в списки, будет целиком воскрешено для Нового Царства.

Но там, правда, не окажется наших детей, рожденных женщинами человеческих племен, живших до Ноева потопа. И самих этих милых женщин не будет. В Новом Царстве ничего из того, что было на земле в допотопное время связано с нами, не будет. Для этого нас и удалили навсегда от людей.

Моя Надежда по происхождению была от одного из Ноевых сыновей, супруга которого тайно сходилась с небесными любовниками. Уже после потопа эта женщина как-то полоскала в реке белье и решила искупаться; когда она разделась и влезла в воду, то ощутила, что ее охватили нежные и сильные, но невидимые руки. Вся извиваясь, плещась в воде, как разыгравшийся лебедь, пугая неистовыми махами бедер засевшую в донной тени рыбу, Иафетова жена отдавалась под водою невидимому любовнику с тою силой страсти, какой никогда не испытывала по отношению к своему почтенному мужу.

У меня все началось с нею незадолго до потопа. Другим ангелам-согрешникам, также заимевшим подруг среди дочерей человеческих, пришлось бросить их во время всемирного наводнения. Бессильные хоть чем-нибудь помочь, они молча наблюдали за тем, как барахтаются в набежавших волнах, захлебываются и тонут их красивые, неисповедимо красивые подруги. Моя же скрылась в трюме деревянного ковчега, последним быстрым взглядом сопроводив меня, когда я, уже не таясь взоров домочадцев праведного семейства (глава которого *«ходил перед Богом»*), медленно возносился на небо над тем местом, где когда-то было обширное, богатое поместье Ноя и троих его сыновей.

Не знаю, видела ли она, как я постепенно растаял в воздухе, окончательно дематериализовался, исполняя волю высших сил: ангелам никогда больше не появляться в виде самостоятельных живых существ. Разумеется,

не все падшие ангелы, погубившие себя ради земных женщин, захотели подчиниться этой воле. Но послушание в те времена немедленно каралось безжалостным удалением «во тьму внешнюю», за пределы земного тяготения, в открытый космос. Это и было первой демонстрацией ангельской смерти — и многие из самых горячих любовников дочерей человеческих были наказаны ею.

Но невозможным для других оказалось впоследствии забыть о своей любви к земным женщинам. И, разглядывая с облаков красавиц вновь наплодившегося человечества, которые были столь же соблазнительными, как и допотопные, мы не понимали одного: зачем Богу надо было уничтожать прежнее человечество? и что нам делать, если мы по-прежнему не в силах преодолеть в себе вожделения, которое было сильнее любви к Нему и страха смерти?

Да, многие из нас погибли из-за попытки смело появиться в человеческом облике перед своими возлюбленными; другие покинули сиятельный ангелитет и открыто перешли к князю; третьи предпочли печальный компромисс и стали сожительствовать с земными женщинами в виде их мужей и любовников. При этом, разумеется, духовное тело павшего ангела внедрялось в плотское тело мужчины — и, пользуясь его чувственностью, бесплотный любовник утешался чужой близостью со своей любимой.

Но и она, ощущая где-то совсем рядом того, чьи электрические ласки помнило все ее древнее женское естество, отдавалась своему реальному мужу как бы со скучающим видом, бесчувственно раскинув руки на супружеской постели. Блудницами становились именно те женщины, для которых совершенно безнадежной была любовь всякого земного мужчины — она, как способ скотского размножения, никакой цены не имела в их глазах. Блудницы всех времен были, в сущности, однолюбками — любя облачных женихов, с кем их навеки разлучили, эти ангельские приснодевы бестрепетно отдавали или продавали земным мужчинам то, что вовсе не имело для них большого значения.

Жизнь, жизнь! Так она и проходила для всех разлученных — в невозможности утолить любовную жажду и в полной безнадежности избавиться от этой жажды. Когда бедный Евгений, одержимый мною, демоном страсти, умирал от неразделенной любви к своей жене, она неподалеку, в соседнем доме, отдавалась другому мужчине.

Ах, эта жизнь... Кончалась она для всякого человека смертью; для ангельских любовниц, никогда не видевших нас воочию, — тоже. Воскреснув в Новом Царстве, они и там не находили нас. Ибо в раю нам не было места. Но точно так же, как и мы, выброшенные «во тьму внешнюю», люди света оказывались узниками вечности, только они находились по другую сторону границы, разделяющей двуединое Царство Бога.

Так для чего же была она, жизнь? Для чего облака в небе? Я всегда при жизни Евгения любил его глазами, глубоко синими, смотреть на них — они мне представлялись душами людей, вознесшихся в небеса после своей смерти... Да, посчитал бы тогда облака душами умерших, если бы не помнил, что их белые караваны и цепи жемчужные украшали небо еще во времена, когда не был сотворен человек. И все равно: таят ли причудливые облака особый замысел или просто украшают путь Божий вокруг земли — по ним можно читать свидетельство Славы и торжества Творения. Те облака, которые мы видели когда-то и которые уже никогда не увидим в царстве тьмы, куда удалят нас. Но в царстве света по ним всегда будут гадать о нас наши воскресшие подруги: нас они не забудут. Равно и мы, находясь в холодном космосе, не сможем забыть их, наших навсегда недоступных, сияющих, как жемчуга, бессмертных дев человеческих. Они все воскреснут — исполать им, нежным красавицам! — и, посмотрев на облака, вспомнят, может быть, о нас, вспомнят о том, что наказанию мы подверглись из-за того, что полюбили их. В жаркие дни лета мы слишком

увлеченно подглядывали за ними, прячась в облаках, и затем, распалившись, сверкающей молнией летели вниз, чтобы схватить кого-нибудь из них в объятия. Хотя и знали, что первая же, Ева, соблазнила одного из самых могущественных ангелов и он отпал от Бога.

У нас, демонов, смерть настоящая, вечная: вора́м и изменникам Бога прощения нет. Люди же, какими бы они ни были жалкими и подлыми, сперва станут прахом, затем будут воскрешены. Моя Надя не знала того, что, как только умрет, сразу же воскреснет. Тогда и утратила она, на этот раз действительно навсегда, того, кого никогда не знала, но кто только и нужен был ей в земной юдоли. И я, повсюду таскавшийся за нею со своей допотопной любовью, иступленно ласкал — то истомленными безответностью губами Евгения, то осторожными руками слепца Орфеуса — ее распростертое на постели нагое тело, наполненное горячим электричеством и влажной тайной.

Время, которое ангелы зажгли вместе со светом звезд, горит и сгорает, сжигая само себя и превращаясь в пепел холодной пустоты. Значит, до запылавшего на наших глазах небесного времени существовало и другое состояние мира — *вневремя*, и наша родословная уходит в эту зияющую глубину иного измерения. Мое частное ангельское существование и моя смерть сливаются в нем, а проще сказать: Бог и нас помилует, падших ангелов, как помиловал и всех самых скверных и злых разбойников человеческих.

*Вневремя* не тюрьма для смертного заключения — это иное Слово, чем Тюрьма, чем Смерть, Ад или Рай. Творец всего сущего все сочинял из Себя, и такой маленькой мошке, как я, даже и предполагать дерзновенно, что Он столкнулся в творчестве с какими-то неодолимыми трудностями. Если вначале не было для нас смерти, а потом она настала — то, значит, так и надо было. И если Он сказал, что будет всем воскресение и не станет больше смерти, так и должно быть, и *вневремя* вновь установит свой порядок.

О, Господи мой, зачем же тогда Ты отрываешь от себя клочья священного субстрата и создаешь такого, например, как я, идолопоклонника женской красоты? Для чего Тебе мое раскаяние — лукавые извивы змия, который движется без ног, оплетая своим телом длинный сук дерева? Там ведь было только одно это вкрадчивое движение — и не прозвучало никаких змеиных слов соблазнения; там были слова первого из нас, стоявшего за кустом, — самого первого, который чревоещал через змия.

Конечно, я свидетелем не был — но если первый сын Евы убил своего брата Авеля, то был ли Каин посево́м кроткого Адама, которого Господь создал по образу Своему и подобию? Посягнуть на жизнь родного брата, да и просто убить другого человека — это же чисто дьявольская идея! От кого бы могла передаться Каину подобная мерзость? Что и стало главной действующей силой в земном мире, царем которого оказался третий, вместе с грешной парочкой удаленный из рая, невидимый изгнанник. И это был не змий, медленные извивы которого явились такими же естественными для пресмыкающегося гада, как и раскаяние приговоренного к изгнанию ангела, — это был *могучий и крепкий бог зла*.

В зле тоже есть законы, которых никто не может отменить и нарушить, как невозможно нарушить и законы добра — даже самому их Создателю. Христос не мог излечить плоть человечества от смерти, Он мог только Сам умереть вместо человечества — чтобы затем воскреснуть. Провиснув, как туша мясная, на кресте мучений, Он прохрипел: *Боже, Боже, почему ты Меня оставил?* — и тут же увидел себя восседающим на престоле Нового Царства, среди своих сиятельных царедворцев, сплошь состоящих из ангелов новых поколений...

И вот люди земного рая уже избавились от смерти и от всех тех мерзких свойств, которыми она наделила их. Напрасными оказались тысячелетия всех наших усилий на земле — торжественные реестры с записями

мертвых душ, запродавшихся князю тьмы, оказались фальшивыми. Смерти никакой никогда не было, это оказалась обманная уловка князя — чтобы под страхом держать на месте человеков и править ими. Он грозил им «вечным шахом» — что жизнь навсегда кончится смертью. (Но это не для них, а для нас, отправших и проклятых, было сначала приурочено тысячулетнее заключение в подземной огненной тюрьме, затем — массовый сброс в черную дыру космоса. И вместе с нами зашвырнут туда смерть, эту ржавую от крови, совершенно бесполезную машину. Смерти нет в природе вещей и духов, она ничто: просто машина.)

Итак, настали Последние Времена, верховная власть на земле сменилась новой, прежние управители и жандармы скрылись в массах народов и стали люто, коварно действовать в подполье. Сотни миллионов насильственных смертей, произведенных по невиданным новым технологиям, явились результатом этих действий. Князь и все его бывшие приспешники, разойдясь поодиночке, вершили свою жатву во всем величии иступленного труда.

Но мы, зажигавшие время, знали о том, что был напрасным весь этот пафос и титанический труд. Еще зло жизни и насильственная смерть, столь усердно пускаемые владельцами этих капиталов в самые рискованные обороты, давали колоссальную прибыль — но все это было совершенно ни к чему, потому что была отменена старая система ценностей и вместе с этим ее главная валюта — смерть. Одновременно не стало и ходовых разменных монет: ненависти, тревоги и желания убить ближнего.

Незаметным образом в то самое время, когда неслыханно еще на земле возросло число уничтожаемых друг другом людей, со всем было мгновенно покончено.

Час ИКС настал и прошел, никем из людей не замеченный.

И все то, что было жизнью, подверглось мгновенному неощутимому Преображению.

Все то на земле, что было похоже на движения и звуки кошки, пойманной мышью, молниеносно исчезло, как будто этого и не было, — все съеденные кошками мышки воскресли в слове «мышь», весело бегающей по зеленой поляне такого светлого и звучного слова: рай. И одно из самых первых слов Адама — кошк а, которое он с задумчивым видом произнес вслух во времена оны, глядя почему-то не на грациозное домашнее животное, а на свою привлекательную супругу, полосатая кошечка спокойно смотрела на бегающего у ее ног полевого мышонка и, увлажняя розовым язычком свою лапу, старательно умывала лицо.

Значит, милосердный Бог воскресил и кошку с мышкой, никто из них никого больше не ест и никто никого не боится — всемирный страх, умерев и воскреснув, продолжился вечным миром на земле.

Но мне вспоминается мой отчаянный танец, когда я, серая мышь, была поймана кошкою там, в тихой комнате с окнами, выходящими в сад, — вдруг я поднялась на задние лапки и стала кружиться перед своей мучительницей, изрядно удивив ее этим... Было нечто, чему нет названия. Слова такого нет. И, таким образом, этому нечто не дано воскреснуть. Аминь.

Я нахожусь сейчас на даче д-ра Мэн Дэна, в живописном зеленом поселке недалеко от Сеула. Корейское солнечное лето накрыло душистой парной жарою зелень полей в просторной долине, густую листву деревьев на живописных окрестных горах. Господин Мэн Дэн появился здесь, в своем доме, после того как умер Орфеус и его земной родитель настоял на том, чтобы тело сына было перевезено в Корею и похоронено на семейном

кладбище. Связанный по каким-то делам с отцом Орфеуса, д-р Мэн организовал, находясь тогда в Европе, перевозку тела его погибшего сына из Германии в Корею.

Когда погребальные церемонии были закончены и насыпан круглый, как русский каравай, земляной холмик над могилой, Мэн Дэн прошел в чередѣ прощающихся мимо насыпи и каменного памятника — седовласый, но с черными густыми бровями, высокий, в строгом костюме господин. Я воплощался в него обычно при обстоятельствах сугубо деловых или военных, но в этот раз, на похоронах Орфеуса, д-р Мэн лишь поучаствовал в траурной процессии. Он подошел в числе последних ко вдове усопшего для выражения искреннего соболезнования. Потом на новом черном лимузине уехал на свою загородную виллу.

Эта красивая вилла из серого камня находится на краю небольшого поселка, спрятанного в укромной зелени лесов, покрывающих мелкие продолговатые холмы, окруженные заливными рисовыми полями. Здесь я должен пробыть краткое время, перед тем как поехать в далекую Европу. Сначала в Португалию, чтобы встретить Келима и проводить до края обрыва Надю, затем в Болгарию, чтобы сразиться с карликом Ватанабэ. И там в маленьком болгарском городке я выйду из существа д-ра Мэна и наконец появлюсь в том виде, в каком я пребывал на земле во времена, предшествовавшие первому уничтожению человечества.

Час ИКС и все летающие люди, поджидавшие наступления этого часа, меня уже никоим образом не будут касаться — я уйду немного раньше, а точнее, улечу, ибо последний мой поединок с демоном Ватанабэ должен произойти в воздухе, в самых верхних слоях стратосферы, высоко над ровно выстеленными платками перистых облаков. Мне будет приказано дать сражение богу раковой опухоли, который в свою очередь только что уничтожит в воздушном бою русского демона массовых казней — д. Москву.

Я буду сражаться с богом безысходной печали и уничтожу его — но когда сброшу Ватанабэ в пучину космической пустоты, называемую *черной дырой*, то окажется, что на околоземной орбите останется еще один великий демон. Тот, который работал всегда отлично и незаурядно, с соблюдением полной конспирации, с колоссальным размахом стратегии, хотя был в демонарии причислен к самому незначительному отделу поштучных самоубийств. (Ведь это по моему проекту была внедрена в человечество Последних Времен страсть летать без крыльев!) Но ведь кто-то должен будет и меня вышвырнуть — и достаточно мощным броском — за пределы Солнечной системы!

Известно, что ее относительно мягкий характер и сила привязанности к своим родственным планетам и лунам требуют больших усилий от тех, кому предназначается удалять из Солнечной системы на пустыри галактики мусор после хвостатых комет, заблудившиеся астероиды или упрямые души восставших ангелов. Подобную санитарную работу выполняли соответствующие уполномоченные из сиятельного ангелитета; но приведение в исполнение приговоров к высшей мере всегда производилось только работниками черного демонария. Так в человеческом обществе палачами становились, как правило, люди из уголовного мира. Но в моем случае скоро, уже очень скоро, дело обернется таким образом, что казнить меня будет некому — кроме разве что самого князя.

Займется ли он подобной работой? Если да — что же будет после с ним-то самим? Скрутит ли его и скует один из тех величественных колоссов, по могуществу не уступающих и Самому Царствующему Христу, коих немало в окружении Бога? А дальше как? Кто казнит князя? Кому будет дано право убить его смертью, которая уже отменена Всевышней Волей?

Кто сможет вновь пустить в ход смерть, в ответ не получив смерти? И что будет с последним палачом?

Эти вопросы я задавал себе, пока доктор Мэн Дэн гулял по безлюдным асфальтированным дорожкам поселка. Я все знал насчет его финан-

сового положения, о его таинственной темной деятельности, об огромных доходах с гостиничного бизнеса и с игорных казино в Корее и на Гавайях. Его международная инструкторская работа также приносила ему немалый доход, потому что он занимался исключительно самыми богатыми клиентами России, Франции, Португалии, Испании и Марокко. Я часто пользовался и его телом, и незаурядным интеллектом, но в том, что касалось роковых страстей, правящих миром (кроме страсти к деньгам), Мэн Дэн был абсолютным профаном, и поэтому я почти никогда не привлекал его к обстоятельствам своей тайной, несчастной, тысячелетней страсти. В этом случае самым подходящим материалом являлись такие монады, как русская душа Евгения.

Разумеется, я не мог любить Надю, будучи бестелесным, поэтому во все века, в которых она появлялась на театре жизни, я вынужден был удовлетворяться лишь наслаждением ее мужей и любовников. И какими бы они ни были, какие бы ни складывались у меня с ними отношения, я всех их отправлял на тот свет раньше времени, которое они сами бы для себя назначили. Я всех их смертельно ненавидел во все века, и иначе быть не могло — ведь Сам Иегова возненавидел воров, которые украли у Него то, что Он любил больше всего.

А то, что у меня украли, я уже не мог себе вернуть, и мне оставалось только одно: мстить и наказывать, карать и уничтожать. Конечно, я всегда понимал, как смешны и тщетны все эти злобные мои действия: убивая своих соперников смертью, тем самым я отпускал их на свободу, значительно сокращая срок земного наказания, на который каждый из них был осужден. Например, того же Евгения бедного, чьими русскими словами пишется этот роман. Из всех языков мира судьба моя избрала именно русский для выражения своей воли и тайны, и я с благодарностью отношусь к подобному выбору. Ибо те слова, что принадлежат началам многих миров, звучат на русском языке просто, наивно, благородно и чисто...

*А пока что я, как та серенькая мышка на даче д-ра Мэна, пойманная его домашней кошкой, зверем с удивительно большими, торчащими, как у собаки, треугольными ушами, — я, словно мышка перед кошкой, пытаюсь танцевать. Я сначала хотел написать роман об Орфеусе, великом певце, который вдруг ослеп и которого полюбила русская женщина по имени Надежда, но понял, что ничего подобного писать не надо. Надя не любила Орфеуса. Она любила невидимого ангела. Сочинять роман о не существовавшей страсти или о несчастных, которые вовсе не были несчастными, не стоило. И я написал, кажется, что-то вроде записок д. Неуловимого, которому очень неловко и затруднительно рассказывать о том, что на возвышенном языке людей называется роковой страстью. И он рассказал об этом, как бы криво усмехаясь, а иногда и неловко посмеиваясь вслух. Уединившись в дачном поселке, расположенном в лесах средней Кореи, я записывал, тайным вирусом внедрившись в Hard Disk на компьютере доктора Мэна, это повествование о себе и о других демонах, когда-то вместе со мною заживавших звезды.*

Теперь же я завершаю эти записки и, проверяя свои чувства, которые заставили меня писать, нахожу их и жалкими, гнусными — и великими, прекрасными.

Господин Мэн Дэн, человек с белыми седыми волосами и черными, словно наведенными углем, бровями, пока нужен здесь, чтобы включать и выключать мне компьютер. Надя после похорон Орфеуса вернется назад в Геттинген, затем поедет оттуда в Португалию, чтобы встретиться с Валерианом Машке, который хочет научить ее летать. Но вместо него Надю встретит в Португалии демон смерти Келим: *да, роман уже действительно близится к концу...* «Все мировое зло, которое испытало на себе человечество, было явлением временным — и это время уже закончи-

лось» — ах, хорошо бы завершить его такими словами! Тем более что это верные слова.

Я услышал их однажды утром, когда прогуливался, как обычно, узкими безлюдными коридорами в лесной чащобе, по которым пролегли асфальтированные дорожки в этом поселке богатых вилл. Я скучаю по России, которую полюбил странной, чистой душой Евгения, погубленного мною совершенно зря. Из России я улетел вместе с доктором Мэн Дэном, когда внезапно приблизился час ИКС для этой страны. Но если России все равно суждено воскреснуть земным раем и воссиять под солнцем — еще ярче, чем прежде, в березовом белом свечении, под светлой музыкой облаков, — мне не приходится надеяться на воскресение вместе с нею.

Однако Бог милостив, и я люблю Его. Может быть, и минует... Но все равно я должен буду признаться Ему, что моя пагубная страсть к прекрасной женщине, дочери человеческой, которую Он создал, пронеслась со мною через все века и не только не стихла, gasимая холодом стольких смертей, но стала еще более жгучей. Пусть даже будут убиты все демоны смерти — но и это не сможет избавить меня от моей собственной. Ибо я не перестану, должно быть, желать эту навсегда чужую жену, чужое ребро, чужую непостижимую красоту, созданную не для меня. За такое же по законам Бога полагается смерть без права на воскресение.

Но ведь и я был создан Им! И поэтому, может быть, я не виноват.

Я ангел времени, ставший демоном страсти, которая правит миром. Оглядывая мгновенным взором все путешествие человечества, я хотел бы и для себя воскресения. Желание это вполне естественно — таким меня создал Бог.

Мне казалось, что я знаю слова, созидающие в окружающем мире все, что доступно вниманию грамотного русского человека. Таким был Евгений, скромный преподаватель словесности. Недавно однажды утром для меня открылось, что и многие птицы, живущие в Корее, выражаются вполне по-русски. Но некоторых птичьих слов я все же не понимал. Так, если никаких сомнений не было насчет дикого голубя, который хрипло бубнил из затаенных глубин леса: *«Иди ты отсюда! Иди ты отсюда!.. Шут»*, если вполне понятно мяукали иволги, по-базарному бранились сороки и рыдали, удушливо причитали кукушки, то говор одной незнакомой птицы озадачил меня. Поначалу она совершенно отчетливо, с очень приятными начальными переливами произнесла на русском: *«Верим ли мы правильно? Верим ли мы правильно?»* Затем, чуть помолчав, отчетливо выговорила: *«Онлиро! Онлиро!.. Онлирия...»*

Мне это слово незнакомо. Но если в этом мире, конец которого близок, слова могут означать приход или прилет, вознесение или падение с небес какого-нибудь таинственного существа, небесного тела, души, или порывистое дуновение из уст невидимых ангелов — любое произнесенное слово ответственно. Пусть даже оно принадлежит птичьему языку или сопутствует неторопливой речи морских волн. И мне захотелось узнать смысл нового слова: может быть, из всего того бескрайнего отчаяния, в котором покорно плещется земная жизнь, есть выход — широкая и спокойная протока? Может быть, простится мой грех, — и вот прочищается громадный перламутровый зев неба от косматых хриплых туч, новое утро мира прокашливается, розовая, свежайшая, превосходно натянутая гортань его настраивается воспроизвести утреннюю песнь — голос Орфеуса взывается в небеса белым голубем той мелодии, которую должна была исполнить на Флейте Мира одна несчастная московская девочка. Может быть, мы не знаем еще о чем-то, что украсило бы жертву Богу — белого агнца жизни — такими же зорями, как и эта сиюминутная животрепещущая заря, в которой никакая кровь не прольется. Виновные, ждущие, мы узнаем наконец, что за весть принесла птица в мир этим словом:

— Онлиро! Онлирия.

*Совместный ход звезд, облаков, луны привел к неизменному утру, как и в прежнем мире, который нам так ясно помнится — и вспоминается во всем своем преосуществлении от начала и до конца. Над ОНЛИРИЕЙ встает солнце, и оно такое же круглое, громадное и лучезарное, как и на земле, но только небывалого для земного мира зеленого цвета. Мы приветствуем это зеленое солнце взмахом руки, поднятой над головой, и затем, прежде чем рассеяться мириадами ярких блесков, принявших на себя изумрудный отсвет зари Онлирии, успеваем еще обменяться прощальными улыбками: до вечера! до завтра! до следующего тысячелетия! И каждому, кто сейчас находится здесь, на берегу моря, предстоят новые встречи и новые разлуки, и все они будут только радостными — тихо-приятными, нескончаемо благодарственными, ласковыми, как рокот морского прибоя.*

## ОНЛИРИЯ

Для того чтобы совершить Путешествие вслед за Ним, пришлось пройти весь Его земной путь. Моей голгофой стала внезапная слепота. Тайну моей гефсиманской ночи также никто не знает, кроме Него. Невыносимая жажда перед концом, испытанная Им, настигла и меня, я тоже попросил напиться, и мне также вместо воды поднесли уксус. Моя смерть в Геттингене кому-нибудь и показалась бы неожиданной, но это лишь потому, что никто не видел моего одинокого столба мучений и не слышал грубых голосов моих палачей.

Нам было известно, что Он пробыл в смерти два дня, а затем, на третий день, явились к бедному телу верховные лица из ангелитета. Небесные посланцы исполняли свой служебный долг, о чем уже их заранее оповестили несколько тысячелетий тому назад. Ангелы вдохнули жизненную силу в мертвое тело, завернутое в тугие набальзамированные пелены, — тяжелый труп наполнился светом и жаром. Растаяла и в минуту испарилась вся ароматическая смола, наполнив густым благоуханием пещеру, наложенные повязки опали на каменном ложе гроба, и эфирное тело просочилось сквозь ткань. И, постепенно облекаясь в светящиеся одежды, создаваемые самим эфирным телом, возник перед ангелами Иисус Преображенный. Ангелы пали ниц, склонив свои крылья к самой земле, и опять в их действиях выказывалось тысячелетнее предопределение.

По этому же предопределению, сиречь правилам Игры, князь не мог не совершить того шага, на какой подвигала его Вселенская Игра, — не мог не убить Его. Но убийством Христа князь мира сего не остановил приближения Нового Царства. По закону оно могло бы начаться тут же по Его воскресению, но невозможно было сразу вывести миллиарды миллиардов людей, зверей и насекомых из того привычного состояния, в которое вверг их бог земной жизни: еще не могли они не умирать.

Чтобы вывести стадо на другое место, его нужно было приуготовить, и потребовалось какое-то время для устройства нового пастбища. Оно обособилось на старой жизни, на прежних странах земли — и распространилось поверх всего этого. Времени для устройства Нового Царства понадобилось два мгновения: одно тысячелетие и затем второе.

Для человек и такой срок оказывался слишком великим, и люди умирали, не успев увидеть при жизни того, что было уже для них объявлено. Но ничего! Справедливость Бога распространилась и на этот печальный случай — зато на новом пастбище надмирного Царства были собраны все, абсолютно все, кто когда-нибудь появлялся на земле. И, приглашая к вечному существованию, ни у кого не спрашивали, свой он или чужой, не доискивались, чего он натворил при жизни. Ведь каждый был воскрешен уже без тех искажений, которые внесли в него подрочные князья.

Итак, появляясь в Онлирии (по-птичьи звучит «Онлиро»), не каждый сможет узнать самого себя — столь искаженным и далеким от



подлинного оказывался его прежний земной образ. С изумлением он постигнет, что в его сотворении принимал участие только Бог. И все дальнейшее его Путешествие по светоносной Онлирии будет состоять в том, чтобы идти, лететь, все выше и выше подниматься к Тому, Кто захотел его появления на свете.

Словно солнце многих миров, Он рассеял себя лучами и разослал во все пределы — и, проникая сквозь мироздание, свет наполнял его. Онлирия, куда собирает Спаситель свои земные стада, устроена из самого чистого вселенского материала: света и облаков. Это вселенная облаков.

И только глядя отсюда вниз, на голубовато-туманную землю, можно постигнуть, почему там человек не мог быть счастлив. Он там не мог быть счастлив потому, что оказывался не таким, каким создал его Бог: Бог создал человека бессмертным. И на земле всякий человек умирающий был существом искаженным — что бы он ни говорил о своей жизни и как был ее ни проживал.

Меня в Онлирии заставляет думать об этом тревожная грозовая хмара, набегающая на мою душу при одном воспоминании из прежнего существования. Когда-то на земле был я греческим музыкантом Орфеем, и мне Бог разрешил, когда умерла моя любимая жена Эвридика, забрать ее из царства мертвых — то есть воскресить ее. Мне только велено было не оглядываться, не смотреть назад, выводя ее душу на свет из подземелья. Но я оглянулся. Я испугался, поймите меня, что за моей спиной никого нет, что меня обманули и что в крошечной темноте никто не следует за мною!

И сейчас из Онлирии, где все хорошо, я тревожусь за Надю, жену мою уже из другого существования: что стало с нею после моей гибели в Геттингене? Следует ли она за мной? Мне снова хочется оглянуться, о Боже! Ведь тогда, ведомый за руку демоном Неуловимым, я взобрался на какую-то башню и бросился с нее. Не знаю, взлетел ли я и перенесся прямо в Онлирию или же разбился на каменной мостовой старого немецкого города, — но вот я здесь, прозревший вновь, внимательно оглядывающий ландшафты облачной страны. И только теперь я понимаю, как сильно любил при жизни свою бесконечно одинокую, несчастную жену.

Я постоянно жду встречи с нею — на всех путях этого светозарного нового мира. Но снова и снова прежний страх охватывает мою душу, как когда-то: может быть, никого за моей спиной нет, никто никогда не последует за мною из того мира, где было так больно и где оказался я почему-то ее мужем...

Жизнь... Надежда... Надя... Что значила наша встреча на земле? Зачем нам дана была наша любовь, если надо было любить — только Бога? Прозревший на небесах, я здесь одинок без тебя, хотя и вижу вокруг тысячи и тысячи воистину прекрасных существ, ангелоподобных мужчин и женщин.

В этой вселенной облаков, среди кудрявых скал и нежных, волокнистых утесов, мы все тихо, неспешно следуем за своими душевными порывами. И нам дана чудесная возможность живо осуществить любую свою прихоть или самое сокровенное мечтание. И это не в глубине сердца или в туманных образах облаков, а вполне наяву.

На земле я уходил от неразрешимых мучительных чувств и новых душевных ран в Путешествие — так, постепенно, и ушел я из прежнего мира, а также из бедного, нежного, такого беспомощного тела. Теперь — полет без собственных усилий и ожидания смерти, светлое сретение души и солнца. Спокойное чувство бессмертия осеняет мою дальнейшую дорогу к дому Учителя, и нет в моем сердце никакой тяжести или томления... Но и на этом пути, под зелеными небесами Онлирии, меня охватывает неудержимое желание обернуться и посмотреть назад.

Бедные и чудесные наши земные дни, оглашенные воплями торжествующих бесов! Жена моя, по голосу такая одинокая и потерянная в людском сонме... Я встретил ее, когда у меня были еще целы глаза, нас

познакомили с нею на коктейле после моего концерта в знаменитом Геттингенском университете. Да, нас познакомили, я это хорошо помню, но эта встреча была столь мимолетной, а волнение моих чувств в тот вечер так велико, что я даже не успел как следует всмотреться и запомнить это лицо... Так что в моей памяти ее облик восстает лишь как невнятная тень, мелькающая среди других теней. И только ее голос, грудной, контральтовый, с едва заметной сипловатостью, — этот одинокий голос Нади звучит вблизи, во мне. Но я никогда не вижу ее — только образ невнятной тени в толпе себе подобных.

Здесь, в Онлирии, голос человеческий, очищенный от всякой случайной физиологической помехи, звучит как самая безупречная музыка, извлекаемая из совершенного инструмента. И тысячи новых людей, возникших на моих путях, говорили здесь абсолютно правильно поставленными, безо всякой фальши звучащими мелодическими голосами. Так что и по голосу, пожалуй, я не смог бы в Онлирии различить Надю: у нее в тот год, когда мы поженились, образовался в горле какой-то маленький желвачок, отчего и стала она говорить чуть хрипловато.

Отсюда (точнее было бы сказать «здесь») можно попасть в любое земное пространство, которое сохранилось в памяти, — достаточно лишь захотеть этого да ясно представить такое место в соответствующих координатах времени. И вот, окончательно уверившись, что в облачной Онлирии уже не встречу Надю, стал я все чаще навещать в те памятные мне уголки земли, которые были близки, очень близки к месту и к минуте моей первой встречи с Надей. И теперь довольно часто я гулял по тенистым пешеходным тропам, перебрасывавшимся с холма на холм, вблизи Геттингена и по нешироким асфальтированным дорогам, обсаженным с обеих сторон дубами и грабами, — это были прогулки по всего лишь однажды увиденным мною окрестностям города. Там я побывал вместе с профессором Рю в тот счастливый для меня год, когда мы с ним объезжали с концертами старинные университеты Германии.

Мне никогда не приходилось признаваться Наде, что я не помню ее лица и не представляю, как она выглядит в жизни... Но почему-то в моем воображении рисовалась она схожею с одной девушкой-блондинкой, которую я видел в маленьком деревенском ресторанчике недалеко от Геттингена.

В тот раз, совершая прогулку на автомобиле вместе с профессором Рю и профессором Лауэром, мы заехали в этот уютный ресторанчик отведать вареных свиных ножек с кислой капустой. Девушка сидела за угловым столиком одна-одинешенька и даже не оглянулась на нас, когда мы уселись втроем за соседний стол. О, там, на земле, это было очень грустно видеть: такая юная, такая милая — и совершенно одна, без друзей, в этом малолюдном деревенском трактире, где подают свиные ножки.

Я не успел заметить, было ли перед нею на столе вино или пиво, стоял ли обед, съела ли она его или только собиралась приступить к нему... Мое внимание было лишь мгновенным, скольльзящим и впечатление от увиденной картины мимолетным: вышло так, что меня усадили на стул спиною к ней, и в продолжение обеда я ни разу не оглянулся на нее. Но сзади, мне представлялось, шли в мою сторону некие беспокойные волны, благоухающие розовым маслом и наэлектризованные холодноватым призывом: *подойди ко мне, иностранец, и мы поговорим немножко, а если ты мне понравишься, я отстегну часы и покажу тебе на своей руке розовые вмятины — следы от браслета...*

Сколько раз потом, уже будучи мужем Нади, я лежал рядом с нею в постели и представлял ее похожею на ту незнакомую девушку — и ясно *видел* при этом розовый след от часового браслета на ее нежном запястье. И однажды, уже здесь, в Онлирии, мне захотелось снова встретиться с незнакомкой, которая столь эфемерно промелькнула в моей прошлой жизни.

Деревенский ресторанчик, отделанный стенкой из дикого камня с вьющимися по нему плетями зеленого плюща, был таким же, каким я его

запомнил; и девушка сидела за угловым столиком одна; кроме нее и еще одного господина с полным красным лицом, во всем заведении никого не было; этот господин периодически смотрел на свои часы и затем через какой-то промежуток времени выпивал рюмку шнапса. Я на этот раз подошел, разумеется, к девушке и попросил позволения присесть за ее стол. Она молча кивнула.

О, как мне хотелось, чтобы это оказалась Надя! Но это была не она... Тем, кто хочет из Онлирии общаться с жителями земли, дается возможность стать плотными и выглядеть так, как им этого желается. Но, закончив разговор, мы можем внезапно исчезнуть с глаз или уйти прямо сквозь стену... Эту девушку звали Эрной, я откровенно рассказал ей, кто я и откуда, и спросил, не знала ли она случайно мою русскую жену, жившую в Геттингене и работавшую в университете... Нет, Эрна никогда не знала ни одного русского человека.

— Особенность нашей встречи в том, — объяснял я девушке, — что, когда мы закончим разговор и я уйду, ты через секунду уже все позабудешь. Но обязательно вспомнишь этот случай уже в Онлирии, где времени будет предостаточно для того, чтобы вспомнить каждое мгновение своей прошедшей на земле жизни... И *там*, возможно, мы с тобой опять встретимся.

— Зачем вы оттуда приходите сюда? — спрашивала Эрна. — Я не понимаю. Что у нас тут такого хорошего? Или у вас возникают какие-нибудь проблемы?

— Никаких проблем, Эрна, — отвечал я. — Но уверяю тебя: когда ты сама попадешь в Онлирию, ты тоже будешь часто возвращаться оттуда сюда.

— Почему? Почему? Здесь же все гадко... несправедливо. Даже слов нет... Зачем возвращаться сюда! Не понимаю я.

— Вот представь себе, Эрна... У тебя, скажем, был свой дом... — начал я издали, притчей.

— Он у меня и сейчас есть, чего там представлять, — перебила она меня.

— Хорошо... Еще даже лучше. И вот представь себе: однажды тебе сообщают, что дом твой сгорел, пока ты ездил по делам в Кёльн... Неужели тебе, Эрна, не захотелось бы посмотреть на пожарище?

— Как же... Захотелось бы, наверное.

— О, еще как! Уверяю тебя. И вот ты возвращаешься в Геттинген, идешь к тому месту, где был твой дом, — и, майн Готт! — ты видишь, что дом твой целехонек и ничего, абсолютно ничего с ним не случилось! Какое это было бы счастье, правда?

— Да, это было бы замечательно.

— Вот поэтому я и прихожу *оттуда сюда*... Каждый раз с надеждой, что дом цел.

— И как он, цел?

— Нет, конечно. Он сгорел, Эрна. Сгорел дотла.

— И ты что же, каждый раз ждешь чуда — хочешь увидеть что-то другое?

— Да.

— Но ты же сумасшедший! Хоть и говоришь, что воскрес после смерти... Если дом сгорел — значит, сгорел. Если нет — значит, нет. Что может быть другое?

— Другое?... А вот представь, Эрна, — продолжал я, — дом сгореть-то сгорел, но ты приходишь туда, а на этом месте качается привязанный к дереву огромный воздушный шар...

— Шар?

— Да. Он медленно наполняется горячим воздухом от горелки, которая гудит и выбрасывает вверх, в круглую скважину оболочки, высокое оранжевое пламя. Шар постепенно надувается и становится все-больше и больше. В корзине-гондоле никого нет, но там устроено как-то все очен

симпатично и поставлено даже что-то вроде короткого соломенного дивана. Ты заходишь и садишься на этот диван — и воздушный шар тут же взлетает, как будто только и ждал тебя...

— Всегда ненавидела эти воздушные шары, — перебила меня Эрна. — Все эти воздушные замки. И полеты эльфиков над туманными травами. Ты думаешь, что я молодая, поэтому должна все это любить. Но я вовсе не молодая — я уже очень старая. Мне уже сто лет. Я умру оттого, что заболею раком. И перед этим мне обязательно приснится какая-нибудь гадость. Я уже сейчас боюсь своих снов — они так ужасны. О, мне бы лучше совсем не спать — только бы не видеть эти сны. И самое противное и обидное — я никак не могу запомнить эти сны, они все ускользают, как будто прячутся, чтобы только мучить меня...

— Нашу встречу ты тоже не запомнишь... Все это тебе покажется одним из тех смутных снов, которые томят, беспокоят своей неуловимостью. И только потом, в Онлирии, ты вспомнишь все: и эту нашу встречу, и другие свои встречи с блуждающими по земле тенями. И там ты вспомнишь и вновь увидишь все свои забытые, неопознанные сны.

— Но зачем, зачем мне это?! Я никогда не хотела бы вспоминать свою жизнь. Ну ты сам подумай — зачем мне это? Я была проституткой, наркоманкой, потом у одного турка-сутенера меня увидел Томас. Он увел меня от турка, поместил в лечебницу, там я пробыла три года и вылечилась, и Томас женился на мне. А потом он стал заниматься полетами, хотел, чтобы и я занималась, но я сразу же отказалась. У меня боязнь высоты. Томас оставил мне свой дом, а сам уехал на Гибралтар, где открылись школы для обучения полетам. Он написал мне два письма, потом погиб.

— Все это так похоже! — не выдержав, воскликнул я. — Может быть, ты все-таки Надя?

— Как я должна на это ответить? — суховати, но все-таки мягко промолвила Эрна. — Сказать мне «да»?

— Нет, не надо ничего говорить. Я и не жду ответа. Просто мы в Онлирии, по своему обыкновению, часто возвращаемся к тому, что уже давно прошло, и тысячи раз перебираем все, что случилось с нами здесь, на земле. И каждый раз к этому примеряем иные, новые возможности: ах, если бы так поправить и этого не делать, а поступить совсем по-другому... Вот и сейчас: я возвращаюсь к одному мгновению своей жизни только потому, что хочу проверить некую версию... Что было бы, если б я тогда, при жизни, все же обернулся к тебе, подошел к твоему столику и заговорил с тобой? Не выстроилась бы по-другому вся моя судьба?

Умение войти в слово и снова выйти из него, способность управлять им — могущество созидających ангелов — даровалось и нам за все наши земные страдания, печали, несчастья. Но невосполнимым уроном для меня было то, что я утратил в молодые годы свое зрение. Невозможность представить себе любимую такую, какую она была, и неспособность вспомнить то, чего я не видел, — отсутствие в памяти надлежащего слова не позволяло мне воспользоваться вновь возвращенным мне могуществом, истинным даром Бога: способностью творить собственный мир.

Демон Неуловимый, повелитель страстей, которые правят земным миром, разъяснил мне перед самым концом моей жизни, почему я должен был немедленно уйти из нее. Я принадлежал к роду титанов, человекоангелов, — и за свою гордыню и холодность к Богу был я подвергнут наказанию. Демон признался мне, что еще до того, как мне ослепнуть, он сумел внушить мне, что я могу повелевать миром силой своего художественного гения. И наказанием было мне — лишение дара творчества. Без которого, внушал мне демон, жить попросту не стоит.

После разговора с Эрной я ушел прямо сквозь стену — сквозь ту выложенную из дикого камня трактирную стену, по которой вились зеленые плети плюща. Когда я оказался на залитой ярким солнцем узкой чистень-

кой улочке немецкой деревушки, на отлогом спуске к реке, мощенном серым булыжником, передо мной возник тот господин, который в трактире пил шнапс, то и дело поглядывая на часы.

Это и был д. Неуловимый — вернее, он на этот раз внедрил ангинной рыхлотой в гортань одного немецкого пьянчужки и его голосом стал общаться со мною. Сам же господин Крафт, пьянчужка, шел рядом по улице, слегка пошатываясь, выпучив покрасневшие глаза, ничегошеньки не сообщая.

— Вот и встретились опять, — произнес он классически хриплым голосом выпивохи, чья глотка забита сгустками мокроты. — Я рад видеть тебя в новом статусе, тем более что я имел честь непосредственно содействовать его получению. Мне интересно взглянуть на тебя и, может быть, услышать какую-нибудь приятную новость или же поучительный рассказ.

— Вербовщик, отправивший солдат на войну, интересуется его дальнейшей судьбой? — ответил я, усмехаясь.

— Пусть будет так. Но разве вербовщик в чем-нибудь обманул новобранца? Я говорил, что ты воскреснешь, — ты и воскрес, не правда ли? Посоветовал тебе, чтобы ты напрасно не мучился в жизни, если она не приносила больше удовольствия тебе, — и разве был не прав? И последнее: когда я подвел тебя к краю крыши и сказал: бросься, не будет больно, — разве я обманул тебя?

— Ты прав, ни в чем ты не обманул меня. И к тебе никаких претензий нет. И вообще — о *тех* делах не стоит теперь говорить. Какими они получились — такими пусть и останутся. Ну и ладно. Меня это совершенно не интересует. Тебя, я думаю, тоже...

— Признаться, да, — был ответ. — После твоего дела у меня было много других, не менее сложных.

— Я искал тебя, знаешь ли... Как ты догадываешься, наверное, я нигде не могу встретить Надю. И если это возможно, что ты имеешь сообщить мне о ней?

— Ровным счетом ничего. Роковая страсть к женщине — это моя епархия, Орфеус, не твоя. Ты — нежный музыкант, теперь — вечный житель Онлирии. Так и плавай в своих облаках, а сюда больше не возвращайся. Здесь ты никогда, нигде не встретишь Надю. Если даже из сочувствия к тебе и захотел бы я помочь — ничего бы не вышло. Я при твоей жизни сделал все, чтобы ты после смерти не смог встретиться с нею. И сделал я это слишком хорошо.

— Но почему же такая беспощадность, Крафт?

— Потому что она изменила мне. Кажется, она и на самом деле полюбила тебя, Орфеус... И теперь могу сказать только одно: ей неизвестна Онлирия, куда ты был отправлен мною. Ей известна только могила в Корее, куда отвез твое мертвое тело мой помощник.

— Этот? — Я показал пальцем на самого Крафта, бредущего рядом со мною, бормочущего себе под нос.

— Нет, — ответил он, неловко, заторможенно покачивая головой. — Другой... Я господин Шнапс, которого зовут Крафт... Ведь он настоящий людоед, этот Крафт... Растил свою дочь, девочку двенадцати лет, и жил с нею. А когда она ушла в убежище, созданное в Плёне специально для таких девочек, этот Шнапс-Крафт спился, стал натуральным алкоголиком. И представь себе, он не хочет кончать с собой, считает, что... Впрочем, ты все об этом сам хорошо знаешь, не раз мы беседовали и с тобой на эту тему.

— Вот именно. Не будем говорить о печальных мерзостях земной жизни. Лучше скажи мне сразу — что тебе понадобилось от меня теперь?

— Представь себе, ничего. Просто я совершенно случайно увидел тебя сегодня в этом ресторане. Мне и в голову не могло прийти, что ты зай-

дешь туда... Но когда я увидел тебя, невольно захотелось, уж извини, немного поговорить с тобой.

— Значит, случайная встреча. Добро... Бывают, значит, случайные встречи и со своим ангелом смерти. К тому же у меня тоже имеются некоторые вопросы к тебе, так что случайность нашей встречи оказалась весьма кстати...

— Спрашивай, — пыхтя, задыхаясь и потев под жарким солнцем, отвечал Крафт.

— Ты Надю убрал таким же способом, каким и меня? — остановившись посреди улицы и придерживая за рукав Крафта, спросил я.

— Нет. — Довольный, что вышла передышка, он вынул из кармана штанов мятый платок и стал вытирать лицо.

— Но куда же она делась тогда? Ведь я сразу же, как только попал в Онлирию, вернулся назад в Геттинген. Но дом наш оказался запертым. И как ни грустно было мне, Надя в нем так и не появилась больше...

— И не могла появиться, Орфеус! Ведь после тебя я решил расстаться с нею. Она была передана Келиму, который работает преимущественно со смертями по собственному желанию.

— Но, Крафт, какая разница между твоим делом и работой Келима? — удивился я. — Разве у вас не одно и то же?

— Ну что ты, — снисходительно улыбнулся краснолицый Крафт. — Самоубийство и есть самоубийство. Здесь ненависть к самому существованию. А у Келима другое! Там еще много любви к жизни... Но появляется в необходимый момент Келим и преподносит орхидею. Вся тонкость тут в этой орхидее — она как печать, как подпись того, кто дал письменное согласие на свою добровольную смерть. Это, Орфеус, как официальный документ о разводе с жизнью.

— Понятно. Некоторая разница тут действительно существует. Но объясни, Крафт, хотя бы теперь объясни: для чего тебе и Келиму — для чего вам нужно, чтобы человек непременно сам захотел своей смерти? Ведь ему все равно некуда было деваться.

— Представь себе, мне ничего не было нужно, хе-хе! — прозвучал ответ сквозь смех. — И Келиму тоже. Вся бессмысленность и пустота нашей работы мне так же видна, как и тебе, Орфеус. Что толку убивать вас, да еще с такими тонкостями и ухищрениями, если вы все равно воскреснете? Кстати, хотелось бы мне узнать: разве ты встречался когда-нибудь с Келимом?

— Он несколько раз приходил ко мне во сне.

— И что же?

— Да все то же самое. Пытался разными тонкостями и ухищрениями, как ты говоришь, склонить меня к отказу от жизни.

— Вот видишь! Ведь все было напрасно...

— Но вы победили на земле, — напомнил я собеседнику. — Мир этот принадлежал вам.

— Мы не победили, а проиграли, — отвечал Крафт, как-то странно закатывая глаза и при этом часто-часто моргая. — И князь наш проиграл. И все мы, его сателлиты, оказались в непонятном положении. Не то рабы-вольноотпущенники, которые отныне покорны и смиренны, не то преступники, которых должны скоро судить и казнить.

Но зачем же так, Орфеус? Ты сюда заявился из Онлирии — ведь довольно часто ты навещаешь эту землю, чтобы вновь наполняться тоскою жизни и упиваться этим... Так зачем, зачем ты это делаешь?

Затем же, что и князь, что и мы — каждый из тех, что заполнили собою бесчисленные отделы демонария. Что же мы? Только лишь желали усердно исполнять свою чиновничью службу? Нет, Орфеус, не только это. Каждому из нас, начиная с князя и кончая самой мелкой канцелярской крысой, такой, как бесовская шушера из протокольного отдела, хотелось одиночества — мыслилось Абсолютное Одиночество как единственная

форма бытия. И ты, Орфеус, при жизни был таким же, как и каждый из отпавших от Бога ангелов. И твои человеколюбивые предки-титаны были такими же. И каждый рожденный Евой человек. Мало того, Орфеус, — сам Господь тоже есть такой! Он тоже хочет быть один, и чтобы только Он, и чтобы всё — только в Нем.

Это не слышно и не видно, никак нельзя этого доказать, и это немислимо — но это так, и является сразу же, как только возникает в пространстве какое-нибудь существо, божество или вещь, будь то ангелы, или обыкновенная лесная пташка, или просто пустая банка из-под консервированного пива. Оно, это чувство самости, присуще всему, что живо и не живо. Явившись на свет, даже пивная жестянка видит в мире всего две истины: себя и остальной мир, — и горделиво ощущает свою пустоту как главное содержание мира... А что же остается таким, как я, кто был среди гениев, что зажигали звезды галактик?

Создавая нас, Бог создал Бунт Ангелов. И чтобы началась и пошла Мировая Игра, Ему были нужны не овцеподобные златокудрые послушники, а темные бунтари, мечущие молнии и изрыгающие из ноздрей серный дым. Именно для Игры ангелы должны были стать демонами. Так-то, Орфеус! Князь стал врагом Господу не потому, что самовольно захотел этого, — он был избран Богом быть Его противником. Дядя моего нынешнего подопечного — Иозеф Крафт, карточный игрок, проигравший все наследство своего отца, фабриканта электросветильников, — частенько гостил в доме младшего брата, когда очередной раз оказывался в проигрыше. Скучая без привычного окружения, дядя Иозеф, оставаясь наедине с племянником, потихоньку от его родителей научил малыша играть в карты. И чтобы игра шла по-настоящему, он доставал из кошелька все деньги, какие только были у него, считал их и затем, честно разделив, отдавал мальчишке половину. Разумеется, он постепенно отыгрывал назад все отданные деньги, но бывали моменты, Орфеус, когда в выигрыше вдруг оказывался племянник.

Что-то вроде этого проделал и Господь с нашим князем. Зная, что нелегко будет противнику бороться с Ним, Он наделил его могучей силой. Дозволил ему из числа всех отступников выбрать наиболее гордых и могучих, чтобы учредить демонарий. Отдал ему на время (словно деньги взаймы) свое дорогое создание — человечество и весь живой мир земли вместе с ним. Допустил даже победить князю почти все сердца человеческие; и наконец, как бы это сказать, Орфеус, Он соизволил выкинуть нечто уж совсем несуразное: предал в руки княжеских палачей Своего любимца, Сына Человеческого, и не защитил Его в час позора, не освободил от мучений...

Не знаю, Орфеус, не знаю... Так ли уж необходимо заплатить такой ценой за то, что должно было быть все равно возвращено. Не знаю я, сомневаюсь, мой друг: нужна ли была вообще вся эта грандиозная, чудовищная, блистательная метаисторическая Игра?

Пьяный Крафт тут замолк и, приостановившись, шумно передохнул, схватившись левой рукою за грудь. Немного отдышавшись, он снова зашагал рядом с Орфеусом и продолжил свой хриплоголосый монолог...

Давно уже они вышли за пределы деревни и шли по тенистой пешеходной дорожке, обсаженной с двух сторон старыми липами. Сквозь развесистые кроны светилося, словно изливаясь сверкающей плазмой, высокое ослепительное послеполюденное солнце.

— О, я вовсе не уверен, что Игра была нужна обоим игрокам! Подумай сам, Орфеус, и ответь мне: зачем Тому-Кто-Хочет-Быть-Один создавать себе какого-то партнера? Тем более что Он знает: кого бы ни сотворил Он, будь то блистающий архангел, могучий титан или жестяная баночка для пива, все равно никто из них не сможет посчитать другого *ближе себя*. Таков закон самости — однажды ощутивший себя самого всегда ощущает в себе кого-то еще, *который всегда ОДИН, и другого быть не должно*.

Вот и скажи теперь мне, Орфеус, для чего была нужна и князю эта Мировая Игра? И всем нам, его прислужникам, которых использовали в ней?

Но что бы там ни было, мы провели свою Игру честно. Вполне доброкачественной была смертная мука для каждого человека, не исключая и самого Христа. И мы сделали все возможное на земле, чтобы никого не миновала чаша сия... И вдруг я встречаю тебя, одного из тех, для кого мы столько трудились, — и в твоих глазах чувствую некую философическую снисходительность, граничащую с насмешкой... Ты ведь в душе смеешься надо мной, Орфеус, — и не над глупым красномордым Крафтом, который растлил свою малолетнюю дочь, смеешься ты, а надо мною, могучим и вездесущим демоном Неуловимым, древним Ангелом Времени!

Так вот, Орфеус, напрасно ты смеешься. Я ведь всегда знал, как знаю и теперь, что настанет время, когда Игра завершится и все фигуры, придуманные и созданные для нее, будут сложены в ящик и отправлены в вечное хранилище. Оказавшись задействованным во многих ответственных комбинациях, я непосредственно наблюдал за продвижением Игры изнутри ее тактики и имел ко всему этому особое отношение. Я старался не впадать ни в эйфорию, ни в истерику, ни в отчаяние, озлобление или панику, ибо все эти волнения были ни к чему и могли только помешать сделать очередной продуманный ход. И каким бы великолепным ни был замысел Творца Игры, как бы я ни был восхищен Его дальновидными тайными ходами, но я неизменно оставался в своем правиле: восхищаясь, быть спокойным и сдержанным. И пусть Он простит меня хотя бы за ту корректность, с которой я напоминаю Ему, что с самого начала существовала только одна цель — Он Сам, и единственный исход Игры — Его победа. А об исполнении наших замыслов и о наших ходах — прости нас, Господи, если все это осуществлялось без достаточной искренности и глубины вдохновения. Ибо мы знали, что это — Твоя Игра. Также мы знали, что смерть, которую мы сотворили, Ты признал как любопытный прием и довольно сильный ход, но без особенного труда сочинил и представил ответный. Господи, мы ведь всегда знали, что проиграем!

А теперь настало и мое время, Орфеус, спешу поделиться с тобою радостной для меня вестью. Смерть пришла и для меня. Келима убил демон Москва, которого убрал карлик Ватанабэ, а его самого уничтожил я, д. Неуловимый. Я расправился с ним — вышвырнул Ватанабэ в открытый космос и с тех пор постоянно ждал расправы над собою. Это непременно должно было произойти, только я не знал, как это будет выглядеть... Но вот сейчас, разговаривая с тобой, вдруг ощутил абсолютную ясность предвидения своего будущего: я, уничтоживший стольких людей и демонов, имею надежду не только на смерть, но и на воскресение. Мы все будем возвращены Ему — и люди, и демоны, и неисчислимые твари всех стихий, и сами одухотворенные стихии. Потому и приходил Христос к людям и сказал им, чтобы они любили врагов своих.

Вон там, повыше, где меж деревьями виднеется кусок асфальтированной дороги на склоне горы, под теми большими платанами есть место, Орфеус, куда я лягу и где умру, словно обыкновенный человек с опухшей физиономией завязтого пьяницы. И с той минуты и до самого конца света, когда времени больше не будет, в Германии да и во всем мире не произойдет ни одного самоубийства...

Крафт приостановился и умолк, тяжело переводя дух, а Орфеус, готовясь распрощаться со своим ангелом смерти, сказал ему:

— Хотелось бы спросить еще кое о чем, Крафт.

— Спрашивай, время еще есть, — отвечал тот и, усмехаясь иронически, посмотрел на свои ручные часы. — Через двадцать минут мне надо было бы принять рюмку шнапса... Но этого как раз я и не успею сделать, мой друг.

— Случилась когда-то на земле битва огня и воды. Их примирением явились облака. Они побежали над землею, словно школьники, выпущен-



ные на перемену, и внезапно остановились в небе, чтобы рассмотреть то, что перед ними открылось. Великое равновесие стихийных сил установилось в земном мире — наступила всеобщая жизнь, состоящая из кишашщих мириад отдельных жизней... И я спрашиваю у тебя, Крафт, предвидя наше скорое расставание: зачем вам надо было смотреть на те ослепительные солнечные блики в воде? на белые солнечные всплески, среди которых плыли, плавно извивались, словно длинные рыбы, переворачивались на спину — вверх белой грудью и темным лоном — и звонко смеялись, мерцая глазами, все эти юные женщины, купающиеся в озере? Зачем все это надо было начинать, если вот через несколько минут, когда мы окажемся у тех платанов, ты уйдешь навсегда? И страсть, которая правила миром, уйдет вместе с тобою... Хотелось бы знать, Крафт, пока мы не дошли до тех деревьев, каким будет то новое чувство, которое охватит облака и ангелов, прячущихся в них, когда к Нему снова придет желание Жизни — и ты, бедный, опять можешь понадобится Ему?

Но на мой вопрос д. Неуловимый не смог ответить. Он упал и, слабо вскрикнув, исчез из мира в ту же секунду, а мы не дошли до платанов шагов двести. И я не успел у него спросить еще об очень важном для меня деле. Он встречал женщину, которая стала на земле моей женой: хотелось бы узнать, как она выглядела.

Но теперь ничего не выйдет. В Германии об этом никто мне рассказать не сможет. Самой Нади здесь нет — и ее облачной тени также. Потому что ей незачем сюда ходить — все земные могилы ее близких людей находятся не здесь.

Маленький ребенок, которого она когда-то родила и который у нее сразу же умер — *такой маленький, такой славный и так рано ушел*, — был похоронен в России. И хотя от этой страны, в небе которой произошла самая решительная битва Христова воинства с армией князя, после часа ИКС осталось что-то малое, неузнаваемое и грустное, — туда и только туда могла вернуться Надя. И там, в России, — только там и могло состояться наше свидание после жизни.

31 декабря 1993 г.

### ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

*Вот и сделана попытка сказать о том, что все в мире знают, всегда знали, но почему-то не принимали во внимание в практике своей единственной и неповторимой жизни. Речь идет о чувстве бессмертия, об ощущении вечного существования вопреки убийственной очевидности смерти, о причастности отдельной жизни к бесконечному Божественному действию. Мне хотелось сказать, что если мы будем помнить о том, что мы бессмертны вместе с Богом, как Его частичка, то во многом станем жить и совершать жизненные поступки по-иному, чем как мы себе иногда позволяем, подчиняясь демоническому наваждению гнева, зла, насилия. И еще: вспомнить о главной и самой верной Надежде, о Воскресении всех нас в облачки и сути творений Вышей Воли представляется мне очень важным в наши трудные времена, под конец второго тысячелетия христианской цивилизации, на пороге нового времени и, очевидно, нового мира.*



---

---

# НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ

\*

## ДО СВИДАНИЯ. ДО ЗАВТРА ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ

Явь

Явь не ускользает,  
как ускользают сны.  
Ни шорох, ни звонок  
ее не спугнут,  
ни крик, ни грохот  
от нее не пробудят.

Смутны и многозначны  
образы в снах,  
и можно их толковать  
и так и сяк.  
Явь означает явь,  
вот это и впрямь загадка.

К снам есть ключи.  
Явь открывается сама,  
и закрыть ее не удастся.  
Сыплются из нее  
школьные аттестаты и звезды,  
бабочки детских коллекций,  
души бабушкиных утюгов,  
шапки без голов,  
и черепа облаков.  
Складывается из этого всего  
неразрешимый ребус.

Снов не было бы без нас.  
Тот, без которого не было б яви,  
неведом,

продукт же его бессонниц  
дается каждому,  
кто пробуждается.

Это не сны безумны,  
безумна явь,  
хотя бы упрямством,  
с каким она держится  
хода событий.

В снах еще жив  
наш недавно умерший,  
тешится добрым здоровьем  
и возвращенной молодостью.  
Явь кладет перед нами  
его мертвое тело.  
Явь не отступит ни на шаг.

Сны эфемерны,  
память легко их стряхивает.  
Явь не забудешь.  
Она неодолима.  
Сидит на нашей шее,  
Давит сердце,  
падает под ноги.

Бежать от нее невозможно,  
она везде будет с нами.  
Нет такой станции  
на всем пути нашего следования,  
где бы она нас ни ждала.

### Первая фотография Гитлера

А кто этот бутуз, такой прелестный?  
Это ж малыш Адольф, чадо супругов Гитлер!  
Может быть, вырастет доктором юриспруденции?  
Или же в венской опере будет тенором?

---

Вислава Шимборская (р. 1923) — польская поэтесса, переводчица. Автор восьми книг. Ее стихи изданы во многих европейских странах и в США. По-русски публиковались в сборнике переводов А. Ахматовой (1965), в «Иностранной литературе» (1967, 1973, 1978), в антологии «Польские поэты» (1978).

Чья это ручка, шейка, глазки, ушко, носик?  
 Чей это будет животик, еще неизвестно:  
 печатника, коммерсанта, врача, священника?  
 Куда эти милые ножки, куда они доберутся?  
 В садик, в школу, в контору, на свадьбу,  
 может быть, даже с дочерью бургомистра?

Лапушка, ангелочек, солнышко, крошка,  
 когда на свет родился год назад,  
 на небе и земле не обошлось без знаков:  
 весеннее солнце и герани в окнах  
 и музыка шарманки во дворе,  
 счастливая планета в розовой бумажке,  
 а перед родами пророческий сон матери:  
 голубя во сне видеть — радостная новость,  
 поймать его же — прибудет гость долгожданный.  
 Тук-тук, кто там, стучится будущий Адольфик.

Пеленочка, слюнявчик, соска, погремушка,  
 мальчонка, слава Богу и тьфу-тьфу, здоровый,  
 похож на папу-маму, на котика в корзинке,  
 на всех других детишек в семейных альбомах.  
 Ну не будем же плакать, господин фотограф  
 накроется черной накидкой и сделает: пстрык.

Ателье Клингер, Грабенштрассе, Браунау,  
 а Браунау — город маленький, но достойный,  
 почтенные соседи, солидные фирмы,  
 дух дрожжевого теста и простого мыла.  
 Не слышно ни воя собак, ни шагов судьбы.  
 Учитель истории расстегивает воротничок  
 и зевает.

### Элегическая арифметика

Сколько тех, кого я знала  
 (если вправду я их знала)  
 мужчин, женщин  
 (если такое деленье остается в силе)  
 ступило за тот порог  
 (если это порог)  
 перебежало через этот мост  
 (если назвать это мостом) —

Сколько их после жизни долгой или короткой  
 (если для них это какая-нибудь разница)  
 хорошей, ибо началась  
 плохой, ибо кончилась  
 (если они не считают что наоборот)  
 оказалось на том берегу  
 (если оказалось  
 и если есть тот берег) —

Не дано мне знать определенно  
 их дальнейший жребий  
 (если даже это общий их жребий  
 и еще это жребий) —

Всё  
 (если это слово не слишком узко)  
 у них позади  
 (если не впереди) —

Сколько их выскочило из мчащегося времени  
 и в отдалении все жалостнее тает  
 (если стоит верить перспективе) —

Сколько  
 (если вопрос имеет смысл,  
 если можно прийти к окончательной сумме,  
 прежде чем ты добавишь себя самого)  
 уснуло глубочайшим сном  
 (если нет более глубокого) —

До свиданья.  
 До завтра.  
 До следующей встречи.  
 Этих слов они уже не хотят  
 (если не хотят) повторить.  
 Обречены на бесконечное  
 (если не иное) молчанье.  
 Заняты только тем  
 (если только тем),  
 к чему их принуждает отсутствие.

*Перевела с польского НАТАЛЬЯ АСТАФЬЕВА.*

---

**ЗБИГНЕВ ХЕРБЕРТ**

**\***

## **ДЕЛЬФИНЫ И МОРСКИЕ ЛЬВЫ ОЗНАЧАЮТ ДАЛЕКОЕ ПЛАВАНЬЕ**

**Колеблющаяся Нике**

Нике прекраснее всего в тот момент  
 когда колеблется  
 правая рука прекрасная как приказ  
 оперлась о воздух  
 но крылья дрожат

потому что Нике видит  
 одинокого юношу  
 бредущего длинной колеей  
 военной дороги  
 в серой пыли среди серого пейзажа  
 скал и редких кустов можжевельника

---

Збигнев Херберт (р. 1924, Львов) — польский поэт, эссеист, драматург. В годы войны участник Сопротивления, тогда же начал писать. В печати дебютировал в 1955-м, первая книга вышла в 1956-м. Автор восьми книг стихов, двух книг эссе, книги драм. Стихи его изданы в большинстве европейских стран и в США. По-русски публиковались в «Иностранной литературе» (1973, № 2; 1990, № 8) и в альманахе «Феникс» (1993, IV — V).

этот юноша вскоре погибнет  
 чаша весов на которой лежит его жребий  
 резко качнулась вниз  
 к земле

Нике страшно хотелось бы  
 подойти  
 и поцеловать его в лоб

но она боится  
 что юноша не успевший познать  
 сладость ласки  
 познавши ее  
 может быть побежит как другие  
 во время битвы

Нике поэтому колеблется  
 и решает в конце концов  
 остаться в позе  
 которой ее научили скульпторы  
 Нике стыдится минутного колебанья

ведь она понимает  
 что завтра на рассвете  
 должен лежать этот мальчик  
 с отверстой грудью  
 закрытыми глазами  
 и терпким оболочком отчизны  
 под коченеющим языком

### Домыслы на тему Вараввы

Что стало с Вараввой? Я спрашивал ничего не известно  
 Спущенный с цепи он вышел на белую улицу  
 мог повернуть направо пойти вперед свернуть влево  
 завертеться от радости или закукарекать  
 Он Император головы и рук  
 Наместник своего дыханья

Я спрашиваю поскольку в какой-то мере причастен  
 Привлеченный толпою перед дворцом Пилата  
 я кричал как другие отпусти Варавву Варавву  
 Кричали все если б я один и молчал  
 все равно бы стало в точности так как стало

А Варавва быть может вернулся в разбойничью шайку  
 Убивает мгновенно грабит до нитки  
 Или решил заняться гончарным делом  
 И руки замаранные преступленьем  
 очищает божественной глиной  
 Стал водоносом погонщиком мулов ростовщиком  
 корабельщиком —

на одном из его кораблей Павел плыл к коринфянам  
 или — этого тоже мы исключить не можем —  
 ценным шпионом на жалованье у римлян

Глядите и удивляйтесь игре судьбы  
 возможностям шансам улыбкам фортуны

А Назаретянин  
остался один  
без альтернативы  
с крутой  
дорожкой  
крови

### Курация Дионисия

Камень хорошо сохранился Надпись (на испорченной латыни)  
объясняет что Курация Дионисия сорока лет от роду  
за собственный счет поставила этот скромный памятник  
Одиноко она пирует Бокал застывший в руке  
Лицо без улыбки Чересчур тяжелые голуби  
Последние годы жизни она провела в Британии  
в стенах удерживавшей натиск варваров  
крепости от которой остались фундамент и подвалы

Занималась древнейшей профессией женщин  
Недолго но искренне жалели о ней солдаты Третьего Легиона  
и один пожилой офицер

Велела ваятелям подложить две подушки под локоть

Дельфины и морские львы означают далекое плаванье  
хоть ад находился в двух шагах отсюда

*Перевел с польского ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ.*



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ВИТАЛИЙ ШЕНТАЛИНСКИЙ

\*

## ВОСКРЕСШЕЕ СЛОВО

Главы из книги

*Мы публикуем фрагменты одноименной книги Виталия Шенталинского, посвященной судьбе русского слова в советское время, трагическим страницам истории нашей литературы. Изданная во французском переводе в Париже в 1993 году, книга имела широкий резонанс и попала в число бестселлеров. Дома же, в России, она из-за издательских трудностей до сих пор не выходила. Автор, основываясь на новых, бывших до последнего времени закрытыми и недоступными для общества материалах из архивов КГБ и Прокуратуры СССР, рассказывает о писателях, которые подверглись репрессиям либо так или иначе испытали на себе деформирующий гнет тоталитарной власти: Исааке Бабеле, Михаиле Булгакове, Павле Флоренском, Борисе Пильняке, Осипе Мандельштаме, Андрее Платонове, Николае Клюеве, Максиме Горьком...*

*В книге два пласта повествования. Один, авторский дневник, — наше время, события и люди эпохи горбачевской перестройки и ельцинской постперестройки. Это рассказ о том, как открывались секретные архивы, какая борьба велась вокруг них, о друзьях и врагах этого дела. Другой пласт повествования — прошлое, «черные дыры» истории, в которые заглянул автор. Это главы-досье, построенные на документах и включающие в себя отрывки из рукописей и писем, обнаруженных в спецхранах.*

*Вниманию читателей предлагаются фрагменты авторского дневника и глава-досье о Максиме Горьком.*

### «ХРАНИТЬ ВЕЧНО» ИЛИ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»?

Безумная идея

**Н**очь. Укромная подмосковная дача. В распахнутом окне колышется, перешептывается листьями, мерцает лепестками цветов сад. Где-то совсем близко защелкал соловей. Нимб из бабочек и мотыльков кружит над настольной лампой.

А голова разрывается от грохота дня, шума времени, и нет сил, чтобы успокоиться, прийти в себя, окунуться в вечное, как эти деревья и звезды.

Любимый герой моих детских лет, капитан Немо, разочаровавшись в людях, ушел в безвременье морей... Так уходят поэты — в безвременье, вернее, всевременно поэзии, — ценой утраты сегодняшнего благополучия, а иногда и самой жизни, уходят в другое измерение, где сегодня, вчера и завтра слиты воедино, где нет ни старого, ни нового, где торжествует вечность. Там теперь многие герои этой книги — писатели и мудрецы, аскеты и пожиратели жизни, победители и побежденные — жили вместе, а гибли поодиночке — рабы свободы, той невиданной в истории иллюзорной свободы, которая лишь провозглашена на одной шестой части земли в двадцатом веке...

А я еще не переболел своим временем, еще трясусь в его лихорадке, еще тшусь в меру своих сил повлиять на его ход тем оружием, которое у меня есть, — памятью и словом. Копьем слова и щитом памяти, как, может быть, сказал бы один из поэтов, канувших в вечность. Но я все еще здесь, сейчас, и

жанр моей книги другой. Это достоверный, документальный рассказ о судьбе русского слова. И о том, как однажды жизнь, оторвав меня от стихов, призвала к прямому социальному действию.

Как все началось? Как было? Вспоминаю. Передо мной ворох дневниковых записей, обрывки, которые я писал наспех, не думая об отделке и стиле, — подробно и постоянно записывать было некогда: события требовали поступков, а не рефлексии, разворачивались с головокружительной быстротой и захватывали без остатка. Они мне помогут, эти листочки. И может быть, теперь наконец я смогу, чуть отстранясь, увидеть по-настоящему и осознать ход и смысл событий, свидетелем и участником которых был.

В самый канун 1988 года я закончил свою новую книгу стихов «Зеленая религия». Поставил точку, разрешился от бремени — и оказался на распутье: внутри образовалась та сосущая пустота, провал, воронка, которая зарастает не сразу, а со временем, когда туда попадает семя нового замысла. Огляделся вокруг. Жизнь казалась непредсказуемой.

Непредсказуемостью дышала в тот момент вся страна — впервые с 1917 года... Стоячее социальное болото, в которое мы были погружены, всколыхнулось и вздыбилось. Вдруг до всех дошло, что так больше жить нельзя. Это поняли все. Но вот как надо жить — не знал никто.

Эйфория и переполох, страх и надежда — все перемешалось. Началось великое смятение умов, смута и разброд: одни возрадовались, другие испугались, очень многие по стародавней российской привычке поняли свободу как волю, произвол — делай что хочешь! — но большинство, по еще более сильной привычке, ждало инструкций, хозяйской команды сверху: ведь это так облегчает и упрощает жизнь, когда на каждом повороте тебя приветствует ласковый дедушка Ленин в уютной кепочке, с красным бантиком: верной дорогой идете, товарищи! Кто-то тянул назад, в прошлое, кого-то устраивало настоящее, а кто-то забегал вперед, торопя события. Страна затрещала по всем швам.

Казалось бы, особенно должна была возликовать интеллигенция, писатели, властители душ и умов. Вот теперь для них — самое время, золотой век! Ведь гласность, свобода слова — те роскошные блага, которых они никогда не знали, о которых мечтали, за которые сражались, — наконец есть. Твори!

Слово, литература в русской жизни всегда занимала особое, исключительное место. Еще Александр Герцен называл нашу литературу «вторым правительством», истинной властью. Литература всегда была в России не только искусством, но общественным парламентом за отсутствием такового в политике, гласом совести и правды. За слово у нас убивали — так высоко оно ценилось. И что же теперь — теперь, когда государственное давление на литературу исчезло?

Произошел парадокс — рожденные и выросшие в условиях несвободы, в духовном удушьи, советские писатели оказались в положении глубоководных рыб, страдающих... от избытка кислорода. Ведь совсем еще недавно даже самые элементарные общечеловеческие понятия были у нас под запретом. Помню, как редактор выкорчевывал в моей книге все, что в ней было связано с Богом и болью, то есть то, что наболело от пережитого и виденного вокруг, и как с точностью компьютера вылавливал и отбраковывал в моих стихах слова «душа», «хорал», «распятие», «молитва»...

— Это не пройдет. Цензура не пропустит...

Бог и боль... За десятилетия духовного оскотления у многих эти понятия были вытеснены не только из писаний, но и из самого сознания. Не стало внешнего цензора — остался внутренний, и победить его было куда трудней.

Горько признать: советский человек оказался не готов к встрече со свободой. Да, рабство внешне вроде бы пало, но рабство глубоко гнездились в каждом из нас, и с ним каждый должен был справиться сам. Даже великий Чехов,



по его признанию, всю жизнь по капле выдавливал из себя раба. А уж что говорить о гомо советикус — ему для такой операции и жизни мало!

В этом и состояла главная черновая работа демократии.

Как-то в январский денек уже наступившего 1988 года я заглянул в Дом литераторов. И столкнулся со своим старым знакомым, секретарем Московской писательской организации.

— Сколько лет, сколько зим! — хлопнул он по плечу. — Что-то тебя не видно. Хватит отсиживаться дома, видишь, какие времена? У нас на днях общее собрание. Без повестки, без президиума, впервые — гласно, открыто, начистоту. Поговорим о том, как жить дальше. Приноси свои идеи!..

Я шел по морозной московской улице и почесывал в затылке: неужели у меня нет идей?

Идеи были. Но не для них — не для их собраний и начальства, которое я всегда ощущал враждебным творчеству. И хоть и числился членом Союза писателей, но участие мое в нем было формальным и ограничивалось разве что Домом литераторов — его кафе, концертами и кино. Ибо политику и дела в Союзе писателей вершили литературные маршалы и генералы, лауреаты Ленинской и Государственной премий, члены ЦК КПСС, Герои соцтруда, функционеры и главные редакторы. Эта чиновная элита, тесно связанная с кремлевскими воротилами и КГБ, была, по существу, надсмотрщиком, проводником партийной идеологии. Что мне до них, просто человеку пишущему, литературному пролетарию, одинокому сочинителю, который хоть и публиковался иногда, но больше работал в стол, зная, что не напечатают, не примут. Пишу — и достаточно, во всем остальном предпочитаю вести частную, уединенную жизнь.

Но в тот январский день я заколебался. Идеи меня, как, думаю, и всякого человека, конечно, иногда посещали. И одна из них — давнишняя, сокровенная, до сей поры несбыточная...

Что нам теперь нужнее всего? — размышлял я, вышагивая по улице, обдуваемой снежной пылью. Прийти в сознание, очнуться от коммунистического обморока, вернуть себе память. Без прошлого нет будущего. А наше прошлое, история наша отняты у нас, уродливо искажены. Все это относится и к литературе. В той войне, какую советская власть вела со своим народом, писатель — одна из самых выбитых профессий. Сколько их, художников слова, погибло на советской голгофе?

Но у писателя свои счета со временем. Жизнь его не обрывается физической смертью. Писатель жив, пока его читают. И с этой точки зрения многие из здравствующих ныне литераторов — мертвецы, тогда как иные мертвые — живее живых. Людей, погибших от репрессий, не воскресить, но писателей — можно. Нужно только дать им слово. А слово их — рукописи, может быть, еще живы, замурованные где-то в секретных хранилищах, спрятанные в домашних архивах от гэбэшного сглаза, и ждут своего часа, зывают к нам.

«Хранить вечно» и «Совершенно секретно» — две такие надписи стоят на следственных делах репрессированных. Не пора ли зачеркнуть «совершенно секретно», а чтобы действительно «хранить вечно» — опубликовать, сделать общим достоянием, ведь только то, что становится достоянием гласности, и хранится вечно, спасается от забвения.

Ясно, что одному такого дела не поднять. В одиночку Лубянку не возьмешь. Придя домой, я настроил заявление:

«Общему собранию Московской писательской организации.

В газету «Московский литератор»

Уважаемые коллеги!

Вношу такое предложение.

За годы советской власти было арестовано около двух тысяч литераторов, около полутора тысяч из них погибли в тюрьмах и лагерях, так и не дождавшись свободы. Цифры эти, конечно, неполные, уточнить их пока невозможно.

«Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать...» (Ахматова). Обстоятельства и даты смерти этих писателей замалчиваются или фальсифицированы, биографии зияют провалами, в энциклопедиях и справочниках приводятся неверные данные.

И самое важное. Во время арестов писателей их рукописи и архивы обычно изымались и оседали в секретных хранилищах. Есть надежда, что какая-то часть уцелела. Попробуем спасти! Распечатаем черный ящик! Только теперь, в условиях развивающейся демократии и гласности, в пору, будем верить, не «оттепели», а настоящей весны, появилась такая возможность. Посмотрим, в конце концов, горят ли рукописи! Погибших не воскресить, но мы можем и должны компенсировать духовное ограбление народа.

Предлагаю создать при Союзе писателей специальную комиссию, которая займется этим святым делом. Состав комиссии должен быть избран демократическим путем — при общем обсуждении и голосовании.

5 января 1988 г.».

Отдав заявление в редакцию газеты, я завернул в кафе Дома литераторов и решил обкатать свою идею для начала среди братьев писателей. И получил такие советы.

В. Старина, ты что, камикадзе? Поверь, это безумие. На кого ты руку поднял? Они же тебя в порошок сотрут! Никогда, запомни, ни-ко-гда они в свои архивы не пустят. Там же — вся их агентура...

К. Здорово! Молодец! Я — с тобой! Представляю, какие там богатства, в этих архивах. Об этом же надо кричать на весь мир! Поднять общественность, печать!..

Н. Слушай внимательно. Никому ничего не говори. Это надо делать ти-и-ихо... Действуй максимально осторожно. Я дам тебе один телефончик ответственного работника из ЦК — позвони, посоветуйся. Только не выдавай меня, не говори, где ты взял этот номер. И еще. Заводи досье на каждого, с кем вступишь в контакт по этому делу. Собирай материалы, все, что узнаешь, пригодится.

О. Тебе что, делать нечего? С Лубянкой дело иметь — да не отмоешься потом! И сам писать перестанешь, и врагов наживешь. Ты думаешь, что такое Союз писателей? Филиал Лубянки. Здесь каждый второй — стукач... Не пачкайся. Пиши лучше стихи!.. Да и сожгли они все рукописи давным-давно. Нет там ничего!..

В газете мне объявили, что заявление мое печатать не будут — заблокировал партком. Нецелесообразно, преждевременно.

Спрашивается, при чем здесь партком? Я никогда не был членом партии. Ну да, понятно, к партии я не имею отношения, но она-то — руководящая и направляющая! — имеет отношение ко всем и ко всему. Началось! А чего ты, собственно, ожидал?

Пошел объясняться. Узнал, где он находится, партком. Оказывается, в том же Доме литераторов — вход прямо из ресторана. Так вот где гасят пену, которую взбивают за столиками осмелевшие от хмеля писатели!

Секретарь парткома Анатолий Николаевич Жуков был на месте — уставший, задерганный.

— У вас мое заявление?

— Да-да. Присаживайтесь.

Достал заявление, перечитал, вздохнул.

— Видите ли, в чем дело... Идея ваша хорошая, но ведь ее не поймут. Будут рассматривать как вызов. Мы ее, конечно, обсудим, но не на общем собрании, а на пленуме правления по издательским делам.

— Почему же на пленуме? — удивился я. — Дело это не только издательское, а более широкое. Речь идет о гражданской и творческой реабилитации многих сотен репрессированных писателей, о спасении их рукописей, открытии секретных архивов...

— Вы что, не доверяете пленуму?

— Не доверяю. Комиссию эту надо создавать всем, сообща, гласно, а не в узком кругу начальства. Что же получается? Рядовые писатели опять в стороне? Какая же тут гласность, демократия?

— Да вы не горячитесь, — успокаивает Жуков. — Я же не против, я — за. Надо только по-другому все это делать. Ну, выступите вы на собрании — и что? Только воздух сотрясете. Поверьте моему опыту...

И тут я сообразил, что Жуков, пожалуй, прав. Слишком серьезное дело я затеял, и надо было как следует его подготовить. А так — пошумят, проголосуют наспех — а дальше? Все равно без «решения партии и правительства» ничего не сделаешь. А навредить можешь — взбудоражишь Лубянку, и она ошетинится, примет предохранительные меры. Вырвется моя идея на Божий свет — и тут же ее подстрелят! Вот тебе и гласность! Не гласность, а гнусность.

— Ну уж если вы против пленума, — закончил Жуков, — то дайте нам подумать...

— И долго вы будете думать?

Парторг развел руками.

И пошла канитель!

Январь — думает партком; февраль, март — думает горком; апрель, май, июнь — думает ЦК... Чем выше — тем хуже соображают. Идею мою явно решили заволынить. Расчет ясен: устанет, остынет — и махнет рукой.

Жуков меня уже избегает, недовольно морщится, пожимает плечами: чего, мол, от меня хотите, я свое дело сделал, теперь все решают там (показывает в потолок). Наконец дает телефон — звоните. Звоню, объясняю все — в который уж раз! Удивляются: а при чем здесь мы? мы — комиссия цензурного ведомства по рассекречиванию уже изданной литературы, а не рукописей, вы обратились не по адресу...

Еще раз прокручиваю все с самого начала. И опять заводят не туда — на сей раз в Комиссию по реабилитации членов партии... Идут недели, месяцы, а я все вокруг да около.

В очередной раз настаиваю Жукова в его кабинете. Теперь уже горячится он:

— Не могу я столько этим заниматься! У меня дел по горло. Пусть парторгководство решает.

— Да ведь мы, мы должны решать, а не кто-то за нас, Анатолий Николаевич! Скажите честно: что мешает, кто против?

— Да никто, все — за.

— Тогда это саботаж. Как резиновая стена — вроде поддается, а чем больше напиралешь, тем с большей силой отбрасывает. Если партком устраняется, буду действовать по-своему...

— Напугали! Интересно, чего вы добьетесь без решения властей? Вы же в го-су-дарстве живете! — почти кричит выведенный из себя парторг. И после паузы: — Ну, хотите, при вас позвоню куратору Союза писателей в ЦК?

— Хочу.

Жуков набирает номер и после положенных приветствий:

— Тут опять ко мне Шенталинский пришел, с топором... Что ему сказать? — И сует мне трубку.

— Виталий Александрович, — слышу я бесстрастный голос, — ваше заявление передано одному из секретарей ЦК, члену Политбюро. Он сейчас в заграничной командировке. Подождите. Мы сами вам позвоним...

Дома я перелистал газеты: кто из сильных мира сего за кордоном? Ага, точно — секретарь ЦК, член Политбюро Александр Яковлев. Архитектор перестройки. Что-то будет?..

Через неделю мне позвонили:

— Ваше предложение рассмотрено. Хорошая идея! Надо развить, и дайте список репрессированных. Для начала небольшой...

Завертелось!

О дальнейших действиях Александра Яковлева я узнал потом, спустя много дней, в прокуратуре, из специальной папки, заведенной на нашу комиссию.

«Начальнику Управления по надзору за исполнением законов  
в органах государственной безопасности  
т. Андрееву В. И.

Прошу совместно с КГБ СССР рассмотреть просьбу Яковлева А. Н. о возврате рукописей лиц, репрессированных в годы культа личности, и о результатах мне доложите.

Генеральный прокурор СССР А. Сухарев.

25 июля 1988 г.».

В те дни меня пригласил к себе оргсекретарь Союза писателей СССР Юрий Верченко. В первый раз переступил я порог этого верховного литературного ведомства.

Старинный особняк на улице Воровского, описанный Львом Толстым в «Войне и мире» как дом Ростовых. За оградой, в скверике, восседает на постаменте сам Лев Николаевич. За тяжелой дверью над лестницей тебя приветствует голенькая нимфа, чудом уцелевшая еще с дворянских времен. А чуть дальше наш советский кич: иконостас на всю стену — портреты писателей — лауреатов, героев, секретарей, тех избранных, которые здесь заправляли и заправляют.

Юрий Николаевич Верченко — лицо в литературном мире известное. Ни для кого не секрет, что делами в «Большом Союзе», то есть в Союзе писателей СССР, заправляет именно он, Юр-Ник (так все его за глаза называют), полномочный представитель ЦК КПСС. Во всяком случае, с заботами своими писатели стараются попасть именно к нему. К первому секретарю правления Владимиру Васильевичу Карпову и проникнуть трудней, да и реже он на месте — занят творческой работой, пишет военные романы или заседает в правительстве.

Пройдет время, и я лучше узнаю этих людей. И увижу, что Верченко — действительно работага и в самом деле многим помогает, особенно в житейском плане: кому квартиру схлопочет, кому деньжонок подкинет, кому с поездкой за границу пособит. Но вот что касается идеологии, тут Юр-Ник — верный солдат партии. Если отклоняется вправо-влево, только вместе с ней!

Верченко выглядит больным: бледный, полный, он беспрерывно курит, время от времени переменяя сигарету таблеткой.

— Хорошая идея, — говорит мне Верченко. — Давайте создавать комиссию. Продумайте состав, программу работы, ну и все прочее — и будем начинать. Только почему вы в Московскую организацию обратились? От репрессий, дорогой мой, не только москвичи страдали — вся страна, все республики. Комиссия должна быть всесоюзной! Согласны?

Я был согласен.

Одним из первых идею комиссии поддержал Булат Окуджава. В его уютном, гостеприимном доме мы и собрались для совета. Пришли поэт Анатолий Жигулин, бывший узник Колымы, и Олег Васильевич Волков, патриарх нашей литературы, двадцать семь лет жизни проведенный в лагерях и ссылках. Позвонили прозаикам Камилу Икрамову и Юрию Давыдову, тоже имевшим печальный тюремный опыт, известному публицисту Юрию Карякину — и он, хоть и не был за решеткой, немало натерпелся от властей... Получилось нечто вроде инициативной группы. Тут разногласий не было — встретились единомышленники: дело нужное, важное, давно пора, поможем, чем сможем. Сомневались в одном: удастся ли пробиться в секретные архивы на Лубянку, возможен ли вообще диалог между писателями и теми, кто до сих пор только надзирал и преследовал?

Встала еще проблема. Блажен муж, не ходящий на совет нечестивых... Как соединить демократов по убеждениям, которые находились в оппозиции к официальной линии Союза писателей, и руководство его, правоверных коммунистов-функционеров, без которых, как стало ясно, тоже нельзя обойтись? Убедил мой друг, поэт Владимир Леонович:

— Пусть и нечестивые делают хорошие дела, это их шанс проявить себя с лучшей стороны...

Следующим шагом было связаться с писателями из Ленинграда, Сибири, других республик Союза — чтобы в комиссии была представлена вся страна. И тут дело сладилось, к нам присоединились Виктор Астафьев, Геворк Эмин, Чабуа Амиразджиби... Это уже была крепкая опора.

И вот я снова у Верченко. К моему удивлению, он был покладист и против нашего состава комиссии не возражал. Пытался, правда, всунуть туда несколько дутых фигур, «священных коров» от литературы, но я уперся. Удалось отбиться.

Пока мы все это обсуждали, дверь распахнулась — и в кабинет по-командирски вошел массивный, широкоплечий Карпов.

— Володя, как раз вовремя! — приветствовал его Верченко. — Тут мы вот что обсуждаем...

И, объяснив Карпову суть дела, вдруг, к удивлению моему, сказал:

— Володя, тебе надо быть председателем комиссии...

— Ну да! — отвечал тот. — А потом писатели опять будут сплетничать: гляди, Карпов себя председателем еще одной комиссии назначил. Нет уж, хватит!

— Володя, на каждый чих не наздравствуешься. Это ведь какая комиссия! — продолжал уговаривать Юр-Ник. — Ты же сам бывший зэк, тебе и карты в руки. А потом, ты же понимаешь, чтобы сдвинуть такое дело, нужен свой человек в правительстве, в ЦК, нужна — фигура! Мы без тебя не обойдемся! — И, повернувшись ко мне, Юр-Ник подмигнул: понял, мол, стратегию?

Я понял.

В начале декабря в газетах появилось сообщение:

«В секретариате правления СП СССР.

### СДЕЛАТЬ ДОСТОЯНИЕМ НАРОДА

...Секретариат правления СП СССР постановил утвердить Всесоюзную комиссию по литературному наследию репрессированных и погибших писателей (председатель — В. В. Карпов, заместители председателя — А. В. Жигулин, В. А. Шенталинский)...

Необходимо сосредоточить усилия комиссии на поиске, профессиональном анализе и публикации рукописей, документов, писем, воспоминаний, популяризации творчества репрессированных и погибших писателей средствами массовой информации... Предпринять необходимые меры по увековечению их памяти, восстановлению объективности в отношении каждого писателя; готовить необходимые материалы для посмертной реабилитации.

Секретариат правления СП СССР обращается к советским людям и зарубежной общественности с просьбой направлять рукописи, письма, воспоминания, документы, фотографии — все, связанное с жизнью и творчеством безвинно пострадавших писателей, по адресу...»

На пробивание безумной идеи ушел целый год. Теперь она обрела законный статус в пределах СССР. Мог ли я думать, что пройдет совсем немного времени — и СССР исчезнет, а вместе с ним испарится Союз советских писателей?.. Идея выживет...

Надвигался новый, 1989 год. Буря политических страстей в стране нарастала. Стремительно, на глазах руша привычную систему жизни, к нам врвалось будущее — неведомое, путающее, неотвратимое. И все же мы пили шампанское в новогоднюю ночь с надеждой: вот и дождалась перемен, и что бы ни случилось впереди, хуже того, что было, — быть не может!

### Антитройка

Бабель  
Веселый  
Воронский

Гумилев  
 Катаев  
 Клюев  
 Кольцов  
 Мандельштам  
 Пильняк  
 Приблудный  
 Святополк-Мирский  
 Флоренский  
 Чайнов

Этот трагический список — первые тринадцать имен из мартиролога нашей литературы — я послал в ЦК вслед за попавшим туда моим заявлением. И пока мы создавали комиссию, он тем временем где-то прокручивался своим ходом по скрытым партийным и государственным каналам. В январе Александр Яковлев получил от прокуратуры такое письмо (о нем я опять же узнал позднее, все из того же прокурорского досье на комиссию):

«Секретно  
 Секретарю ЦК КПСС  
 товарищу Яковлеву А. Н.

Уважаемый Александр Николаевич!

Во исполнение Вашего поручения о розыске и возвращении в литературный оборот рукописей и писем ряда писателей, репрессированных в 30-е годы, Прокуратурой Союза ССР совместно с КГБ СССР проведена работа по розыску и изучению соответствующих архивных материалов.

Проверкой установлено, что указанные в представленном списке писатели были действительно незаконно осуждены в 30-е годы. Согласно имеющимся документам, изъятая при аресте Кольцова (Фридлянда) Михаила Ефимовича переписка с писателем И. Г. Эренбургом и другие материалы были направлены 21 января 1965 года в Институт мировой литературы имени А. М. Горького для постоянного хранения.

При арестах Воронского А. К. и Овчаренко Я. П. (Ивана Приблудного) рукописи не изымались.

Что касается личных записей, рукописей и писем Бабеля И. Э., Кочурова Н. И. (Артема Веселого), Катаева И. И., Святополка-Мирского Д. П., Чайнова А. В. и Пильняка (Вогау) Б. А., изымавшихся при их аресте, то установить их судьбу в результате тщательных поисков и дополнительной проверки, осуществленной КГБ СССР, не представилось возможным.

Генеральный прокурор СССР А. Сухарев».

Позвонивший мне по телефону помощник генерального прокурора Лаптев сообщил:

— Мы работу закончили. Рукописи, к сожалению, обнаружить не удалось...

Прокуроры и гэбисты, видимо, решили обойтись без нас. Закончили, чтобы не начинать. Почему мы должны им верить, если до сих пор они только и делали, что обманывали нас? Я ни минуты не сомневался, что это просто отговорка, желание поскорее отделаться от надоедливых литераторов. Ведь мы не заглянули еще ни в одно секретное досье, не узнали ничего об обстоятельствах последних лет и дней жизни репрессированных: за что они были арестованы, как выдержали следствие, что сказали в своем последнем слове на суде, как и когда погибли. Некоторые из них даже не реабилитированы и до сих пор числятся государственными преступниками. Да и в полное исчезновение рукописей не верилось — они могли оставаться в делах хотя бы как улики, вещественные доказательства «преступлений».

Я атаковал Карпова:

— Это надувательство, нас просто водят за нос. Мы сами должны познаться с делами. Иначе люди скажут: ваша комиссия — только ширма для того, чтобы закрыть, а не открыть архивы. И будут правы!

Поворчав и поохав, Карпов забрался в свой черный лимузин, и мы пока-тили в прокуратуру.

Печально знаменитый дом на Пушкинской улице, наводящий страх на советских людей, встречал нас любезно: пригласили в кабинет Андреева, начальника управления, надзирающего за законностью в органах безопасности, предложили чай, — но, стоило заговорить о деле, начали недоумевать:

— Но работа уже проведена...

Я снова выложил свои аргументы. Андреев насмешливо оглядел меня и сказал, обращаясь к Карпову:

— Владимир Васильевич, я не понимаю... Если писатели ищут сюжеты, то у нас их сколько угодно. И каких! Вот, например, мы недавно разыскали в Бразилии одного полицая, фашистского палача, который во время войны расстреливал наших партизан. Чем не тема?.. Или еще. Есть сенсационные материалы о замечательном герое-подводнике Маринеско — вы о нем, кажется, писали когда-то, Владимир Васильевич? Фантастическая судьба!

И они заговорили о Маринеско. Продолжалось это довольно долго, Андреев уже начал поглядывать на часы: дескать, с вами хорошо, но пора и честь знать. Вот сейчас пожмет руку — и поминай как звали...

— Давайте все же вернемся к нашим делам, — встрял я. — Когда мы сможем начать работу?

Наступило неловкое молчание.

— А как вы ее себе представляете? — глядя в сторону, сказал Андреев.

— Думаю, надо создать рабочую группу, включить туда сотрудника прокуратуры, сотрудника КГБ и кого-то от нашей комиссии, от писателей. И начнем изучать одно за другим досье репрессированных... Все, что имеет историческую и литературную ценность, будем публиковать. Это и есть творческая реабилитация. А если человек не реабилитирован и юридически, — это уже ваша забота, ваша епархия...

— Как вы сказали? — спросил Андреев. — Группа из трех человек? Это что, снова тройка?

— Антитройка! — выпалил я. — Тройки расстреливали без суда и следствия, творили произвол и расправу, а антитройка будет делать как раз обратное — возвращать истину и справедливость...

Все развеселились.

— Есть еще одно отличие, — сказал Карпов. — В тройку входил, кроме прокурора и чекиста, представитель партруководства, а в антитройку вместо него — писатель...

— Так и должно быть! — Я чувствовал, что сейчас все решится, и продолжал напирать: — Да, представитель общественности, а коль речь идет о литературе, то писатель. — И еще добавил демагогии: — На то она и перестройка!

— И кого же вы предлагаете в состав этой группы от писателей? — опять спросил Андреев.

— А вот Шенталинский пусть и работает, — засмеялся, показывая на меня, Карпов. — Любая инициатива должна быть наказуема.

— Подготовьте официальное письмо, и мы его рассмотрим, — подытожил Андреев.

Всю обратную дорогу Карпов иронизировал надо мной:

— Раз сообразил на троих, сам и расхлебывай... — А потом пообещал: — Ну ничего, я тоже внесу свой вклад. Поговорю там, в высоких сферах... Не одному же тебе, мблодцу, сражаться...

И он, как видно, вошел в азарт.

А вот молодцом я себя не чувствовал, скорее наоборот. На душе было поганю.

Сколько можно доказывать очевидное? — разговаривал я сам с собой. Почему это заботит их меньше, чем меня? Ведь эти м они давно должны

были заняться, и не из энтузиазма — по обязанности, по долгу службы! А ведь все только начинается, и мы еще ни разу не переступили порога Лубянки, не встретились ни с кем из ее обитателей... Нет, я вовсе не хотел быть смельчаком и застрельщиком! Почему надо просить, обивать пороги, искать опоры в каких-то «высоких сферах»? Как это, в сущности, унижительно!

Все верно, все так, говорил другой голос. Но чего ты ждал? Ты вошел в контакт с государством! Таковы уж правила игры. Не хочешь — не принимай, уходи со сцены, возвращайся в свое тихое одиночество, в свое подполье... А если уж взялся — не ропщи, терпи. Считай, что это тоже часть твоего дела, может быть, самая неприятная... И потом, вспомни о тех, за кого ты хлопчешь. Что такое все твои передрыги рядом с тем, что выпало им?..

И вот уже мы принимаем гостей.

То ли нажим на прокуратуру помог, то ли опять Александр Яковлев, то ли другой член Политбюро, бывший председатель КГБ Чебриков, с которым, как мне доверительно поведал Карпов, у него была беседа где-то на даче или в санатории, — так или иначе, но в Союз писателей пожаловали с Лубянки двое, подтянутых, молодцеватых, веселых: генерал Струнин, руководитель пресс-бюро КГБ, и полковник Краюшкин из Архивного управления.

Расположились в просторном кабинете Карпова, украшенном портретами основоположников соцреализма, коврами с изображениями народных акынов, помпезными подарками и сувенирами уходящей эпохи.

Как полагается, для начала — шутки-прибаутки, увертюра на отвлеченную тему. Хозяин кабинета рассказывает, что вот здесь, за этим столом, пересидели все столпы нашей словесности: Горький, Фадеев, Федин... А уж сколько народу прошло через эту дверь — считай, вся наша литература. Но знаете, чей это был кабинет еще раньше, при Владимире Ильиче?.. Самого отца народов, Сосо Джугашвили. Да-да, здесь размещался когда-то Наркомнац — Народный комиссариат по делам национальностей — и возглавлял его Сталин...

Наконец переходим к делу.

— Вот Анатолий Афанасьевич Краюшкин — тот человек, который вам нужен, — говорит Струнин. — Он займется этой работой. Считайте, что вам повезло.

— Мы в своем архиве уже провели разведку, — вступает Краюшкин. — Кое-что нашли и передали в Главное архивное управление. Можете с этими материалами ознакомиться. — И, выдержав паузу, огорошивает: — Обнаружены дневник Михаила Булгакова, например, эссе Андрея Белого, записки историка Тарле, актера Олега Даля... — И скромно умолкает.

Немая сцена.

— Ни Булгаков, ни Белый не были репрессированы — как попали на Лубянку их бумаги?

— Случалось... Разными путями, не будем вдаваться... Важно, что они сохранились.

— Да, важно, что сохранились, эти материалы уже спасены. Конечно, познакомимся, будем готовить публикацию. Но что с нашим списком, с досье репрессированных?

— Тут сложнее, — говорит Краюшкин. — На следственных делах стоит гриф «Секретно» или «Совершенно секретно». Показывать их частным лицам мы не имеем права — закон!

— Какие же мы частные лица? Мы официальная общественная комиссия, организация! Что же теперь делать?

— Вам — ничего, нам — лишняя работа. Подумаем, будем искать выход. Посмотрим сначала сами, что там есть, в этих делах, — это ведь когда было, несколько поколений сотрудников у нас сменилось с той страшной поры. Между прочим, тоже жертв было немало — репрессии и чекистов не обошли... Ваш список — вот он, передо мной. С кого начнем? По алфавиту — с Бабеля? Не возражаете? Запишите телефон...



## Против закона

Казалось, теперь дело сдвинулось. Мы получили копию интереснейшего дневника Михаила Булгакова, готовили его к публикации. Но эйфория от встречи с гэбистами постепенно улетучилась.

Я регулярно звонил на Лубянку.

— Перезвоните через месяц...

— Мы изучаем дело. Поймите, это процесс, у нас много работы...

— Вы нас, пожалуйста, не торопите...

— Краюшкин в командировке...

— Краюшкин в отпуске...

Шли месяцы. Комиссия работала. После сообщения о ее создании к нам хлынула лавина писем, бандеролей, люди присылали, приносили стихи, прозу, воспоминания, документы, фотографии и рисунки, приезжали из других городов, чтобы отдать то, что они писали и прятали годами и десятилетиями под угрозой обысков и арестов. Тут было свое и чужое, переданное кем-то на хранение, случайно уцелевшее, известных, малоизвестных и вовсе неизвестных авторов. Один старик привез из Сибири свой тюремный дневник — почти он не доверял, ночевал на вокзале (жить в Москве ему было негде), а наутро явился в комиссию и вручил свои тетради:

— Вот возьмите, напечатайте! Теперь, я верю, пришло время...

Нас услышали! Услышали и те, кто увидел в нас своих врагов, кто или сам принимал участие в репрессиях, или оправдывал их. Анна Андреевна Ахматова еще в годы первой оттепели сказала: «Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили». Они, эти две России, смотрели в глаза друг другу, и сейчас, быть может, еще решительней и непримиримей, чем прежде.

Палачи и стукачи преспокойно разгуливали среди нас и, в отличие от своих жертв обеспеченные долголетием и здоровьем (власть их всегда подкармливала), пережидали перестройку в своих благополучных квартирах и на дачах с надеждой на ее скорый конец.

Были такие и среди писателей. Ясно, чего они боялись: в случае открытия лубянских архивов их имена всплывут — и плодотворная работа в жанре доноса получит массового читателя. Но больше было таких, кто не принимал нашей инициативы просто по убеждениям, — твердокаменных, неизлечимых сталинистов.

В январе и марте мы провели заседания комиссии, на которые приехали люди со всей страны. Это были бурные, горячие обсуждения. Оказалось, повсюду от Балтики до Тихого океана есть энтузиасты, бережно собирающие и хранящие память о самом трагическом периоде истории нашей литературы.

Архив комиссии неудержимо рос и требовал выхода к читателю.

Репрессированное, Потаенное Слово. Передо мной, как говорил великий Ломоносов, «открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна...». Я понял, что историю нашей словесности надо писать заново, что мы еще не знаем ее и что известное нам — лишь наружная, внешняя часть того айсберга, который зовется советской литературой.

Тем временем третий член антитройки, кроме Краюшкина и меня, прокурор Александр Валуйский уже включился в работу: сообщил о реабилитации ученого и писателя Александра Чаянова и поэта Осипа Мандельштама; разыскивал по своей линии материалы, касающиеся судьбы Бабея.

А в КГБ все то же. Глухая стена. Я гадал: они, наверно, проверяют меня, прежде чем допустить в архивы, — но сколько же это будет продолжаться, да и какой компромат они могут найти? Дело скорее в другом: политическая ситуация в стране резко менялась, наступление демократии приостановилось, консерваторы брали реванш. Горбачев метался между теми и другими, пытаясь сохранить равновесие, соединить несовместимое, — исход был не предрешен. И все колебания стрелки политического барометра отражались на ходе наше-

го дела: если перестройка захлебнется — не видать нам лубянских архивов как своих ушей! Но ведь нельзя же ждать до бесконечности!

И в один из разговоров с Краюшкиным, доведенный до точки кипения, я не выдержал:

— Анатолий Афанасьевич, поймите в конце концов: мы просим отдать то, что вам не принадлежит, то, что ваши предшественники украли у народа!

Тут не выдержал Краюшкин:

— Ну знаете, если вы так с нами будете разговаривать, о какой совместной работе может идти речь? — И бросил трубку.

И снова — провал. Такое чувство, что ты залез в лабиринт — и вот остановился и уже не знаешь пути ни вперед, ни назад...

Я составил письмо от Союза писателей председателю КГБ Крючкову — он в это время в своих многочисленных интервью распинался о гласности. В письме говорилось, что по непонятным причинам сотрудники КГБ не идут навстречу просьбам и требованиям писателей и не хотят сесть с нами за один рабочий стол, что комиссия Союза писателей — профессиональный орган, через который архивные материалы могут быть переданы общественности без опасности каких-либо искажений и провокаций... Мы не видим никаких убедительных мотивов для дальнейшего оттягивания столь важного для литературы и общества дела...

Карпов подписать письмо отказался: это демарш, лучше позвонить.

— Звоните сейчас!

После долгих препирательств он все-таки набрал номер по «вертушке» — особой прямой связи, соединяющей его кабинет с верховной властью, включая и КГБ. К телефону подошел заместитель Крюčkова Пирожков, разговор произошел, но тон Владимира Васильевича при этом был такой, что я понял: ждать нечего.

Летом мы с Володей Леоновичем поехали на Соловки — острова в Белом море, на которых размещался первый советский концлагерь, — и там, где начинался ГУЛАГ, решили, что надо опубликовать протест: работу комиссии саботируют, КГБ перекрыл нам кислород!

— Ни в коем случае! Таким насकोком Лубянку не напугаешь, а спугнешь и все испортишь, — обдал меня холодным душем Юрий Карякин, второй, с кем я обсуждал это заявление. — Продолжайте действовать как раньше: давите... А я со своей стороны могу подключиться как народный депутат, поднять этот вопрос на съезде.

Он был, конечно, прав: Лубянка, как раковина, приоткрылась, но одно неосторожное движение — и захлопнется вновь, да еще и руку отхватит. Спасибо Карякину! Вовремя меня остановил.

Вскоре после этого разговора — уже шел август — раздался звонок Краюшкина:

— Приезжайте. Материалы готовы.

Лубянка — крепость в центре Москвы, гибрид сросшихся друг с другом многоэтажных тяжелых зданий, подкованных гранитом, соединенных надземными и подземными коридорами, увитых лестницами и антеннами, облепленных, как жуками, черными машинами. А перед ней, посреди площади, срывающейся вниз к театрам и гостиницам, Манежу и университету, — памятник Дзержинскому. Воткнут в небо, прямой как штык — Железный Феликс в шнели до пят, зорко озирающий с высоты гудящую столицу.

До сих пор я, как и большинство моих сверстников, видел лубянскую гидру только снаружи, обходил стороной, но все равно она втягивала в свое поле, действовала на нервы, гипнотизировала. Каждый гражданин нашей необъятной державы знал, что он живет под прицелом Лубянки, что в любую минуту в его жизнь может вмешаться Лубянка и сделает с ним, что захочет, а защиты от Лубянки нет.

До революции на площади размещалось страховое общество «Россия». После революции здесь поселился «госстрах», «госужас»: пулеметной очередью прострочило нашу историю — ЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ — КГБ... И ни

один человек из двухсот с лишним миллионов не уберется, не остался в стороне, все так или иначе пострадали, и если не гибли физически, то жили с изувеченной совестью, контуженным сердцем, деформированным сознанием — никто не был вполне свободным, полноценным человеком.

Массивные тройные двери впускают с шумной, душиной площади в просторный прохладный вестибюль. Пристальные прапорщики проверяют пропуск, внимательно изучают паспорт. Широценная лестница и над ней — белый бюст Андропова. Бесконечный коридор с высоким потолком — можно кататься на велосипеде или скакать на коне; по сторонам вереница дверей. Тихо, даже пустынно. Судя по всему, антураж за многие годы мало изменился, все как тогда...

Небольшой кабинетик на третьем этаже. Белые шторы скрывают улицу. На столе — пухлая желтоватая папка. Краюшкин улыбается:

— Кажется, вы первый писатель, который пришел сюда добровольно.

Улыбаюсь в ответ: та же мысль крутилась только что и в моей голове.

Он вручает мне фотографию и несколько машинописных страничек.

— Это снимок Бабеля из следственного дела и суть самого дела.

Листаю. Скучная выжимка из материалов следствия, в основном общеизвестные факты, биографические данные...

— Но я могу поработать с самим делом? Хотя бы несколько часов?

— Нет.

— Это что, государственная тайна?

— Да нет, тайны здесь нет никакой, как и в большинстве других подобных дел. Но есть секреты, сугубо ведомственные, которые наше руководство не считает нужным разглашать.

— Что именно?

— Ну, номер следственного дела, например, фамилии следователей, агентурные донесения... Мало ли что.

— Зачем же это теперь скрывать?

— Видите этот гриф? — начинает заводится Краюшкин. — «Совершенно секретно»! Пусть Верховный Совет, правительство пересмотрят правила, развяжут нам руки. Вы что, предлагаете нам нарушить закон, толкаете на преступление?

— Но я же не смогу сказать, что держал в руках дело Бабеля!

Он опять улыбается и протягивает мне папку:

— А вы подержите...

В прокуратуре мне повезло больше. Валуйский разыскал «Надзорное производство № 3904-39» на Бабеля — такие досье заводили на осужденных органы прокуратуры. Прежде чем показать его — там тоже красовался гриф «Секретно», — Валуйский спросил:

— А на Лубянку вас пустили?

— Да, — отвечаю, а сам думаю: пустили, но не допустили.

— И дело Бабеля видели?

— Видел, — уверенно отвечаю я, ничуть не кривя душой.

Я погрузился в содержимое прокурорской папки. Оно оказалось куда интересней тех листочков, которые я получил в КГБ: здесь, во-первых, находились копии некоторых документов из следственного дела № 419 на Бабеля и самое интересное — его рукой написанные заявления в прокуратуру перед самой гибелью.

Вскоре эти материалы появились в «Огоньке», ими открывалась новая постоянная рубрика «Хранить вечно». И там я дал все: и номер дела, и имена следователей-палачей, и донесения сексотов.

Реакцию Лубянки на эту первую публикацию я ждал с тревогой: что скажут там, увидев в журнале то, что скрывали? И реакция не заставила себя долго ждать.

Краюшкин был мрачен:

— Где вы взяли материалы, в прокуратуре? Ну, я так и понял... С вами хотят поговорить в нашей пресс-группе. Заходите потом ко мне.

В кабинете Струнина сидели несколько незнакомых мне людей.

— Мы не против того, чтобы открывать архивы, — сказал один из них, — но давайте договоримся: есть вещи, которые не имеют отношения к литературе, а целиком относятся к нашей компетенции. Вот вы начали знакомиться с делами. Вам встретятся агентурные донесения — ни к чему их публиковать, а если уж цитируете, скажите просто: «НКВД стало известно», откуда — не важно... Зачем вам осведомители?

«Народ должен знать своих стукачей», — вспомнил я чью-то фразу, а вслух сказал:

— Что вы так за них переживаете? Это уже история полувековой давности. Значит, снова цензура, полуправда?

— Ну зачем же так?.. Но, дорогой Виталий Александрович, Павлика Морозова мы вам не отдадим.

— Павлик Морозов — уже не герой нашего времени.

— Но классовой борьбы никто еще не отменял!

— В том-то и дело, что отменили. И в этом главная заслуга Горбачева, самое важное, что он сделал, — провозгласил приоритет общечеловеческих ценностей над классовыми! Как-то не все это еще заметили...

Мои собеседники замолчали. Говорить сразу стало не о чем.

— Все же мы полагаемся на вашу корректность, осмотрительность, — сказали мне на прощание. — Вы же нам не будете показывать, что напишете?

— Почему же? Когда будет напечатано, с удовольствием подарю, а как же иначе, — развел я руками.

Я понял, что публикацию мою они проглотили, смирились, профилактическую работу все же решили провести.

Законы устарели, стали анахронизмом, но продолжают сковывать жизнь. Разумные люди в КГБ это понимают, а как люди в погонах — должны подчиниться, не могут обойти закон. Когда же это делается чужими руками — могут умыть свои.

Дело Бабея опять было на столе. И я наконец открыл его.

— Куда мне вас посадить? — спросил Краюшкин.

Мы, переглянувшись, захохотали...

Когда я добрался до последней страницы, то увидел на задней обложке приклеенный пакет с надписью: «Собственноручные показания Бабея». Пакет был пуст.

Немало времени потребовалось, чтобы добиться возвращения этих бумаг на место. И вот теперь я мог сказать правду о последних днях жизни Исаака Бабея.

## НАСЛЕДНИКИ ЖЕЛЕЗНОГО ФЕЛИКСА

### «Куда вас посадить?..»

Сижу на Лубянке. Добровольно. И еще благодарю за это. Вот времена!

Иду туда не спеша, замедляя шаг, — словно набираю воздух перед глубоким погружением. Гремит вокруг, содрогается, колотится об асфальт людская и машинная толчея. Мутная будничная волна. Суетливые, невеселые лица. Площади обратились в барахолку — торгуют все и всем, от мала до велика, от жратвы до шмоток, от водки до колготок, только что купленным в магазине и ворованным, а то и припрятанным про запас, на черный день, — вот он, этот черный день, настал! Умер социализм — ура! — родится капитализм — караул! — стремительно, на глазах, в гримасах и корчах.

Ныряю в метро — всплываю наружу. Буравлю толпу на Кузнецком мосту, — впереди, закрывая полнеба, вырастают граниты Лубянки. Прокручиваюсь через тройные тяжелые двери. Молоденький солдатик сверяет фамилию с пропуском, фотографию с лицом. Проходите!

Поднимаюсь на третий этаж к сотрудникам архива, точнее, отдела регистрации и хранения архивных фондов, как это здесь называется. В кабинете

двое, чинов их не знаю, ни разу не видел в погонах. А вот натуры проявились.

Игорь Петрович — худенький, быстрый, ему всегда некогда, завален делами, говорит мало, но любезно, вполголоса, смотрит прямо в глаза. Аккуратен, педантичен, но делает только от и до — что прикажут, в спорных и трудных случаях отмахивается: «Пусть начальство решает, я человек маленький...»

Полная противоположность ему — Вадим Михайлович, сидящий напротив, с мощной фигурой и выпирающим брюшком. Крут, шумен и безапелляционен, этот никуда не спешит, все делает небрежно, как нечто его недостойное, папки не кладет, а швыряет: «Вот и дыши тут этой пылью!»

Если с Игорем Петровичем работать все-таки можно, то от его коллеги веет неприязнью, необъяснимой враждебностью. Он вообще терпеть не может пишущую братию, журналистов и писателей — эту «прессу», произносит он презрительно, — видит в ней чуть ли не главную причину нынешних общественных бед. Как-то я вступил с ним в спор на этот счет, с тех пор он на всякий вопрос, недослушав, демонстративно отрезает: «Не знаю! Ничего не знаю!»

Сегодня Вадим Михайлович со мной даже не здоровается, глядит в сторону. В комнате висит гроза.

— Из Ленинграда вам опять делá не прислали. Говорят, бумаги на упаковку нет, — разводит руками Игорь Петрович.

Что за ерунда! Явная отговорка. Вечно он приbedняется, жалуется на трудности работы. Копию сделать — ксерокс сломан; темновато в комнате — лампочек не выдают, дефицит. Теперь вот не во что обернуть посылку... Не знаешь, верить или нет.

— Ну что ж, пока в Ленинграде ищут бумагу, займемся другими делами? — предлагаю я.

— Вы мешаєте работать! — подает голос Вадим Михайлович. И уже тоном приказа, начальственно: — Найдите другое помещение!

Так. Не поддаваться на провокацию. Мимо, мимо.

— Игорь Петрович, где я буду работать?

— Вы же знаете, как у нас трудно с этим делом, — вздыхает тот. — Уж и не знаю, куда вас посадить...

«Куда вас посадить?...» — этот вечный их вопрос, обращенный ко мне, элементарный, бытовой, но всякий раз срабатывает его второй смысл, дает о себе знать неизжитый комплекс советского человека, контуженного Лубянкой.

Снова встречает неугомонный Вадим Михайлович. Глядя, как его коллега достает из сейфа папки для меня, бросает:

— Ты давай им, давай, а они потом за фамилии наших агентов гонорар получат!..

И тут я срываюсь. Предохранитель соскакивает.

— Что за хамство! — ору. — Пока такие, как вы, здесь работаете, Лубянка останется Лубянкой! И все ее будут ненавидеть! Станьте же человеком — постарайтесь хоть что-то понять!..

Вадим Михайлович багровеет и молча выходит, хлопнув дверью.

Потом, уже в бесконечном лубянском коридоре, Игорь Петрович успокаивает:

— Вы его извините, что-то он психует последнее время...

— Раненый зверь опаснее, — отвечаю, а про себя думаю: ведь и я психую. Как глупо все получилось! Как ненужно!

И пакостно на душе.

Так началось еще одно мое утро на Лубянке. Посадили все-таки меня и на этот раз, нашли куда...

Окно — во двор, заваленный какими-то контейнерами и ящиками. Многоэтажный колодец совсем скрывает небо, откуда долетают, перепархивая вниз-вверх, одинокие снежинки. Таким, наверное, и видели мир узники здешней тюрьмы.

Должно быть, похолодало. А здесь душно, стоячий воздух.

Обычный для Лубянки кабинет. Письменный стол, рядом — другой, с телефонами, некоторые с гербами. Особая связь? Шкаф, вешалка, большой металлический сейф в углу. Есть и экзотика: на мраморном подоконнике — обвисшее деревце лимона. Для «оживляжа», для веселости души.

Тишина. Тикают часы. Хозяин, видно, совсем недавно покинул кабинет. Кто он? Снят с работы за участие в августовском путче? Или, наоборот, получил повышение? Болен? На задании? Меня предупредили:

— Ничего здесь не трогайте...

На стене — большая карта Москвы и памятный лист в рамке: «Работа чекистов тяжелая, неблагодарная в личном отношении, очень ответственная и важная в государственном... Чекист только тогда может быть борцом за дело пролетарское, когда он чувствует на каждом шагу себе поддержку со стороны партии и ответственных перед партией руководителей...»

Бедняги! Нет уже у них теперь ни поддержки, ни партии. Нет хозяина! Приказал долго жить!

«Слабые на искушения товарищи не должны работать в ЧК.

Каждый сотрудник должен помнить, что он призван охранять советский революционный порядок и не допускать нарушения его... Успех работы наших органов определяется следующими чертами: верность делу ленинизма, беззаветная преданность наших работников делу трудящихся, сплоченность чекистской семьи, стальная дисциплина наших рядов».

Феликс Дзержинский...

Ну что ж, Феликс Эдмундович, вы и поможете переключиться в другое время, которое ждет меня на столе в распахнутой папке. Там — то, что вы и ваши наследники, «горячие сердца, холодные головы и чистые руки», творили семьдесят лет во имя революционного порядка. Тогда, при вас, великая русская революция в муках и крови утвердилась, теперь, при нас, тоже в крови и муках — умирает.

Тишина. Тикают часы.

В середине дня, направляясь в столовую, я вдруг оказываюсь с Вадимом Михайловичем в лифте. Наедине. Летим вниз, не глядя друг на друга. И я ловлю себя на мысли, что уже совсем не злюсь на этого человека.

Что же так его коржит, бесит? Кто я для него? Гнилая интеллигенция, бумагомарак. И прихожу сюда с прямо противоположной целью, чем такие, как Вадим Михайлович, — открыть то, что они старательно прячут. И ничего не поделаешь, не выгонишь.

В сущности, их можно понять. И даже пожалеть. То, что произошло с этими людьми при перестройке, — тягчайшая психологическая драма, а для многих — полное крушение судьбы. Воспитанные партией и КГБ, эти «бойцы невидимого фронта» привыкли к своей особой роли — смотреть с Лубянки на Москву, да и на всю страну, зорким оком, как на зону с охранной вышки, привыкли сознавать свою значительность уже по одной принадлежности к грозному учреждению. Нельзя жить, не уважая себя, не уважая своего дела. Но как уважать дело Лубянки, если его проклял весь народ, если слово «чекист» стало ругательством? А он, Вадим Михайлович, всю жизнь этому делу служил, всю жизнь этим делом гордился! Значит, надо или проклясть себя прежнего, или проклясть всех!

Может, он вовсе и не меня ненавидит, а то, что с ним сделали, свою собственную невезуху? Каково ему и его сослуживцам было смотреть, когда разъяренная толпа стаскивала с постамента их идола — Железного Феликса, чертила свастику на мемориальной доске Андропова и пыталась штурмовать их гранитную цитадель с криками: «Долой КГБ! Фа-ши-сты!..»

Вопрос в том, что будет, если все вернется, если Лубянка обретет прежнюю мощь? И поверженный Феликс снова займет свое командное место на постаменте в центре Москвы? Ведь внутри Лубянки он еще жив. И может выскочить! Будут ли обитатели Лубянки служить прежнему хозяину? Кто-то, наверное, уже не сможет. А вот такие, как Вадим Михайлович, пригодятся...

### Главный секрет Лубянки

Столовая на Лубянке ужасна. Это все старые сказки, что здесь перекармливают и задешево. Обыкновенная советская столовка. Дорого и плохо. Здоровые мужики, стоя в очереди, ломают голову, что взять, чтобы и желудок был полон, и кошелек не пуст. Какое-то сплошное томление. И обслуга как везде — сумрачная, неприветливая. Но как вспомнишь, что эта столовая — на месте бывшей внутренней тюрьмы, сразу все эти мелкие мыслишки из головы прочь. Сразу наша жизнь хорошеет.

Что-то я там ем, уже как бы усмиренный, подобревший. Но — везет сегодня на общество. Подсаживается такой рыжий, вертлявый и подмигивает для начала. Пожевали вместе. Тут он делает, как говорят на Кавказе, движение на сближение:

— Извините, можно спросить? А вы не художник?

— Что-то вроде этого. Пишу я. Литератор.

— А-а... То-то я смотрю — очень вы выделяетесь среди наших. Извините, а что у вас тут за дело?

— В архиве работаю.

— А-а... понятно.

Жуем дальше. Глаза у моего собеседника интересные — вращаются, все время бегают в разные стороны.

— Извините, можно спросить? А что, вы думаете, надо делать?

— Как то есть?

— Ну вы видите, что происходит. Черт знает что! Надо делать что-то. Как ваше мнение?

— Что делать... — говорю. Ничего себе, как нагло раскалывает и где — в самом сердце Лубянки, в бывшей тюрьме. Это уж слишком! — А что делать? — говорю. И вспоминаю песенку, чтоб отделаться: — Жить! Шить сарафаны и пестрые платья из ситца... Ха-ха...

— Ха-ха!.. — подхватывает он. — Нет, надо что-то делать. Так не пойдет, ведь нельзя же быть — вне. Ведь кого-то вы поддерживаете, какую-то партию? Кто вам ближе? Извините, я просто так спрашиваю, интересно.

— Никогда ни в какой партии я не был и не хочу быть. Мне и так хорошо.

Принимаемся за второе.

— Интересно, — говорит он. — Очень интересно. Вы извините, но ведь один-то что сделаешь? Ничего. Нужны ведь идеи какие-то, цели общие...

— Да они давно есть, — отвечаю, — чего их искать! Мы их только забыли.

— Какие же?

— Да вечные, на чем земля стоит... И зачем обязательно сбиваться в стаю?

— В стаю? — переспрашивает он.

— Ну да, в стаю, в партию. Вполне достаточно просто быть человеком. Это так много — не сносить.

Он смотрит на меня в упор. Глаза остановились. И вдруг заявляет:

— А вы знаете, я тоже так думаю! — И хохочет.

Выпит компот. На том и расстаемся.

В дверях столовой меня остановило объявление:

«Уважаемые посетители! За прошлый месяц из торгового зала унесено: тарелка детская — 70 шт., тарелка десертная — 117 шт., тарелка пирожковая — 173 шт., вилка, нержавеющая сталь, — 40 шт., вилка алюминиевая — 40 шт., нож, нержавеющая сталь, — 21 шт., стакан — 170 шт.

Всего на сумму 3057 руб.

Пожалуйста, мы тратим за утрату посуды из своих средств. Возвратите, пожалуйста, в столовую приборы и посуду. Очень вас просим.

Весь коллектив столовой».

Другую сторону двери тоже украшала листовка:

«Итоги рейда.

Проведен рейд по сбору посуды в кабинетах дома № 2 (второй и третий этажи). Благодарим сотрудников, оказавших нам помощь.

В результате проведенного рейда возвращено в столовую: вилки алюминиевые — 29 шт., ложки чайные — 12 шт., ножи — 3 шт., тарелки — 43 шт.».

Не поленился — записал в блокнот. Надеюсь, я не унес с собой какую-то тайну, грифа «Секретно» на бумажке не было. Хотя, может быть, это и есть на сегодня главный секрет Лубянки?..

Но вот как стремительна наша история! Каждый день несет новые сенсации, открывает новые секреты. Вчера написал эту страницу, а сегодня телевидение сообщает об отстранении от службы целого отряда генералов и офицеров ГБ. Причина самая низменная — незаконное присвоение дач, квартир, лимузинов, вплоть до хищения партии телевизоров и холодильников... И курьез с тарелками, вилками и стаканами в лубянской столовой перестал быть забавным.

### Пост номер один

— А как вы думаете, изменилась ли Лубянка? Многие ведь считают, что органы какими были, такими и остались, лишь вывеску сменили в который уж раз.

— Я так не думаю. Изменения произошли и происходят. Мы — частичка общества, и те настроения, которые есть в обществе, есть и у наших сотрудников...

Мы сидим в кабинете генерала Краюшкина, да, уже генерала; после очередного заседания антитройки Анатолий Афанасьевич угощает меня крепким чаем с вкусными московскими баранками. Этот человек — высокий, статный, с ясным лицом и крепким рукопожатием — когда-то поначалу показался таким образцово-показательным офицером-службистом, но чем дольше связывала нас работа по открытию архивов и чем лучше я его узнавал, тем больше выходил он за рамки моего трафарета, раскрывался все ярче и неожиданней.

Однажды я сказал ему:

— А знаете, вы замечательный работник тайной службы.

— Почему?

— Мы уже столько раз встречались, а я почти ничего о вас не знаю...

Что-то он тогда рассказал о себе, и я при встречах все расспрашивал и записывал эти беседы. Уж неизвестно, продолжали ли органы вести досье на меня, но я вижу теперь, листая свои дневники, что все это время вел некое досье на Краюшкина, с которым больше всего имел дело на Лубянке, досье со своими «протоколами допросов» и «анкетой»...

Родился он в 1945 году в Калуге. Русский. Отец — агроном, мать — бухгалтер. Вырос на Урале, откуда после школы пошел в армию. Служил в отдельном полку специального назначения, охранявшем Кремль. Потом — Высшая школа КГБ, диплом юриста-правоведа со знанием иностранного языка. Работа в контрразведке: Новороссийск, Челябинск — охрана секретности на оборонных предприятиях. В 1976-м переведен в Москву. Начал работать в архиве — на загородном объекте, затем в центральном аппарате: заместитель начальника архива, заместитель начальника всего Отдела регистрации и хранения архивных фондов, теперь начальник этого отдела, существующего в Министерстве безопасности на правах самостоятельного управления.

Семья — жена и два сына. Внерабочие пристрастия — дача, любит возить с землей. Обожает театр, любимый поэт — Сергей Есенин, к детективам и шпионской литературе равнодушен.

В Москву приехал старшим лейтенантом — и вот генерал. Быстрая карьера, ускорившая свой темп на гребне перестройки. Внешне линия судьбы пряма, как стрела, летящая к цели. Но были, как оказалось, и у нее свои зигзаги.

В нашем разговоре за чаем с баранками я решил копнуть поглубже. Больше всего меня донимал вопрос, почему все-таки Краюшкин, симпатичный не человек, оказался в организации, от которой все хорошие люди шараха-



ются. Я заседал на генерала со своими настырными вопросами, как следователь, и вот его «показания», данные на этом «допросе».

**Вопрос.** Почему вы все-таки пошли работать в органы?

**Ответ.** Ну, это все не так просто. Вы удивитесь — я мечтал быть актером. Еще в школе участвовал в концертах, занимался в кружках — драматическом, танцевальном, музыкальных инструментов. Многие находили способности, предрекали артистическое будущее. И даже поступал в театральное училище. И даже поступил...

**Вопрос.** Ну и что же?

**Ответ.** Человек предполагает, а судьба располагает. Приезжаю на радостях домой, а там повестка — в армию. Служил три года. Но служба была необычная — полк спецназа, охрана Кремля. И я считаю, это мне посчастливилось, что меня среди немногих отобрали для несения караула у Мавзолея Ленина и внутри Мавзолея, у саркофага...

**Вопрос.** Так это вы там стояли? На посту номер один? А я всегда, глядя на этих ребят, думал: интересно, что у них в голове? Мог и вас видеть, как вы застыли с винтовкой или маршируете под звон курантов. Кажется, двести десять шагов... Трудно это физически?

**Ответ.** Почти пятьсот часов отстоял, значит, у Мавзолея... Конечно, моральное напряжение действует, ответственность, ты же сознаешь все-таки, что стоишь у всех на виду. И когда маршируешь, хочется, чтобы это выглядело красиво.

**Вопрос.** Наверно, и девушка знакомая приходила посмотреть, как вы маршируете?

**Ответ (со смехом).** А как же! Не без этого. И родители приезжали навеситить, причем как раз выбрали день, когда я стоял на карауле. Смотрели, гордились...

**Вопрос.** Ну, увела нас эта дорожка к Мавзолею от вашего актерского будущего. Почему все-таки вы оказались не на сцене, а в КГБ?

**Ответ.** А вот во время этой службы в Кремле подошел ко мне как-то сотрудник особого отдела, который обслуживал в оперативном плане наш полк, и предлагает: «Не пойти ли тебе учиться и работать в органы безопасности?» Я отвечаю: «Ну, у меня вообще-то другие планы». — «Знаю, — говорит, — о твоих планах, но ведь наша работа, она в чем-то схожа с тем, о чем ты мечтаешь. Есть что-то общее. Подумай...» И постепенно, в результате долгих размышлений у меня созрело решение. Я думал, что, если идти в искусство, надо быть очень уверенным в своем таланте, чтобы не оказаться на десятых ролях. У меня такой уверенности не было. Способности — одно, а профессиональная жизнь — совсем другое. Я все-таки отношу себя к людям с честолюбием.

**Вопрос.** И не жалеете теперь, что на развилке судьбы такой выбор сделали?

**Ответ.** Знаете, жизнь складывалась и сложилась так, что я свои возможности в немалой степени реализовал и на службе в органах. Она ведь и интеллекта требует, и импровизации. Любой человек в жизни так или иначе играет свою роль — ведь так? Если взялся за дело, нужно полностью ему отдаться, только тогда раскрываешься и можешь проявить себя и найти... И все же театр, мир искусства меня постоянно волнует. Смотрю, к примеру, фильм, и нет-нет да прорывается, говорю жене: «А я бы лучше сыграл!» И, бывает, так зашемит сердце, что вот не пошел я по этой стезе...

(Он снова смеется, хотя видно, что я задел в нем что-то очень подкожное, но такова уж привычка: о личном, не относящемся к делу, говорить иронически, со смешком — дескать, лирика!)

Но я не жалею, ни о чем не жалею. Значит, так было суждено...

(Последние слова он произносит уже серьезно, как бы убеждая самого себя... Такой вот он, Краюшкин. Уж если делает какое-нибудь дело, то это — пост номер один. Повышенное чувство долга и благоговение к святыням родины — будь то мощи вождя или теперь архивы Лубянки. И не реализованные в искусстве творческие способности, которые он сумел не

растерять, воплотить на своем другом поприще. Деловые и человеческие качества его оказались созвучны духу нового времени, потому оно его и затребовало.)

**Вопрос.** Вы коммунист? (Продолжаю атаковать генерала.)

**Ответ.** Был, конечно. В органах вообще не было беспартийных, такого не допускалось. Но после августовского путча, как вы знаете, вышло решение президента — деполитизировать органы. И я был безусловно за это решение, потому что считаю: мы должны стоять на страже интересов законной власти, ориентироваться не на какую-то ту или иную идеологию, а исполнять закон. Иначе всегда есть угроза, что органы вырождаются в охранку и станут постоянным источником государственных переворотов.

**Вопрос.** И все же, Анатолий Афанасьевич, вы много лет были коммунистом, убежденным, как я понимаю. Когда же произошла эволюция в ваших взглядах? Не в один же миг в результате путча?

**Ответ.** Конечно, взгляды изменились не зараз, не в одно мгновение, и все же больше в последние годы, в последние. Сама судьба складывалась так, что не давала остро ощутить социальные несправедливости, не сталкивала с особыми трудностями. Со школьной скамьи — в армию, причем в спецполк; из армии — в Высшую школу КГБ и сразу в эту организацию, которая существовала достаточно изолированно от общества. В результате мне и не пришлось как следует увидеть и почувствовать жизнь простых людей или, допустим, интеллигенции со всеми их болями и проблемами. Мы жили как бы на дистанции от всех и со своими специфическими задачами.

**Вопрос.** Кстати, хочу задать вам вопрос, как тот, краеугольный в лубянской анкете: что вы делали до семнадцатого года? что вы делали во время путча, вы знали о нем заранее?

**Ответ.** Да что вы! Я никак в этом не запачкан, ни краешком! Для меня это было полной неожиданностью. Ехал утром на работу и в машине по радио услышал... Все эти дни мы на Лубянке сидели как на еже. Смотрели из окон, как стаскивают статую Дзержинского, как буйствуют и угрожают штурмом. Были готовы ко всему. Но совершенно четко я сознавал, что руководство наше пошло против народа, против хода истории, да и против нашего желания. Это все, конечно, стало очень сильным поворотом в сознании: вот опять нас хотят столкнуть с обществом, использовать в своих целях...

**Вопрос.** Но и при новом руководстве у вас не все было гладко. Мне рассказывали, что вы даже подавали заявление об уходе?

**Ответ.** Было такое, подавал. Потому что почувствовал, что меня в чем-то подозревают, не доверяют. А при таких условиях работать я не мог. Но заявление мне вернули. И вот — даже доверили большой пост. Я ведь все эти годы, когда шли политические баталии, занимался вполне конкретным делом — архивами. И реабилитацию нынешнюю одним из первых раскручивал...

Я знал, что это действительно так. В моем «досье» на Краюшкина были тому «вещественные доказательства»: я обнаружил, что еще задолго до перестройки в архиве началась подспудная работа — выискивались и выделялись в специальную картотеку данные о репрессированных деятелях искусства и литературы. И проводил эту работу Краюшкин.

Сколько раз, проходя по площади Дзержинского, я бросал взгляд на огромное, нависающее над Москвой здание Лубянки и содрогался, спешил отвести глаза от этого монстра! Камни Лубянки обдавали враждебностью, смертельным холодом, зашторенные окна смотрели слепыми бельмами. Никогда не думал, что мне суждено будет войти туда и даже работать там, читать и перечитывать залитые кровью и слезами документы истории, искать истину, спасать и воскрешать арестованное слово.

И вот двери Лубянки приоткрылись. И я увидел ее теперешних обитателей — разных, всяких, тоже захваченных водоворотом истории, людей военных, исполняющих приказ, но и в рамках приказа проявляющих свою внут-

решенную суть, делающих свой выбор. Весы добра и зла качаются здесь так же, как и всюду. Наследники Железного Феликса не пришельцы с неба, они действительно плоть от плоти и кровь от крови своего народа и будут такими же, каким будет весь народ, пойдут туда же, куда пойдет и он...

Глядя теперь на Лубянку, я уже не отвожу глаза, не испытываю страха, и лубянские окна для меня уже не слепы, за их шторами я вижу человеческие лица.

## ДОНОС КАК ЖАНР СОЦРЕАЛИЗМА

### Учитель истории

— Павлика Морозова мы вам не отдадим! — предупредили меня на Лубянке, имея в виду своих помощников — осведомителей, сексотов, стукачей, весь этот бесчисленный тайный орден, растворенный в народе.

Прославленный герой нашей истории пионер Павлик Морозов донес карательным органам на своего отца, председателя колхоза, покрывавшего кулаков. Отца расстреляли. На этом примере нас воспитывали, эти уроки мы все и обязательно проходили. И каждый усваивал их как мог...

В школе, где я учился, царила скука: зубрежка, учителя, читавшие уроки по учебникам, регулярные, придуманные теми же учителями общественные «мероприятия», собрания по политическим датам — сплошное занудство. Но вот появился новый учитель, учитель истории. И сразу же стал для меня кумиром.

Уроки свои он вел потрясающе: не заглядывал в учебник, рассказывал то, чего в нем не было; расхаживая по классу и размахивая руками, он вываливал на наши головы вороха неизвестного — история в его рассказах оживала, разворачивалась перед нами вереницей невероятных событий и героев, и даже когда наступала перемена, мы не спешили срываться с мест. Он распахнул перед нами большой мир всех времен и народов и говорил о прошлом так, будто бы в нем жил. И главное — требовал, чтобы мы не зубрили, а думали, думали сами. Такого учителя я видел впервые. Его предмет казался самым интересным, и сама школа вдруг обрела смысл.

Но случилось происшествие, которое в одно мгновение похоронило эту мою влюбленность.

Класс наш считался неблагополучным — среди ребят были известные в округе хулиганы и воришки, некоторые уже выпивали и даже в школу иногда приходили под хмельком. Прекрасный учитель истории считался плохим воспитателем, и начальство не раз ему за это пеняло. А поскольку он еще был нашим классным руководителем, ему пришлось принимать меры, взяться за воспитание. Как-то перед уроком он подошел ко мне и тихо сказал:

— Слушай, кажется, Сашка Дементьев опять выпил. Понюхай и скажи мне.

Доверие мое к учителю было столь безгранично и слепо, что я не задумываясь сделал то, о чем он просил. От Сашки Дементьева — здорового дылды, переростка, уже третий год сидевшего в одном классе, — действительно несло сивухой. О чем я и доложил учителю. И тут же понял, что сделал подлость. Но было уже поздно.

— Дементьев! — крикнул учитель. — Ты опять пьян! Убирайся из школы! И пока твой отец ко мне не придет, здесь не появляйся. Позор! Юный алкоголик Советского Союза!..

Ребята загоготали. А я, я себя ненавижу. Рухнул и мой кумир. Но урок доношительства, который преподавал тогда учитель истории, запомнил на всю жизнь.

### Писатели доносов

Все советские писатели делятся на три категории: одни стучат на машинках, другие перестукиваются, а третьи — просто стучат... Это казалось бы анекдотом, если б не было сущей правдой.

Конечно, жанр доноса существовал во все времена. Но никогда еще он не расцветал таким махровым цветом, как у нас в нашей новейшей истории.

Навязанный сверху пресловутый метод соцреализма вторгся и в искусство, и в саму жизнь. Он требовал отражать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой должна быть, и жить не своей жизнью, а предписанной правящей идеологией. А поскольку в этой идеально организованной, стерилизованной жизни не оставляли места тем, кто мыслит и живет иначе, надлежало их выявлять и безжалостно искоренять всеми способами. В искусстве — строжайшей цензурой, в обществе — стуком и репрессиями. Стукачество было объявлено почетным долгом каждого гражданина, а недоносительство — преступлением.

Среди писателей этот жанр развивался, как ему и положено, во всем многообразии форм, со своей стилистикой и своими корифеями-классиками. Был, например, донос глобальный, призыв к расправе над целыми слоями населения, сословиями и классами: дворянством, буржуазией, духовенством, зажиточным крестьянством (кулаками), интеллигенцией — всей этой контрой, с которой большевикам не по пути, которой не было места в коммунистическом завтра. Перевоспитывать их дело хлопотное и, пожалуй, безнадежное — не лучше ли разом покончить, вычеркнуть из истории?

Мы залпами вызов их встретим —  
К стене богатеев и бар —  
И градом свинцовым ответим  
На каждый их подлый удар...  
Клянемся на трупе холодном  
Свой грозный свершить приговор —  
Отмщение злодеям народным!  
Да здравствует красный террор!

Так писал поэт революции Василий Князев, автор «Красного Евангелия», очень популярной в свое время книги. Призывая к кровавой расправе, Князев и себе накликал гибель: он сам попал под «красное колесо» террора, сгинул в кюльмском концлагере и был брошен в общую могилу.

Существовали доносы по долгу службы, по обязанности. Все ведомства, организации, большие и маленькие конторы должны были постоянно и бдительно следить за поведением и сознанием своих работников и докладывать о них куда надо. Особенно бдили за творческой интеллигенцией, за писателями — работниками «идеологического фронта». Редакции газет и журналов, издательства, цензурная сеть, ну и, конечно же, само министерство литературы — Союз писателей — по существу, превратились в негласные филиалы органов, осуществляли контроль над словом и поведением литераторов, постоянно информируя о них партийные и карательные инстанции, отдавая на расправу палачам «поштучно и оптом». Придет время, и мы узнаем, как руководители Союза писателей Ставский, Павленко и Гронский отправили за решетку, на гибель неугодных им поэтов Осипа Мандельштама и Николая Клюева. Изрядно потрудились на этом поприще и другой многолетний вожак писательского союза — Александр Фадеев. Сейчас много спорят о его роли в массовых репрессиях: одни говорят, что он губил своих коллег, другие — что защищал и спасал. Кого-то, возможно, и спас. Но, изучая архивы Лубянки, я наткнулся на документы с подписью Фадеева: «С арестом согласен...» Фадеев, разумеется по приказу Сталина, просто обязан был визировать, одобрять расправы над писателями. Власть, изолируя и уничтожая неугодных ей художников, делала это иезуитски ловко — как бы от имени самой литературы, втягивая, впутывая в свои черные дела самих ее служителей. Не случайно именно в пятьдесят шестом, когда из мест заключения один за другим стали возвращаться оставшиеся в живых репрессированные писатели, Фадеев застрелился. Это был выход из тупика совести и творчества. «Я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни», — напишет он в предсмертном письме. Свою причастность к правящей подлости и клевете он решил искупить смертью.

На службе у власти состояла и целая армия тайных агентов, штатных и добровольных, платных и бескорыстных. Насчет «тридцати сребреников», при-

читающихся предателю, существовала специальная инструкция ВЧК, разработанная еще в 1921 году: «Субсидии денежные и натурой, без сомнения, будут связывать с нами... а именно в том, что он будет вечный раб ЧК, боящийся расконспирировать свою деятельность». Плотной сетью окружали доносчики человека на воле, и даже когда он попадал за решетку, к нему подсаживали так называемых наседок, которые выведывали у него нужную для следствия информацию и склоняли в нужную для следствия сторону.

Доносительство стало заурядным, бытовым явлением, расплзшимся по стране гангреной.

Нет у меня, признаться, никакого желания выводить на чистую воду и называть многочисленных авторов, отдавших дань ядовитому жанру, да и не стоят они того — слишком много чести. Но из истории, как из песни, слова не выкинешь. Во всех главах-досье в моем повествовании оказались рассказы перлы стукачей, иногда подписанные подлинными именами, чаще — агентурными кличками, псевдонимами. Что делать — ни один арест, ни одно следственное дело не обходилось без плодотворной деятельности тайных агентов, за каждой жертвой репрессий проступают и шествуют их предательские тени.

В материалах, с которыми я познакомился на Лубянке и принесенных в Комиссию по наследию репрессированных писателей, раскрываются все новые факты. Вот один из них — письмо-донос. Письмо короткое, но в нем наглядно видно, как действовал механизм доносительства, втянувший в себя целую группу писателей. Рабочим элементом его являлась цепь: довожу до вашего сведения и прошу сообщить куда следует то, что мне рассказали, что им сказали...

«Международное бюро  
революционной литературы.

2 января 1928 г.

Дорогой товарищ Авербах, считаю нужным довести до твоего сведения о нижеследующем факте, относительно которого прошу тебя принять срочные меры.

Редакцию «Вестника иностранной литературы» посетил писатель Панаит Истрати, сообщивший о состоявшемся у него с т. Сандомирским разговоре. Сандомирский посоветовал товарищу Истрати ничего не писать ни о большевиках, ни о Советском Союзе. По мнению Сандомирского, если Истрати на эти темы будет писать, хваля на 99 % и порицая на 1 %, то этого обстоятельства будет достаточно, чтобы ему в лице большевиков нажить себе смертельных врагов. И не только он встретит недоброжелательство со стороны ВКП и Французской компартии, но может еще и испытать затруднения при выезде из СССР...

Истрати сообщил об этом разговоре не только мне, но и товарищам Динамову, Анисимову, Когану и, как я предполагаю, еще некоторым другим. Мы, как могли, постарались его успокоить и убедить его, что со стороны Сандомирского это была только шутка, но вряд ли нам удалось достигнуть успеха.

Я потому ставлю тебя в известность, что мы испытываем достаточно много затруднений, привлекая к нам симпатизирующих нам писателей, и подобная задача не может нам удасться, если будут продолжаться такие явления, как вышеупомянутый разговор.

С коммунистическим приветом!

Б. Иллеш».

Не имеет значения, обращался автор письма Бела Иллеш к Авербаху как к главе Российской ассоциации пролетарских писателей или как к литературному советнику и близкому родственнику руководителя ОГПУ Ягоды, — результат мог быть только один. Нетрудно догадаться, что последним звеном этой цепочки были карательные органы, так как начальное звено стало жертвой — литератор Сандомирский был в конце концов арестован и расстрелян. Приве-

денное письмо сохранилось в его лубяном досье со специальной пометкой, запрещающей знакомство с этим документом кого-либо, кроме самих служителей органов. Ясно и другое: все в этой порочной цепочке были обречены на донос, потому что, не отреагируй на «преступный факт» один — отреагирует другой, и ты окажешься покрывателем или, хуже того, соучастником преступления.

От Москвы до самых до окраин оплела страну липкая паутина подозрительности и взаимной слежки. И спастись от нее не было почти никакой возможности.

Приходят в дом гости, болтают по пьянке о политике... И все повязаны. Не отреагируешь ты — настроит он. Что делать?

Зловещий тридцать седьмой. Поэт Константин Седых пишет уполномоченному Союза советских писателей по Иркутской области поэту, товарищу Ивану Молчанову:

«Считаю необходимым довести до Вашего сведения следующее. 30 ноября вечером ко мне на квартиру заявился небезызвестный Вам Ин. Трухин в сопровождении какого-то незнакомого мне человека, которого отрекомендовал мне и находившемуся в это время у меня Ан. Пестюхину (Ольхону) поэтом Рябцовским или Рябовским, точно не помню. Оба они были пьяны.

Подобный визит Трухина меня чрезвычайно изумил, так как никакого близкого общения у меня с ним нет. Поэтому я встретил его достаточно холодно. Но пьяному Трухину море по колено. Он извлек из кармана бутылку водки и стал приглашать выпить. В последовавшем затем разговоре Трухин, ничем и никем на то не вызванный, допустил гнусный контрреволюционный выпад против товарища Сталина. Слова его были таковы:

— Да что вы мне все! Да если на то пошло, так я и самого Сталина распатрону!

Я немедленно оборвал Трухина и заявил ему, что о его поступке доведу до сведения уполномоченного ССП. Затем я сразу же выдворил и его, и его приятеля из квартиры...

Трухин считает себя советским поэтом. Но за такими его словами, несмотря на то что сказаны они в пьяном виде, скрывается неприглядная физиономия враждебного нам человека. Мне, например, кажется, что если бы он был настоящим советским человеком, то не позволил бы такого выпада и пьяным...»

Быть может, Константин Седых действовал просто из чувства самосохранения. Но теперь товарищ Молчанов тоже должен был реагировать — и тут же направил послание своего коллеги в НКВД, товарищу Бучинскому: «5 декабря ко мне пришел поэт К. Седых и рассказал о фактах, описанных в заявлении. Я ему предложил все это изложить в письменном виде. Сразу же позвонил Вам...»

И вслед за этим добавляет и собственные заявления на нескольких литераторов. Стук с вещественными доказательствами:

«Посылаю также рассказ «Жаркая ночь», присланный на консультацию к нам. Автор — П. И. Короб из Нижнеудинского аэропорта. Весь рассказ просто начинен контрреволюционными разговорами. Ответ автору я пока задержал...»

«Во время дежурства консультанта А. Ольхона приходил студент Финансово-экономического института Садов с рассказом «Иван Зыков». По отзывам консультанта, этот рассказ — памфлет на советскую действительность, клевета на колхозы и колхозников... Идеи вредности рассказа вне сомнений... Был на консультации курсант школы военных техников Филиппович с пьесой «Враг». Автор не лишен способностей. Но пьеса «Враг» заслуживает разбора лишь как политическая ошибка автора, который в силу своей идейно-политической близорукости написал антипартийную пьесу... Оценка пьесы может быть только одна: «Враг» — вредная, не советская пьеса...»

И так далее, и тому подобное...

А вот и два итоговых рапорта писателя доносов Молчанова о своей плодотворной работе в Иркутске. Первый — в Москву, верховному литературно-му начальству, генеральному секретарю правления Союза советских писателей Ставскому:

«Только после февральского Пленума ЦК ВКП(б), после изучения доклада и заключительного слова т. Сталина была развернута самокритика в литературной организации Восточной Сибири... За связь с контрреволюционными организациями исключены из Союза писателей А. Балин, Ис. Гольдберг, П. Петров, М. Басов... Все они арестованы органами НКВД. Была засорена чуждыми людьми околосредовая среда: начинающий писатель Новгородов, поэт В. Ковалев, поэт А. Таргонский...»

Второй адресован партийному начальству — в обком ВКП(б):

«В результате притупления бдительности областная организация Союза писателей оказалась засоренной врагами народа. Долгое время у руководства Союза стояли, оставаясь неразоблаченными, такие матерые враги народа, как Басов, Гольдберг, Петров и Балин.

Сразу же после разоблачения врагов народа правление было переизбрано. Новое правление немедленно приступило к работе по ликвидации последствий вредительства. В Союзе писателей, после арестов, остались два члена: И. Молчанов и К. Седых...»

Вот ведь как отчаянно боролись за линию партии — остались на боевом посту только вдвоем! Можете на нас положиться!

### Дятел

И наконец портрет литературного стукача по призванию — крупным планом.

Органам он был известен по кличке «Дятел», а «в миру» — как Борис Александрович Дьяков, прозаик и драматург, член Союза писателей.

Его нашумевшая «Повесть о пережитом» была среди первых книг о сталинских репрессиях, вышла почти одновременно с «Одним днем Ивана Денисовича» Солженицына и даже соперничала с ним в популярности. Дьяков предстает в повести как безвинная жертва, но лишь внешне напоминает солженицынского героя, по сути же — его полная противоположность. Он и в концлагере остается железобетонным большевиком, апологетом советской власти, рисуя репрессии всего лишь как досадную ошибку. По Дьякову получается, что эзки за колючей проволокой только о том и думали, как бы перевыполнить план и поусердней послужить партии и правительству. Автор писал эту книгу так, как если бы выполнял особое задание органов, стремясь отвлечь внимание от великой книги Солженицына и извратить правду в заданном направлении. Повесть Дьяков написал о себе. Да, и он, верой и правдой служивший власти, оказался за сталинской колючкой. И на него кто-то наступал...

В следственном деле Бориса Дьякова хранятся его многостраничные письма-исповеди, адресованные своим хозяевам — Госбезопасности и ЦК ВКП(б), послания, в которых четко запечатлелась вся его извилистая, как змеиный след, линия судьбы.

«Мое детство и первые юношеские годы прошли в обстановке дореволюционной жизни. Родился я в семье служащего, со всеми присущими этой семье пороками старой интеллигенции. Мое сознание начало формироваться в условиях советского строя. Еще несовершеннолетним я ушел в Красную Армию, с 1921 г. был на советской профсоюзной работе, а с 1929 г. начал работать в партийной печати. Мой характер и мои взгляды создавались, таким образом, в преодолении собственных недостатков и пережитков прошлого и — самое главное — в борьбе с врагами. Эту борьбу я вел неуклонно, без колебаний, особенно будучи советским журналистом.»

Итак, свою сознательную жизнь он начал, подобно Павлику Морозову, отрекшись от «порочных» родителей.

С органами Дьяков познакомился в начале своей литературной карьеры и работал на них добровольно, не за страх, а за совесть. Документы в его досье бесстрастно сообщают, что в 1936 году он был завербован в агентурную сеть Управления госбезопасности Сталинградской области под псевдонимом «Дятел» «для разработки контрреволюционных элементов» (далее перечислен ряд фамилий) — «вскоре все эти лица были арестованы как участники правотроцкистской организации...».

Первый успех окрылил, и он продолжал стучать со все возрастающим рвением. Об этом он собственноручно пишет, когда, сам попав в клетку, ищет заступничества у своего бывшего руководства, перечисляет свои заслуги перед органами и отечеством — десятки загубленных судеб:

«Считаю своим долгом сообщить Вам, что я в течение ряда лет являлся секретным сотрудником органов, причем меня никто никогда не принуждал к этой работе, я выполнял ее по своей доброй воле, так как всегда считал и считаю теперь своим долгом постоянно, в любых условиях оказывать помощь органам в разоблачении врагов СССР. Это я делал и делаю. Вот факты...

В 1936 г. в «Сталинградской правде» был напечатан мой фельетон, нанесший удар по троцкисту Будняку, директору завода «Баррикады». В 1937 г. в Сталинградском управлении НКВД мне сообщили, что Будняк расстрелян, а фельетон приобщен к делу как один из уличающих материалов...

Я сдал в НКВД материалы:

об антисоветской агитации, проводившейся отдельными лицами и группой лиц, работавших в литературе и искусстве, в частности о клеветнических произведениях местных писателей Г. Смольякова, И. Владского и других (осуждены органами);

о систематической вражеской агитации, которую вел финский подданный, артист Сталинградского драмтеатра Горелов Г. И., прикрываясь симуляцией помешательства (осужден в 1941 г.);

о враждебной дискредитации Терентьевым Ф. И. знаменитого советского писателя А. Н. Толстого на банкете в редакции в 1936 г.

Должен сообщить Вам, что мною были доложены также факты антисоветских настроений и поведения артиста Сталинградского драмтеатра Покровского Н. А. В нем глубоко заложено пренебрежение к советской драматургии, издевательское отношение к советской культуре, ко всей нашей действительности, к коммунистам, руководящим искусством. Он особенно изощрялся в распространении анекдотов...»

Из Сталинграда «Дятел» по поручению НКВД перебирается работать на Дальний Восток. И там берется за дело засучив рукава: «Осенью 1937 г. «Тихоокеанская звезда» напечатала мой фельетон «Под вывеской музыкальной комедии», который вскрыл в Хабаровском театре группу антисоветчиков. Эта группа была репрессирована...»

Началась война. Фронта Дьяков сумел избежать — получил броню. Пока другие гибли под пулями, он продолжал карабкаться вверх по служебной лестнице: перебрался в Москву на руководящие посты в ЦК ВЛКСМ, издательство «Молодая гвардия». И вот вершина карьеры — главный редактор художественных фильмов Министерства кинематографии. И тут он «боролся с вредными, безыдейными сценариями» и с их авторами, сообщая о «подрывной работе ряда лиц в советской кинематографии».

С этой вершины он и слетел — попался в сеть той всеохватной 58-й статьи, которую сам помогал плести... Какая жестокая несправедливость! И как не вовремя! Ведь «лица, насквозь пропитанные буржуазным эстетством и насаждавшие голливудские нравы в сценарно-режиссерском деле, до сих пор гнездятся в некоторых звеньях советского кино. Я, с помощью министра кинематографии И. Г. Большакова, начал постепенно выявлять этих лиц и, если бы не мой арест, сумел бы до конца их разоблачить...».

Но и в неволе «Дятел» не может утомиться: «Хотя я сейчас нахожусь в лагере, но меня не покидает беспокойство: в отдельных киноорганизациях находились лица, которые по собственной, а может быть, по чужой воле вреди-



ли делу дальнейшего подъема советской кинематографии, стремились выхолащивать идейную направленность наших фильмов... Все это я подробно изложил в заявлении от 29 мая 1950 г. на имя министра Госбезопасности...»

В лагере талантливые «дятлы» тоже очень нужны: «В октябре 1950 г. в Озерлаге, на лагерном пункте 02 я выдал органам письменное обязательство содействовать им в разоблачении лиц, ведущих антисоветскую агитацию. Это содействие я оказываю искренне, честно и нахожу в этом моральное удовлетворение, осознание, что я здесь, в необычных условиях, приношу известную пользу общему делу борьбы с врагами СССР».

И все же какая страшная ирония судьбы, какая обида! За что он так сурово наказан? Все чаще несутся из Сибири жалобные крики «Дятла»: «Ведь вся моя сознательная жизнь, вся моя работа должны убедить Вас в том, что я заслуживаю политического доверия... Не допустите, чтобы зря была загублена моя жизнь, мои творческие способности. Я могу, я хочу, я должен принести еще большую пользу...»

Что же стало в конце концов с этим человеком? Все в порядке! Вскоре после смерти Сталина он был освобожден, в числе первых реабилитирован, а поскольку в лагере кормили и содержали его куда исправней, чем других эзков, здоровье свое сохранил и продолжал плодотворно трудиться. Ходил в почетных ветеранах труда и жертвах ГУЛАГа, любил выступать перед молодежью с проповедями правды и добра.

В 1987 году стотысячным тиражом вышла его автобиографическая книга — уже не повесть, а роман-трилогия «Пережитое». Второй лик автора — «Дятел» — в этой эпопее, конечно, скрыт. В одном из последних интервью Дьяков продолжает давний, неразрешимый спор со своим антиподом — Александром Солженицыным: «Кривить душой я не могу... Находясь в лагере, я, в отличие от Солженицына, наряду с негодями встречал людей, не потерявших веру в силу ленинской правды, в конечное торжество социальной справедливости... Солженицын же все видел в черном свете».

Ну а раз писатель-соцреалист Борис Дьяков так уверенно себя чувствует во времена гласности и провозглашенной демократии, то наверняка здравствует и его двойник «дятел», — и тот жанр, в котором он так преуспел.

### Бессмертие жанра

— Слушай, — спрашивает меня мой друг, поэт Анатолий Жигулин, — ты бываешь на Лубянке — скажи, что за люди там работают? Такие же, как те, что меня когда-то били?..

— Да я не так уж многих там знаю. Они ведь люди военные: приказали миловать — милуют, а прикажут бить — найдутся, наверно, и такие, кто будет бить. А вот ты мне скажи про нашего брата литератора, про тех, кто сидит в писательском клубе, треплется на всякие скользкие темы, изображает из себя свободного художника. Развяжет тебе язык — а потом строчит донос... И не по приказу, а по собственной охоте! Эти-то кто? Они ведь еще больше в подлянку играют!

— Ты прав, — говорит он, — к несчастью, ты прав. Стучали, стучат и будут стучать!..

Идет писательское собрание. На трибуне с пламенной речью — пожилая дама, известная общественница, автор книг о воспитании молодежи. Клеймит проклятое прошлое, ратует за перестройку. А между тем только что в печати опубликовано письмо ее сверстника, прекрасного прозаика Юрия Домбровского, в котором он рассказывает, как эта дама во время оно донесла на него и помогла засадить в ГУЛАГ. Домбровского давно нет в живых, а она — не опровергла, не покаялась, как ни в чем не бывало шествует по жизни.

Разворачиваю свежий номер журнала «Новый мир». Читаю подборку стихов незаслуженно забытого поэта (талантливо!), а на душе кошки скребут: из лубянского архива знаю, что он заложил целую плеяду таких же, как он, да и

более талантливых, например Даниила Андреева — удивительного поэта-философа, сына известного русского классика. Надо ли теперь сообщать об этом читателю? Пусть лучше узнает хорошего стихотворца, чем еще одного стукача.

Включаю телевизор. Сценаристка и кинорежиссерша, пленяя зрителей лучистыми рысьими глазами и вкрадчивым голосом, вспоминает о своих давних друзьях — служителях искусства, канувших в Лету. Неужели это она — юная студентка, комсорг Литературного института — давала характеристику на другого студента, яркого и многообещающего Аркадия Белинкова, называла его антисоветским элементом, после чего он был осужден, больше десяти лет провёл в лагерях и рано ушел из жизни?..

Когда наша Комиссия по наследию репрессированных писателей начала работу, тут же пошли телефонные звонки:

— Вы не имеете права этим заниматься! Это дело государственных органов! Вы еще пожалеете! Мы найдем на вас управу!

Кому наша комиссия не понравилась, встала костью поперек горла? Прежде всего тем, кому было что скрывать, чего бояться, — палачам и доносчикам. В Союз писателей и в редакции, где публиковались наши материалы, посыпались письма-угрозы вроде этих:

«Злые мстители писатели! Создав комиссию, вы доказали, что злость и яд берегли для мщения над мировым победителем — И. В. Сталиным. Какой позор!!! Вы же писатели, или вы предатели? Кому же вы мстите? История никогда не простит вам предательства. История осудит тех, кто платит черной неблагодарностью товарищу Сталину. Все было справедливо. В каждой республике, области и районе судили людей коммунисты, и народ их поддерживал. Все было по закону...»; «Какую злобу змеиную таят в себе отпрыски предателей родины — вот такие все они, Шенталинские-Амалинские эти, и их множество, которые чернят нашу историю и И. В. Сталина! И эта злоба их выливается на нас, старых коммунистов, которые вместе с товарищем Сталиным шли к победе. Сейчас, умышленно подливая в огонь керосин, они развалили наш Союз, чернят Армию, КГБ. Отпрыски ищут в архивах всякую грязь, лишь бы очернить И. В. Сталина, давшего нам, простым людям, жизнь...»

Звонки и письма с угрозами исходили от сталинистов, которых еще немало вокруг нас. Но вот... Прихожу однажды на Лубянку, а там мне, между прочим, сообщают: поступили сигналы о том, что ваша работа может принести вред обществу, на имя председателя КГБ Крючкова получено письмо, в котором его просят запретить показывать вам секретные материалы, что вы не имеете на это права, что могут быть извращены факты, что вы можете подорвать репутацию заслуженных людей; мы с вами, конечно, работу продолжим, но должны вас предупредить, чтобы вы были осмотрительней в выборе материалов для публикаций, вы все-таки имейте в виду, что гриф «Совершенно секретно» еще действует.

Как выяснилось потом, автор этого письма Крючкову оказался внуком одного из репрессированных писателей, за вызволение рукописей которого я ратовал и с материалами следственного дела которого работал. Этот внук знал о нашей комиссии, был москвичом — что ему стоило снять трубку и напрямую высказать мне свои опасения?

Все же потом, уже после публикации моего очерка о его знаменитом деде, он позвонил со словами благодарности и... смущенно признался о своем письме Крючкову. Но тогда сработал стойкий советский комплекс жаловаться начальству, да и не какому-нибудь, а уж чтоб наверняка — самому председателю КГБ!

Что же все-таки нам делать со своими стукачами?

Сейчас в связи с открытием секретных архивов на общество обрушилась лавина разоблачений. Широко обсуждается сотрудничество с органами политиков, священнослужителей, писателей, ученых. И чаще всего это используется, увы, не для торжества исторической истины, а для сведения счетов и в це-

лях сегодняшней политической борьбы, компрометации противников, то есть все для той же злобы дня.

Появились саморазоблачения. Некоторые писатели каются в грехах доноительства, при этом иногда чуть ли не ставя себе в заслугу подобные покаяния. Все перемешалось — правда и ложь, смирение и гордыня — и еще больше запуталось.

Кто осмелится взять на себя роль Божьего суда?

Стукачи уже получили наказание — исказили свое человеческое лицо, запятнали совесть, извратили душу. Сам грех предательства — уже наказание.

## ПОПРАВКИ К ЭНЦИКЛОПЕДИИ

### Разбитое зеркало правды

В дни августовского путча 1991 года, подхваченный водоворотом событий, глядя на Лубянку глазами восставших против насилия людей, я не мог не думать о своем: а что с архивами, с бесценными рукописями и документами, сокрытыми там? Ведь тому же Крючкову ничего не стоит одним росчерком пера обречь их на уничтожение. Что происходит внутри Лубянки?

Как оказалось, и там шла борьба. И пока одни, вроде Крючкова и послушных ему, проворачивали путч, другие делали все, чтобы его сорвать. Одни уже составили арестные и даже расстрельные списки, а другие не только не привели их в действие, но и сообщили о них тем, кого должны были арестовать или расстрелять, — команде Ельцина. Одни отдали приказ о взятии Белого дома, другие отказались его выполнять.

Трудно с полной достоверностью сказать, что творилось в этот роковой час в архивах — сердце Лубянки. Ходили всевозможные слухи, в печати мелькали разноречивые, пугающие сообщения. Органы сжигают свои тайны... Вывозят на машинах и где-то прячут... По другим источникам, архивариусы защищались с двух сторон: игнорировали указания своего высшего начальства об уничтожении документов и баррикадировали входы в хранилища от возможного нападения разъяренной толпы. Сами они, понятно, не очень-то разговорчивы на этот счет. Но как я уяснил из их скупых рассказов, все архивные фонды, за исключением каких-то оперативных материалов, хранившихся в других многочисленных управлениях и отделах Лубянки, остались в целостности и сохранности.

Впервые за годы советской власти незыблемые лубянские стены дрогнули. Органы потеряли своего всесильного патрона — деятельность компартии была приостановлена. Началась ельцинская постперестройка, стремительный распад одряхлевшей Системы. Советские республики одна за другой объявляли о своей независимости. И вместе с уходящим 1991 годом мы проводили в прошлое и президента Горбачева, и само государство, в котором прожили всю жизнь, — Советский Союз!

У лишенных всесильной партийной опеки органов одним махом словно бы вырвали ядовитое жало. Там царил лихорадка, растерянность, деморализация, кадровая чехарда. Пытаясь приспособиться к скачущей галопом истории и не свалиться под ее копыта, КГБ, как хамелеон, менял наименования: сначала превратился в МСБ (Межреспубликанскую службу безопасности), потом на короткий срок, вобрав в себя милицию и получив непомерную власть, напугав всех призраком бывшего НКВД, вдруг раздулся в МБВД (Министерство безопасности и внутренних дел), сократился до АФБ (Агентства федеральной безопасности), переделался в МБР (Министерство безопасности России)... Что дальше?

В это же время, после указа Ельцина о рассекречивании партийных и прочих архивов, начали медленно, со скрипом приоткрываться и двери спецхранов. В стране разразился архивный бум. Общество не было к нему готово.

Среди наводнивших прессу открытий и разоблачений встречалось немало и несерьезных, непроверенных сенсаций, и прямой дезинформации — провокаций и фальшивок.

Людей, и без того во многом разуверившихся, растерянных от нахлынувших событий, еще больше сбивали с толку; такой подогрев только усугублял смуту и сеял недоверие и злобу, грозил новым социальным взрывом. Больное, наэлектризованное, привыкшее ко лжи общество с трудом воспринимало правду, не знало, что с ней делать. Казалось, людям вовсе не нужна эта большая, тяжелая и опасная правда, каждый предпочитал иметь маленькую, облегченную, свою. В глобальных масштабах случилось то, с чем мне и раньше приходилось сталкиваться в своей работе, поскольку комиссия с самого начала была в эпицентре общественных страстей и мнений, и что я называл про себя эффектом разбитого зеркала: единственная и неделимая правда, попадая к людям, разлеталась на мириады осколков, мелких правдоподобий, в которых уже не увидишь лица целиком.

После первой же моей публикации — об Исааке Бабеле — я услышал такой упрек из уст своей знакомой, весьма интеллигентной женщины:

— Ты льешь воду на мельницу антисемитизма. Что получается: Бабель на следствии предал своих товарищей, заложил их органам. Вот и скажут теперь: все они такие — евреи...

Было и другое мнение, очень известного писателя, который сам прошел через ГУЛАГ:

— Напрасно вы так расписали этого русофоба Бабеля. Темная лошадка. Циник. Он был вполне советский человек, вертелся возле органов, якшался с палачами, служил в ЧК, влез в дом Ежова. Пока самого не забрали... Вот и доигрался.

Потом вышла статья о судьбе Павла Флоренского — и опять посыпались обвинения, теперь уже от лица масс:

— Многие в патриотических и церковных кругах считают, что ваша публикация в «Огоньке» — провокация сионистов. Сейчас Православная церковь собирается канонизировать Флоренского как святого, великомученика. А вы говорите, что он поддался следствию, подписал, что он фашист... Какой же он, в таком случае, святой? Все это, конечно, не случайность, а результат заговора с целью сорвать канонизацию, клевета на Россию...

— Экстремист, разрушитель, антисоветчик, — аттестовали меня незыблемые большевики, которые никак не могут поступиться своими принципами. — На кого замахиваешься? На КГБ, щит и меч революции?

И просто рассмешил один приятель, который под хмельком отвел меня в уголок и таинственным шепотом предупредил:

— Знаешь, о тебе говорят, что ты — капитан ГБ. Спрашивали меня, интересовались... Простого смертного, мол, к своим архивам они не допустят...

— Ну и что ты ответил?

— А я сказал, что ты полковник! — заржал он.

— Вот спасибо. Но ты перебрал, слишком хорошо обо мне думаешь. Я только лейтенант...

Так из меня сделали сразу и юдофоба, и жиDOMасона, и экстремиста, и гэбиста в одном лице.

## Фонд № 7

Как-то утром мне позвонил Краюшкин:

— Я сегодня еду в Бутово. Не хотите ли составить компанию? Думаю, вам будет безынтересно. Это надо увидеть...

Был лучезарный, просторный день осени. После затяжных холодных дождей купол неба вдруг распахнулся, и с него приветливо глянуло солнце, пригрело и разгладило лица. И даже скучные, плоские фасады домов зажглись, заиграли, перебарсываясь золотистыми бликами в окнах. Вдоль шоссе немymi застывшими кострами пламенели деревья...

Накануне на Лубянке мне впервые показали папки из сверхсекретного Фонда № 7, который здесь скрывали от посторонних глаз дольше всего, до последнего времени убеждали, что он не сохранился, исчез — навсегда. И вот... нашелся.

Было что скрывать! Фонд № 7 — это предписания к расстрелу и акты о приведении в исполнение приговоров судебных и не судебных органов бывшего СССР, а проще говоря — расстрельные списки. Начиная с 1921 года эти документы брошюровались в толстые папки и постепенно составили гигантское собрание: 400 томов! В них — страница за страницей — шел сплошной ряд фамилий, сотни, тысячи, помеченные красной галочкой: приведено в исполнение. Читать невозможно — к горлу подступал ком.

Тут, в этой многоступенчатой гробнице исторической памяти, была спрятана правда о последнем круге советского ада. И понадобился августовский путч, крушение коммунистической власти, чтобы эта правда была извлечена на свет.

Архивист протянул мне папку № 182, открыл на закладке.

— Вы запрашивали данные о смерти Эфрона...

«Ты уцелеешь на скрижалях!» — написала Марина Цветаева в стихах, посвященных мужу — Сергею Эфрону. Знала бы она, на каких скрижалях, кроме книг, уцелеет его имя!

На дворе — осень девяносто первого. А в папке — то, что творилось ровно полвека назад, осенью сорок первого. Грохочет и горит земля, немцы приближаются к Москве, молох войны безжалостно перемалывает тысячи и тысячи наших соотечественников. И в московских тюрьмах — тоже кровавая страда, столицу спешно «очищают» от «врагов народа» — здесь работает другой молох, свои собственные фашисты.

«Начальнику Бутырской тюрьмы НКВД  
майору ГБ тов. Пустынскому.

Выдайте коменданту НКВД осужденных к расстрелу нижепоименованных лиц:

1. Эфрон Сергей Яковлевич... 2... 3... (Всего 136 человек. — В. Ш.)

Основание: распоряжение зам. наркома Внутренних дел тов. Кобулова.

Начальник Тюремного управления НКВД  
майор ГБ Никольский.

16 октября 1941 г.».

И на том же листе ниже — от руки:

«АКТ

16 октября 1941 г. мы, нижеподписавшиеся, привели в исполнение приговоры о расстреле 136 (сто тридцать шесть) человек, поименованных выше сего.

Начальник комендантского отдела НКВД майор ГБ...  
Начальник 17 отделения I спецотдела ст. лейтенант ГБ...».

Подписи неразборчивы...

Трудно, почти невозможно сейчас представить, как все это было в тот осенний день, может быть, такой же просторный и лучезарный. Как выкликали их из камер, собирали, пересчитывали, как торопливо заталкивали в закрытые автофургоны с надписями «Мясо» или «Хлеб», выкатывали из ворот тюрьмы и мчали по московским улицам к месту расстрела — куда? Одному Богу известно. Может быть, по той же самой дороге — в Бутово?

Мы выехали с Лубянки на двух машинах: в первой, кроме нас с Краюшкиным, поместился журналист, уже несколько лет ведущий поиск мест массовых захоронений жертв сталинских репрессий, во второй — съемочная группа американского телевидения Эй-би-си. Дорóгой я рассказал своим спутникам о

небольшом исследовании, которое провел после вчерашнего знакомства с расстрельными списками. Вернувшись домой, я просто взял Литературную энциклопедию, выписал из нее столбиком даты смерти писателей, погибших в годы террора, а рядом — истинные даты их гибели, которые стали известны из лубянских архивов. Фальсификация была налицо. Чтобы скрыть правду, сотрудники карательных органов произвольно «разносили» даты, намеренно их искажали. Родственникам осужденных сообщали о приговоре: «Десять лет без права переписки» — и близкие искали их, надеялись и ждали, в то время как тех уже давно не было в живых. И даже во времена так называемого раннего реабилитанса, в середине 50-х, вершителю закона продолжали традицию лицемерия и лжи: указывали в справках о реабилитации лживые даты и причины смерти репрессированных. Эти даты до сих пор значатся во всех энциклопедиях и справочниках, в научных трудах и популярных изданиях, вводя в заблуждение современников. Так уродовалась история...

— Это делалось по приказу свыше, от партруководства, — сказал Краюшкин. — А вы заметили, как сдвинуты даты — в основном на годы войны? Не случайно, пусть, мол, считают, что убиты на фронте. Такая логика!

— А что думают писатели об увековечении имен погибших коллег? — спросил журналист. — Нужен памятник, мемориал!

— Нужен, — говорю, — но какой? Уже собирались, обсуждали. В Доме литераторов висит мемориальная доска в память о тех писателях, кто погиб на войне, — семьдесят имен. Предложили повесить такую же доску с именами репрессированных. Но ведь места не хватит, все стены будут исписаны — и внутри и снаружи... А там — кафе, ресторан...

— Проблема, — усмехнулся Краюшкин. — Но мертвые, как говорят, сраму не имут. А вот что делать с живыми? Ведь наш архив не академическое собрание, а минное поле, он взрывоопасен, он тысячами нитей связан с сегодняшней жизнью. Ну вот вы публикуете фамилию какого-нибудь сотрудника НКВД — палача. И подделом ему — он заслужил бесчестье. Но вы представьте себе его родных. Вдруг оказывается, что любимый дедушка, почетный человек, орденносец, имя которого произносилось в семье с гордостью, был учителем и убийцей. Каково принять такую правду детям, внукам? Ведь бесчестье ложится на всю семью! И сколько таких случаев! Взрывается мина замедленного действия, и от нее страдают ни в чем не повинные люди.

— У меня был другой случай, — вспоминаю я. — Прихожу к вам в архив, а мне говорят: мы передаем вдове писателя Н. рукописи ее мужа, случайно сохранились в деле, посмотрите, может быть, там есть что-то ценное для литературы. Открываю папку — а там переписка этого писателя с любовницей... И я сразу увидел его вдову: как она, больная, старая, приходит, с трепетом берет эти листки, читает... Что с ней будет?! Нет, говорю, не давайте это, не показывайте!..

— Но вы же сами требуете: откройте архивы, отмените цензуру! — смеется Краюшкин.

— Для таких случаев закройте архивы! Введите цензуру! Есть личная тайна человека, принадлежащая ему одному. И есть безопасность личная, кроме государственной...

За окнами машины мелькают пригородные дачи. Свернули с шоссе на боковую дорогу и минут через десять стали. Вот и Бутово. Крепкая крашеная ограда, ворота с проходной будкой, из которой сразу вышел к машине какой-то человек. Как оказалось, это еще не то Бутово, в которое мы ехали. Здесь размещается дачный поселок КГБ, человек, ожидавший нас, — провожатый. За ним-то мы и заезжали.

То Бутово, которое нам было нужно, находилось чуть дальше, по другую сторону дороги. Опять забор, но потемневший, обветшалый, покосившийся. Откуда ни возьмись появился сторож — в довольно затрапезном виде, в линялом тренировочном костюмчике, вклокоченный и небритый. Почему-то совсем не помню, как мы проникли за этот забор, помню, что не сразу и не просто — чуть ли не раскручивали какую-то проволоку, скреплявшую калитку, или раздвигали доски, — хорошо отпечаталось в сознании несоответствие

ожидаемого и увиденного, трагической значительности места и будничного бесхозного запустения.

Мы оказались в большом, пронизанном солнцем саду. Ряды приземистых яблонь, развесистых, с тяжелыми ветвями, полными румяных, спелых плодов, уходили в даль, казалось, бесконечную. Двинулись в глубь сада по неровной, поросшей травой земле. Заработала видеокамера американцев, сопровождаемая голосом нашего попутчика — журналиста:

— Здесь, под нами, в этой земле, на которой вырос такой роскошный сад, лежат десятки тысяч расстрелянных людей. Сюда в самый пик репрессий из разных тюрем Москвы привозили в закрытых фургонах приговоренных. Расстрельные команды работали в страшной спешке, день и ночь, под заглушающий шум моторов. Выстраивали людей рядами над вырытым заранее рвом — в последний раз взглянуть на белый свет — и палили... Заполнив яму, забрасывали землей и готовили другую... Я опрашивал местных жителей, стариков, разыскивал свидетелей. Не хотят говорить, вспоминать об этом, да и боятся до сих пор. Но кое-что все-таки удалось узнать. Рассказывают, что вон там, направо, стоял домик, где отдыхала расстрельная команда, хранилось оружие. Это были конченные люди. Накачивались спиртом и все равно недолго выдерживали. Говорят, некоторые сходили с ума, были случаи самоубийства. Их регулярно заменяли свежими силами...

Водила своим глазом камера. Звучал нервный, с хрипотцой голос журналиста, но первоначальный напор его слабел, а слова все более казались ненужными, лишними.

Мы застыли в середине сада, окруженные со всех сторон его ослепительными плодами. Дальше идти не хотелось. Американцы, поначалу улыбчивые и шумные, примолкли, помрачнели. Изредка сад словно вздыхал — от порывов ветра качались ветви, срывались и кружились пожухлые листья, шелестела листва.

— Бутово — одно из самых страшных мест на нашей земле, — сказал журналист. — Но сколько еще таких! И нет на них ни памятников, ни вечного огня...

Съемки закончились. Мы уже собирались уходить, когда журналист вдруг сорвал с дерева яблоко и протянул американскому коллеге:

— Вот, возьмите на память.

Американец протянул руку и... тут же:

— Нет-нет, нет, не надо. Спасибо.

Журналист, смутившись, неловко положил яблоко на землю. Всем стало не по себе. Я взглянул на Краюшкина. Лицо его было каменным. Он что-то тихо сказал, я не расслышал.

— Что-что?

— Несчастливая страна...

### Лев Толстой на Лубянке

«Не могу молчать! — поднял свой голос великий Толстой, когда царское правительство приговаривало к смертной казни террористов-революционеров. — И происходит это в России, в России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни...»

Толстой напоминал, что в 80-х годах по всей России был только один палач, а теперь число их растет с каждым днем. Речь шла о терроре контрреволюции в ответ на террор революции — разбойные нападения крестьян на помещиков, покушения на представителей власти.

«Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду...» — заявляет Толстой. И требует, чтобы власти или прекратили убийства, или же казнили и его самого, как «тех легкомысленных озлобленных людей, которые начали насильническую борьбу». И вывод, обращенный к власти: «...участвуя в этих ужасных преступлениях, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняя внутрь».

Статья Толстого потрясла мир — была перепечатана всюду. Царская власть ответила на это громогласное выступление молчанием. Зато революционеры — те, чью жизнь защищал писатель, — не молчали. В том же 1908 году Владимир Ульянов-Ленин опубликовал свою статью «Лев Толстой, как зеркало русской революции», в которой не церемонился с классиком, называл его «помещиком, юродствующим во Христе», «смешным» пророком, «открывшим новые рецепты спасения человечества», утопистом и реакционером.

Так одним росчерком пера вождь пролетарской революции разделался с теми общечеловеческими, вечными христианскими ценностями, носителем и защитником которых был Толстой. Чем же тот не устраивал Ленина? Да как раз гуманизмом, призывом к милосердию, защитой данного Богом права человека жить независимо от того, революционер он или контрреволюционер. По существу, в двух этих статьях — Толстого и Ленина — ясно выражены две диаметрально противоположные философии: писатель видит корень зла внутри человека, а политик — вне его, в других людях, которые, таким образом, превращаются в смертельных врагов.

Увы, для будущего России Ленин оказался большим пророком, чем Толстой. Через десять лет в стране восторжествовало ленинское учение, а учение Толстого, как и предсказывал его оппонент, «лишилось всякого практического смысла». Террор революции оказался несоизмеримым с террором контрреволюции — и по количеству жертв, и по числу палачей. В такой России Толстой просто невыносим, он с ней несовместим. И жизни он в годы большевистского правления, не избежать ему карающего меча ЧК.

Но на Лубянке Толстой все же побывал — посмертно. Были репрессированы его дочь Александра, почти все ученики, сторонники его учения, — толстовцы. И слово великого писателя тоже, как оказалось, угодило в тюремный застенок...

Январь 1991 года. Глубинка России — Чувашия, город Чебоксары. Местное управление КГБ. Сотрудник комитета просматривает старое архивное дело некоего Почуева. Обычная папка и дело, конечно, дутое, сфабрикованное, как и тысячи других. В конце папки вклеен пакет, из которого ничего не подозревающий кагэбист извлекает какой-то потертый, серый конвертик, а из него — листок тонкой папиросной бумаги с машинописным текстом. И глазам своим не верит: «14 декабря 1909 г. Ясная Поляна...» — а внизу крупным, размашистым почерком — подпись от руки: «Лев Толстой»!..

Тут же летит сообщение высшему начальству в Москву, а вслед за тем и само дело: Лубянка хочет удостовериться собственными глазами. Так письмо попадает в руки антитройки — Краюшкин показывает его мне с нескрываемым ликованием. Через несколько дней, сверив подпись писателя и его правку, сделанную в письме, с известными автографами, убеждаемся: ошибки нет, и в самом деле — Толстой.

Кто же такой этот Почуев и каким образом толстовское слово попало в его следственное дело? Это как раз один из тех революционеров, чьи жизни защищал в свое время писатель. В 1909 году он был сослан на Урал, в Оренбург, за участие в восстании против царского правительства и работал там школьным учителем. И обратился он оттуда к яснополянскому мудрецу с вечным вопросом, с каким обращалось к тому множество русских людей: как жить, в чем состоит главная цель жизни? Вот что ответил Толстой:

«Николай Александрович, ничего не могу сказать вам такого, чего бы я не сказал в моих книгах, из которых некоторые посылаю вам.

К вашему же положению относится преимущественно то, что вы найдете в книгах «На Каждый День» в отделах: 28 авг. и июля и 27 июня. Думаю, что если человек положит главную цель своей жизни в нравственном совершенствовании (не в служении людям, а в нравственном совершенствовании, последствием которого всегда бывает служение людям), то никакие внешние условия не могут мешать ему в достижении поставленной цели. Таков мой ответ на ваш вопрос. Что же касается до улучшения вашего материального по-



ложения, то я советовал бы вам описать, если это вам не тяжело, — свою жизнь, как можно правдивее. Рассказ о том, что приходится переживать молодым, освободившимся от суеверий людям из народа, очень мог бы быть поучителен для многих. Я знаю редакторов, которые с радостью поместят в своих изданиях такого рода рассказ, само собой разумеется, если он будет хорошо написан, и хорошо заплатят за него.

Лев Толстой».

Книги «На Каждый День», о которых упоминается в письме, — сборник афоризмов и притч, составленный Толстым из произведений мыслителей разных времен и народов и собственных писаний. По замыслу Толстого, это настольная книга для всякого, кто ищет смысл жизни, «Круг чтения» — на каждый день года, и читать ее следует не как обычную книгу, а постепенно, день за днем постигая заключенную в ней мудрость. Открыв книгу в тех местах, на которые указал Толстой, молодой учитель из Оренбурга мог извлечь для себя программу жизни, которую заповедал ему писатель. Лейтмотив ее — христианская вера, покаяние и нравственное совершенствование как избавление от зла, царящего в мире и в человеке. Другими словами, Толстой предостерегал своего адресата от революции, указывая на эволюцию как на естественный путь развития человеческой истории.

Совет Толстого услышан не был — об этом говорит дальнейшая судьба Николая Почуева, какой она предстает из материалов его следственного дела. И тут он не одинок — сколько таких выходцев из народа в интеллигентные не вняли заветам Толстого, а пошли по более соблазнительному и легкому пути, указанному Лениным, вынеся зло за скобки собственной личности! Это был путь не внутренней, а внешней, иллюзорной свободы, при которой человек оставался рабом, что и доказала советская история.

Лев Толстой Почуева не убедил. Отбив ссылку и вернувшись в родные места, в Чувашию, тот снова ринулся в революцию. Он вожак группы социал-демократов, известной нашим историкам своим письмом-обращением к Ленину. Поиск истины привел к другому учителю.

И после Октября он — в авангарде строителей социализма. Первым вступил в колхоз. Портрет его как видного революционера Чувашии был выставлен в республиканском музее.

До 1937 года... когда его настигла «награда» за преданное служение делу Ленина: тройка НКВД приговорила его к десяти годам лагерей. Оттуда он не вернулся... Революция пожирает своих детей. Зло порождает зло, враг порождает врага — круговорот взаимного уничтожения.

Вместе с Почуевым среди других бумаг было арестовано и письмо Толстого. Как видно, органы оно совершенно не заинтересовало, в следственном деле о нем нет ни слова. «Лишено всякого практического смысла»... Письмо классика бесследно исчезает в архиве — до наших дней, пока случай не извлек его из забвения.

Современники не услышали Толстого. Услышим ли мы его теперь?

*(Окончание следует.)*



---

---

# ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

\*

## ДВА ПРОВОЗВЕСТНИКА

*Заметки*

**У**топию надо толковать расширительно: это не только общественный идеализм, это желание жить. Глубоко осознанное желание в отличие от желания биологического. Где кончается реализм, где начинается утопия — никто не знает и знать не должен. Мысль как таковая не дает для этого никаких оснований.

Без утопии не было бы и всего того, что мы называем идеями, идейностью и духовностью. Утопии различаются между собой не столько идеями — все они возникают, как правило, из идей высоких и высочайших, — сколько теми средствами, которые утопист принимает для достижения своих целей: насильственные эти средства или ненасильственные.

Нет ничего более сомнительного, чем, во-первых, глобальная, а во-вторых, насильственная утопия, но сомнения утопии как раз не свойственны, они для нее разрушительны.

С другой стороны, утопия без малейших сомнений — это зло мира.

Идея в сомнениях, и она же несомненная, — в этом пункте было сосредоточено творчество Достоевского, но здесь же со всей очевидностью возник Ленин.

Достоевский был глубоко убежден в том, что Европа не нынче, так завтра же постучится к России и будет требовать, чтобы мы шли спасать ее от нее самой. От ее бесчеловечной цивилизации, от ее меркантилизма и безверия.

Ленин был убежден в том же, но иначе: Россия принесет Европе, а затем и миру социализм — высшее из всех возможных благ.

Еще раньше славянофилы назвали свой главный принцип: каждый народ имеет божественное предназначение, и дело в том, чтобы это предназначение открыть в самих себе, открыть и исполнить. Для России славянофилы это предназначение открыли: Россия — хранительница истинной веры. Вера прежде всего, ну а потом уже и все остальное.

\* \* \*

Может быть, в истории России (и не только России?) не было столь же разительного примера столкновения крайностей мышления: Достоевский — Ленин? А может быть, нынешняя наша сумбурная действительность — следствие все того же столкновения?

\* \* \*

Достоевский жил во времена, когда мыслящая Россия мучительно пыталась предугадать свое будущее. Больше того — Достоевский был одним из самых активных политических создателей этого времени и воспринимал политику глубже, чем она того заслуживает, и личностнее, и болезненнее, чем Ленин. «Мы, петрашевцы, — писал Достоевский, — стояли на эшафоте и выслушива-

ли наш приговор (смертная казнь. — С. З.) без малейшего раскаяния». Это было «чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится!»

Разве Ленин, политик из политиков, мог сказать о себе что-либо подобное?

\* \* \*

Достоевский пытался угадать будущий социалистический (то есть соцполитический) реализм. Со временем, предав своего зачинателя анафеме, соцреализм стал не чем иным, как тщедушным его отпрыском. Тщедушие, правда, никогда никому не мешало быть гордым, вот и соцреализм объявил себя родоначальником небывало новой литературы, новых взглядов на искусство в целом, на литературу прежде всего. Ну а затем и на всю остальную жизнь, сколько ее есть.

Если Достоевский действительно умел вознести политику в мир художественной литературы, то соцреализм не смог ничего другого, как низвести литературу до политики. Текущей. Он сделал это в полном соответствии с заветами Ильича, но и не без участия Достоевского.

\* \* \*

Спустя двадцать пять лет со времени знаменитой речи Достоевского у памятника Пушкину, и те же двадцать пять со времени его смерти, Достоевского изобличают публично, как, вероятно, никто никогда не изобличал никакого другого классика. И кто же это сделал в 1906 году? Кто устроил судилище? Судьями были его искренние почитатели, люди, которые всю жизнь поклонялись Достоевскому-художнику. Мережковский здесь должен быть назван, и Розанов, и Шестов.

\* \* \*

Мережковский о Достоевском:

...пророк русской революции,

...он (Достоевский) был революцией, которая притворилась реакцией,

...неужели и теперь он не отрекся бы от своей великой лжи для своей великой истины?

...русской народности поставлен вопрос уже не о первенстве, а о самом существовании среди других европейских народов.

Из Достоевского Мережковский приводит слова:

«Вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездною».

\* \* \*

Да, конечно, противоречивость творчества Достоевского необыкновенна, но дело не только в нем, дело в невероятии самой России, в ее истории, в ее мышлении, в ее надеждах и разочарованиях, в ее географии и этнографии.

Дело во всемирной истории: в древнем мире политика то и дело выходила к демосу, становилась принадлежностью городских площадей. На площадь являлась и литература — античная трагедия. Площадь не была чужда и Достоевскому, притом что сюжеты его таинственны.

В средние века политика уходила в дворцовые подполья. Войны, дворцовые перевороты потому, что они совершались втайне, становились не только, как сказали бы нынче, детективом, но и ведущей темой литературы. Что может быть увлекательнее раскрытия тайны? Тут-то и является Шекспир, продолжатель древних трагиков. «Тайны — на улицу!» — провозглашает он. Продолжение страстей по Шекспиру — это Достоевский.

\* \* \*

Время знало, что оно делало, создавая политика для политиков, политика для народов, политика для истории, политика для самого себя (время не знало, чем кончится это выдвижение). По всей вероятности, никогда не было, а может быть (дай-то Бог!), никогда и не будет человека столь же политического, каким был Ленин. Политика была его домом, его привязанностью и любовью, каждым днем его настоящего и будущего, его «от» и «до». Экономика, философия, искусство, наука — все на свете существовало для него лишь постольку, поскольку имело отношение к политике, поскольку его политика могла ими пользоваться.

Естественно, Ленин был и в той политике, которая есть не что иное, как заговор. Как заговорщик он знал, что делать сегодня, что завтра, заговор — это четкая организованность. Огромное собрание его сочинений, включая и краткие заметки, и высокие философские темы, — это протокол заговора, рано или поздно подлежащий расследованию. Почему же заговор стал учением? Потому что Ленин и не скрывал своего заговора, а сделал его всеобщим достоянием — в этом его гениальность. Другое дело, что Ленин точно знал, какую часть заговора надо сделать публицистикой для всех, какую — партийной тайной.

\* \* \*

Заговор — это ядовитый концентрат политики, политика политики и как таковой имеет неоспоримые практические преимущества.

Заговор не только самое примитивное, но и самое древнее средство борьбы, и у подавляющего большинства людей этот примитивизм в крови.

Заговор каждому понятен, а стоит назвать заговор как-то иначе (борьбой за социальную справедливость, например), он вдобавок становится и возвышенным.

Заговор может существовать сам по себе — без теорий, без вариантов, без сомнений, без проповедей. Проповедь (прежде всего принудительная) понадобится заговору тогда, когда он будет осуществлен. Тогда отпадает необходимость объяснять его общественному сознанию путем каких-то аргументов. Осуществленный заговор теряет всякую относительность, отныне он абсолют.

Заговор обладает огромным потенциалом. Пример: первый нелегальный съезд РСДРП в Минске (1898) — 9 участников от 6 крохотных конспиративных организаций, и этого оказалось достаточно, чтобы менее чем через двадцать лет свергнуть в самую большую революцию самую большую страну.

Заговорщик во всех своих противниках (в союзниках тоже) видит заговорщиков даже больших и более коварных, чем он сам.

\* \* \*

К 1917 году самодержавие изжило себя, кадеты и те это понимали. Понимали, но не знали, что делать, как поступить.

А Ленин, а заговорщики — знали.

\* \* \*

Ленин презирал, презирая, ненавидел Достоевского за то, как он изобразил революционеров, за то, что фанатик-террорист Нечаев послужил Достоевскому прототипом сразу для нескольких революционных характеров. Ленин никогда не мог простить Достоевскому Раскольникову, Верховенскому, Ставрогину, Шигалева.

\* \* \*

Никогда ни на минуту не сомневаясь в том, что он личность выдающаяся, Ленин для начала развенчал народников, которые именно на такие личности, как он, и опирались.

Ленин по природе своей был лидером, какого ни одна другая партия никогда не имела.

Ленин не только создал небывалую («нового типа») партию, но и теорию партийности, никем не превзойденную.

Эта теория была еще и теорией прагматизма XX века, побочным продуктом прагматической цивилизации. Не было такого средства борьбы за власть, не было сколько-нибудь благоприятной общественной ситуации, которые сполна не использовал бы Ленин в собственных устремлениях.

Ленин был величайшим мастером лозунга, привлекательного для масс и в наибольшей степени соответствующего обстановке дня. Ему не было равных по части политической организованности в борьбе за власть, которую он все с тем же умением поименовал властью трудящихся. В этой борьбе у него действительно не было серьезных ошибок, и люди верили, что ошибок и не будет, не должно быть, когда Ленин пусть и великими жертвами, но власти достигнет. Последовательность — неперемнное качество вождя, думали люди.

Но вот власть в его руках — что затем?

Ленин предает военный коммунизм и призывает на помощь капитализм, он вводит нэп. Он и это умел — использовать возможности поверженного врага. В невиданных масштабах осуществляет он террор, тот самый, за который лет десять назад клеймил эсеров и самодержавие.

Ленин не раз утверждал, что социализм в одной стране невозможен, что мировая революция неизбежна. Мировой не случилось — и социализм в одной стране стал возможен.

Отчаянные расхождения между словом и делом Ленин умел возвести в непреклонную линию, в линию партии. Все сводилось к тому, чтобы явился вождь, — за теорией дело не станет. Не было таких крепостей, которых не могла бы взять теория ленинизма. Не было такой практики, которую не смогла бы обосновать эта теория.

\* \* \*

Из письма Ленина членам Политбюро 19 марта 1922 года (речь идет об изъятии церковных ценностей, о возможности сопротивления этой акции): «Строго секретно. Просьба ни в коем случае копии не снимать, а каждому члену Политбюро (тов. Калинин у тоже) делать свои заметки на самом документе»;

«...я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий.

...Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше».

\* \* \*

Заговорщичество — опять-таки оно — и есть суть дела: «„реальным основанием” страха перед заговорщичеством, бланкизмом, якобинством» является «жирондистская робость буржуазного интеллигента».

\* \* \*

В начале века среди сотни-другой политэмигрантов в Швейцарии дележ власти был такой, будто речь шла о борьбе за престол. За нечто гораздо большее, чем престол.

Грубость, откровенная ругань — с того и началась ленинская партийность. «Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью». Политбюро советского времени унаследовало эти привычки, развило их до предела.

Морально павшую с ее первых дней партию удержат в предписанной программе и уставе мог только Сталин — человек, достойный Ленина. Он лучше всех усвоил манеру поведения учителя, суть его учения: в партии «должны сочетаться высшая степень сознательности с беспрекословным повиновением». В то же время «Ильич очень часто любит делать „глухое ухо“» (В. В. Воронский), то есть не слышать того, чего не хочет слышать. «Сознательность», беспрекословное повиновение, умение делать «глухое ухо» ко всему, что слышать неприятно и не ко времени, — все, кто этого не принимает, враги, противники. И, по Ленину, надо уметь «так замазать морду противника, что он ее долго не может отмыть». Если люди не верят в коммунизм, верят во что-то другое — куда с такими? Если верят в коммунизм, но не так, как нужно, — куда с такими? Если верят в коммунизм, но сами-то они не такие, какие должны верить, — куда с такими?

Таких «расстрелять!».

\* \* \*

Достоевский: жить — значит делать художественное произведение из самого себя.

Ленин: жить — это делать счастливую диктатуру пролетариата, встать во главе этого счастья.

\* \* \*

Делом Ленина было угадать, на какие действия человек способен в состоянии разумном и на какие — в безумном. В безумном — на любые, и надо называть безумие благородным и обязательным.

Именно эту «достоевщину» и поставил на свое вооружение ленинизм.

\* \* \*

К началу XX века история накопила великое множество пословиц, а также всякого рода высказываний выдающихся русских умов о России, о русских.

К. Скальковский в 1904 году издал сборничек «Маленькая хрестоматия. Мнения русских о самих себе» (переиздан в 1992 году в Санкт-Петербурге). Материала столько, что составитель счел необходимым классифицировать его по разделам: «Народ», «Страна», «Патриотизм», «Законодательство, юстиция», «Прогресс, реформы», «Печать, журналистика, гласность, цензура» и т. д.

\* \* \*

«Московские люди землю сеют рожью, а живут ложью» (И. Хворостинин).

«Мы растем, но не зреем, идем вперед, но по какому-то косвенному направлению, не ведущему к цели» (П. Чаадаев).

«Русский коммунизм есть исконное разрушительное начало русского народа, есть растрата природных богатств его страны, растрата природных богатств его природы. Излечиться от него можно только вольным трудом и твердым правом собственности» (С. Сыромятников).

И Русь помешалась на том:  
Нельзя ли земного блаженства  
Достигнуть обратным путем...

(Н. Некрасов)

«„О, душою я до сих пор русский!“ — воскликнул он и в доказательство произнес несколько неупотребительных в печати выражений» (М. Салтыков-Щедрин).

«Ныне кто не крадет, почитается дураком» (Ф. Растопчин).

«Думал о наших правителях. Все невежды. Махина держится тяжестью» (М. Погодин).

«Вообще у нас как-то более заботятся о перемене названий и имен, нежели о сущности дела» (Н. Гоголь).

«С представлением о комиссии неизбежно сопрягается представление о пререканиях. Одному нравится арбуз, другому — свиной хрящик» (М. Салтыков-Щедрин).

«В творениях нашего официального многословия нет места для истины» (П. Валуев).

«Общество притеснительнее правительства» (Т. Грановский).

«Три типичные черты характеризуют так называемое общественное мнение: беспочвенность, нетерпимость чужих мнений и самомнение» (В. Мещерский).

«Связываться с некоторыми из наших самозванцев-критиков, не знающих никакого приличия, — то же, что бороться с пьяным, который весь в грязи: только замараешься» (В. Жуковский).

«Везде преобладает у нас стремление сеять добро силою» (П. Валуев).

«Нигилисты явились у нас потому, что мы все нигилисты» (Ф. Достоевский).

И т. д.

Как это понять? Понималось по-разному:

а) можно гордиться: только великий народ может позволить себе подобное самооплевывание. На то мы и великие;

б) это не что иное, как признак скорой гибели;

в) народ великий, но больно уж глуп.

Да, весьма сомнительно, чтобы еще какой-то народ с таким же энтузиазмом занимался самоосмеянием. Деяния человечества на планете Земля давно уже вызывают сомнения у любого народа, но нигде сомнения эти не выражены так остро, как в России.

Оба наших провозвестника на этих изречениях возрастали, но удивительно, что одна и та же почва порождала такие разности: могла способствовать художникам слова, но и укрепить сознание нигилистов-утопистов-радикалов тоже могла.

\* \* \*

Пушкин — кумир, божество Достоевского. Пушкин был природно гармоничен, иначе говоря, он без колебаний опознавал добро и зло. Он знал, что такое хорошо, а что такое плохо. Достоевский посвятил этому узнаванию всю свою жизнь.

И это потому, что за промежуток времени от «Бориса Годунова» и «Мозарта и Сальери» до «Преступления и наказания» и «Бесов» Россия действительно стала едва ли не самой сомневающейся страной в мире.

Разве мог сказать Пушкин то, что говорил Достоевский: «Путаница понятий наших об добре и зле (цивилизованных людей. — С. З.) превосходит всякое вероятие». Именно этой «путанице» Достоевский и посвятил свое искусство.

Пушкин еще не знал, что за материальные блага цивилизация будет расплачиваться ценностями духовными.

Толстой, начав по-пушкински, тоже ведь засомневался, оставил писать романы и повести и перешел к публицистике и пропаганде.

Ленин, житель толстовского времени, о сомнениях своей страны зная прекрасно, отбросил их как нечто непотребное, не заслуживающее его пророческого внимания.

\* \* \*

Незадолго до убийства старухи процентщицы Раскольников написал статью, в которой доказывал: необыкновенные люди не только могут, но и должны преступить закон ради идеи, спасительной для всего человечества.

Убийство совершено, Раскольников снова с иступлением утверждает «спасительность» этой идеи. Когда-то еще он покается?

Убийство было совершено в «двух разрядах» — ради социальной справедливости и ради собственной выгоды.

Так и так получалось: не убить нельзя! Объяснение для самого себя, для матери, для сестры, для невесты, для следователя.

На деле же «два разряда» одного убийства — это не более чем изощренный эгоизм, корысть и цинизм. Тот цинизм, который претворяет убийц в добрых разбойников, потом в народных героев, еще позже в благородных чекистов и в безупречное Политбюро с расстрельными протоколами, с постановлениями о ГУЛАГах, о репатриациях народов с Кавказа в Сибирь, о космополитах...

Ленин научил свою партию использовать эту аберрацию. Хорошо научил.

Уж не потому ли Достоевский был для Ленина «скверным» писателем, что аберрация эта была Достоевскому чужда?

\* \* \*

Мать Родиона Раскольникова говорит сыну: «Полно, Родя, я уверена, все, что ты делаешь, — все прекрасно!»

А разве не в духе матери Ленина было сказать своим деткам: «Полно, Саша, полно, Володя (Маша, Аня, Дима), я уверена, все, что вы делаете, все прекрасно»?! Она так им и говорила.

\* \* \*

Достоевский о Раскольникове: «...он был молод, отвлечен и, стало быть, жесток». Опять-таки вполне применительно к Саше, Володе, ко всем братьям и сестрам Ульяновым.

\* \* \*

В Париже, в музее-квартире Ленина — Крупской, для обозрения лежит письмо — Ленин пишет, чтобы мать не присылала им с Надей денег, не отрывала от своей пенсии. Они с Надей подрабатывают, им хватает.

Мать казненного цареубийцы Александра, ссыльного Владимира Ульянова, поднадзорных Марии, Анны, Дмитрия готова помогать детям. Это естественно. Но дело еще и в том, что царское правительство (безусловно, жестокое) семейным анкетам значения не придавало, выплачивало старушке положенную пенсию, которой можно поделиться с детьми.

Когда Ленин будет председательствовать на заседаниях ПБ, он об этом не вспомнит.

За призыв к свержению правительства без применения оружия суд мог дать максимум восемь лет. За всю предреволюционную историю большевиков таких случаев было раз-два и обчелся. Давали два-три года. Три года шушенской ссылки — это считалось очень серьезно.

Об этом ленинский ЦК, переживший все жестокости самодержавия, тоже не вспомнит.

\* \* \*

Антиприродность (надприродность) человечества, коммунизма в частности, выражена еще и в том, что свое будущее оно планирует независимо от законов природы, но в соответствии с сиюминутными представлениями о себе и об окружающем мире. Собственные потребности — вот закон всех наших законов.

Прогресс — это прогрессивное увеличение все тех же потребностей. Коммунизм начинает не с создания, а с перераспределения материальных ценностей, притом это перераспределение требует больших и природных и человеческих ресурсов, чем их создание. В процессе перераспределения забывается,



что богатство в руках нищих — это хуже, это расточительнее, чем в руках богатых.

Конечно, примириться с несправедливостью раз и навсегда нельзя, но на то и природа, на то и природа вещей, чтобы считаться с нею всегда и везде, не исключая проблем социальных.

\* \* \*

Вот уже лет двести — триста, начиная чуть ли не с Петра Первого, даже раньше, лишь с краткими перекурами, Россия, при своем-то консерватизме, при своей застойности, только и делает, что перестраивается. Опыт Европы нам нипочем, последовательность перестроечных мероприятий — нипочем, с революциями опаздываем больше чем на век и тогда наверстываем, но опять-таки — по Чаадаеву: идем вперед по какому-то косвенному пути, не ведущему к цели.

Весь мир насилья мы разрушим  
До основанья, а затем  
Мы наш, мы новый мир построим,  
Кто был ничем, тот станет всем.

Интернационал пришел к нам с Запада. Но там побаловались и бросили. Ленин же всерьез заимствовал у Запада не столько культуру, сколько отбросы культуры, то, что шло там на свалку (привычка сохранилась у нас по сей день).

И это при том, что в 1891 году, в год своей смерти, Константин Леонтьев предупреждал: России не миновать социализма, но это не вся беда, вся будет при выходе России из социализма.

\* \* \*

Еще ни одна теория познания, даже самая современная, ни одно гносеологическое открытие, ни одна политика не открыли в нас чего-то принципиально нового, таких мыслительных, нравственных и духовных качеств, которые в свое время не обнаружили бы в человеке Библия, Коран, Конфуций, Будда, Магомет.

И как это они сумели? Без инструментария и лабораторного оборудования, без библиотечных каталогов, без институтов общественного мнения, без компьютеров? Без служб информации, которые связывают между собой исследователей в различных точках земного шара? Науки, всесторонне развиваясь, пришли к выводам, исходным для религий: судьба человечества зависит от тех нравственных основ, которыми дано обладать человеку. Выдающийся гуманист, ученый и музыкант Альберт Швейцер так и сказал: сущность религий — этика.

Этика должна быть одной для всех независимо от своего происхождения — научного, религиозного или бытийного. Вот где действительно требуется единство!

\* \* \*

Владимир Иванович Вернадский, по-ньютоновски гениальный человек, обдал этим единством. Он и стал пророком ноосферы, эпохи, когда человеческий разум наконец-то выйдет на уровень процесса природно-космического, сольется с ним, прежде всего — с процессом геологическим. А тогда и осуществится создание мощного культурного слоя, почвогрунта. Такого, на котором может и дальше произрастать человечество — человечество, вновь вернувшееся к природе, отбросившее свою над- и антиприродность.

Могут ли быть у науки возражения против варианта Вернадского? Другое дело, что и тут не обходится без сомнений — «возможно ли?».

Доживи утопист-нигилист Ленин до этого понятия — «ноосфера», он безотлагательно поручил бы дело председателю первой в мире плановой комис-

сии товарищу Глебу Максимилиановичу Кржижановскому, инженеру с дореволюционным партийным стажем.

И вообще Ленин тотчас зачислил бы ноосферу по ведомству большевизма-коммунизма. Продолжая дело Ленина, Сталин перепоручил бы ее Лаврентию Берии, ведь Берия уже был главным исполнителем великого сталинского плана преобразования природы. Без бериевских ГУЛАГов — какие в пятилетках могли быть планы?

\* \* \*

Нынешний некоммунизм объявляет себя ненасильственным — он мирный, он за ленинизм в самой его что ни есть (небывалой?) чистоте, он — единственный, кто голову готов положить за интересы трудящихся.

Что за привилегия? Существует ли какая-то партия, которая объявила бы, что она — против интересов трудящихся?

Исключим из ленинизма насилие — что от него останется? Тот меньшевизм, который Ленин сначала осмеял, а потом расстрелял (заодно с «попами»)? Если нынешние коммунисты отрекаются от насилия, тогда они перестают быть ленинцами, тогда они ненавистные Ленину плехановцы и бернштейнианцы. Тогда они и в «Бесах» должны увидеть себе предостережение. Но они идут по ленинскому пути: инсценируют мир, готовясь к войне.

Мирный коммунизм невозможен, это доказали Маркс и Энгельс теоретически, Ленин и Сталин — практически.

\* \* \*

Может быть так: для нашего спасения нам необходим не столько прорыв в космос, сколько возвращение к истинам, известным человечеству на заре его существования. Достоевский это знал, но и у него дело не сложилось с государством-Церковью.

Однако же сомнения Достоевского углубляют наше духовное существование. Без Ленина нам было бы лучше (сколько бы жизней сохранилось!), без Достоевского и нам было бы хуже, и мы были бы хуже.

Ленин нас обеднил, сузил наши и без того не бог весть какие масштабные представления о самих себе. В ленинизме антиприродность человека реализуется едва ли не полностью.

Достоевский нас обогатил, на руках его крови нет и не могло быть. А этого-то «не могло» нам и не хватает.

\* \* \*

В то же время это было бы не по Достоевскому — в Достоевском не засомневаться.

\* \* \*

Если каждый человек — уже целый мир, а в потенциале и Человекобог, если до Человекобога осталось два шага, одно-два испытания и страдания, тогда проблема решается просто: нужно обо всем мире, обо всей природе забыть, но эти два шага во что бы то ни стало сделать. Но в том-то и дело, что между нами и нашими идеалами — огромные пространства и времена.

По Ленину: если Истина — это марксизм, так мы к марксизму ближе, чем Маркс.

\* \* \*

По Достоевскому, мы знаем о себе, что мы ближе всех к Богу. Да останется ли Бог Богом без нас, без русских? Ему без нас, пожалуй, придется перестраиваться?! Мы Его дети и, как дети, в Него верим, то и дело вверяем Ему свою судьбу.

По Толстому: если Бог есть Истина, так мы, наш русский мужик, к этой Истине ближе всех.

По Ленину же: если Истина — это коммунизм, то кому-кому, а русскому пролетарию, подвергающемуся столь жестокой эксплуатации, сосредоточенному на таких крупных заводах, как заводы петербургские, екатеринбургские и екатеринославские, эта истина сама идет в руки. Все дело в том, чтобы не пропустить момент! В том, чтобы пролетариат незамедлительно приобрел вождя.

Задумаешься: какую роль в истории России сыграла ее предполагаемая близость к Истине? Кажущаяся или действительная близость — решающего значения в данном случае не имеет. Какую роль сыграл момент хотя бы только кажущийся, но уже исторический?

\* \* \*

России суждено многократно начинать с нуля. Однако, чтобы начать с нуля, все равно надо заявить себя чьим-нибудь последователем (не так важно — чьим). Как никто другой подходил для нигилиста Ленина Карл Маркс. С приходом Ленина к власти ему пригодился Герберт Уэллс: фантаст, а на Западе к нему прислушивались больше, чем к реалистам. И Ленин вещал:

«Государство есть продукт непримиримости классовых противоречий...» («Государство и революция»);

«Советская власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся и потому — верный, и потому — непобедимый»;

«Советы рабочих депутатов — есть единственно возможная форма революционного правительства».

Ленин точно знал, что есть что.

Мережковский и Достоевский тоже прочили Западу пролетарскую революцию и диктатуру пролетариата. Диктатуру, раз и навсегда чуждую крестьянской России. Но то была не более чем теория, пока Ленин не учинил в России реальную диктатуру (как он утверждал — пролетариата). Учинив, подогнал под мероприятие Россию крестьянскую.

Ленин был гениальным мастером объяснять, что есть что сегодня, что есть то, что создается им самим (им неизменно создается счастье народа). Объяснять настолько убедительно, что созданное по Ленину государство просуществовало еще чуть ли не семьдесят лет после его смерти. И не только просуществовало, но и вовлекло в свои идеи около трети человечества — больше, чем любая из религий.

\* \* \*

Наша изошренно-цивилизованная мысль грозитя кончить самоубийством, если не найдет необходимых ей доказательств своего величия. Но это фарисейство, она давно знает, что таких доказательств у нее нет и никогда не будет, так же как нет у нее доказательств того, что человек — необходимая часть природы. Мысль не вспомнит своего происхождения, потому что всякое происхождение есть тайна изначальная. Никто из нас не помнит, как он родился на этот свет, никто не помнит своего младенчества, по крайней мере до двух-трехлетнего возраста. Дети в доказательствах своего происхождения ничуть не нуждаются.

Уж не потому ли глаза у детей бывают умнее, чем у взрослых?

Ленину детей Бог не дал...

\* \* \*

Вопреки самой природе мысли не было, кажется, случая, чтобы Ленин когда-либо не доказал того, что он захотел доказать. Принятая для этого процессуальная метода: 1) он изолировал предмет доказательств от всей остальной действительности, от фактов и связей, которые могли бы его затруднить. Таким образом, предмет уже был обречен на то истолкование, которое определил ему Ленин; 2) процессу истолкования придается такая энергия, такая прямолинейность, что процесс этот начинает доминировать над конечным выво-

дом, вывод теряет свой главенствующий смысл. Был ли это расстрельный протокол, или объявление войны Польше, или тезис о том, что коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны, или опровержение философии Канта, поскольку Кант не был ни коммунистом, ни даже материалистом, значения не имело; 3) людям надо обещать счастье.

Такого рода обещания — великий блуд, ни религия, ни искусство, ни серьезная наука не рискуют этим блудом скомпрометировать себя, но для политики это лакомый кусок. Пусть это и примитивно рядом с сомнениями, свойственными мысли человека.

Другое дело, что всему, и сомнению тоже, есть предел и мера, — Достоевский этого предела достиг. Попытки перешагнуть его отдают то ли бахвальством, то ли сумасшествием.

\* \* \*

Религия задолго до становления науки усвоила Целое, от которого она шла к частностям — к человеку, к живому существу, к любому предмету. Шла как к части Целого.

Потому-то без религий народы и не обходились — им нужна была мысль о мире в целом. Наука опоздала, когда она явилась. Целое уже принадлежало религии, а науке достались частности — отдельные предметы, отдельные отрасли знания, отдельные явления и процессы. Что же касается Целого, оно остается неподвластным науке. Неподвластным, но желанным. Насколько обоснована претензия? Наука воспринимает Целое как сумму — сумму бесконечно малых, сумму как равнодействующую, сумму как конечный итог и даже как итог бесконечный. Что бы представляла собой наука без понятия суммы? Ее попросту не было бы. Сумма для науки — это прагматическая имитация Целого, но имитация эта не дает представления о будущем, поскольку будущее нельзя сконструировать без участия Целого, разве только по Ленину. Это было соблазнительно, и ленинизму присвоено было прилагательное «научный».

\* \* \*

Ближайшее к человеку Целое, зримое, слышимое, осязаемое, обоняемое и осмысливаемое, — это природа, но природоведение в XIX веке тоже оказалось расчлененным на необозримое число научных отраслей, возможность объединения которых становится все менее вероятной.

Да, были случаи, когда наука охватывала если уж не природу в целом, так важнейшие процессы, в ней происходящие, был Ньютон, был Дарвин, был Вернадский, но не дальше этого. А «дальше»-то и есть истинный смысл.

\* \* \*

В разнотение мира религией и наукой вклинивается искусство. Оно отображает качества частности, но одновременно ищет связи между этой частностью и Целым.

Бог как Целое для Достоевского есть — независимо от того, есть Он или Его нет. При этом он готов и на парадокс: «Если Бога нет, то какой же я после того капитан?» — спрашивает Лебядкин в «Бесах».

Достоевский не мог позволить себе существование без представлений о Целом (с большой буквы).

\* \* \*

Ленин и не ставил вопроса о том, что такое человек. Человек в природе и во вселенной. Его мышление: человек пребывает в классовом обществе. Нехорошо — сделаем общество бесклассовым, то есть райским. Таково его «един-

ственно правильное учение». Оно-то и призвано преодолеть все противоречия, свойственные человечеству.

Историю еще можно было бы понять, если бы она произвела на свет этих людей в обратном порядке: сначала Ленина, потом Достоевского.

Обратного порядка не было, и Ленин высмеивает «достоевщину»: «На эту дрянь у меня нет... времени». Он прочел «Записки из Мертвого дома», «Преступление и наказание», а «Бесов» и «Братьев Карамазовых» читать не стал: «Содержание сих... пахучих произведений мне известно, для меня этого предостаточно. «Братьев Карамазовых» начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило. Что же касается «Бесов» — это явно реакционная гадость...»

По поводу Раскольниковова: «Все позволено! Вот мы и приехали к сентиментам и словечкам хлюпкого интеллигента, желающего топить партийные и революционные вопросы в морализирующей блевотине. Да о каком Раскольникове вы говорите? О том, который прихлопнул старую стерву-ростовщицу, или о том, который потом на базаре в покаянном кликушестве лбом все хлопался о землю?..»

И еще: «Волю класса иногда осуществляет диктатор, который один более сделает и более необходим».

\* \* \*

Если множество, если масса людей во всем приравнивается к одному «передовому» человеку — вопрос о свободе личности в обществе, о равенстве и братстве попросту отпадает. (Так — по Ленину.)

Если каждый человек будет существовать как бы за все человечество, жить мыслями и заботами человечества — тем самым проблемы свободы, равенства, братства решаются сами собой. (Так — по Достоевскому.)

Ни то, ни другое неисполнимо в реальной действительности, но различие в том, что один, несмотря ни на что, исполняет неисполнимое, а другой только мыслит о неисполнимом. Один из них — утопист-нигилист, он знает, что начинать надо с разрушения («до основанья, а затем...»), другой — утопист сурово сомневающийся, и разрушение — не для него.

\* \* \*

В октябре 1917 года Ленин столкнул Россию с ее орбиты (у каждого народа на этой планете своя орбита, своя ось вращения). Ленин исполнил роль Архимеда, притом создавшего искусственную точку опоры для самого себя.

Сегодня Россия еще более послеоктябрьская, чем в ноябре семнадцатого: ведь за минувшие семьдесят семь лет накапливались и накапливались последствия Великой Октябрьской.

Искусственно созданная искусственным Архимедом точка опоры не могла не быть временной, а накопление временности в течение семидесяти семи лет не могло не быть губительным.

И мы все еще живем во власти временности, без постоянных величин, и у нас все нет и нет собственной орбиты, только зигзагообразная кривая. И равнодействующей тоже нет — есть переменные составляющие.

Страна жаждет постоянных величин, потому что она — все еще жизнь, все еще живое вещество, все еще биология, пусть и подвергшаяся эксперименту. Этот эксперимент — испытание биологии на прочность: какое давление она, биология, способна выдержать? какую скорость перемен? какие химикаты? какие инфекции? какие кровопролития? какой упадок сил? какую экологию? какую преступность? какую новоявленную ложь?

Вот вопросы, к которым, думается, нынче свелись столь знаменитые «Вопросы ленинизма».

Помнится, помнится эта книга, выдающийся труд товарища Сталина в строго казенном оформлении. Что там можно было придумать-то художникам-оформителям? Страшно им было хоть что-то придумать.

\* \* \*

У каждого писателя свое собственное настроение письма, оно улавливается в интонации, в явственной громкости или же в шепоте, в облике фразы — в ее энергетике, в протяженности, в пристрастиях автора к тем или иным словам, к тем или иным частям речи — к прилагательным или к глаголам, к словам жаргона или к анахронизмам. Фраза тоже существует во времени и пространстве, она тоже часть Целого, а соотношение в ней между тем и другим — это тоже авторство.

Многие качества фразы вообще неуловимы, необозначимы, потому что обозначение слова словами свойственно толковым словарям, но для письма художественного дело рискованное.

Писатель — что он напишет без настроения?

Можно ли без настроения любить? А творчество — та же любовь. Если писатель пишет в ненависти к кому-то или к чему-то, не охвачен ли он в то время чувством любви к ненависти?

Любовь любит подчинять себе любящего. Вот и творчество — оно труд ума, труд необходимости, труд привычки, а еще — желание выразить собственное настроение, страсть непрерывно настроение создавать и непрерывно же избавляться от него.

У Достоевского настроения больше, чем требует логика, если даже она — логика пророчества (настолько больше, насколько росчерки его подписи превышают допустимую в этом случае лаконичность).

В письме Достоевского — только ему свойственный шарм, он знает этот шарм за собой. Естественно, его шарм сказывается в письме самом непринужденном — в дневниках, в которых пророк склонен не только поговорить, но иногда и поболтать, поиграть с читателем.

Достоевский знает, уверен: его будут читать да читать, будут ему внимать. И то сказать: «Дневник писателя» — это многолетнее подписное издание одного сочинителя — когда еще было такое же? Не было, и вот оно — чувство уверенной в себе свободы творчества. Что свобода требует колоссального труда и напряжения, он знал всегда.

Вот он уже доказал свою мысль, но ему хочется доказывать ее еще и еще — лишние слова, неточности, снова и снова повторения, но все это — не что иное, как его собственная свобода.

«Всякое переходное и разлагающееся состояние общества порождает лень и апатию, потому что лишь очень немногие в такие эпохи могут ясно видеть перед собою и не сбиваться с дороги. Большинство же путается, теряет нитку и, наконец, махает рукой: „Э, чтоб вас! Какие там еще обязанности, когда и сами-то никто ничего толком не умеем сказать. Прожить бы только как-нибудь самому-то, а то что тут еще обязанности”».

«...вот уже почти двести лет, с самого Петра, мы, бюрократия, составляем в государстве *всё*, в сущности, мы-то и есть государство и *всё* — а прочее лишь привесок» («Дневник писателя» за январь 1881 года).

И подзаголовок к этому тексту сам по себе уже выразителен: «Жажда слухов и того, что «скрывают». Слово «скрывают» может иметь будущность, а потому и надобно принять меры заранее...»

«Прежний мир, прежний порядок — эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество — не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развились и умножились; тогда как из хороших нравственных сторон прежнего быта, которые все же были, почти ничего не осталось».

«Пыль и жар. Говорят, для оставшихся в Петербурге открыто несколько садов и увеселительных заведений, где можно «подышать» свежим воздухом. Не знаю, есть ли там чем подышать, но я нигде еще не был. В Петербурге лучше, душнее, грустнее» («Дневник писателя» за 1873 год).

«...вот одно весьма курьезное рассуждение одного самоубийцы, разумеется, матерьялиста. Эти существа рассуждают так: «В самом деле: какое право имела эта природа производить меня вследствие там каких-то своих вечных

законов? <...> Природа в сознании моем говорит мне о какой-то гармонии в целом, и что я, хоть и знаю вполне, что в гармонии этой участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму ее никогда, но все-таки должен <...> ей подчиниться, смириться, принять страдание и жить <...>. «Пусть уж лучше я был бы создан как все животные, я бы тогда согласился жить, а сознание мое есть именно дисгармония, потому что я несчастлив с ним. <...> Наконец, я даже и гармонии-то в целом не верю, потому что не могу ее отыскать и ничем не могу в ней удостовериться. Так как, наконец, я не могу уничтожить эту природу, которая так безотчетно меня произвела на страдание, то и истребляю себя сам, во-первых, от скуки, а во-вторых — не желая подчиниться косной тирании, в которой даже и виновного не могу отыскать». (Уж не о Кириллове ли из «Бесов» идет речь?)

«У нас, русских, — две родины: наша Русь и Европа, даже и в том случае, если мы называемся славянофилами (пусть они на меня за это не сердятся). Против этого спорить не нужно. Величайшее из величайших назначений, уже сознанных Русскими в своем будущем, есть назначение общечеловеческое, есть общеслужение человечеству, — не России только, не общеславянству только, но всечеловечеству» («Дневник писателя» за июнь 1876 года).

«Я утверждаю и повторяю, что всякий европейский поэт, мыслитель, филантроп, кроме земли своей, из всего мира наиболее и наироднее бывает понят и принят всегда в России. Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт, Диккенс роднее и понятнее русским, чем, например, немцам...»

Вот каково оно — настроение Достоевского.

\* \* \*

Много цитат. Ни от одной не могу отказаться.

\* \* \*

«Бесы» — роман, который по смыслу и стилю, по настроению в наибольшей степени выражает Достоевского (и ту «достоевщину», которую предал проклятию Ленин). «„Бесы“ — самый «слуховой», «звуковой», многоинтонационный из романов Достоевского», — пишет Ю. Карякин.

В литературе не может быть стиля ни с чем не сравнимого, раз и навсегда единственного, ни на что и ни на кого не похожего (впоследствии к такой исключительности приблизится Платонов), но вот думается, что стиль «Бесов» ближе всего соприкасается с «Историей одного города», с «Современной идиллией», «Господами Головлевыми», вообще с Салтыковым-Щедриным.

Стили большими писателями заимствуются не друг у друга, но из общего источника — из эпохи, в которой и о которой они творят. Писатель же, как бы он ни был гениален, не создает эпоху, он только с утра до ночи слушает ее, воспринимает те отношения между людьми, которыми она отличается от других эпох, то отношение к прошлому и к будущему, которое его эпохе свойственно. Его стиль — это время и пространство его эпохи.

Едва ли не обязательной для любого литературно развитого времени является сатира: что-то, какие-то идеи и мысли возрастают и тут же осмеиваются, пародируются — без этого новый стиль не укоренится.

Так вот Салтыков-Щедрин, «Господа Головлевы»:

«Когда оба вошли в кабинет, Порфирий Владимирович оставил дверь слегка приотворенною и затем ни сам не сел, ни сына не посадил, а начал ходить взад и вперед по комнате. Словно он инстинктивно чувствовал, что дело будет щекотливое и что объясняться об таких предметах на ходу гораздо свободнее. И выражение лица скрыть удобнее, и прекратить объяснение, ежели оно примет слишком неприятный оборот, легче. А с помощью приотворенной двери и на свидетелей можно сослаться, потому что маменька с Евпраксеюшкой наверно не замедлят явиться к чаю в столовую».

А вот другая сцена — встреча сына и отца Верховенских в «Бесах»:

«Степан Трофимович сидел, протянувшись на кушетке. С того четверга он похудел и пожелтел. Петр Степанович с самым фамильярным видом уселся подле него, бесцеремонно поджав под себя ноги, и занял на кушетке гораздо более места, чем сколько требовало уважение к отцу».

Герои у каждого автора — свои, из встреч этих героев друг с другом последуют совершенно разные события, но ведь перо-то как будто одно? Если поменять перья — не сразу и заметишь?

Но это — внешне. Творческие задачи и настроения письма различны.

Сатира Салтыкова-Щедрина вполне самодостаточна, ею одной он владеет и выражает через нее свою мысль; одна сатирическая сцена следует у него за другой.

Не то у Достоевского: его сатира обладает, кажется, совершенно несвойственным ей качеством — сомнением, а потому не столь уж она самодостаточна, она тоже от Бога.

В некоторых случаях она, правда, вытесняет все остальное — скажем, в сцене нелегального собрания в доме Виргинских («Бесы», глава «У наших»), но это — только случаи, причем наряду с осмеянием и тут не исчезает боль, не исчезает некое болезненное сомнение в праве на осмеяние. Сомнение это исходит будто бы не совсем от самого автора, но и еще откуда-то свыше.

У Салтыкова-Щедрина сатирическое настроение не меняется, оно нагнетается, читатель в его власти; у Достоевского за той же сценой нелегального собрания, уже в конце ее, сатира оборачивается кошмаром: «...одно или два поколения разврата теперь необходимо, разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую себялюбивую мразь — вот чего надо!» (Петр Верховенский), но и это не все — за кошмаром тут же следует божественное: «Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: „Да, это правда, это хорошо“».

Была ли когда-нибудь у кого-нибудь такая же сатира — с божественным завершением? Трудно назвать подобное жанровое, по сути, разнообразие, столь же неожиданную смену настроений на протяжении каких-нибудь пятидесяти — ста страниц текста, которые, однако, жестко объединены общей интонацией, общим стремлением — вперед, вперед, вперед!<sup>1</sup> Можно еще добавить: Достоевский являет собой до сих пор редкостный документализм — он повсюду использует хроникеру со страниц периодической печати, он и зашифрованно, и вполне откровенно ссылается на своих современников. Сколько у него имен: Тургенев и его Базаров, Герцен с «Колоколом», Белинский, Добролюбов, Дружинин, Панаев и т. д., и т. д. А ведь это тем более трудно, что сюжет Достоевского — это еще и детектив, это — фантазмагория.

Ненароком дело коснулось сопоставления Достоевский — Салтыков-Щедрин, значит, следует заметить еще одно сходство между ними — полное пренебрежение и того и другого к хронологии: когда и как долго происходят события, в какое время года? При наличии у Достоевского документальности, вплоть до мелочей, конкретной обстановки у него нет: «углы» и «боковые стены» комнаты, «комната грязная», «бедная», «темная» — и все, и хватит с вас, читателей, если хотите, воображайте дальше сами, а писателю некогда. У него поважнее есть дела и цели.

Или вот в тех же «Бесах» фигурирует некое «я», от своего имени ведет повествование, но не ясно, где включается этот посредник (Хроникер), а где — прямой голос автора.

Ну и что? Автору так удобно, и все дела.

\* \* \*

Ленин:

«Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически, т. е. выкидываю большей частью боженьку, абсолюте, чистую идею и т. д.»...

«Гегель уверял, что знание есть знание бога. Материалист отсылает бога и защищающую его философскую сволочь в помойную яму».

<sup>1</sup> У Ленина тоже повсюду: вперед, вперед, вперед! — но только с другим настроением.



Гегелю «Бога жалко! Сволочь идеалистическая!».

«Вещь в себе — простая отвлеченность, не что иное, как ложная, пустая отвлеченность».

И он же, Ленин:

«Нужно быть идиотом, как ваш Мах, чтобы не признавать вещей в себе».

«Революция сделала то, что в несколько месяцев Россия по своему политическому строю догнала передовые страны».

Ленин — Сталину (июль 1918-го): «Повсюду необходимо подавить беспощадно этих жалких и истерических авантюристов, ставших орудием в руках контрреволюционеров... Итак, будьте беспощадны против левых эсэров и извещайте чаще».

Сталин — Ленину: «Что касается истеричных — будьте уверены, у нас рука не дрогнет».

Сталин о Ленине-стилисте: «Только Ленин умел писать о самых запутанных вещах так просто и ясно, сжато и смело — когда каждая фраза не говорит, а стреляет».

Точно сказано: стреляет! Сказано точно по «Бесам».

\* \* \*

Есть мнение (кажется, оно принадлежит яростному монархисту Шульгину): Ленин не мог развалить Россию, это ему было не по силам, Россия развалилась сама, из ее развалин и вышел Ленин.

Прокомментируем: конечно же, Ленин — российское явление, это Россия формировала Ленина, но все же — это Ленин разваливал, отравлял Россию при каждом удобном случае. Хотя бы посредством гражданской войны.

\* \* \*

Петр втащил Россию в Европу, а Европу в Россию. Рано или поздно это действительно должно было произойти — и вот произошло: не то слишком рано, не то слишком поздно, так в истории бывает. Бывает: хоть убейся, нет подходящего для того или иного необходимого действия момента!

Европеизирующаяся Россия приняла эмигрантов, бежавших от Наполеона, — докторов, мастеров, будущих французских гувернеров. А императоры немецкой крови? Чего стоила матушка Екатерина Вторая, реформистка с вольтеровскими замашками, разгульная и с твердой рукой?! Да ведь и Екатерина Первая, весь немецко-дамский период императорства чего стоил! Все это привело Россию к смешению и без того смешанных нравов, все способствовало невиданной идеологической проблемности в пределах от Достоевского до Ленина — и дальше, дальше!

Однако ко времени Ленина Россия действительно имела успехи в экономике, просвещении, науке, искусстве и литературе, но успехов своих она не замечала, пренебрегала ими, осмеивала их, ошалевая от проблем идеологических и политических. Ее имперство вырождалось, ее пространство ее отягощало, свое время она не в силах была понять.

На таком-то распутье Ульянов и стал Лениным. Тогда-то и возник ленинизм, возник, чтобы отряхнуть прах прошлого с ног будущего, чтобы разом решить проблему давно осточертевшей русской проблемности.

Было торжество Ленина, было поражение Достоевского.

\* \* \*

Ленин был верующим уже по одному тому, что верил в Безверие. Он выдавал себя за Науку, на самом же деле он был Верой, правда заблудшей. Отнимите у ленинизма призыв верить ему — что от него останется? Недаром же люди, нынче объясняя свой вчерашний коммунизм, говорят:

«Я искренне верил!»; никто ведь не скажет: «Я изучил коммунизм!», «Я знал ленинизм!».

Богословие более укоренено, более обоснованно, чем марксизм-ленинизм, оно имеет историю, и о нем можно сказать: «Я знаю богословие догматическое и нравственное».

Нравственного ленинизма попросту нет и не может быть, но и догматического тоже не оказалось — сгинул.

\* \* \*

А дело в том, что капитализм никто не выдумывал, никто не конструировал как учение. В то время как ленинизм, всячески подчеркивая свою плановость и теоретичность, обвинял капитализм в стихийности, стихийность эта была практикой. Плохой или хорошей — дело другое. Зависимая от потребностей людей, от их способов взаимодействия, эта практика редко-редко забегает вперед самой себя, зато без конца себя анализирует — свое состояние, свои показатели, свои тенденции. Такой анализ и есть ее «план», в отличие от социализма, который сначала планирует себя, затем анализирует выполнение этого плана. Эта процедура всегда условна: она должна удовлетворять самолюбие и соцруководителей, и всего социалистического общества. Тут не столько анализ, сколько все тот же «план» ближайшего социалистического будущего.

\* \* \*

Вот Моцарт, а вот — Сальери, разве можно сомневаться в том, кто из них кто?

Борис Годунов совершил зло — и вот расплывается, даже и достигнув цели — высшей власти...

Шекспир. Разве у кого-то могут возникнуть сомнения в том, что Мавр — само благородство, а Яго — воплощение коварства и зла?

Но со времени «Моцарта и Сальери», со времени «Бориса Годунова» до времен «Преступления и наказания» и «Бесов» Россия — об этом уже говорилось — успела стать страной сомневающих, утратила саму себя, свою гармонию, без которой нет нации. Пушкин еще обладал той мудростью, которая уже не дана была следующей за ним литературе. Мудрость — это гармония, заимствованная человеком от самой природы, другого источника гармонии нет. В курсах литературоведения без конца прорабатывается поэтика Пушкина, его художественные стили в поэзии и прозе, рассматривается его лиризм и драматизм, но слишком мало придается значения его мудрости. Почему не прослеживается наш путь от Пушкина до Достоевского? От Достоевского до Ленина? Если мы исключаем осознание собственного пути на этих этапах, тогда что же представляет собою оно, сознание наше, сегодня? Если мы не отдаем себе отчета в том, почему Толстой оставил романы и повести и перешел к публицистике, тогда как мы пойдем нашу литературу? Нашу судьбу?

\* \* \*

Юрий Карякин: «Поистине все человечество загнало себя в небывалую ситуацию незнания, потому что слишком долго пребывало в ситуации всезнания, всепонимания, то есть — вседозволенности» («Достоевский в канун XXI века»).

Заметим: «вседозволенность» — проблема экологическая, поскольку она, вседозволенность, антипод гармоничности, а значит, и жизни.

«Мы чаще лишь говорим о «новом мышлении», «новом мировоззрении», но у нас *еще нет* нового мироощущения, нового мирочувствования. Вот где чувства действительно должны стать теоретиками, а у нас теоретиками стали беспорядочные сигналы бедствия» (Карякин имеет в виду бедствия экологические).

Вопрос: а откуда оно возьмется — новое мировоззрение, новое мироощущение?

Из статей экологов? Я пишу такие статьи, я за то, чтобы все правительства во всем мире были зелеными, но мировоззрения и мироощущения не изобретаются и не конструируются «Независимой» и другими газетами. Мироощущение и мирочувствование вообще не могут быть новыми, быть современным — их надо искать не в будущем, а в прошлом, в том, наконец, что было нашим происхождением.

Нынче нам нужно не столько открывать, сколько вспоминать. Вспоминать через Библию, через Платона, Аристотеля, Сократа и Солона, затем через Канта, Гегеля, через Сергия Радонежского, через непреложную истину о том, что все новое — хорошо забытое старое.

Ренессанс потому и был ренессансом, возрождением, что не забывал. Мы потому и есть, что еще не все забыли.

\* \* \*

Пушкин был последним эллином. Вместе с ним умерла Древняя Греция, умерла в России. И кому, как не России, возродить ее мудрость? Охранителем Начал ощущал себя и Достоевский, неизменно сомневаясь в настоящем. Он хотел искоренить такой модерн, как утопический нигилизм, искоренить нечаевщину, покуда она еще не стала ленинизмом. Ему нужно было восполнить сознание всем тем, что позже Швейцер назовет благоговением перед жизнью.

Достоевский чаял для мира не только умов сильных, но и просветленных. Просветленных Началами. Если это консерватизм, тогда он был консерватором.

Примечание: это требовало жертв, и если в качестве жертв поучительных могли быть использованы и Тургенев, и Грановский, они стали ими, став героями «Бесов». Тургенев был до глубины души обижен. Но именно в этом пункте вечно сомневающийся Достоевский был радикалом.

\* \* \*

Никто не погружался так глубоко в отношения между человеком и его мыслью, как Достоевский.

Любая общественная, любая мысль, пришедшая к нам извне, остается не более чем информацией до тех пор, пока она не станет мыслью личной, пока человек не убавит от нее или не прибавит к ней что-то от себя самого.

К мысли человек только так и может относиться: обогащать или обеднять ее, любить или ненавидеть, облагораживать или предавать. Все чувства человеческие приложимы к его же мысли, может быть, больше, чем к любому предмету его любви или ненависти, ведь человек всегда, во всем может (и должен?) перевести себя в мысль, представить себя мыслью. Герои же «Бесов» потому и бесы, что они мысль предают, извращают ее, уводят ее от ее начал, но такой вот, искалеченной, они и поклоняются, приносят ей неисчислимые жертвы, сами с упоением становятся ее жертвами.

Кризис мысли мы не ощущаем повседневно, миримся с ним, и только в несчастье и горе, когда мы теряем близких, теряем любовь, теряем собственную жизнь, мы вдруг постигаем, что это — кризис. Тут-то мы и понимаем, как бессмысленно пользуемся мыслью, как безнравственна эта бессмысленность.

Герои «Бесов» таковы до конца, до логического конца. Таков самоубийца Кириллов. Таков Ставрогин, искаживший мысль до предела, переживший Кириллова, кажется, только ради того, чтобы еще и еще изобретать новые способы ее искажения. Таков Верховенский-младший, верховенствующий в убийстве Шатова, преступник, ускользнувший от наказания с тем, чтобы до последнего дыхания опять-таки исказить мысль, сладострастно издеваться над нею.

Таковы участники собрания «наших» (сами себя эти люди называют «кучкой») в доме Виргинского: «...как мир ни лечи, — говорят они, — все не вылечишь, а срезав сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно... перескочить через канавку».

Таков Лямшин: «А я бы вместо рая взял бы этих девять десятых человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал бы их на воздух»...

И Шигалев: «...будущая общественная форма необходима именно теперь, когда все мы наконец собираемся действовать, чтобы уже более не задумываться...»

И присутствующая здесь студентка: «...предрассудок о Боге произошел от грома и молнии...»

И хромой учитель: «Белинский, как мне достоверно известно, проводил целые вечера со своими друзьями, дебатировав и предрешая заранее даже самые мелкие, так сказать, кухонные подробности в будущем социальном устройстве».

И т. д.

Так что же — здесь одни только сумасшедшие ублюдки? Кретины? Дебилы? Ничего подобного — здесь обыкновенные, почти обыкновенные люди, но собрались они на бесовский праздник предательства мысли. С упоением и страстью, не свойственными ни одному здравомысленному делу, они совершают это предательство, развивая идею, что для достижения великой цели все средства приемлемы, все хороши. Их не заботит, что идея не может быть высокой, если она принимает на вооружение самые низкие средства, они бесятся, они оскорбляют весь мир и друг друга — таков этот праздник.

Нельзя отделаться от впечатления, что Достоевский предвидел и ЧК (Чрезвычайную комиссию), и ПБ (Политбюро). Но даже и Достоевский не предвидел, что этот праздник будет продолжаться в России многие, многие десятилетия.

\* \* \*

И Верховенский-старший, далекий от преступления и преступности «кучки», тоже вносит свой вклад в кризис мысли, унижает ее своею просвещенной и пустой болтовней, своею жизнью приживала при богатой барыне Варваре Петровне Ставрогиной.

Варвара Петровна — человек властный, но, кажется, добрый, но она ведь еще и мать, и есть, есть что-то в ней такое, что обусловило характер и неизбежную преступность ее сына. Связь неуловима и несомненна.

Только две фигуры в «Бесах» — женские — непричастны к преступности по отношению к мысли: Хромоножка — милая, добрая и слабоумная, и Софья Матвеевна, книгоноша, возникшая у смертного одра Верховенского-старшего как знак финального милосердия — по ходу всего предшествующего сюжета ей места так и не нашлось.

\* \* \*

Еще один герой — Федька Каторжный, убийца. Но мысли-то он не предает по одной-единственной причине: потому что ее у него нет. Он по-своему незлобен, он живет тайно, скрывается от людей, ото всех, кроме Ставрогина: рыбак рыбака видит безошибочно — преступно мыслящий и потому преступно действующий Ставрогин близок к примитиву Федьке. Так в действительности это и случается, это действительностью проверено.

\* \* \*

«Человек есть тайна, — пишет Достоевский в письме к брату Михаилу, — ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

\* \* \*

Утописты-радикалы: справедливость рухнет, если вдруг станет разборчива в средствах для достижения поставленной цели. Беда вовсе не в том, что кого-то там расстреливали, беда в другом: кого-то по недосмотру, по ошибке не до-расстреляли. Как жаль, какая досада! Может, еще успеем?! Может, еще найдется продолжатель великого дела вождя мирового пролетариата?

Сталин же в свое время нашелся?!

\* \* \*

В «Бесах» не много «массовок», массовых сцен с участием толпы или хотя бы «кучки» единомышленников.

Но толпа рабочих (пролетариев) губернского города и мужики (народ) в деревне, где умирает Верховенский-старший, и высшее общество губернского города, собирающееся в доме Ставрогиной и в доме губернатора, — эти сцены аморфны, не вносят чего-то определенного в сюжет романа, в его духовное содержание.

Светские сборища, как, впрочем, и собрание «наших» нелегалов, заканчиваются попросту скандалами. Ничего путного из них не получилось, да и получиться не могло.

А где же тогда те личности, те просветленные умы, где то общество, та страна и тот народ, о будущем счастье которого, разумеется обязательно, ведутся бесконечные разговоры? Убийства — тоже ради все той же высокой цели?

Их нет, этих героев, нет в романе ни реально, ни даже иллюзорно, нет у Достоевского ни Платона Каратаева, ни Хоря с Калинычем, нет и предшественника хотя бы дяди Вани. Не на кого было Достоевскому сделать ставку, он ни на кого и не ставил и еще больше сближался с Салтыковым-Щедриным. Но тот — сатирик, тому карты в руки, для того Платон Каратаев не иначе как «коняга», а «просветленный ум» — карась-идеалист или еще что-то в том же роде. Ему, сатирику, так сам Бог велел...

Вот и Достоевскому — тоже Бог велел: пойди, Федор, пойди, правдивец, расскажи людям, какие они мерзкие. А если верят в Меня, то почему же в себя и в мерзости свои верят еще больше?

Достоевский именно так и вопрошал.

\* \* \*

Девять десятых русских философов только и делали, что разгадывали Россию: что она такое, каков ее «дух»? Европа — она или Азия? Культурная она страна или некультурная? Освободительница или поработительница?

Может быть, причиной тому — отсутствие школы, слишком позднее развитие систематического университетского образования? Систематичности и последовательности вообще?

Россия, русские так и не научились воспринимать себя как некую данность, как законченный результат своей собственной истории. К подобному результату отечественная история не столько приводила, сколько уводила от него в сторону.

Кажется, мы лучше представляем себе психологию немца или француза, чем свою собственную, — это для нас проще и очевиднее. Мы знаем, что француз или англичанин, проснувшись поутру, не размышляет о том, что такое Франция, что такое Англия, что значит быть французом, быть англичанином. Они родились с этим знанием и живут на французский или английский лад. Они четко ощущают границы своих государств и самих себя в этих границах. У них нет восторга по поводу этих границ, но нет и раздражения, они знают, что неприятие собственных границ обойдется слишком дорого, знают это из своей давней и недавней истории.

В свое время европеец завоевывал колонии, завоевывал со всей жестокостью и безо всяких на этот счет сомнений. Такой жестокости в России не бывало, разве что Сталин распоряжался народами словно стадами и перегонял их из одной местности в другую.

Жестокость западных колонизаторов была проявлением все той же самоуверенности: мне можно, мне дано покорять чернокожих, краснокожих, желтокожих, а при случае и белокожих тоже. Но метрополии никогда не включали колонии в свой состав, не устанавливали в них то законодательство и те гражданские права, которыми пользовались сами. Было государство, у государства были заморские территории, из которых следовало извлечь как можно больше, осваивая их вахтовым методом, а потом, если овчинка перестанет стоить выделки, той же дорогой уйти.

Для России же и Средняя Азия становилась Россией, ее губернией. Десятки, сотни народов и религий, множество языков, самые различные образы жизни, а Россия стремилась все это включить в себя, а себя — во все. Разве можно представить, чтобы колония Англии была экономически сильнее, чем она сама? Чтобы законодательство колонии было более совершенным, чем ее собственное, как это было, скажем, в Польше или в Финляндии? Однако в метрополии, в России, все еще было крепостное право, а в Средней Азии или в той же Финляндии его в то время не было. Россия всем предлагала свое мышление, но в то же время воспринимала мышление многих народов как свое собственное.

Государственная элита России состояла не только из представителей потомков собственных древнейших — еще боярских — родов, в нее запросто входили выходцы из Польши, Армении, Грузии, Франции, Германии, из татарских ханств — каких только кровей не было в российском дворянстве! А мыслимо ли было стать английским лордом выходцу из Африки или индусу?

И многие государства присоединились к России добровольно. Есть ли другой подобный пример? Но это вовсе не значит, что никто не мечтал выйти из ее состава, никто не сопротивлялся колонизации, и вот: колониализм Великобритании укреплял ее государственность, колониализм же России ее расшатывал.

В границах Англии есть Уэльс, есть Шотландия, но очевидных языковых и религиозных границ между ними нет, образ жизни повсюду одинаков, а у нас одних только татар было неизвестно сколько: казанские, астраханские, крымские, сибирские ханства... Сибирские, в свою очередь, были тобольскими, верхнеобскими, барабинскими, забайкальскими, точно неизвестно, какими еще...

В. О. Ключевский: «...переселение, колонизация страны была основным фактом нашей истории, с которым в близкой или отдаленной связи стояли все другие ее факты». Вот так: все другие!

Наша множественность, наша неопределенность нас поглощала (и поглощает), а Достоевский искал некую основу в этой множественности, потому что он был не просто русским, но русским, страдательно-ответственным за свою страну. Страдая этой ответственностью, он никогда от нее не уходил.

\* \* \*

Достоевский не принимал Европу так, как она принимала и понимала сама себя.

Достоевскому в Европе было скучно, узко и однообразно: из любого населенного пункта существует дорога в любой другой населенный пункт и негде заблудиться. За границей Достоевский играл в рулетку, скрывался от долгов, ждал, не мог дождаться, когда же обстоятельства позволят ему вернуться домой.

Еще бы: «Всему миру готовится великое обновление через русскую мысль (которая плотно спаяна с православием <...>), и это совершится в какое-нибудь столетие — вот моя страстная вера». Такая вот, не без странностей, вера: Россия страна непонятная, то и дело страшная, но спасение всего мира — в России. Надо было искать логики, и логика определилась такая:

Россия страдает как никто другой, как никто другой ищет Истину, ищет Бога, как никто она разноплеменна, а все это и есть светлая перспектива будущего!

Истина дается страданием, в это можно верить, но доказать — нельзя. Нельзя по известной причине: средства могут и не оправдать цели, средства могут уничтожить идущего к цели раньше, чем эта цель будет достигнута. Но Достоевский так много искал, страдал и изменялся, что уже не мог поверить в такой исход. Ему казалось, что он уже сам перестрадал все возможное. Он выслушал на эшафоте смертный приговор за покушение на царский трон — и он же преподносил императорскому двору свои книги. Он знал, что такое бесы, что такое мертвые дома, что есть преступление, а что — наказание. Столь многознающего писателя, может быть, не бывало никогда.

Вера Достоевского и на Западе находила в душах, алчущих истины, отклик искренний (Томас Манн, Гессе). Разуверившийся западник находил себя в России, в ее литературе, в ее страсти к поиску через литературу же. Через Достоевского — прежде всего.

\* \* \*

Но всему высоконеопределенному возникает противовес — ограниченность, узость, стремление к дважды два — четыре.

Таким примитивом явилось черносотенство — национальное и политическое, правое и левое.

Ленин был тот же черносотенец, такой же радикал.

Черносотенец-националист провозглашал: «Бей жидов, спасай Россию», Ленин по-другому: «Бей капиталистов, спасай Россию!» (а заодно опять-таки и весь мир). Все дело в том, чтобы кого-нибудь бить, бить тех, кто мешает завтрашнему счастью и справедливости, бить капитализм, интеллигенцию, религию или иноверцев, инородцев — все и вся, что есть «иное».

Вот Ленин и организовал заговор против всей широчайшей российской множественности, разом против всех религий России, против всех ее философий, всех существующих в ней укладов и образов жизни, начиная от кочевников и кончая заводами-гигантами, против всех отечественных климатов и пространств, против ее географии, почвоведения и этнографии.

Чем шире заговор, тем он должен быть примитивнее, и Ленин был гениальным примитивом. В его лице примитив достиг, кажется, своего возможного апогея, распространившись на пятьдесят, а в некоторых изданиях на шестьдесят томов.

\* \* \*

Альберт Швейцер: «Вину за упадок культуры несет философия XIX века».

«...в сфере духовной мы не только не превзошли предшествующие поколения, но попросту расточаем их достижения...»

«Катастрофа культуры — следствие катастрофы мировоззрения».

Но почему же философия виновата в упадке культуры? И кто ею практически руководствуется-то, философией, если она подлинная, а не искусственное прикрытие для политики? Ведь и сам-то Швейцер говорит: философия превратилась в науку об истории философии.

Философия, мораль в целом, духовность в целом оказались не в силах направить по более или менее приемлемому пути технический прогресс, развитие энергетики и военной техники; не в философии тут дело, а в нигилизме, заложенном в характере человека, в том самом нигилизме, который приводил в ужас Достоевского, в том, который и сам Швейцер обозначил как отсутствие необходимого «благоговения перед жизнью», добавил: «Наш мир — это не только цепь событий, но также и жизнь». Швейцер и многие, многие другие, ученые и не ученые, гуманисты и не гуманисты, говорили то, что говорил он: «...стремление к материальному прогрессу, сочетающееся со стремлением к прогрессу нравственному, должно лежать в основе современной культуры». Безусловно и бесспорно — «должно» лежать. Но не лежит: нет «благоговения к жизни», а вот нигилизма по отношению к жизни и «бесовщины» — сколь-

ко угодно, нигилистического утопизма — сколько угодно, безволие перед лицом материальных потребностей с каждым годом сказывается все сильнее и сильнее.

\* \* \*

В 1923 году, в марте, Ленин писал: «Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед. <...> Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несolidность и непонятность. Вреднее всего здесь было бы спешить».

Почему «мы», если это было «я»?

\* \* \*

Неторопящийся Ленин — это нечто новое. Только вот консервативная новизна эта и неторопливость пришли к нему слишком поздно, совсем незадолго до смертного одра. И незадолго до сталинского «года великого перелома» с жертвами коллективизации и раскулачивания, с последующими затем жертвами.

Ленин всю свою жизнь как хотел, так и обращался с любимыми теориями. Бухарин, ближайший его соратник, сразу же после смерти Ленина говорил о своем наставнике: «Владимир Ильич владел марксизмом, а не марксизм владел Владимиром Ильичем» (Речь в Коммунистической академии 17.2.24). Позже Бухарин издал эту речь под красноречивым заглавием «Ленин как марксист». И вдруг Ленин решил сделать марксизм неторопливым?! Однако это не более чем частный случай, имевший место при особых обстоятельствах. Ленин умер, а дело его — его отношение к людям и к жизни, его беспримерно торопливое мышление — живет до сих пор.

\* \* \*

Андрей Платонов тоже позаботился, свел Достоевского с Лениным все в том же вопросе о будущем России:

«Покушав пшенной каши в хате Достоевского<sup>2</sup>, Дванов и Копенкин завели <...> неотложную беседу о необходимости построить социализм будущим летом. Дванов говорил, что такая спешка доказана самим Лениным <...>

— Так за кем же дело, товарищи? — воодушевленно воскликнул Достоевский. — Давайте начнем тогда сейчас же: можно к Новому году успеть сделать социализм! <...>

Достоевский корябнул ногтем по столу <...>

— Даю социализм! Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов!..» Копенкин продолжил: «Социализм придет моментально и все покроет. ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ УСПЕЕТ РОДИТЬСЯ, КАК ХОРОШО НАСТАНЕТ!» (выделено мной. — С. 3).

Исследователи творчества Платонова — С. Бочаров, М. Золотосов, Е. Толстая-Сегал, И. Бродский, Л. Шубин, все, кто касался не только частного, но и целого Платонова, — улавливают эту связь: Достоевский — Платонов. Тема ждет своего воплощения.

\* \* \*

Формально мы живем в сегодня. Пока есть сегодня, мы живем. Но все наши помыслы устремлены в завтра, представление о будущем — завтрашнем или следующего года или десятилетия — это концентрат нашей мыслительной деятельности, ее стимул. И так наше сегодня в постоянной службе, в прислуживании у будущего — выходных дней на этой службе нет. Будущее — это и наша духовность, и наш Апокалипсис.

<sup>2</sup> Один из чевенгурцев, Игнатий Мошонков, переименовал себя «в честь памяти известного писателя в Федора Достоевского».



Будущего еще нет, но оно уже управляет правительствами, раздувает пламень горячих точек, подготавливает новые и новые горячие...

В ГУЛАГе и Освенциме люди страдали ради будущего, даже если знали, что для них его не будет.

Наука стоит на том же: сделать то, чего сегодня нет, но завтра, по ее представлениям, обязательно должно быть.

Искусство ведет себя точно так же.

Просвещение — так же.

То и дело мы начинаем с завтра исходя из того, что сегодня не имеет самостоятельной ценности. Поэтому дело убережения сегодня — дело самого сегодня, разве что прошлые дни и века прошепчут ему что-то невнятное. Только экология охраняет сегодня, старается, чтобы день сегодняшней был чуть-чуть, но все-таки лучше вчерашнего, чтобы полночь была успокоительнее полудня минувшего. Чтобы швейцеровское (оно же — пушкинское, оно же — древнегреческое) благоговение к жизни сказывалось уже сегодня.

\* \* \*

Человеку много дано сверх его биологии, так много, что он не знает, что с этим даром делать, как воспользоваться пространством и временем, которые он открыл и, кажется, даже создал, придумав единицы измерения: стопы, локти, аршины и версты, метры и километры, минуты, часы, годы. Единицы измерения системные и внесистемные, кратные и долговые.

В природе нет единиц измерения, они ей чужды. Нет для нее чисел, сумм и разностей, но измеренная природа не только доступна, но и покорна человеку. Современным единицам измерения предшествовали другие, натуральные, пространственно-временные, такие, как «дневной переход», как «попрыск» — время и расстояние между двумя передышками собачьих или оленьих упряжек. Такого рода натуральность себя исчерпала, уже не соответствует сверхбиологии человека, и дальнейшее развитие единиц измерения (метрология) происходит по крутой нарастающей, и конца ему не видно. Человечество может погибнуть, но и после этого будут существовать в тишине и спокойствии, в подвалах и сейфах метрологических институтов, эталонные единицы измерения — память о минувших цивилизациях, которые отвечали, собственно, на один и тот же вопрос: как измерить?

Утопии и те в конце-то концов сводились к тому же вопросу.

\* \* \*

А все-таки был такой факт: сомневающийся Ленин.

И другой факт: несомневающийся Достоевский. Сомнения покинули его, когда он перестал творить художественные образы тех, кто мечется среди идей, когда стал публицистом единственной идеи — славянофильства.

Однако же, когда идея единственна, она перестает быть самой собою, она становится уставом.

Никто и никогда из людей не видел чудного острова Утопия. Никто не знает, где остров расположен, в каком из земных океанов, поблизости от какого континента. Не разглядели его и космонавты с кораблей «Мир» и «Шатл». Но все равно многие на том острове побывали, набрались впечатлений и мыслей не столько о настоящем, сколько о будущем. Но почему же эти общие впечатления привели людей к жестокому, нетерпеливому противостоянию, к вражде? Разве таким было предназначение Утопии?

Русские тоже бывали там. Достоевский бывал, Ленин бывал, но после того не нашлось единиц измерения, чтобы определить расстояние между тем и другим, чтобы и России тоже определить свои «от» и «до».

Будучи безграничными, мы обречены снова и снова искать и искать себя...

---

---

# ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

МАРК КОСТРОВ

\*

## «Я ХОЧУ, ЧТОБ ВЫ ЗНАЛИ МОЕ МНЕНИЕ...»

### Вместо предисловия

**III** Предлагаю «выбранные места» из писем читателей ко мне, без комментариев, ибо за последние годы все мы научились разбираться в писанинах, речах, обращениях самостоятельно.

К сожалению, не на все просьбы читателей выслать карту Рдейского края, чертежи реконструированных мной электролампочек, а также адреса продающихся домов я сумел откликнуться, поэтому неудовлетворенных отсылаю к послесловию, где они и смогут получить необходимые разъяснения и советы.

М. К.

Крым, Феодосия-3, поселок Орджоникидзе,  
от Грачева В. И.

Здравствуйте, дорогой Марк! Отчества Вашего не знаю, потому разрешите так и обращаться — Марк! Прочел Ваш очерк в «Новом мире» — «Как уцелеть в наше смутное время». Читал с таким чувством, как в детстве, бывало, об островах Карибского моря. Российская болотина обратилась у Вас землей обетованной — спасибо!

Захотелось малость исповедаться, ибо здесь, на черноморских берегах, некому. Я — коренной и потомственный москвич, но в третьем поколении. И закон, выведенный Алексеем Максимовичем для купеческих родов, что они в третьем поколении как-то дичают, возможно, сказалося на мне. Прадед мой по отцу был ямщиком в Курской губернии, предки мои по матери откуда-то из-под Старой Руссы, кузнецы. Отец был главным бухгалтером в Москве на фабрике, а я там же работал гравером и вообще оказался весьма даровит: и рисовал, и стихи сочинял, и на театрах играл. Веселая жизнь была. Граверы вообще склонны к винопитию, но тут я получил травму и стал инвалидом. Вот уже двадцать лет на инвалидности, но последние годы стал как бы подниматься со дна. Видел двух жен, обе умные и даже высокопоставленные, одна заявления на отпуск всегда писала на имя Косыгина. Это к тому, что я, как Иванушка-дурачок, рубил дерево не по себе, но без Иванушкина счастья. Так вот эти умные жены предсказывали, что я в самое малое время погибну, а я все не гиб. От всей этой московской колготни бежал в Крым с матушкой. Здесь, хотя винопитие и продолжалось, но на ноги помаленьку вставал. Про-

---

Публикуемый материал нашего постоянного автора Марка Кострова является своеобразным заключением (или, быть может, продолжением?) двух его предшествующих очерков, печатавшихся на страницах «Нового мира»: «Как уцелеть в наше смутное время? Советы болатного жителя» (1993, № 9) и «Вариации переходного периода» (1994, № 10).

Фрагменты откликов своих, а значит, в значительной степени и «новомирских» читателей, сведенные автором воедино, составляют, как нам кажется, некий собирательный, коллективный портрет нашего современника — вполне типического россиянина, осмысливающего собственную судьбу и судьбу страны и пытающегося в меру сил отыскать свое новое, достойное место в сегодняшней пусть взлохмаченной и бестолковой, но тем не менее свободной российской жизни. — *Ред.*

давал билеты на катера, работал на виноградниках, пас овец. Наконец, стал лесником. Когда приехал, не мог подняться на маленький холмик. Теперь хожу по горам, собираю травы, шиповник, боярышник. *Но очень тянет в Россию.* И не пью совсем. Ей-богу. Стал прихожанином Русской Православной Свободной Церкви. А лет мне уже пятьдесят пять. Вот и хочу спросить Вас: могу ли я на что-то рассчитывать в Рдейском крае, как Вы думаете? Я лично готов жить в землянке не временно, а всю оставшуюся жизнь, так меня тянет под Старую Руссу. Наверное, гены проклятые виноваты? Но надо как-то устроить матушку, ей под девяносто. Возможно ли это?

Здесь у меня двухкомнатная квартира, сыт, обут, нос в табаке, но — все продам без стеснения или вовсе брошу. Денег наживать мне уже, слава Богу, не надо. И пожалуй, единственное мое достоинство — привычка довольствоваться малым, даже очень малым. С радостью повторяю за Сократом: как много вещей, в которых я не нуждаюсь. А в Россию уеду *обязательно*, может, еще принесу и пользу. Хотя бы устранением из потребительской гонки.

Ну вот, Марк, излил душу, извините. Возможно, ближе к лету зайду к Вам поговорить — не прогоните?

Помогай Вам Бог во всех ваших делах.

Валерий Грачев.

И сразу же вслед за письмом этого человека раздался звонок, и тоже из Крыма, из поселка Первомайский, от Виктора Челенцова. Он после службы в армии в Кривом Роге из-за девушки остался на юге, но прошло десять лет, и его снова стало нестерпимо тянуть в Наволок, деревню на краю Моховщины.

Я его ответно спросил про обстановку на полуострове, он ответил, что у них все нормально и его интересует не обстановка, а Болото, клюква на нем и косяки белых грибов на островах. И вообще он не знает никакого Мешкова и политикой не интересуется...

Холмский район, Новгородская область,  
Наволоцкий сельсовет, деревня Высокое,  
от Цветкова С. П.

Уважаемый Марк Леонидович!

Пишет Вам житель деревни Высокое Цветков Сергей, здесь я пытаюсь наладить крестьянское хозяйство. После опубликования в толстых журналах Ваших рассказов о Рдейском крае — в «Авроре», «Юности» и «Новом мире» — у нас в деревне возникли проблемы в связи со значительным наплывом туристов. Большинство из них не были готовы к переменчивой погоде, сырости и особенно комарам. Если добавить к этому отсутствие в деревне хлеба, картофеля, молока и т. д., через неделю они обнаруживали очень много претензий и к журналам, и к Вам лично как к писателю. Учитывая повывисившийся интерес к нашему краю, к его природе у читателей, интерес, вызванный Вашим взглядом на него (кстати, если отбросить Вашу художественную ориентировку, мне кое-что нравится, хотя и хотел бы иметь в ваших рассказах больше ссылок на официальные источники типа: в книге Сабанеева, изданной в XIX веке, отмечено, что самые крупные окуни в двенадцать фунтов попадались в Рдейском озере Старорусского уезда), пытаюсь писать к Вам по делу, к чему и приступаю. Поэтому прошу не сердиться и не возмущаться, оценить мои предложения и, если в них есть смысл, определить во мне прохиндейские и другие негативные качества позже.

Поток туристов уже возрос и будет еще больше, и в дальнейшем у них будут претензии. Чтобы их как-то сгладить, предлагаю Вам, так как Вы имеете отношение к этому делу, а значит, и несете какую-то ответственность, мои идеи:

1. Приобрести добротную хорошую лодку (еще лучше две). На бортах написать «Рдейский край» и Вашу фамилию.

2. Лодку сдавать туристам за плату.

3. На вырученные деньги построить три-четыре пункта для привалов (от Шапкова до Рдейского монастыря), нужно также проложить кладки-жерди через болота, каналы, лужи и прочие препятствия. Кое-где пробить тропки и вырубить кусты.

4. Если у Вас была бы такая возможность, я мог бы оказать помощь в этих работах и, если был бы успех, возместить Ваши хлопоты или хлопоты какого-нибудь общества охраны природы, рыбаков и охотников — все равно какого.

С уважением

Цветков С. П.

Здравствуйтесь, Марк Леонидович!

Опять Вы меня растревожили своей публикацией («Новый мир», 1993, № 9), на этот раз в самый подходящий момент. В 1990 году я, москвич, поселился на севере Вашей области (Кабожа), но дом куплен на две семьи, и мой статус несколько двусмыслен. Значит, переселение — но куда? И тут Вы — Вы, неутомимый зывала, — разве устоишь?

Кстати, что это за жанр, в котором Вы работаете? Что-то вроде эссе-рекламы — не находите? Или как Вам покажется ярлык: болотный просветитель? Все это, конечно же, чушь, а серьезное тут вот что. Всем, и Вам тоже, давно известна история с Паустовским и его Мещерой. Есть и у друга Казакова, Юры Семенова (теперь, увы, тоже покойного), мудрый рассказ о деревенском парне, выдавшем властям, кажется, областного пошиба свой райский уголок, который, к ужасу односельчан, стал номенклатурной зоной отдыха со всеми последствиями. И у самого Юрия Павловича тоже что-то об этом есть. Я чувствую: Марк Костров, «президент Рдейского края», все об этом знает, но все же, все же...

Собирание грибов и ягод наука экономика и без того в грош не ставит, приравнивая его к сбору пустых бутылок, а как все это будет выглядеть с поправкой на родимый менталитет, легко вообразить. О туристах шутят, что после них затухали камчатские сопки — их они закидывали банками из-под консервов. А ведь это все романтики, аскеты (хотя и не пуритане), подвижники с гитарами, и едут они не зачем-то там, а «за туманом»... А те, кто пойдет ломить *стеню* (курсив мой. — М. К.) на Вашу Рдейщину, — это публика посерьезнее, ей не до шуток и не до туманов. Они будут покруче в делах и поскромнее в морали. Представьте: регулярные цепи добытчиков в заколенниках идут и, как поп кадиллом, размахивают насаженными на длинную рукоять «грабилками» — только ключья летят!

Но ведь авторская установка — выжить, а выжить можно лишь в условиях рынка, а то, что творится вокруг, как ни крути, — рынок. Я ведь не в осуждение все расписываю — понять хочу. Меня совсем не коробит истина, что выживает всяк как может, но можем-то мы чаще безо всяких там психологических тормозов. Меня не радует и гипотеза о создании на Рдейщине заказника, государственного или акционированного: понавезут техники — прощай тогда болото! Может, рынок и цивилизуется со временем, но уже без клюквы. И так нехорошо, и этак...

Но снова погружаюсь в «НМ». «Занимай земли самовольно», «Обустраивайся!» «Паши», «добывай», «суши», «сдавай!» Поэт прав: Вам со стороны не понять, как сильно это действует на малых сих... Даже упоминание о возможной катастрофе воспринимается в мажоре.

Дорогой М. Л.! Вы меня убедили. Во всяком случае, растравили душу по-хорошему. Я загорелся. И тут же погас. Я не тот здоровенный детина, что смотрит на меня с фронтисписа одной из Ваших книг («Большие Свороты»). — М. К.)... Я не фермер в потенциале (а Ваш адресат — фермер), хотя приусадебные сотки под моей лопатой, ей-богу, выглядят неплохо.

Я написал «погас». Это для красного словца. А на самом деле я действительно воспрянул духом. Но от Рдейщины пришлось со вздохом отказаться. Тут есть одна деталь. Да, меня не пугает глушь, мне давно полюбились болота, но вот какая штука: мне нужна библиотека. Хотя бы на расстоянии неизнурительного велопробега. Может, я не буду, как Генри Торо, читать в лесу Гомера или Эсхила, но вот я открываю сентябрьскую книжку «НМ», а там... Прошу простить. Поэтому я обратился к окрестностям Чагоды, что на Вологодчине.

Но если — север, то на кой ляд я, ренегат этакий, засел за письмо? Но тут я перечитал его и решил, что ответ в нем уже содержится: *спасибо!*

С Новым годом! Всего доброго!

Лукиянов Анат. Конст.

11.12.93.

Москва.

Нижний Тагил,  
от Горовецкого Владимира.

Добрый день!

Здравствуйтесь, уважаемый Марк, не знаю, как Вас по батюшке. Совершенно случайно попал ко мне в руки журнал «Новый мир» за 1993 год и в нем статья Ваша «Как выжить...». Прочитал — и снова защемило сердце. Дело в том, что я родом где-то из этих мест, из Псковской области, села Камасы, а фамилия моя Горовецкий, и корни мои где-то там, в районе Ваших болот, и не знаю я, остался ли кто-нибудь из моей некогда многочисленной родни? (На Болоте жило много Горовецких, и я писал о них в журнале. — М. К.)

Господи, что они с нами сделали. Отец был осужден по ст. 58 перед войной. С матерью познакомился в лагере, она работала там машинисткой. В 1949 году ей был двадцать один год. За то, что она вышла за бывшего «врага народа», ее уволили с работы, исключили из комсомола. Дед и дедья были под немцами, дядьки были в партизанах, все погибли, тетка сгорела во время пожара. Отец умер от рака легких в 1970 году. Я родился в 1951 году, и родители увезли меня в Нижний Тагил в возрасте пяти лет. С тех пор я не бывал в моих милых сердцу Камасах. Практически ничего ведь не помню. Помню сад, помню хлев, около которого росла яблоня белый налив, бабушка Ненила поднимала с земли опавшее яблоко, вытирала подолом и протягивала мне: «Ешь, внучек». Запах белого налива я до сих пор отличаю из запахов многих яблук. В пуне (сарай, сеновал, отдельный чулан. — М. К.) стояло два гроба и два креста. Дед сделал их сам для себя и для бабушки, «чтоб вам не хлопотать», говорил он. Они простояли больше двадцати лет. В саду стояло много ульев, и мне частенько доставалось от пчел. В конце огорода, около выкопанного озера, стояла баня, из которой бабушка привозила деда на лошади — парился он до такой степени, что сам идти уже не мог. С тех пор я там уже не бывал. Раньше как-то все равно было, а сейчас все чаще снится могила деда, которую я никогда не видел, место, где стоял наш дом, все заросшее крапивой (может, он до сих пор стоит). Во сне я опускаюсь на колени, прижимаюсь лицом к земле и плачу, и как горек этот плач!..

Извините, что расплакался, но наболело на душе...

Живу я сейчас в городе-курорте — Нижнем Тагиле. Держу корову, телку на корову, пять лет держал для души лошадь (именно для души, два-три раза в год приягал), в этом году мало сена заготовил и был вынужден продать свою Купаву (имя лошади). Держу шесть собак: три лайки, фокстерьера, овчарку и дворнягу. Гусей. Люблю рыбалку и охоту.

Растут у меня двое детей: сын Сергей тринадцати лет и дочь Любовь двенадцати лет. Жену зовут Сусанна, она абхазка, я ее украл, как в добрые старые времена. Ну да это никому не интересно.

Извините, если отнял у Вас время. Если есть возможность, вышлите мне карту района болот и сообщите, можно ли перебраться туда на жительство.

До свидания, с уважением

Горовецкий Владимир.

28.1.94.

P. S. Оплату за карту гарантирую.

Фрязино,  
от Путилова В. А.

Здравствуйтесь, Марк Леонидович!

Пишу Вам по поводу Вашего приглашения переселения на болото («Новый мир», 1993, № 9).

О себе. Мне девятнадцать лет. Так получилось, что я оканчиваю электронный техникум, но технику я не люблю, поэтому Ваша статья мне очень понравилась. Моя мечта — это клюевский «берестяной рай». Что же касается крестьянской работы, то о ней я знаю не понаслышке, так как до недавнего времени каждое лето жил в деревне. Умею обращаться с лопатой, косой, пасти коров. Топором, правда, не работал и рыбу не ловил, но думаю, что и это у меня получится. Одно препятствие — плохое зрение, но я обхожусь без очков (из-за близорукости меня не взя-

«Я ХОЧУ, ЧТОБ ВЫ ЗНАЛИ МОЕ МНЕНИЕ...»

ли в армию). У меня есть большинство инструментов и орудий, а также надувная лодка. А вот болотоступов у меня нет и как их сделать, не знаю. Может быть, на некоторые острова можно и без них дойти, ходок-то я хороший.

Вышлите мне, пожалуйста, карту рдейских болот. Остров мне нужен в основном «земледельческий», с хорошей землей, от 1 до 10 гектаров. Укажите, где можно найти или приобрести животных, птицу и пчел, а также, где находится ближайший продуктовый магазин. Я немного не уверен в своих силах, чтобы сразу обойтись без него. Если можете, пришлите свою книгу «Житие на острове Межник», а нет, так и на том спаси Вас Христос.

До свидания, извините, если что не так.

Путилов Виктор Алексеевич.

Нью-Йорк, США,  
от Кейльман Евгении Васильевны.

Уважаемый Марк Леонидович!

Давно хотелось написать Вам, и вот появилась Ваша новая книга «Большие Свороты», а потом статья в «Новом мире», где вы дали свой адрес.

Впервые я прочитала о Вас маленькую заметочку «Новгородский робинзон», кажется, в газете «Голос Родины» и сразу же взяла почитать Вашу книгу «Русское озеро». И вот теперь читаю «Большие Свороты».

Спасибо за чудесные книги, если бы все люди на Руси или хотя бы часть из них так любили свой край, не пропала бы Русь.

Мне особенно ценны Ваши книги, так как я уже пятый год живу вдали от Родины. Всегда любила и люблю русскую природу, нигде нет такой душевности, всегда мечтала иметь свой сад — да вот не удалось. Сама я из Ленинграда, по образованию географ-климатолог, то есть всю жизнь была как-то связана с природой.

В декабре будет два года, как я подала заявление о возвращении мне советского гражданства и возвращении на Родину, но дело затянулось, и сколько произошло перемен! Мой сын проживает в Таллине, куда мы переехали из Ленинграда, и формально я должна возвращаться к нему. Но теперь это отделившееся государство, русских они к себе брать не хотят, да и мне не хочется к ним. Несколько раз я пыталась ставить вопрос о возможности покупки жилья в пригороде Ленинграда, но все упиралось в проблему временной прописки — в Ленинграде никого у меня нет. Хотя из газет я знаю, как продали дачу в курортном пригороде Ленинграда финну, выходцу из тех мест. Вот так — а свои граждане, пусть даже бывшие (и давно ли я уехала, прожив пятьдесят лет в России?), все еще остаются на положении второсортных.

Но если мне все-таки удастся вернуться, очень хочется побывать в Вашем крае. Купила бы избушку, но поближе к людям, так как жить одна я боюсь, хотя при мне моя собака-овчарка, вывезенная из Союза. Была бы очень благодарна за малейшее содействие. Может быть, могла бы еще принести пользу какую-нибудь людям или природе.

На всякий случай пересняла Вашу инструкцию по заселению Рдейского края и небольшую карту этого края из энциклопедии Брокгауза, благо работаю в библиотеке, в отделе русских книг, и все под рукой.

Еще раз большое спасибо за Ваши книги, за Вашу любовь к природе и России.

С уважением

Евгения Васильевна Кейльман.

Из Финляндии, Хельсинки,  
от Ларса Эрика Бундвиста и Кристины Петрик.

Дорогой Марк Леонидович!

Наконец закончилась наша работа! Будем надеяться, успешно. А мысли о Вас, о Рдейском крае нас не покидают. Без Вас наш «Радишевский проект» не был бы возможным. С благодарностью и любовью.

Ларс, Кристина.

*Примечание Кострова.* Однажды по рекомендации Санкт-Петербургского писателя Самуила Ароновича Лурье меня в Новгороде (с просьбой быть проводником в Рдейскую Чисть) посетили финн и шведка. Ларс только что перевел на шведский язык «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, Кристина представляла собою их ТВ, и они потихоньку пробирались по этому старинному маршруту, сопоставляя его с нынешними днями. К сожалению, дело было в мае девяносто первого, я не смог им помочь, так как отправлялся со спутником на свои болота совсем с другой стороны. Я дал им интервью, подписал свои книги, а они в ответ подарили мне огромную головку сыра. Но очень странного: днем он делался жидким, как сметана (хорошо, упаковка была прочная), и когда кончились у меня продукты, а спутник, мастер спорта по ориентированию, не поставив меня в известность, сбежал, я по ночам, когда сыр застывал, заставлял себя просыпаться и так продержался до грибов и рыбного места на Порусье.

Из Гатчины, Ленинградской области,  
от Ивасенко Михаила Михайловича.

### Писатель Костров!

С большим вниманием прослушал Вашу передачу по ТВ 6.1.93 о выживании малоимущих людей в России (студентов, инвалидов, пенсионеров и т. д.). Много интересного узнал из Вашей инженерной информации. Просто поразительно, как много существует способов предпринимательства, то есть выжить, чтобы не умереть человеку от голода. И что поражает: Вы не только сообщили о них, но и сами сделали или пытались это сделать. Даже закрадывается сомнение, инженер ли Вы *человеческих* душ или инженер по выживанию колониальных народов?!

Прошу извинить за эту фразу, но у меня возник вопрос: а зачем это русскому человеку в России бороться за выживание, да еще таким образом?

В России что? Случился страшный недород много лет подряд?

Стихийное бедствие?

Разрушительная война?

Или он (русский человек) уже до 1985 года ходил раздетый и разутый?

Случайно я тоже жил в России до 1985 года (родился в 1937 году в крестьянской семье), успел получить высшее образование (отец погиб во время войны, наверное, и у Вас тоже, мать — колхозница), построил много объектов по производству минеральных удобрений на Севере, воспитал двух дочерей, которые тоже получили образование: одна высшее, другая среднее. Все было обеспечено, ездили отдыхать на юг (в Крым и на Кавказ), каждый год без путевок, на свой счет. Хлеб стоил 16—20 коп. кг, билет на самолет от Мурманска до Сочи — 40 рублей, пили вино, покупали книги (классиков, а не сексологов и астрологов).

А тем временем наши ученые, конструкторы и военные успели изобрести и построить ядерное оружие, которое нас прекрасно оградило от 3-й войны (перед этим наши отцы хоть и погибли, но успели выиграть 2-ю мировую войну). И вдруг — с чего бы это? — у нас возникла необходимость бороться за выживание? Да и кому бороться? Малоимущим и пенсионерам, которые всю жизнь работали на свое отечество и, как известно, дворцов с прислугой в Швейцарии и Южной Африке не заработали.

Не кажется ли Вам кошунственной сама постановка вопроса о выживании русских людей в России, одной из богатейших стран мира с талантливейшим народом?!

Я бы не стал писать Вам, но мне показалось, что у Вас есть совесть, я, конечно, могу ошибиться (ведь я видел Вас только один раз в этой передаче и, к сожалению, Ваших писательских сочинений не читал), но по Вашему облику мне показалось, что Вам небезразлично будет, как отнесутся к Вашей передаче русские люди, и я хочу, чтоб Вы знали мое мнение.

Надо людей звать на борьбу с той несправедливостью, которая совершается над русским народом, а не учить его, как выжить в условиях, *умышленно* создаваемых для русского народа его, мягко выражаясь, неразумной верхушкой, которой он вверил свою судьбу.

Я уверен, Вы со мной рано или поздно согласитесь, и если бы я не надеялся на это, не стал бы тратить напрасно время и, главное, бумагу! А пока мне обидно за Вас!

Русские писатели (сохранившиеся в русской литературе) всегда звали русский народ к борьбе с несправедливостью, а не к смирению с грабителями и поработителями!

Ваш случайный слушатель и зритель из Ленинградской области

Ивасенко Михаил Михайлович.

На конверте выше надписи «Новгород, писателю Кострову» было указано: «Просьба к работникам почты передать письмо писателю Кострову, а если не найдете его, опубликуйте это письмо в газетах Новгорода».

Прошлый, девяносто третий год я часть лета снова жил в Туровинах Печерского края. И вдруг ко мне из Москвы, из Зеленограда, приехал директор кооператива «Коллегия» некто Н. Г. Некрасов. После моего выступления по ТВ «Россия» он заказал мне разработку двух технологий: одну — по изготовлению подвесок к люстрам и другую — лампадок из эпоксидных смол. Я не только расписал их на бумаге, но и, создав образцы, отослал в Зеленоград. В ответ получил тоже посылку и в ней письмо:

Дорогой Марк Леонидович, разумеется, я виноват — с посылкой задержался, даже не знаю, как и оправдываться, Вы уж извините меня: нелегкая жизнь у кооператора (Некрасов из интеллигентных зеленоградских программистов. — М. К.).

Книги Вашей в магазинах не нашел, но буду помнить о Вашем заказе. Вместо процинкованной кислоты для травления я высылаю ортофосфорную — говорят, что она лучше. Высылаю и диоды для пайки их к «вечным» лампочкам.

Из Ваших предложений наиболее интересны лампадки — желтые и красные, а бисер (подвески), видимо, будет дороговат в изготовлении. С бисером цену мы обговорили, скажите, сколько стоят лампадки и их технология? Крестики даже очень хорошего качества (как у Вас) пойдут с трудом — рынок ими в Москве завален.

С освоением острова в Рдейском крае даже и не знаю, что делать: единственный проводник — Ваш сын, но трубку в Новгороде не берут, видимо, его нет дома.

Марк Леонидович, я очень рад нашему знакомству в любом случае, хотя лучше, чтобы оно было продуктивно, а я в свою очередь буду стараться Вас не подводить. (Всего-то и задержал посылку против обещанного срока на полмесяца, а столько переживаний — трудно им будет, интеллигентам, в современном переходном варварстве. — М. К.).

С наилучшими пожеланиями...

Дорогой Марк Леонидович! Здравствуйте! Мало надеюсь, что мое наивное письмо дойдет до Вас лично, но пишу, и простите меня за мою детскую наивность. Прочитала две трети Вашей книги «Большие Свороты». Я лелеяла мысль узнать любой адрес, куда бы Вам можно было бы написать, и — о счастье! — его я увидела, прочитав книгу от корки до корки. Не знаю, что за писанина выйдет у меня из-под пера, эмоции захлестывают меня, и все мои восторги от простоты и прямоты в Ваших рассказах — это, наверно, тоже своего рода наркотик, который хочется читать и пересчитывать... Особенно меня задели слова: «От наших бюрократов милости не жди... И как только вас наберется достаточное количество, извлеки недалеко от Замощья увязший с войны танк...»

О! Как Вы правы, как Вы во многом правы! Спасибо Вам! Была бы я немного моложе, хотя и сейчас я далеко не стара, мне всего двадцать семь, и все же это уже двадцать семь, семья, двое детей, немножко несложная жизнь: старший сын семи лет — инвалид детства, а была бы одна, я бы обязательно побывала на Болотах. Хотя и так выбрали не лучшую долю. Мы жили в городе, оставили после смерти моего отца квартиру и уехали в деревню, к земле тянуло, проехали почти всю Украину, остановились на Сумской области. Забытая Богом деревня со старожилками, злыми, недоверчивыми к приезжим. Будто бы мы и не люди вообще. Обидно, руки-ноги как у них, а смотрят не так, будто бы с рогами мы или еще что. Живем как в пустыне, вроде бы среди людей, а вроде и нет их. Вот и задели Вы меня за ниточку больную, читала — аж сердце заходило. Если есть у Вас со-



вет, как выжить в этой жизни, — помогите. Кажется, на Болотах безлюдных легче было бы. Особенно больно, когда встречаются, хорошие слова друг другу говорят, улыбаются, а разошлись — в спину друг другу плюют.

Неужели для того, чтобы любить и понимать друг друга, нужно большое горе, неужели без него нельзя?! Обидно, до слез обидно. Порой до утра проревешь, а что от этого толку...

Вот так и живем. Благо что муж с пониманием ко мне относится, да и все у нас не так, как у всех, без скандалов и склок... Мы в деревне только полтора года, город вспоминаем, только когда за беспечными, приветливыми, разноликими людьми соскучишься. Мы в Донбассе жили в Луганске. За «романтикой» я ездила по малолетству на Дальний Восток, два года проболталась в Японском море, из трюмов вылазила только в шторма, когда рыба не шла. Работала на рыболовецком судне рыбообработчицей, «романтику» как ветром сдуло, хотя наивности и теперь до смерти не убрать. Все мечтаю, что люди станут добрые...

Ну ладно, буду заканчивать, ведь, наверное, не одна я утомляю Вас своей писаниной. Спасибо за книгу! Спасибо, если прочли мое письмо! А мне вроде и легче как-то сразу стало. Так со мной бывало, только когда на могиле все выскажу, что наболело. Извините меня, Леонидович, извините за все!

Ася.

Здравствуйте, Марк Леонидович!

Только что с огромным удовольствием прочли в «НМ» Ваши «советы болотно-го человека» — спасибо! Спасибо за полученное удовольствие, за подробное описание, за приглашение и адрес. Давным-давно мы ходили на байдарках по Печоре, Белой, Карельскому перешейку, сейчас мне пятьдесят лет, и я осуществила свою давнюю мечту — сбежала из затхлого Саратова, с берега бедной загаженной Волги, в деревню, на простор, на землю. Обзавелась курами, козами, вырастила корову. А в первое свое лето, когда я с восторгом неопита училась косить, меня так и подмывало написать что-нибудь вроде «Записок деревенского маргинала», и моя первая копна не промокла под дождем, а очень выручила в первую зиму, когда я купила козу. Я мечтала, чтобы у моих детей и внуков были деревенские впечатления, которых не было у меня. И это мне удалось: дети счастливы от общения с животными и очень любят ходить на речку и по ягоды.

В здешней школе несколько лет не было преподавателя английского языка — я пошла работать в школу, благо языка с университета не забыла. Хозяйство крепко держит в деревне, а заботы зовут в город, волнует участь сына: ему четырнадцать лет, и хотя он любит деревню, нашу корову Розу, но без образования жить неинтересно, мне бы хотелось, чтобы он окончил сельскохозяйственный техникум. Но пока ему до окончания школы год, я решила поехать на разведку в Ваши края. Прошу прислать мне Вашу карту, и не могли бы Вы дать адрес Ярослава Всеволодовича? Вы поместили в «НМ» его телефон, но дозвониться до него мне не удалось.

И еще: нет ли у Вас лишнего экземпляра Вашей книги «Житие на острове Межник»? Оплату гарантирую, и Вы кроме меня получите еще несколько благодарных читателей.

Еще раз спасибо! Ведь мечта о путешествии — это уже счастье.

Будьте здоровы и благополучны!

К сему Лебедева Галина Владимировна.

Саратовская область, село Озерное.

Дорогой Марк Леонидович!

Никак не ожидал, что настоящий, живой писатель напишет мне письмо. Мне хотелось доставить Вам немного удовольствия своими записками о Полистовье, и я рад, если так получилось.

Ваши рассказы люблю, особенно те, где меньше людей и больше болота. Я вообще отношу себя к поколению «равнодушных» (родился в 1948 году). Иронично относился ко всяким властям, никуда не вступал, никогда не выступал: никуда не писал, и даже сейчас наше вступление в цивилизацию воспринимаю с опаской. За столько лет, как ни сопротивляйся, из нас сделали полуромантиков-полу... «Я люб-

лю ходить в дождик, когда все прячутся...» — начало моего стиха, написанного двадцать пять лет назад.

Теперь о Вашей книге «За счастьем на озеро Дулово». Я когда прочитал — обалдел. Как просто. Читаешь рассказ Кострова и выводешь формулу, над которой вечно бьются философы. Счастье — это не то, что имеешь, а о чем думаешь. И все.

Всего Вам хорошего, с уважением

Юра.

А будете во Пскове, заходите — это рядом с вокзалом, около стадиона «Локомотив», там стоят две многоэтажки.

06.02.92.

Уважаемый Марк Леонидович, передаю Вам привет от моего мужа и детей. Мы с Вами встречались на реке Порусье, у костра, и слушали Ваши рассказы о Юрии Казакове — к стати, когда выйдет книга о нем, о Русском озере, откуда Вы только что выплыли? Мы должны извиниться перед Вами, так как не сразу ответили, получив от Вас в подарок Вашу книгу с теплыми словами. Как это здорово — в шестьдесят три года быть бодрым, энергичным и жизнерадостным, даже после того, как Вас покинул посреди болота Ваш спутник, мастер спорта по ориентированию. Очень хотелось бы, чтобы когда-нибудь Вы выступили у нас на заводе. Фамилия директора Старорусского авторемонтного завода Бабурцев Владимир Васильевич.

С уважением

20.12.92.

Лидия.

Уважаемый Марк!

Получив «НМ» № 9, решил написать автору «Как уцелеть в наше смутное время».

Прекрасно!

Ну что еще можно сказать?! Да еще в такое-то вот времечко! Прошу одного: выслать карту!

Коротко о себе:

По профессии: геодезист-топограф, МИИТ 1962 года.

По призванию: орнитолог-зоолог-биолог (с трудом разбираю текст — словно получил письмо от Юрия Нагибина. — М. К.).

Есть у нас все-таки люди, не оставившие звания людей, но и просто воплощающие звание человека — а это главное!..

С большим уважением к Вам

Владислав Полосин.

P. S. А, Русь выдержит!..

Уважаемый Марк Леонидович!

Прочитал статью в «ЛГ» «Пусть светит». Очень ею заинтересовался. Нам такие лампы очень даже нужны. Ведь мы занимаемся электрификацией с/х производства, и очень часто у нас перегорают лампы на фермах. Мы хотели бы сделать такие «вечные» лампы. Не могли бы Вы выслать нам чертежи?

Наш адрес: 678050, Якутская АССР, Усть-Алданский район, с. Борогонцы, Агропромэнерго, Готовцеву Гаврилу Власовичу.

03.12.86.

По поводу «вечных» лампочек еще много писем. Из Тбилиси, ул. Нуцубидзе, 43, от Тетерова С. А., он пишет, что их город снабжается лампочками ереванского производства, которые быстро перегорают. Много писем с положительными опытами внедрения «вечных» лампочек из Прибалтики, с Украины, из Якутии, есть письма из сельской местности, где дешевые и долговечные лампочки даже увеличили яйценоскость кур, так как свет теперь у них в курятниках горит круглосуточно.

Здравствуйте, Марк Леонидович!

Проглотил Вашу книгу «Большие Свороты» на одном дыхании, до того она соответствует мыслям в моей голове.

Сейчас я отбываю наказание в одной колонии, не беспокойтесь, я не насильник, не убивец, к мафии не принадлежу, просто хотел улучшить жилищные условия моей семьи (у меня жена и трое детишек) не по закону, потому что законную жилплощадь можно ждать всю жизнь и не дожидаться, так и отбросив концы в коммунальной квартире, как у нас. Но не в этом дело — все равно я решил из города уехать, задавил он меня окончательно, хотя я родился в городе, но ничего хорошего в нем *не видел и не увижу* (курсив мой. — М. К.). Все время в голове бродила мысль куда-нибудь рвануть от «благ» цивилизации, в такое место, где эта цивилизация нагадить не успела или еще не на всю катушку, еще можно что-то исправить, поправить. Намерения у меня самые серьезные, и так же серьезно я готовлюсь к другой жизни, собираю все полезные сведения и советы, которые пригодятся.

Места Вы описали прекрасные, и если мне не встретится местечко поближе, можно и Рдейский край посмотреть, потрогать руками. Но главное, почему я пишу, так это интерес к различным приспособлениям, механизмам, инструментам, и чтобы не изобретать велосипед дважды, прошу поделиться Вашими изобретениями, в частности: капкан для ловли шук, болотоступы, теплички индивидуальные для огурцов, «вечные» лампочки для курятника... Или же конкретно укажите, в каком издании о них прочитать. Если вас не затруднит, жду Вашего ответа.

Да, чуть не забыл про гайморитную маску: сообщите, где о ней прочитать подробно.

Петров.

11.08.83.

Уважаемый тов. Костров!

Мы склерозники, у нас закупорка аорты на сердце до 80 — 90%, и мы на грани летального исхода. Сложные и тяжелые операции на сердце почти не продлевают жизнь. У нас просьба к Вам: не замечали ли Вы при путешествиях и жизни в болотных условиях улучшения сердечной деятельности и уменьшения страданий при атеросклерозе сердца? Просьба все, что Вы знаете, сообщить нам, ибо нам нечего терять, поедем на наши многочисленные болота и будем там экспериментировать.

Просьба сообщить нам.

С глубоким уважением!

Ветераны ВОВ.

194214, Ленинград, Костромской проспект, 38 — 56.

Здравствуйте, Марк Леонидович!

Пишет Вам военный летчик самолета «АН-2» Володькин Николай Ильич. В городе Сольцы купил Вашу книгу «Русское озеро». Его и Рдейский монастырь с высоты двухсот метров я давно наблюдал. Много спорили об этих местах. Но когда прочитали Вашу книгу, многое прояснилось. Книга всем понравилась, из другой книги — «Рдейский край» — узнал о лампочке Мелковской. Если Вас не затруднит, вышлите чертежи.

Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Марк Леонидович!

Недавно прочел две Ваши работы — книгу «Большие Свороты», хотя такой деревни рядом с Холмом не встречал (я житель Холма), и «Новый мир» про республику в Полистовском болоте. Мы много ходили в походы вокруг Холма, но как-то не замечали Болота и только из Ваших рассказов узнали, что у нас под боком сказочный край. Нет, мы, конечно, знали, что он есть, но мы никак не думали, что в болотах может сохраниться истинная красота, не испорченная цивилизацией. Но только хотели летом идти туда, зимой не решились, как нас забрали в армию. В общем, у нас к Вам будет просьба: пришлите нам карту, не знаю только, что могу предложить взамен, но, если что-то понадобится, напишите. Я же до ар-

мии учился в Великолуцком лесном техникуме, после нее, если ничего не изменится, поеду туда доучиваться, жаль только, что два года даром пропадут.

В общем, ничего особо хорошего я за свою жизнь не сделал, впрочем, и плохого. Кроме «Своротов» прочел Ваши книги «За счастьем на озеро Дулово», мы тоже хотели туда пойти, но, узнав о безрыбье на нем, отказались, а вот после книги «Русское озеро» обязательно на него сходим. Много в них наврано, но без этой книги были бы менее интересны. В общем, спасибо Вам за них — это единственный источник, где можно узнать историю края...

До свидания.

Мой адрес: Калининградская область, г. Пионерский-1, в/ч 40790-Л, Галкину Владимиру.

Кубань, станица Платнировская.  
24.10.93.

Уважаемый Марк Леонидович, здравствуйте!

Прочел в «НМ» Ваше эссе «Как уцелеть...». Прошлый год мы отметили в нашем клубе «Золотая роза» десятилетие со дня смерти Ю. П. Казакова, а в этом году двадцатипятилетие со дня кончины К. Г. Паустовского. Впервые я прочел «Мещерскую сторону» Константина Георгиевича в 1938 году в «Юном натуралисте». Поэтическое описание Мещерского края надолго заняло мое воображение, ее топонимы и гидронимы остались в памяти навсегда... Нечто подобное я испытал, читая Ваше эссе...

С уважением  
П. Попков.

Из протокола общего собрания Новгородской писательской организации СП РСФСР от 29 ноября 1990 г.

- Повестка дня: 1. Личное дело члена СП СССР М. Л. Кострова.  
2. Распределение приусадебных участков садово-огородного товарищества.

По первому вопросу. Обсуждение поведения члена СП СССР М. Л. Кострова в связи с его «открытым письмом».

Выступили.....

Председатель: Кто за то, чтобы М. Л. Кострова за все грубейшие оскорбления, нежелание участвовать в работе организации, презрение его, неоднократно высказанное, направить в СП РСФСР, чтобы там подобрали ему организацию по масти? А ответственному секретарю указать на то, что он затянул с вынесением этого вопроса на собрание.

(Результаты голосования — единогласно.)

Председатель (Подпись)  
Пред. ревкомиссии (Подпись)  
Секретарь (Подпись)

Из «Открытого письма ответственному секретарю Новгородской писательской организации Б. С. Романову».

...откуда у тебя эта зоологическая ненависть к другим народам? Борись — с темной стороной твоей души, ведь за время издания газеты «Вече» (орган Новгородской писательской организации. — М. К.) покинули страну и «убийца» Дегтярь (врач), и преподаватель Политеха Рубашкин, и инженер очистных сооружений Рабинович, и другие классные специалисты нашей области...

(«Новгородская правда», 17.XI.90.)

В начале лета девяносто первого, выплывая из Рдейского края по Порусье, парился в баньке у Володи Коробочкина из Нивск. Там и познакомился с Дмитрием Ивановичем Артемьевым, строителем избушки на берегу озера, против Рдейского монастыря. Он передал мне блокнот (часть первая), куда записывали свои впечатления останавливавшиеся в этом зимовье рыбаки, охотники, ягоdniки:

Приходите, пользуйтесь становищем в разумных пределах. Соблюдайте чистоту и, пожалуйста, не губите деревья и кусты, а то стояла березка рядом с избушкой, а ее зачем-то срубили.

Спасибо хозяину за все удобства. Они мне очень помогли в ненастную погоду.

12 — 16.07.86 г.

Таллин, Колесников.

Ходим на это озеро постоянно. Спасибо за то, что создали все условия для прекрасного отдыха и рыбалки.

Павловы. 18.07 — 21.07.86 г.

Вновь удалось посетить этот край. Кто-то вновь ободрал березы кругом. Для растопки есть смоляной чурбак, сколько угодно сухих дров рядом в лесу. Оставьте после себя если не лучше, то хотя бы как есть.

27.07.86

Артемьев, Власов.

Большое спасибо за приют.

Ивановы. Тбилиси.

Спасибо Вам, добрые люди.

Трухачев. Москва.

Спасибо хозяевам за избушку, отлично расположена и хорошо срублена. Были здесь до первого снега.

Куличенко и Виноградов (Москва),  
братья Степановы (Зеленоград),  
Михеенков (Жуковский).

Дмитрий Иванович, спасибо за гостеприимство!

Саша Стебмог.  
12 — 18 окт. 86 г.

Поздравляем всех, кроме Кострова, с Новым годом. Спасибо за избушку.

С. В. и А. П.

Вновь был здесь и наслаждался солнцем.

Таллин, Колесников.  
16 — 19.03.87 г.

4.07. Очень понравилось это зимовье. Видно, оно построено великодушным человеком.

Ланев А. В., Сельсков В.

**СПАСИБО!**

Спасибом сыт не будешь! Спасибо в карман в положишь!

Заглянув в этот уголок, еще раз убедились в русской широте души и гостеприимстве. Люди, берегите природу!

Работники новгородского авиапредприятия.

Давно сбились с курса, потеряли счет времени, скорей не дошли, а доплыли сюда, где ходили и куда идем, не знаем. Нас не ищите. Передавайте пламенный привет Кострову. Примерно сентябрь—октябрь месяцы 1987 года.

Два Виктора.

Печка требует ремонта. Заполье.

(ФИО неразборчивы).

Так исправь!

В конце этой «жалобной книги» подклеен обрывок статьи из какой-то газеты: «Я сам гомельчанин, в год катастрофы был депутатом Верховного Совета СССР от районов, примыкающих к станции. Частые поездки к своим избирателям дали обильный материал для романа. Назвал его «Злая звезда». Почему «Злая звезда»? В Библии в Откровении святого Иоанна Богослова говорится: «Третий Ангел воострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки».

По-украински полынь — чернобыль.  
Да, злая звезда упала на нашу землю!»

И ниже приписка:

«А Рдейские мхи быстро поглощают радиацию».

На этом записи в первом из блокнотов обрываются. Артемьев обещал, как только заполнится вторая «жалобная книга», прислать мне и ее тоже.

3. II. 93 года.

Глубокоуважаемый Марк Леонидович!

Решил отнять у Вас немного времени. История вопроса состоит в том, что 25.10.93 года в 21.30 я услышал по радио что-то родное и близкое моему сердцу, но, к сожалению, был уже конец передачи, в которой упоминалось знакомое слово «Груховка». Боже мой, есть еще на свете люди, которые кроме меня знают эти места. Ведь я, кулик, родом из этого болота, и мне довелось видеть, что сделали варвары с житницей болотной глубинки.

В конце передачи диктор сообщил, что по радио передавали Ваш очерк, но не сказал, где он опубликован. Пришлось обратиться на радио, и вот я в библиотеке читаю «НМ» № 9. Огромное спасибо Вам, что доставили такое удовольствие прикоснуться к дорожному и бессмертному для меня источнику.

Коротенько о своем впечатлении.

Во-первых, мне импонирует стиль изложения. Простота языка, точность зарисовки пейзажа. Во-вторых, глубокое историко-философское мышление, отражающее реальность былого, настоящего и будущего. Сейчас от той кипящей на болоте, на островах жизни остались жалкие воспоминания. Хочется надеяться, что Русь может возродиться, может быть, будет еще краше, но для этого, по моему глубоко-убеждению, потребуетсся смена нескольких поколений.

Все, о чем Вы пишете, я знаю не из литературы, сам был живым свидетелем этого распятия нашей болотной глубинки. На моих глазах происходило раскулачивание, истребление самого трудолюбивого, честного пласта крестьянства. Если гениальная столыпинская реформа накормила страну, то советская поставила ее в кабалу, из которой долго еще нам не выбраться. Любой хутор своей красотой и порядком ласкал глаз хозяина и соседа. У мужика не было времени и необходимости топить жизнь в водке. Так он сызмальства и детей воспитывал, приучал их к труду благородному. Им некогда было ломать замки и заборы у соседа, они понимали, что все достигается трудом, знали цену труду. Но коммунисты понимали, что такой труженик бездарей-тунеядцев кормить не будет, и, следовательно, готовили другую участь крестьянину и руками местной голи кабацкой жестоко разделались с сельскими тружениками.

Я хорошо помню, как расправлялись с «кулаками», которые жили в версте от нашей деревни Губной Жар. Это латышское поселение называлось Нероновка, состояло из четырех рядом расположенных хуторов неподалеку от Груховки. Это были не просто деловые люди, а образец российского фермерства. Каждый хутор имел по 35 — 40 дойных коров, свои пасеки, прекрасные сады и т. д. У них задолго до коллективизации все трудоемкие работы были механизированы. Молоко на сепараторах перерабатывали сами и из него готовили масло, сыры и другие молочные продукты. Большое количество скота позволяло на бедных почвах получать высокие урожаи зерновых, а для обработки и уборки урожая была вся необходимая сельхозтехника. Они же имели два паровика. Были они и проводниками культуры на селе. В их домах звучало пианино, а заработанные средства они не проживали, не пропивали, но вкладывали в дело.

Разве могли им позволить так жить преступники рэкетиры-коммунисты? Этот класс подлежал немедленной ликвидации. Технически такие вопросы решались

просто. Представитель местной власти с ватагой местной же гольтыбы в одну ночь вывозили всех на телегах чуть ли не в чем мать родила в ссылку. На базе их хозяйств создавались колхозы, но до них уже местные бандиты основательно чистили дома, а поживиться в них было чем. Результат такого грабежа коммунистов состоял в том, что богаче они не становились, а созданные таким путем колхозы скоро разваливались, приходили в упадок. Без хозяина и дом сирота. Дичали сады, гибли пасеки, искалечены были все сельхозмашины, взрывались паровики, погиб, выродился весь элитный скот, а постройки без догляда ветшали или сгорали. Я был живым свидетелем этой вакханалии. Еще тогда умные мужики понимали, что крестьянину пришел крах, и подавались в ненавистные города. Из двух зол выбирали работу или дворником, или шахтером или шли подсобниками на доменных печах.

Но это были еще цветочки, прелюдия к уничтожению крестьянского генофонда. Утопическая фашистско-коммунистическая идеология требовала в геометрической прогрессии крови и крови и постоянно искала все новых «врагов народа». Втайне шла большая подготовка к массовому истреблению честных тружеников села и города. Пережил я и массовый вертеп 1937 года. Эти репрессии останутся в моей памяти до конца жизни. Сам я пострадал и хорошо помню, как все было, как я нес крест сына «врага народа». Для нас в жизни дороги были закрыты в любую инстанцию...

Парадоксально другое — что и сегодня за все необоснованные репрессии, за муки и кровь невинных жертв никто не несет никакой ответственности. Сейчас на станции Локня живет главный фашист края Орлов Павел Алексеевич, который в 1937 году был председателем с/совета в Красном Бору, и по его доносам в нашей местности пролилось море крови. Я пишу об этом не по слухам, а по точным данным спецархивов, с которыми лично знакомился. Но это отдельная большая тема, над которой историки и писатели будут еще долго и много работать.

Волей тяжкой судьбы я проехал весь Союз вдоль и поперек и должен сказать, что лучше места для жизни, чем наши болота, я не встречал. Конечно, сейчас все в запустении, и я зачастую не узнаю родные места, где раньше все цвело и благоухало. Пахотные земли и заливные луга покрылись ольховой тайгой, исчезло с лица земли множество деревень и хуторов. Большевики за короткое время все стерли в порошок. Да и названия населенных пунктов стали другими. Село Троица теперь Подберезье, село Темный Бор — Красный Бор и т. д.

Но, невзирая на все трагедии и страдания от местной партийной вакханалии, я патриот своего болотного края, да и знаю его неплохо. Поэтому и дом себе купил на окраине Рдейщины в Холме. Моей деревни нет уже и в помине, а в Холме я жил до войны в детском приюте, там все близкое и родное моему сердцу. Каждый год я два месяца душой отдыхаю в своих болотах, физически работаю от зари до зари и в этом нахожу огромное удовольствие.

Марк Леонидович, Вы меня не ругайте за столь длинное и бестолковое письмо. Виновником в этом являетесь Вы: дали возможность вспомнить далекое и близкое, чужое и родное.

С глубоким уважением

Виноградов.

Санкт-Петербург.

### Послесловие

Как видно из писем, читатели просят помочь им с покупкой дома в этих краях, выслать карты Рдейского края, схемы «вечных» лампочек, сообщить адреса тех или иных упомянутых мною в очерках людей для переписки с ними и тому подобное. Мне все сложнее с годами становится откликаться на просьбы читателей материального порядка, поэтому, пользуясь случаем, сообщаю некоторые сведения.

Для тех, кто хотел бы поселиться ну хотя бы не на островах, а рядом с ними, советую писать главам администраций Новгородской области, Холма, Поддоря или поселка Бежаницы Псковской области. Но при этом обязательно вкладывать конверт с обратным адресом. Или же напрямую, ознакомившись с той или иной административной картой, обращаться в сельсоветы.

Последний раз в Рдейщине (в ее северной части я бывал в 1991 году), в деревнях Заполье, Иванцево, Ельно, продавались дома. Относительно сегодняшней си-

туации надо написать в Нивки (до них асфальт проложен), Владимиру Коробочкину, он там заместитель директора совхоза. У них в 1991 году было несколько пустующих домов. Жена Владимира Коробочкина секретарь с/совета, которому подчиняется куст вышеуказанных деревень. Все они расположены на реке Порусье. До клюквы и морошки оттуда всего один-два километра, а Иванцево, например, расположено уже на полуострове, так что болото у деревеньки под боком.

Я же последующие годы жил уже за пределами края, в деревне Туровины, на границе с Эстонией, где арендовал крошечный домик и занимался по бартеру сапожно-эпоксидным ремеслом (об этом в «НМ», 1994, № 10). Если кого-то эта местность заинтересует (она очень сухая, холмистая, грибная, рядом Рижское пустынное на сегодня шоссе), обращайтесь к хозяину домика, Александру Стенигу: 197042, Санкт-Петербург, Морской пр., 24 — 41. Изобка стоит на горке, вид прекрасный, крыша шиферная, но дом в одну кухню, при этом треть площади занимает печка. Начнете жить — начнете и подыскивать себе более подходящее жилье.

Далее. Живущей в Нью-Йорке Евгении Васильевне Кейльман я посылал письмо, но, вероятно, оно не дошло. Сообщаю адрес женщины ее возраста, которая готова ее принять в каменный дом на Валдайской возвышенности. Для этого Евгении Васильевне надо позвонить Людмиле Кузнецовой в Новгород (телефон: 2-28-62) либо отправить письмо по адресу: Химиков, 5 — 17, и напрямую с ней договориться.

Два слова о картах и схемах. Ксероксы (за плату) Вы сможете заказать по следующим адресам:

Новгород, Кремль, Областная библиотека, краеведение, Вересовой Лидии Алексеевны.

Новгород, Областная юношеская библиотека, пр. Ленина, 24, Макаровой Ольге Юрьевне. В эту библиотеку я также сдал расклейки «вечных» лампочек, «капканов», индивидуальных тепличек, аппаратов «Мечта алкоголика», уловистых блесен, болотоступов, приспособлений для экономии газа, машинки для запечатывания пленкой консервов... всего двадцать опубликованных в новгородской прессе газетных сообщений, с фотографиями. Их тоже можно заказать.

А у кого сложно с финансами, отсылаю к журналу «Юность» (1991, № 3) — там напечатана трехкилометровка Болота, или к альманаху «Ветер странствий» (1977, № 12) — в нем воспроизведена схема пути до Рдейских островов.

И еще один адрес: Псковская область, Бежаницкий район, поселок Цевло, секретарю сельсовета Валентине Федотовой. До них проложен хоть и худенький, но асфальт. В самом поселке (он стоит на озере Цевло, по которому, как и по речке Полисть, жители на лодках проникают в глубь клюквенных болот) тоже продавались дома.

Адрес же Ярослава Всеволодовича Михайлова, с которым хотела бы переписываться Галина Лебедева (в «НМ», 1993, № 9 указан только его телефон), такой: 115573, Москва, ул. Шипиловская, 37-1-6. Кстати, он теперь знает Болото лучше меня.

Что касается моей книги, упомянутой в «Новом мире», — «Житие на острове Межник», то с ней произошла накладка. Ее Лениздат так и не смог выпустить в свет из-за отсутствия бумаги.

И последнее. Недавно, в мае девяносто четвертого, ко мне приезжал бывший ленинградец, а теперь пятилетней выдержки фермер из тех мест Александр Алексеевич Кузьмин. Он рассказал мне о своей сложной жизни на краю Болота. Кузьмин согласился давать желающим письменные (с обратным конвертом) консультации по интересующим их вопросам. Его адрес: Новгородская область, Холмский район, Наволкский с/совет, деревня Каменка.

---



---

---

Л. АЙЗЕРМАН



## «ИЗ ТАКИХ КРУПИНОК СКЛАДЫВАЕТСЯ ИСТОРИЯ...»

*Заметки учителя-словесника на полях школьных сочинений*

**В** жизнь входит первое поколение нового исторического времени — постсоветской и посткоммунистической эпохи. В вышедшей в 1993 году мизерным тиражом (750 экземпляров) книге «Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х» — неутешительный вывод: настроения и оценки людей старшего поколения куда как далеки от пушкинского приветствия «Здравствуй, племя младое, незнакомое».

Не выразившее пока себя в литературе и искусстве, поколение это, судя по всему, не оставит ни многочисленных дневников, ни обширной переписки. До мемуаров же пока далеко. Но есть документ, который уже сегодня позволяет увидеть их и понять: школьные сочинения. Для меня школьные сочинения, с которыми я хочу вас познакомить, в том же ряду, что письма, дневники и другие живые свидетельства эпохи.

Естественно, я прежде всего хотел понять собственных учеников. А через них — и поколение, и само время. Я не социолог, у меня нет возможности постичь время и поколение на макроуровне. Я вглядывался в них, если так можно выразиться, на клеточном микроуровне. К тому же мне, учителю литературы, ближе не логика науки, а непосредственность реального факта, индивидуальность, неповторимость каждого голоса.

Цитируемые мной сочинения школьников — не подтверждение моих мыслей, не иллюстрация к моим построениям. Они для меня самоцельны и самоценны. При этом я опирался на опыт таких произведений, как «Я из огненной деревни», «Блокадная книга», «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики». Только там в центре внимания — исключительное, меня же интересовало повседневное, обычное, обыденное. Другое дело, что повседневное, обычное, обыденное — в момент одного из самых крутых поворотов в нашей истории.

1

В сентябре 1981 года я предложил ученикам выпускного в ту пору десятого класса домашнее сочинение «Что меня волнует в современной жизни». Один из родителей тут же сигнализировал в Главное управление по народному образованию. Звонок в роно. Звонок в школу. Якобы я предлагал написать сочинение «Что я принимаю и что не принимаю в современной советской действительности». В роно всю эту историю спустили на тормозах. Но сочинения (хотя они и хранились в ящике шкафа, ключи от которого были только у меня) я унес домой от греха подальше, твердо решив, если их затребуют, сказать, что отдал их ученикам для работы над орфографическими и пунктуационными ошибками. С тех пор эти двадцать шесть сочинений хранятся у меня.

Первоначально я хотел о них рассказать, сопровождая свои мысли цитатами. Но потом понял: наиболее интересное — не мой анализ, а сами сочинения, под-

линные документы времени, точнее, безвременья. Естественно, привожу их не целиком, а ограничиваюсь (порой пространными) выписками.

Итак, сентябрь 1981 года.

«Сейчас очень часто говорят о равнодушии, черствости, нежелании и неумении людей работать, о формализме и других явлениях в жизни нашего общества. Но ведь ничего не возникает на пустом месте, и все эти черты были в людях воспитаны, а школа играет большую роль в воспитании.

Начну с простого примера. В восьмом классе я была вожатой у четвероклассников. Они первый год были пионерами, и каждый жаждал какого-нибудь общественного поручения. А классная руководительница не дала им возможности хотя бы придумать название отряда. Мелочь, конечно. Но так, постепенно, эти ребята разочаровались в пионерской работе. Им становится неинтересно, потом тоскливо, а потом просто противно участвовать из-под палки в разных мероприятиях. Ребята составляют липовые отчеты о «проделанной работе», проводят классные часы и сборы, никому не нужные и неинтересные, но которые «надо» (кому?) проводить. Учитель делает вид, что это надо детям, школе, всей пионерской организации, и ребята тоже учатся притворяться».

«Это может показаться резким, но больше всего в современной жизни меня волнует разделение. Да, да, именно разделение людей. На высших и низших, хотя это и не так заметно, но, приглядевшись, можно понять. Несмотря на то, что у нас в стране давно провозглашено равенство, но и по-прежнему существуют как бы люди «высшего класса». Все люди одинаковы. А почему они получают пайки, перед ними расступаются, когда они едут, и т. д.? Еще... Очень обидно бывает, когда из-за того, что человек не боится в лицо сказать правду, ему ломают всю жизнь. Он мог бы далеко пойти, многое совершить, а его «срезают под корень», останавливая на полпути, не давая подняться выше. Что же это за правда, которую надо бояться? Значит, все не так гладко, как говорится, если прекрасных людей держат в черном теле?! Очень давит эта несправедливость на меня, да и не только на меня».

«Я человек своего времени. Могу трезво обо всем судить, для меня «розового цвета» не существует. В нашем мире нужно жить без иллюзий. Человек нашего времени — умный, веселый, расчетливый, целенаправленный, безжалостный. Довольно неприглядное зрелище, но только такой человек не пропадет в нашей жизни. «Идеал» далеко не идеален, но что поделаешь?»

«„Я верую, следовательно, я существую!“ Раньше люди действительно верили в бога (тогда «Бога» писали с маленькой буквы. — Л. А.), в его всемогущество. Но почему у людей сейчас отсутствует какая-то вера, хоть какой-то критерий обуздания „внутренних“ страстей? Я совершенно не ратую за то, чтобы завтра же в школах открыть преподавание „закона божьего“. Но я говорю, что нет веры в добро. Все смешалось кругом, и часто уже нет возможности отличить плохое от хорошего. У каждого появилась своя правда, а ведь она должна быть одна для всех, иначе какая же это правда?»

«Однажды я заполняла анкету, где среди прочих был такой вопрос: «Какие качества вы больше всего цените в людях?» Многие, кто писал до меня, называли честность, смелость, красоту. А я написала: «Они должны быть прежде всего равнодушными». Равнодушие — болезнь, поразившая многих. И моя очень большая боль. Правда, я не знаю, как исцелить эту болезнь, по-моему, одними проповедями тут ничего не сделаешь. Мой друг, у которого, как и у меня, цель жизни — бороться с людским равнодушием, мечтает в будущем стать великим политическим деятелем и каким-нибудь образом вызвать всеобщий стресс. Да, людей надо разбудить, в этом я согласна. Должна возникнуть какая-нибудь ситуация, когда в людях проснется любовь и сочувствие к ближнему. Я не говорю, что эти качества совсем пропали; нет, они есть, но они спят. Конечно, я категорически против, чтобы такой стрессовой ситуацией явилась война; она сама по себе ужасна, но что-то должно всколыхнуть людей, иначе жизнь зайдет в тупик».

«Меня волнует очень многое, но пишу я только об одном, о том, что волнует меня больше всего. Это — любовь, святое человеческое чувство, а для меня — всеобщий краеугольный камень, на котором зиждется все. И мне очень больно смотреть, как вырождается любовь, как она превращается в маленькие романчики. Времена благородных рыцарей прошли. Их сменил XX век, «фирмовые» мальчики и наглые девочки, которые низвели любовь с пьедестала. Мне говорят подруги:

«Ты — тургеневская, а это уже ушло. Ты ищешь идеал, а его не будет. Все стало проще». А я не хочу, чтобы было проще!»

«В позапрошлом году я наблюдала такую сцену: учительница русского языка и литературы выбрала мальчику нашего класса для конкурса чтецов отрывок из поэмы Маяковского, который звучал уже много раз на этом и других конкурсах. На его возражение, что это затертая вещь, она возмущенно ответила: „Это же Маяковский! Как это может быть затерто!“ К сожалению, может. Взять хотя бы книги Л. И. Брежнева „Малая земля“, „Возрождение“, „Целина“. Как эти книги принимаем мы, ученики? Мне, например, противно видеть громадные афиши прямо на улицах, на бульварах с изображением обложек этих произведений и портретом автора на их фоне. Это я видела в Николаеве. Спрашивается: какой же это способ пропаганды, когда она оказывает такое отрицательное воздействие? Я еще хочу до-сказать о том мальчишке-чтеце. Он репетировал (его вызвали) прямо на уроке. И мне было смешно, потому что он в который уже раз читал: „Слова у нас, до важного самого, в привычку входят, ветшают, как платье...“»

«Главное, что меня волнует в современной жизни, это то, что уходят многие хорошие качества и чувства и появляются равнодушие и жестокость... Жестокость... Ведь только рядом с ней могут ужиться стремление к наживе и желание жить за счет других. Значит, пока будет существовать жестокость, в обществе не умрут ни подхалимство, ни равнодушие, ни лицемерие. А сколько умных, добрых, честных людей страдает из-за глупых, но хитрых! И ведь плохо не только то, что человек работает вместе с подлецами или общается с ними, как с соседями. Нет. Вреда гораздо больше. Человек, стремящийся иметь высокий пост, да так, чтобы получать побольше, а ответственность нести минимальную, да еще слыть за порядочного человека, приложит все усилия для достижения своей цели. Всеми правдами и неправдами он удалит с пути мешающих ему людей и наконец добьется своего. Он может оклеветать, обмануть, даже убить. Начальнику, директору, заведующему предстоит решать важные вопросы. Но как это делать, если способности есть только к «прорыву» на «доходные места»? Вот и получается, что страдает от этого и экономика, и образование, и здравоохранение. А в конечном счете — люди».

«Конечно, наивно сейчас требовать от человека какой-то веры или святой преданности своим идеалам: наше время жестоко в этом отношении. Но ведь сомневаться, не соглашаться, критиковать можно только в том случае, когда не холодная ирония, презрение и человеконенавистничество владеют мыслями, а любовь к людям и боль за несовершенство жизни. Но как многим не хватает этого чувства! Мы все говорим, говорим и говорим. Об ошибках — с осуждением и недовольством, о проблемах — снисходительно, как о чьих-то, не касающихся нас оплошностях, о трудностях — жалостливо, как обиженные дети. Откуда берется такое плаксивое, потребительское, озлобленное отношение к жизни у молодых, полных здоровья и сил людей? Почему же мы так слабы и беспомощны, почему у нас не хватает ума, чтобы понять всю сложность и противоречивость жизни, которую легко изменить только на словах? Почему мы не умеем, предьявляя к жизни и окружающим высокие требования, так же строго относиться к себе?»

«Раньше люди во что-то верили. Во времена Александра Невского русские витязи шли в бой за Святую Русь, потом солдаты гибли «за Веру, Царя и Отечество», позже «за Родину, за Сталина» — словом, люди во что-то верили, имели какую-то цель. К чему-то стремились, кому-то подражали. Но давайте поглядим, что стало сейчас. Старой веры уже не существует, новой пока еще нет. И вот люди начинают ставить своим кумиром материальное благополучие, продвижение по службе — все что угодно, порой даже весьма гадкое и низменное. Люди боятся высказать свое мнение, сказать в лицо правду, сознаться в своем проступке. Они пресмыкаются, угодничают, лицемерят, злословят, сплетничают».

«Мы слышим, что опять новые смерти на границе Ирана с Ираком, снова жертвы в Анголе, скончался еще один узник в Ирландии. Мы жуем пирог: «Это плохо, никто не спорит, но ведь это так далеко... давайте обедать». Что может быть ужаснее человека, спокойно воспринимающего смерть! Почему так происходит с нами? Почему так происходит со мной? Недавно на моих глазах на перекрестке насмерть сбило пожилую женщину, и ничто у меня не дрогнуло, я отнеслась к этому как к банальнейшему факту. И мне стало страшно за себя. Я рассказала об этом

подруге, ждала от нее хоть какого-нибудь восклицания вроде: «Ах, какой кошмар!» — а она спокойно спросила: «Ну и что?» И мне стало страшно за всех нас».

«Я хочу написать о лжи, которая нас окружает. Страшно звучит, правда? Но я сейчас объясню, что хочу сказать, и это покажется таким обыденным. На нашем доме уже три года висит табличка «Дом образцового содержания». Красным по белому, чтобы видели все. Стыд, позор! Зайдите в этот «дом образцового содержания». Грязный подъезд, вечно сломанный лифт. В нашей квартире с потолка течет, штукатурка сыплется. А дом новый, ему всего шесть лет. Кого обманываем? Себя? Или других? Да никого не обманешь! На нашей улице такая табличка не одна, и везде та же история. Так зачем же эта ложь? Самое страшное то, что мы перестали ее замечать... Все по мелочи, по мелочи, а в результате жизнь превратилась в сплошной обман. Вам нравится так жить? Мне нет. Но что я могу одна? Я что-нибудь скажу, а мне затыкают рот и шипят в уши: «Молчи, глупая! Ты что, хочешь неприятностей?» Нет, неприятностей я не хочу, и я послушно смолчу, так же как все. Хорошо молчим!..»

Думаю, что самое главное в этих сочинениях, своеобразных обрывках кардиограммы столь недавнего прошлого, не тревоги, сомнения, порой отчаяние, а жажда истины, справедливости, твердых нравственных опор. Когда-то, более пятнадцать лет назад, я познакомил с сочинениями своих учеников Василия Быкова. «Не преувеличайте значения этих юношеских сочинений, — сказал он мне. — Выйдут они в жизнь — и так она их обломает». У Быкова тогда имелись серьезные основания так говорить. Да и у меня особых иллюзий не было. Расстояние от ученического сочинения до человеческого поведения достаточно велико. И я мог бы рассказать горькие истории из дальнейшей жизни некоторых авторов процитированных работ. Но вместе с тем не следует и недооценивать их. И как факт нравственного самосознания. И как документ времени. И как поступок.

Прошло двенадцать лет. И каких лет! И в сентябре 1993 года я предлагаю для домашнего сочинения в трех своих одиннадцатых классах эту же тему. Работы мне сдали 20 сентября. Обратите внимание на дату. На другой день в нашей истории произошел крутой поворот.

Писали сочинение 64 человека. 23 из них — о том, что происходило в них, 41 — о том, что вокруг них. Или, если сказать по-другому, 23 человека о себе, остальные и о себе, и о времени. В написанном о себе лично было много привычного и ожидаемого для такого рода ученических сочинений: «Меня волнует, найду ли я свое место в этом огромном мире», «Кем я стану? Что меня ожидает?»...

Но преобладало иное, то, с чем раньше я на страницах школьных сочинений не встречался, хотя работаю в школе больше сорока лет. Я никогда не читал столько написанного о родине. На эту тему или ничего не говорили, или писали казенные пошлости. Мои ученики предпочитали об этом не распространяться, хорошо чувствуя, как легко здесь оказаться на пути официального пустословия. Вслушаемся же в эти голоса.

«В современной жизни меня волнует сама современная жизнь. То есть что происходит в нашей стране в сфере экономики и политики, беспокоит то, к чему мы в конце концов придем: к стабильности или гражданской войне, как в Приднестровье или на Кавказе. Ведь нам предстоит жить в этой стране».

«Настоящую боль причиняет мне все то, что происходит сегодня у нас. Много пришлось выстрадать России, много смут было в ней, но никогда русский народ не забывал о своих корнях, чести, гордости. Сегодняшние события повергли большинство русских в какой-то психологический шок, в результате которого Россия теряет свое лицо, стремительно скатывается куда-то, забывая о своем достоинстве. Это тем более обиднее и больнее еще оттого, что наконец-то в России настало время, такое долгожданное и выстраданное, когда уже ничего, казалось бы, не должно было помешать ей начать иную, прекрасную жизнь, идти к новым высотам и достижениям. Все сложилось иначе. Началась смута, именуемая свободой, заставившая всю страну изменить образ жизни и срочно приспособливаться к новым жизненным принципам».

«Иногда до слез обидно читать, слушать, смотреть про достижения, например, США и думать, во что превратились мы. На прилавках только импортные продукты. Почему? Мы же тоже умеем делать не хуже, даже лучше!»

«Я не призываю к тому, чтобы Россия замкнулась в самой себе. Нет! Я просто хочу, чтобы мы сохранили что-то чисто наше, русское! Не надо копировать все подчистую, что есть на Западе. Каждый народ должен иметь свои особенности, какую-то свою индивидуальность и самобытность».

«Я не против изменений в нашей жизни и понимаю, что и реклама нужна, и экономические контакты с зарубежными партнерами необходимы, и многое другое. Но только не так быстро и не в таком количестве. Нужно дать людям психологически подготовиться. Не может русский, советский человек поспеть сориентироваться в диком темпе новой жизни, где главная цель — не продешевить».

«Мой отец ушел из института со своей должности и теперь шабашит, так как там платят за строительство домов и кладку печей намного больше. У моей подруги мать работает бухгалтером, хотя сама она химик, но работает бухгалтером, потому что там намного больше платят. Я хожу на курсы экскурсоводов (исторический уклон), курсы бесплатные. Ходят туда 10 человек. Курсы интересные, но, видимо, сейчас это никого не интересует, так как это непрестижно, а вот если бы организовать курсы менеджеров, бухгалтеров, там будет не 10, а 100 — 200 человек».

«Непонятно, почему люди разных национальностей, все время жившие мирно в течение веков, теперь убивают друг друга. Все-таки Российская империя, империя СССР была гарантом стабильности всех территорий, входящих в его состав».

«Я волнуюсь за своих будущих детей, которые не смогут в нормальных условиях жить на земле. Если каждый год сбросы в атмосферу будут увеличиваться, то я уверен, что к рождению моих детей земля станет непригодной для существования».

Особо я хочу выделить следующие ответы.

«Что меня волнует в современной жизни? Да практически ничего. Слава Богу, я живу в более или менее обеспеченной семье, у меня есть еда на каждый день, есть хорошая одежда, неплохая аудио- и видеотехника».

«Конечно, я волнуюсь за то, что происходит в мире, в нашей стране, потому что я здесь живу и на мне это отражается. Но пока ничего не могу сделать, чтобы изменить это. И потому стараюсь избегать лишних переживаний на происходящие события, хотя иногда бывает очень трудно».

«Когда тебя ничего не волнует, жизнь становится легче. Я хочу жить так, чтобы меня ничего не волновало, но не получается».

И наконец, последняя цитата:

«Меня волнует еще одна проблема: новые факты истории нашего отечества, которые всплывают на поверхность из омута запретов и закрытых тем. Долгое время исторические исследования были отгорожены от реального прошлого запретами. А теперь, когда эта стена запретов разрушается и молчать уже не надо, возникает множество новых фактов, гипотез и соображений относительно нашего прошлого. И многие гипотезы и соображения считаются верными фактами. Но многие из них не проверены или вообще неверны. Вот меня это и волнует: как отличить достоверные факты от непроверенных? Что принимать на веру, а что не принимать? Сейчас, когда можно что угодно говорить, многие стали историками-неформалами, а другие доверчивыми слушателями первых. А ведь из таких крупинок складывается новая история нашего прошлого, которая останется нашим детям. И если эти крупинки ненастоящие, то мозаика истории может остаться фальшивой».

Кое-что из прочитанного в сочинениях оказалось для меня неожиданным. Открыло много нового в умонастроениях и чувствах моих учеников, это помогло скорректировать мои дальнейшие уроки литературы. Впрочем, дело не только в учениках и школе. После итогов декабрьских выборов 1993 года я в отличие от многих не пребывал в шоке, ибо оказался в известной мере подготовленным к подобным итогам этими школьными сочинениями. Они открыли мне больше, чем официальные данные информационных и аналитических служб.

В середине 80-х годов (1984 — 1987) как учитель литературы, как классный руководитель и как секретарь партбюро школы я много занимался летней трудовой практикой, которую проходили ученики перед началом последнего, выпускного учебного года. Я бывал в цехах, магазинах, столовых, детских садах, на телеграфе,

в учреждениях — всюду, где работали мои ученики, смотрел, как они трудятся, разговаривал с их руководителями. Не раз выступал на эту тему на педсоветах, совещаниях в райком партии. При этом большой материал мне давали сочинения, которые я проводил в сентябре в десятом классе. Тема — «Летняя трудовая практика: работа, люди, я». Впечатления были самые разные, в том числе и весьма горькие. Вот лишь несколько зарисовок.

«А с посетителями было еще хуже. Один рабочий, например, три дня ходил в наш отдел, чтобы оформить отпуск. А одна бабуля раз семь приносила на подпись талоны на мыло».

«Воровали в столовой все, что приходилось: и морковь, и лук, и мясо, и рыбу».

«Видела я в детском саду несколько поразивших меня вещей. Например, то, как проводятся мероприятия для проверки, когда воспитательницы, разукрашенные и любезные, как кинозвезды, «занимаются» с детьми, а дети скованны и перепуганы переполохом вокруг. На одном таком занятии группа должна была делать бумажные пилотки, так бедные дети потом тряслись — ту ли руку подняли, так ли провели рукой по листу».

«В нашем отделе НИИ всегда довольно весело. На мой взгляд, напряженной умственной работой никто себя особенно не утомлял. По телефону постоянно велись разговоры по различным, чаще всего не связанным со службой, поводам. Женщины обсуждали наболевшие вопросы о детях и семье, о еде и одежде. Мужчины спорили о спортивных состязаниях, комментировали телепередачи».

Но особенно угнетало в школьных сочинениях сетование их авторов на собственное безделье. За четыре года я не прочитал ни одной работы, в которой школьники жаловались бы на то, что им приходилось много работать. Но каждый год следовали жалобы на безделье.

«Работы нам не было. Я играл в «козла», в шахматы, курил, бродил по заводу и после двух вместо четырех часов уходил домой. Так продолжалось до конца моей практики. Но деньги я за что-то получил. Лично для меня эти деньги не были заработаны. Я получил довольно большую сумму. Но за что? По-моему, только за то, что появлялся на заводе. Из тех 24 дней, что я «работал», по-настоящему работал неделю. Как я был горд собой в эти дни! С каким удовольствием смотрел на свои руки: значит, они что-то могут. Мне не хотелось смывать с них масло, чтобы все люди видели: я — рабочий! Как приятно было держать в руках еще теплую, только что сделанную деталь. Ведь это я сам из грубой железной болванки сделал эту, как мне казалось, изящную вещицу. К сожалению, это случалось редко, а остальные дни я или сидел около станка, или же меня вообще отпускали домой. Мне было неловко брать эти деньги».

Следует, наверное, сказать о том, что перед практикой в течение всего учебного года ребята раз в неделю в школу не приходили, а посещали учебно-производственный комбинат, где по шесть часов в день овладевали теорией и практикой той или иной специальности. После практики им предстоял еще один такой же год. Так что на этом фоне подобная «трудовая практика» воспринимается особенно осязаемо. И обратите внимание на этот мотив: стыдно брать деньги за несделанную работу. Пройдет менее года, и те, кто не поступит в институт, будут просить найти такую работу, где можно было бы не работать. По моим данным, в среднем именно так практика проходила приблизительно у 20 процентов наших учеников. Тогда эта цифра мне казалась огромной.

Но преобладало все-таки другое. Главное, что пережили многие школьники, — ощущение причастности к настоящей, взрослой трудовой жизни. Ограничусь одной выпиской из сочинения:

«Вся моя семья живет событиями завода «Калибр». Вчера папа, вернувшись с работы, спросил с неумело замаскированным чувством превосходства: «Вы хоть четверть нормы делаете?» Утром мама умоляющим голосом просит: «Ты, сынок, по цеху зря не ходи — кар совет, они ведь... так ездят быстро». Бабушка мне ничего не советует. Она встает за полчаса до оглушительного звонка нашего безумного, похожего на старый квадратный уют будильника и готовит мне завтрак. На мои уговоры не вставать так рано она спокойно отвечает: «Да что ты, Саша! Мне не привыкать. Я столько лет дедушку на завод провожала». Обратил внимание на стенд, стоявший на заводском дворе. На нем надпись: «Годовые оценки за культуру производства». Из двадцати двух цехов только семь «хорошистов», остальные —

«троечники». «Ну и ну! — подумал я. — Прямо как в нашем классе после трудной контрольной по алгебре». Но больше всего я удивился и расстроился, когда среди «хорошистов» не нашел своего цеха.

Как самое сильное из пережитого многие отмечают первую в жизни заработную плату.

«Самый лучший и счастливый день в моей практике был, конечно, день зарплаты. Я получила за свою работу шестьдесят рублей, это были мои первые заработанные деньги».

«Дело даже не в том, сколько мы заработали, а в том, что это были наши первые трудовые деньги, не те, которые давали мама с папой, а свои, заработанные».

«Никогда раньше я по-настоящему не понимала цену рубля и только теперь по-настоящему поняла, как тяжело его зарабатывать. Возможно, с тех пор я стала ценить труд моих родителей, каждый рубль, заработанный ими, не так, как раньше. Но особенно приятно, когда я принесла зарплату, почувствовав себя пусть на один месяц, даже на полмесяца, не иждивенцем, как до этого, сидящим на шее родителей. Это, наверное, было самым сильным впечатлением».

Многие говорили о том, что и тратить эти деньги они уже не могли так, как те, которые получали от родителей.

«На мое шестнадцатилетие отец дал мне семьдесят рублей и сказал: «Купи себе магнитофон». Мне поскорее хотелось сделать это приобретение, я пошел в магазин и, не особенно выбирая, купил магнитофон. На полученные на заводе деньги мне предстояло купить часы за сорок рублей. На это ушло пять дней. В течение четырех я по часу стоял у витрины со множеством часов и принимал и отвергал решения. Наконец на пятый я нашел в себе силу воли и купил часы за сорок рублей, но до сих пор злые кошки скребут у меня на душе. Убежден, что эти сорок рублей я пустил по ветру».

В 70-х и 80-х годах, начиная работать в новом для меня девятом классе, я для знакомства с учениками давал им сочинение на тему «Уже шестнадцать или еще шестнадцать» (многие меняли шестнадцать на пятнадцать). Когда я впервые провел такую работу, то был уверен, что если не все, так большинство скажет «уже»: знаю, как стремятся в этом возрасте ко взрослости. Но оказалось, что это не так. Большинство, измеряя себя этими «еще» и «уже», говорило о некоторой промежуточности своего положения в мире: «Мои шестнадцать лет дают мне право ощутить себя взрослой, они же и мешают этому», «Мне еще не „уже“, но уже не „еще“»...

Среди аргументов, объясняющих, почему все-таки «еще», на первом месте был и такой: «Мне кажется, что мне и моим сверстникам мешает повзрослеть незнание цены заработанного хлеба. Я постоянно ощущаю материальную зависимость, а хочется поскорее от нее освободиться». Характерно, что в сочинениях, в которых говорится «уже», это «уже» доказывается вот чем: «Почти всегда я езжу на летние каникулы к бабушке. Два последних года я работал в колхозе на элеваторе. Впервые в жизни я почувствовал, что такое по-настоящему трудиться и что такое цена хлеба».

Трудовая практика во многих отношениях способствовала преодолению инфантилизма: «Каждый день я вставал и шел, так же как родители, на работу. Это делало меня более взрослым и самостоятельным».

И вот прошло десять лет, всего десять лет, даже неполных десять лет, с тех пор как я впервые провел сочинение о летней трудовой практике, и весной 1994 года мои ученики одиннадцатых классов пишут сочинение на тему «Работаю. Работаю и зарабатываю». Естественно, я сказал им, что хорошо понимаю: их главная работа, основной труд — труд учебный, но сейчас мы оставим это за скобками наших размышлений.

Из 36 юношей лишь четверо никогда не держали в руках лично ими заработанных денег. При этом 16 из этих 36 (это 44 процента) работали и работают длительное время, чаще всего постоянно. Из 22 девушек 10 знают, что такое заработанные деньги. Но только 4 (это 10 процентов) работали или работают длительное время (речь идет об оплачиваемой работе).

Обратимся сейчас к тем сочинениям, авторы которых рассказывают, как они зарабатывают деньги. Очевидно при этом, что рассказали они далеко не обо всем:

«Что касается того, как я сейчас зарабатываю деньги, то это такая тема, о которой я хотел бы пока умолчать. Могу лишь сказать, что мне хватает этих денег». Поэтому будем исходить из тех данных, которые есть в нашем распоряжении. Отмечу при этом, что еще осенью 1993 года я обратился ко всем трем классам с просьбой разрешить мне использовать их сочинения. И во всех классах это разрешение получил с тем условием, что нигде и никогда не назову ни одного конкретного имени.

«Начал я зарабатывать, торгуя в своей прежней школе обертками от жевательной резинки. Дело было так: очень многие ребята играли на фантики, это стало среди нас азартной игрой. Мы с приятелем решили провести рыночное исследование, то есть узнали, кто и за сколько продает фантики, если цена была низкой, то мы их покупали, а потом перепродавали». Далее подробно излагается весьма прибыльная операция с наклейками, выпущенными к чемпионату мира по футболу «Италия-90». «Тут было много проблем, одна из которых — чтобы не обули». К этому слову для меня сделано пояснение: «Обуть — изъять что-либо посредством угроз или применения силы».

«Начал я подрабатывать четыре года назад: мыл машины, раздавал рекламные объявления, продавал газеты, а летом ездил с родителями на юг и подрабатывал там: грузил на бахче арбузы в грузовик, перебирал черешню. Больше всего я работал, продавая газеты. Вставать приходилось рано утром, ехать в редакцию покупать газеты, потом сразу в школу и после школы продавать их. Домой приходишь уставший, но довольный, что деньги заработал и еще время осталось, чтобы домашние задания выполнить. Это был для меня довольно прибыльный бизнес, хотя прогорать тоже приходилось».

«Моя трудовая карьера началась с того, когда я помогал своей маме на ее работе, тогда-то я и получил свою первую зарплату. Когда же я стал старше, я устроился в отделение связи на доставку газет. В мои обязанности входило получать газеты, в основном это были «Вечерняя Москва» и «Известия», расписать их по квартирам и разнести, я также разносил письма, счета за телефонные переговоры, телеграммы. Так я проработал четыре года. Но потом, в 1992 году, попал под сокращение из-за того, что цены на эти газеты повысились и многим стало не по карману выписывать их. Число газет уменьшилось, и, соответственно, меньше почтальонов понадобилось для их доставки. После этого я устроился уборщиком в одной строительной конторе, получал там неплохие деньги, да и работы было немало. Приходил раз в неделю. Проработал в этой конторе год, меня уволили из-за того, что появился какой-то блатной парень, который хотел здесь работать. Этим парнем оказался дальний родственник главного инженера конторы».

«Во втором классе продавал плакаты, через год — кассеты. Но вообще не всегда все было законно. Что-то крутил с запретной тогда валютой. Многим занимался. В таких местах, как завод, фабрика или магазин, никогда не работал. Даже ни разу не был в трудовом лагере. Перепродавал все подряд. От жевательной резинки, которой тогда не было, до одежды. Но это древности, а ближе к нынешнему времени, то как разрешили, так и стали все крутиться. Все вокруг стало законным. Где хочешь чем хочешь торгуй на здоровье».

«Я разводил у себя в квартире рыбок, улиток и водоросли. Но вскоре понял, что из этого можно что-нибудь выгадать. И я стал относить часть из них в Дом пионеров в коммерческую лавку, где мне давали за них кое-какие деньги. Но как человек я был не расточительный, поэтому все свои капиталы пускал на развитие производства. Вскоре я, не без помощи своих родителей, но вложив все свои деньги, купил огромный аквариум. Но все оказалось не так безоблачно. Не прошло и полгода, как мне стали отказывать в лавке в связи с затовариванием». (Дальше подробно говорится о том, как автор сочинения вместе со своим другом стали выращивать спаржу и герань и понесли рассаду в ту же лавку при Доме пионеров.) «Нас попросили тащить наших зеленых друзей в лавку. И так мы зарабатывали деньги около полутора лет, но потом интерес к этому бизнесу затих, так как стало казаться, что мы мало зарабатываем. И тогда началась новая эпоха торговли газетами, разгрузки контейнеров, продажи импортного барахла. Но эти бизнесы нельзя назвать запоминающимися, хотя на них мы зарабатывали много денег. В общем, моя трудовая деятельность продолжается, но единственное, что я понял, что деньги надо вкладывать в голову и зарабатывать деньги головой, а не руками».



«Я ремонтировал радиоэлектронику и компьютеры. Вначале изучил основы кибернетики и телевидеосистем. Меня интересовали новые разработки в этой области. Ремонтируя технику при таких больших ценах, на ней можно заработать много денег. Но мне нравится и сам ремонт, поиск неисправностей и замена неисправных деталей. Особенно я люблю играть на компьютере с приятелем. Я думаю, что интерес к технике и экономика помогут мне открыть свое дело. А сейчас в свободное время я зарабатываю в техническом центре (шарашка), помогая ремонтировать сложную бытовую теле- и видеоаппаратуру».

«Мой двоюродный брат открыл свой магазин, где продавались рыбки, попугайчики, корм для животных, растения и все в таком духе. Но свою основную работу бросить не смог и не хотел, а продавец был нужен. Туда я и пошла работать. Магазин я открывала в 15, то есть после школы, и сидела там до 19, потом приходил сменщик и работал там до закрытия».

«Я неоднократно помогал разгружать машины и могу сказать, что это не самый лучший способ зарабатывать деньги. Более лучший способ зарабатывать деньги — продажа газет. Я попробовал продавать газеты два года назад во время весенних каникул. Я занимался этим в пригородной электричке. Важно было правильно подобрать газеты и привлечь к себе внимание пассажиров. Еще более выгодно продавать пиво. Несколько раз я принимал участие в этом. Обычно я с тремя друзьями покупал сразу ящиков двадцать. Затем мы на тележках отвозили на несколько кварталов вперед и там продавали на 50 рублей дороже за бутылку. По тем временам (пиво тогда стоило 100 рублей) мы зарабатывали довольно внушительную сумму».

«Я распространяю бижутерию (колечки, серьги и т. п.), имея с каждой проданной вещи 10 процентов чистой прибыли. Я, конечно, сам не торгую, а сдаю в коммерческой на реализацию».

«Начиная с пятнадцати лет у меня пошел подъем в зарабатывании денег, потому что потребности мои в деньгах тоже пошли в гору. Сначала я помогал кому-нибудь что-нибудь разгружать или погружать; сидел на телефоне, отвечая на звонки; занимался с соседским парнем. Пробовал мыть стекла машин на перекрестке — не получилось. Характер не тот. Торговать на толкучке тоже не могу: не моя стезя, да и криминала многовато. Вот тогда мой двоюродный брат предложил поработать у него в фирме помощником торгового агента, поучиться. Понравилось. Людей, компетентных в этом бизнесе, довольно трудно убедить купить именно предлагаемый тобой товар. Для этого нужны не только качества товара и надежность фирмы, но и талант торгового агента, который представит потенциальному оптовому покупателю товар лицом. Надо уметь показать в ярком свете наилучшие стороны товара и в то же время постараться сгладить впечатление от наиболее неблагоприятных. Сначала заработок был невелик, где-то долларов 40 — 60 в месяц, но это преимущественно из-за небольшого опыта. Заработок был невелик, но постоянен. Становясь опытной, я стал больше получать, а иногда мне доверяли самому продать партии товаров, пользующихся хорошим и постоянным спросом. От каждой такой сделки я получаю определенный процент, который зависит от партии товара и от выгодности контракта. Даже без учета процентов от сделок мой заработок составляет 120 — 150 долларов США в месяц. Эта работа в корне изменила мои планы на жизнь. Для полноценной работы торговым агентом, от поиска клиента до заключения договора, нужен не только талант, но и хорошее знание права и экономики. Поэтому я решил поступить в юридический вуз. Юридическое образование вышло для меня на первый план».

«В настоящее время основная серьезная работа у меня всегда планировалась на лето, так как каждое лето я провожу на Южном Урале. Не буду распространяться о мелочной повседневной деревенской жизни, как хождение за водой, огревание картошки, пилка дров и т. д. Самой важной работой в деревне я считаю покос, так как нет покоса — нет скотины, нет скотины — нет молока, мяса, сала, шерсти. На покос ходили сначала вдвоем: мой семидесятипятилетний дед и я. Потом к нам присоединился и мой брат, вскоре приехавший из Москвы. Нам надо было наставить сена на одну корову и трех овец, это четырнадцать возов сена. Для меня не было ничего лучше, чем косить на природе, видеть и осознавать важность результатов проделанной работы. Моей косой работать было очень удобно, так как ее косёвице было вырублено из липы, которая значительно легче березы. Хорошо

махать косой, когда литовка держится прочно и не отходит, когда трава, чуть сырватая от утренней росы, послушно ложится в прямое прокосиво, когда за тобой получается ровная и чистая, как на аэродроме, дорожка. Прошел прокосиво, достал брусok, подточил литовку — и зачинай по новой. Близится полдень. Чем выше становится солнце, тем жарче, высыхает роса, а сухую траву значительно труднее косить. Хочется сбросить мокрую от пота рубаху, но нельзя: на смену утренним комарам прилетают назойливые пауты, слепни, мухи, без рубахи съедят живьем. Рубаха и платок на голове все же немного защищают меня от этих паразитов. В два часа или где-то около этого мы идем пообедать и немного отдохнуть. На обед бутылка молока, хлеб, огурцы, крутые яйца. После непродолжительного отдыха снова косим, домой приходим во столько, во сколько и уходим, то есть примерно часов в восемь. И так каждый день, переходя с одного покоса на другой, мы выкашиваем их. Если будет хорошая солнечная погода, то оно быстро высохнет, и, значит, пора его ворочать, то есть переворачивать волок граблями на другую сторону. Это легкая работа, но так как сена лежит немало, то и это занимает уйму времени, а особенно когда вдруг наступает дождливая погода, после которой приходится ворочать сено, перетряхивая его буквально по травинке, чтобы оно хорошо просохло и не гнило в валках. Когда сено полностью высохнет, мы ставим копны, сгребая и мечем сено. Уточняю: дед, как специалист, мечет сено, которое на вилах подношу ему я и которое сгребает мой брат. Признаюсь, что нелегко перетаскивать на своих вилах целый покос, хотя уж если очень далеко нести, то мы пользуемся носилками, на которые можно положить чуть ли не полтора центнера сена. Домой возвращаемся уже вечером. Все, что я написал про покос, очень кратко и скупо, так как, чтобы написать все подробно, мне не хватило бы и целой тетради...»

«Совсем недавно, а именно осенью прошлого года, я ходил с бригадой отца подхалтурить на ремонте детского сада. Там вместе со всеми целый день я красил стены, перила, окна, батареи, белил потолки. Короче, здесь мне отвалили десять тысяч. Через неделю была еще одна халтура в заводском доме здоровья, правда, там мы работали вдвоем, мой отец и я. Здесь мы тоже красили стены, вентиляцию, стелили линолеум. Тут я заработал двадцать тысяч. И, наконец, в середине ноября нам с отцом на ремонте частной квартиры дали двести тысяч, пятьдесят из которых он отдал за работу мне, а остальные — матери на хозяйство. Эти пятьдесят штук мне дались не просто так: в этой квартире я вкалывал как негр целую неделю. Здесь я и красил, и олифил, и отдирал обои, шпаклевал стены и т. д., хотя все же основную работу выполнял отец».

«В сентябре прошлого учебного года я поступил на курсы современного менеджмента. Так удачно все получилось, что меня взяли на стажировку, а потом и на работу в одну из брокерских контор, где я имел возможность заработать деньги. Проработал я там конец мая и весь июнь 1993 года, а 1 июля меня уволили. Решили, что мои 15 лет не создают имиджа такой работы. А занимался я там посреднической деятельностью. Проработал я недолго, но заработать времени хватило, и для меня это были бешеные деньги. Я купил телевизор, аудиосистему и костюм себе, бабушке кожаный диван с двумя креслами и по мелочам маме, папе и брату. Затем две недели отдыхал на море и все остальное лето. К сожалению, деньги — понятие материальное, и они имеют свойство кончаться. А сейчас я так — подрабатываю помаленьку. В охране на нашей дискотеке постою, ну, перепродам чего, короче, хватает. В месяц выходит тысяч 30 — 50, но у меня такое отношение к жизни, что я не могу себе позволить взять у родителей денег, чтобы что-нибудь себе купить, это я себе поставил в одну из главных целей моей жизни. Так что все я себе покупаю на свои, мной заработанные деньги».

«Чувствую, что будет трудно описать мою работу, потому что пока она достаточно редкая, но именно так я работаю, зарабатываю и развиваюсь. Это работа помощника репетитора по математике в старших классах. Репетитор — мой родной брат, который старше меня на девять лет. Для меня брат всегда был примером, потому что, по-моему, он в жизни достиг уже многого, о чем я пока только мечтаю. Наблюдая за его работой и работая вместе с ним, я очень много узнаю, многому учусь, несмотря на то что он занимается репетиторством лишь в свободное время. В мои обязанности входит многое. Это куча бумажных дел и куча мелочей, кото-

рые не доставляют никакого удовольствия и от которых всегда рада избавиться. Но, конечно, я напишу именно о работе с людьми, так как эта работа мне интересна. Очень хорошо запомнился мне тот день, когда первый раз легла мне на стол тетрадка девятиклассника для проверки. Пять аккуратно исписанных старательным мальчишкой листов с примерами мне предстояло проверить первый раз. Никогда не забуду, какие странные чувства вызывала у меня эта тетрадка. Мне вдруг ясно представилось, что у меня появился маленький брат и ученик, которого *я сама* должна буду всему научить, сама покажу ему, что и как нужно делать, впервые с кем-то поделюсь своими знаниями, значит, по-настоящему помогу ему, принесу пользу. Около двух часов возилась я с его тетрадкой. Ласково показывала ошибки и тут же бурно, эмоционально объясняла, как правильно. В конце задания нужно было написать ему, сколько процентов задания выполнено верно. Процент я ему тогда здорово завысила: очень боялась его чем-то расстроить или обидеть. Тетрадь после меня прошла тщательную проверку брата и была отдана хозяйину. Посыпались тетради других учеников, но я всегда с нетерпением ждала именно тетрадь моего первого. Особенно приятно было просматривать работу над ошибками, где каждый неправильный пример переделывался так, как я объясняла! Впервые в жизни я почувствовала, что что-то значу, что-то смогу сама сделать полезного для другого человека. Брат мой все реже просматривал за мной тетради, и моя ответственность все росла. У большинства ребят в тетрадки заглядывали родители, так что, ошибись только раз, я бы прочно подорвала авторитет брата. Работа научила меня быть предельно внимательной и точной. Очень нравится мне работать на самих занятиях. До сих пор я удивляюсь, какие все люди разные, насколько они все отличаются друг от друга. Брат всегда удивительно точно выбирает подход к каждому из них, для каждого свой язык, свой стиль работы. И я точно замечаю, что для этих уроков нужно знание не только математики, но и психологии. Необходимо умение хвалить, ругать, заинтересовать. Часто, сидя рядом и проверяя практику на занятиях, замечаешь, что обычный школьник способен виртуозно соображать и быстро решать даже сложные логические задачи, если его удастся расшевелить».

«В первый раз в жизни я пошел работать, когда мне было 14 лет. Москва в то время постепенно заполнялась всякими «сникерсами», «марсами», баночками с кока-колой и прочими буржуазными изобретениями. И мне очень хотелось попробовать (и есть каждый день) все эти заграничные сладости. Но для того чтобы иметь у себя в кармане «марс» или «сникерс», требовались деньги, а родители в то время не могли меня финансировать. Поэтому я решил идти работать. Но где найти работу четырнадцатилетнему подростку, я не знал. Выручил мой приятель. Он работал продавцом книг в одной фирме. И жарким июльским днем я вместе с ним поехал устраиваться на первую в моей жизни работу. Фирма, в которой мне предстояло работать, располагалась в жалком здании, издали походившем на сарай. В коридорах пахло сыростью и плесенью. Пройдя по короткому коридору, мы попали в небольшую комнату. В этой грязной, вонючей комнатенке за старым обеденным столом сидела женщина лет тридцати. Мой приятель представил меня ей и вышел. Она предложила мне сесть, но, когда я огляделся, я не увидел ни одного стула. А когда подошел к столу, с удивлением почувствовал, что от нее довольно сильно пахло водкой. Я этому сильно удивился, потому что мое тогдашнее представление о коммерсантах никак не вязалось с водкой. Она (далее буду называть ее Татьяной Ивановной) достала какую-то объемистую бухгалтерскую книгу, где я написал свою фамилию, имя и отчество и расписку в том, что мне полагается 25% с установленных цен за каждую проданную книгу. После этого она проводила меня в просторную, без окон, слабо освещенную комнату, где мне под расписку выдали книги, столик и стул. Место торговли указал мой приятель. Сразу же мне пришлось уплатить дань двум ментам. И только после этого началась моя работа. Книги разошлись довольно быстро, и к четырем часам я стал обладателем своих кровных пятисот рублей. Отправившись за новой партией книг, я заглянул в кафе, где купил долгожданный «сникерс» и баночку кока-колы. Вернувшись на фирму, я сдал деньги Татьяне Ивановне и очень удивился, когда она, вместо того чтобы дать мне новую партию книг, послала меня купить пять бутылок водки и три литра пива. Исполнив ее поручение и вернувшись, я увидел, что в комнате

вместе с Татьяной Ивановной сидят еще с полдюжины подростков, очевидно ждавших меня. Татьяна Ивановна, открыв первую бутылку, пустила ее по кругу. Та же участь постигла и остальные четыре бутылки. Вскоре у меня начал заплетаться язык и подкашиваться ноги. Так я впервые попробовал вкус работы и крепких напитков. В этой фирме я проработал около трех недель и заработал довольно большую по тем временам сумму — восемь тысяч рублей. Последующие два года я перебивался случайными заработками: кому-нибудь починить плеер или магнитофон, проявить пленку. Но такие случаи были редки, и в основном меня финансировали родители. И вот осенью 1993 года мой отец предложил мне хорошо оплачиваемую работу. Я должен был переписывать списки веществ, которые синтезировал мой отец вместе с сослуживцами. Работа была нетрудная, но очень монотонная и занудная, но за каждую переписанную строчку я получал десять центов. Таким макаром я заработал 48 долларов США и этим ограничился. И теперь я жду, когда мне опять нужны будут крупные деньги, а каким способом я буду их зарабатывать — единому Богу известно».

Знакомый мне с детства мотив: «Радуюсь я — это мой труд вливается в труд моей республики» — прозвучал лишь в двух сочинениях. Автор одного из них добрым словом помянул субботники: «Ощущение, что мой двор и моя улица чище, давало удовлетворение». Автор другого работал на стройке: «Я имел возможность убедиться, что деньги не даются даром, что, когда ты, идя с работы, чувствуешь удовлетворенность и причастность к тому, что ты что-то сделал для людей, ты получишь огромное удовольствие». Кстати, автор сочинения, из которого сделана эта выписка, сказал, что он не питает уважения к тем, кто «занимается мелким бизнесом, то есть продает по более высоким ценам продукты и вещи, в изготовлении которых не принимал никакого участия».

Для всех остальных главный стимул — работа на себя и для себя.

«В 8 классе я поехал в трудовой лагерь. Я уставал, как лошадь. Заработал там больше всех, но после этого решил никогда не работать в деревне. Много работаешь — мало получаешь. Через год я стал работать на себя. Мне удалось купить по низкой цене видеокассеты и тут же их перепродать. Это мне понравилось больше, чем работать в деревне. Потом мне удалось купить футболки, которые я смог перепродать по цене в два раза выше... Мне нравится работа на себя. Хотя и испытываешь некоторый страх за свой товар, но это намного лучше, чем пахать на колхоз».

Итак, десять и семь лет назад у моих учеников исключительно велико было чувство причастности к настоящей, взрослой работе, к взрослой трудовой жизни. И первые трудовые деньги воспринимались ими прежде всего не просто как деньги, а как трудовые деньги: «Руки после работы были черными в прямом смысле этого слова, и отмыть их можно было только в керосине. Но эта грязь была приятна, потому что она была рабочая. Некоторые ребята даже хвалились, у кого руки чернее», «За практику получила более ста рублей. Деньги пришли и ушли. Были — хорошо, нет — не плачу. А след от этих рабочих дней остался на всю жизнь. Работа взрослит человека, его руки, голову, душу».

Сейчас картина оказалась иной: «Для меня слово «работа» напрямую связано с заработком», «Объяснить, что такое работа, каждый может по-своему. В будущем в это слово, может быть, я буду вкладывать другой смысл, а сейчас работа для меня — способ зарабатывать»...

А несколько человек вообще развели понятия работать и зарабатывать: «Мне кажется, что когда начинаются деньги, тогда заканчивается истинная работа. Они заслоняют все интересы, кроме одного — как можно больше урвать. Ты уже не думаешь о работе, ты думаешь, сколько за нее получишь», «Недаром в английском, например, языке работа обозначается словом Work, а какое-либо занятие, направленное на получение денег, — business».

В одном сочинении (одном на три класса) конфликт этот, который, повторю, для большинства вообще не существует, обернулся довольно драматически: «Сейчас я работаю у мамы на фирме главным бухгалтером. Получаю, конечно, прилично (500 долларов в месяц), но вот работа скучная до ужаса: все время ездить по банкам, писать всякие платежки и ордера, баланс делать. Мне все это жутко не

нравится, а другой работы нет, да если бы была, то столько уж точно не платили бы. А деньги нужны всегда, вот и приходится работать, аж часто уроки делать не успеваю. Очень жаль, что приходится заниматься тем, что мне совсем не нравится, только для того, чтобы ни от кого не зависеть. Я так хотела стать психологом, а мама говорит, что за такую работу денег не платят. Ну что я могу ей возразить? Просто буду зарабатывать деньги там, где их платят, а об остальном лучше забыть».

Нетрудно убедиться, что в «трудовой деятельности» моих одиннадцатиклассников преобладает то, что называется бизнесом. И здесь хочу процитировать статью Е. Гайдара в «Известиях» (обращаюсь к Гаюдару, так как его-то уж никто не заподозрит в недооценке рынка): «Людам должны быть созданы условия для занятия бизнесом и т. д. Но 90% людей ни в какой стране не собираются ни менять профессию, ни тем более идти в торговлю, бизнес. Нормальное стабильное общество — то, где человеку предоставляется возможность нормально, достойно, без нищеты, унижения и страха жить, занимаясь своей профессией всю жизнь, будь то маляр, инженер, врач или помощник режиссера». Но если это так (а я думаю, что это действительно так), то нормально ли, что у нас чуть ли не 90 процентов с юности начинают добывать деньги тем, чем должны их добывать оставшиеся 10 процентов?

И еще: «Сейчас времена другие, да и я уже не тот, чтобы просить у родителей денег», «Ведь я уже вышел из того возраста, когда можно было брать деньги у родителей на карманные расходы», «Зарботок мне помог преодолеть психологический и материальный барьер зависимости от родителей».

Нельзя не увидеть за всеми этими сочинениями одного очень важного явления. Если в душах немалого числа старшеклассников жива ностальгия по идеализированному прошлому (меня упрекали, когда я в первом после большого перерыва телевизионном «Взгляде» сказал о ностальгии не по родине, а по прошлому, а сейчас слово это все чаще стало звучать именно в таком смысле), и сильно отталкивание от ценностей сегодняшнего дня, то в реальном быте и бытии молодой человек живет уже по закону нового мира. Сознание тут действительно отстает от бытия. Я проработал в школе сорок два года, но такого быстрого, стремительного слома психологии и ценностных ориентаций прежде никогда не было.



**Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям номера «НОВОГО МИРА» только в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».**

---

---

# В МИРЕ ИСКУССТВА

АЛЕКСАНДР ТУМАНОВ



## ОНА — И МУЗЫКА, И СЛОВО

Об М. А. Олениной-д'Альгейм

*Александр Туманов получил филологическое образование на русском отделении филологического факультета Харьковского университета и музыкальное — на вокальном факультете Института имени Гнесиных. С начала 60-х годов печатался в качестве внештатного корреспондента в журналах «Советская музыка» и «Музыкальная жизнь». После знакомства и встреч с М. А. Олениной-д'Альгейм опубликовал в журнале «Советская музыка» статью «У современницы Стасова» (1964, № 7). С 1965 года был одним из основателей и солистом ансамбля «Мадригал», выступал с сольными концертами и занимался вокально-педагогической деятельностью вначале в Педагогическом институте им. Ленина, а затем в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова. После эмиграции с семьей в Канаду в 1974 году поселился в Торонто, где выступал с сольными концертами и как солист Театра современной оперы, преподавал курс камерной оперы в Сенека-колледже, сольное пение и вокальный ансамбль в Йоркском университете, а затем русский язык и литературу в Торонтском университете. С 1982 года — профессор кафедры славистики в Университете Альберты в Эдмонтоне. В 1987 году защитил в Торонтском университете докторскую диссертацию на тему «Структурно-сравнительный анализ взаимоотношений между музыкой, языком и литературой». Публикуется в европейских и североамериканских журналах, главным образом на тему о взаимоотношениях между музыкой и текстом. Параллельно с преподаванием русской литературы и языка занимается преподаванием вокала в Эдмонтонской консерватории*

Она — и музыка, и слово,  
И потому всего живого  
Ненарушаемая связь.

*О. Мандельштам,  
«Silentium».*

**В** истории культуры, как и в истории вообще, бывают белые пятна, пропущенные звенья, когда подчас важное явление или яркая личность как бы исчезает из памяти людей. И тогда возникают недоуменные вопросы: как же осуществилось то или иное событие, кто сыграл роль в его осуществлении? Как, например, случилось, что музыка Мусоргского «вышла» на французского слушателя, по сути дела, раньше, чем на русского, чем стала неотъемлемой частью музыкального репертуара в России; как вообще музыка этого композитора проникла на Запад, а имя Мусоргского стало таким же олицетворением русскости для западного любителя музыки, как имена Толстого и Достоевского для любителя литературы?

Ответ на такой вопрос не может быть однозначным, не может он и сводиться к деятельности одного человека. История утверждения Мусоргского в России и на Западе, до сих пор привлекающая внимание музыковедов и историков музыки, делалась усилиями многих — и композиторов, музыкально-общественных деятелей и, конечно, усилиями музыкантов-исполнителей. Среди

последних есть одно забытое (или полузабытое) имя, которое, да и то лишь понаслышке, знают только специалисты по Мусоргскому, почти неизвестное широкому кругу любителей русской музыки, не всегда даже упоминающееся в учебниках по ее истории. Это имя Марии Алексеевны Олениной-д'Альгейм.

Между тем искусство этой крупнейшей представительницы русского и французского вокально-камерного исполнительства связано с определяющими явлениями общественного и музыкального развития России и Франции конца XIX — первой половины XX века и в немалой степени ответственно за судьбу музыки Мусоргского в России и за ее пределы. Современница «Могучей кучки» и борьбы за становление русской национальной школы музыки, пропагандист вокально-камерных произведений композиторов — членов «Могучей кучки», в особенности Мусоргского, Оленина-д'Альгейм оставила значительный след в области исполнения русского классического романса и была одним из первых русских вокалистов, сделавших поэтический текст важнейшим источником вокальной интерпретации. Она была практически первой русской исполнительницей, которая раскрыла художественные возможности русского романса не только для русской, но и для европейской публики. Оленина-д'Альгейм была первой русской певицей, которая определила основы самого жанра камерного пения, — она, если точно определить ее место в истории русского вокального искусства, была первой русской камерной певицей.

Искусство Олениной-д'Альгейм сегодня практически забыто. Но в том, что наследие Мусоргского стало живой частью современной мировой музыкальной культуры, немалая заслуга той, кто первая представила вокальные произведения композитора французской, бельгийской и английской публике.

\* \* \*

Мария Алексеевна Оленина родилась в рязанской губернии, на берегах Оки, в имении Истомино близ Касимова, в семье Алексея Петровича Оленина. Корни рода Олениных уходят глубоко в историю русской культуры. Крестной матери Марии Алексеевны Анне Алексеевне Олениной, обладательнице замечательного голоса, бравшей уроки пения у Глинки, как известно, посвящено стихотворение Пушкина «Не пой, красавица, при мне». Дом Олениных был своего рода культурным центром Петербурга. Здесь звучали новые романсы и песни Глинки, читал свои стихи Пушкин, встретивший, между прочим, в доме Оленина Анну Петровну Керн, которой он посвятил «Я помню чудное мгновенье». «К Алексею Николаевичу, — писала Оленина-д'Альгейм, — съезжались все писатели, художники, поэты и дедушка Крылов, как мы его звали в детстве — то есть не его, а его бюст, который стоял в кабинете отца» (М. А. Оленина-д'Альгейм, «Сновидение и воспоминания», рукопись /в последующем цитировании — СВ/).

Слабое от рождения зрение обострило, по словам певицы, ее слух и способствовало ее музыкальному развитию.

#### М. А. Оленина-д'Альгейм:

«О моем появлении на свет. Это было осенью, в конце сентября, точнее — 19 сентября <1869 года>, как раз в самый пролет вальдшнепов. Мать и отец были на охоте часов до пяти вечера. Надо думать, что я не очень теснила мою маму, и вот после обеда она произвела на свет такое маленькое, тщедушное существо, не более полуаршина, что все сведущие люди, и во главе их — повивальная бабка, решили, что это существо не доживет до утра. Положили меня, рабу Божию, на диван перед пылающим камином, и вот, ко всеобщему изумлению, я до утра дожила. Но глаза мои закрыло египетское воспаление, и закрыло их на целые два месяца. Вот отчего мое зрение перестало развиваться, да таким и осталось на всю жизнь. Это обстоятельство и повлияло, как я думаю, на мой характер, принуждая меня жить главным образом своей внутренней жизнью, и сосредоточило впечатления из внешнего мира <на> слухе. Мне говорили, что я уже как-то распевала прежде, чем начала говорить, подражала я, наверно, птицам. Это должно было повлиять на развитие моей памяти, <ко-

торая> главным образом была удивительна по отношению к музыке, к текстам тех песен, которые я помещала в свои программы» (СВ).

Семья состояла из восьми человек: отца, матери, тетки (Екатерины Бакуниной, дальней родственницы знаменитого революционера-анархиста) и пятерых детей — трех братьев и двух сестер. Никто в семье не был обделен талантом.

**М. А. Оленина-д'Альгейм:**

«Брат Саша» уже к девяти годам был композитор и обожал тогда Мендельсона, чей портрет висел над его роялем. С тетей Катей он играл все сочинения своего любимца, переложенные в четыре руки. Отец слушал с восхищением, но зато, когда после зимы в Москве, где Саша познакомился с «Могучей кучкой», <он> с тетей играл «Ночь на лысой горе», — отец убежал из зала, заткнув уши!!» (СВ).

«Как в сказках, над моей колыбелью склонились <две> феи добрые — Пушкин и Лермонтов. Я с маленьких лет знала «Под вечер осенью» первого и «Русалка плыла по реке голубой» второго. От первого я плакала, вторую я пела на музыку брата Саши» (М. А. Оленина-д'Альгейм, «Автобиографические материалы», рукопись).

«К Рождеству часто приезжала бабушка и другие гости. На праздниках Саша устраивал концерты, в них и мы участвовали. <Помню>, я пела поэму Пети с музыкой Саши о какой-то прекрасной русалке и молитву Дездемоны из «Отелло» Россини. Я ее пела по-итальянски, с большим чувством, как говорили, хотя мне было лишь лет шесть. Я тоже пела часто деревенские песни и старалась петь их, как поют крестьянки, — а слышать их приходилось часто, особенно летом. Их было слышно издали, и казалось, что это сама земля поет. Голоса в нашей стороне были некрикливые, низкие и звучные» (СВ).

Желание стать певицей у маленькой Марии уже в раннем детстве было необычайное, почти фанатичное. Окружающим оно иногда казалось ненормальным.

**М. А. Оленина-д'Альгейм:**

«Я была, да и теперь, конечно, какая-то юродивая, с постоянной идеей фикс о моей будущей карьере. О ней я мечтала очень давно. Я, конечно, не о сцене и опере думала, а только о пении. Это желание быть певицей было во мне всепоглощающее. По правде сказать, не такое ли желание владеет всем существом тех, кто добивается его исполнения: все ученые, поэты, художники и тем паче музыканты, особенно композиторы, живут под игом такого упорного желания. Недаром их считают не совсем нормальными» (СВ).

В 1880 году семья Олениных переезжает в Москву, где Алексей Петрович Оленин получил место директора Строгановского училища живописи и ваяния. Пора было подумать об образовании детей, хотя совсем расставаться с Истомином пока не хотелось. Одиннадцатилетняя Мария впервые уезжала из дома, где она родилась.

**М. А. Оленина-д'Альгейм:**

«На следующую зиму (1881 года) мы уже жили в Строгановском училище живописи и ваяния, которого отец наш был назначен директором.

Мы, конечно, жили в Москве только зимой и уже в начале июня возвращались в Истомино. Братья поступили <учиться>: Петя в реальное училище Фидлера, Саша в консерваторию. Варю и меня мама отвела к княжнам Мещерским, у них было что-то вроде гимназии. Нас приняли без вступительных экзаменов, и это было плохо — я, например, была по некоторым предметам впереди других учеников, а в других была с опозданием. На вторую зиму я с самого начала занятий отказалась ходить в пансион Мещерских, находя, что я там только даром время трачу. Мама не восстала против моего решения, а мне ведь тогда было только 13 лет, что доказывает, какое свободное было наше воспитание.



Первая опера, которую я слышала, <была> «Травиата». Певицу, итальянку, звали Саджини. Она умерла очень молодой. Я ее только и слушала, лучше сказать, слышала. Мой непривыкший слух не вполне усваивал все остальное... Затем <последовали> «Фауст» Гуно, «Гугеноты» Мейербера, «Аида» Верди и «Дон Жуан» Моцарта — все это за три года, да еще «Сомнамбула» <Беллини>, «Лакме» <Делиба> и «Миньон» <Тома>. Из русских опер слышала «Жизнь за Царя» <Глинки>, как она тогда называлась, «Русалку» <Даргомыжского> с прекрасной исполнительницей Павловской и, наконец, «Снегурочку» <Римского-Корсакова> в ее первой оркестровке...» (СВ).

В Москве, в Строгановском училище, Оленины прожили четыре года. Как пишет Мария Алексеевна, отец внезапно отказался от этой должности, потому что «оказался недостаточно серьезным директором школы».

Отъезд из Москвы и переселение в Петербург (где-то в мае 1887 года) связали судьбу Марии Алексеевны с деятельностью композиторов «Новой русской школы» — «Могучей кучки», о творчестве которой она знала мало. Отсюда начались ее личные связи с «кучкистами», и в первую очередь — с М. А. Балакиревым и В. В. Стасовым. А первой ступенькой на этом пути стали для нее уроки пения с Юлией Федоровной Платоновой, первой Мариной Мнишек в «Борисе Годунове», работавшей над этой ролью под руководством самого Мусоргского. Платонова была не только прекрасной певицей и пропагандистом музыки «Новой русской школы», но и тесно общалась с членами «Могучей кучки». Вот как описывает этот эпизод в жизни Олениной ее брат Александр.

#### А. А. Оленин:

«Я не знал, кто в Петербурге считался тогда лучшим преподавателем пения, да и не стремился это узнать. По мне, лучшим должен был быть тот, кто признавал Балакирева, Мусоргского, — вот и все. Став на такую позицию, я настаивал, чтобы сестра начала занятия с Ю. Ф. Платоновой <...>. Родители, да и сестра предоставляли мне в этом деле в некотором смысле решающий голос, и вот мы отправились к ней втроем — я, сестра и тетушка Ек<атерина> Ал<ександровна>, жившая с нами <...>. Забрали много нот для пения. Звоним. Нас принимают очень радушно. Узнав, что мы деревенщина, Платонова старается ободрить сестру. Вот уж было излишнее занятие: сестра и не думала ни чуточки робеть».

«Ну, спойте что-нибудь, ведь можете что-нибудь спеть?» — обратилась наконец Платонова к сестре. Я ей шепнул, и она запела «Истомленную горем» Кюи. Смотрю на Платонову — она в полном изумлении: «Откуда, как вы это знаете? И как спето! Ну, еще что-нибудь!» Тут сестра спела «Озорника» Мусоргского, что-то Балакирева, что-то Римского-Корсакова. Тут уж удивлению и восторгам Платоновой не было границ. Она кинулась обнимать сестру (чуть ли не меня и тетушку) и все повторяла: «Вот подите, здесь все это никем не признается, отвергается, а там, где-то в глуши, зреют силы, для которых и это знакомо». Затем бросилась показывать портреты Мусоргского и других, все с подписями, клавиру «Бориса», ей подаренный автором, и долго, долго не могла прийти в себя, успокоиться от охватившего ее радостного волнения» (А. А. Оленин, «Воспоминания и письма», рукопись).

Несомненно, что рассказы Платоновой о Мусоргском, атмосфера почитания композитора производили глубокое впечатление на Марию Алексеевну, которая чувствовала свою особую связь с музыкой этого композитора.казалось, что внутренняя близость Олениной к музыке Мусоргского была для певицы как будто врожденной. Позже она старалась понять природу этой близости.

#### М. А. Оленина-д'Альгейм:

«О Мусоргском мы тогда и не слышали, зато позже, когда я познакомилась с его творчеством, оно сразу меня захватило. Почему? Может быть, потому, что он за правду ратовал, ее хотел и дал людям в своих произведениях... А затем, он один с такой силой выразил русскую народную душу, и это мне было тоже дорого» (СВ).

Платонова была увлечена своей новой ученицей и много говорила о ней. Имя Марии Олениной стало упоминаться в разговорах композиторов. Счастливый случай привел молодую певицу в дом Балакирева.

**В. В. Стасов:**

«Зимой 1887 года было однажды музыкальное собрание у М. А. Балакирева в честь Чайковского, на некоторое время приехавшего тогда в Петербург. Беседа была живая, одушевленная. Всего больше говорили о том, что на днях искренно уважаемая и высоко ценимая всей этой музыкальной компанией Ю. Ф. Платонова, бывшая примадонна русской оперы, рассказывала своим ближайшим знакомым, что у нее в числе многочисленных учениц появилась недавно новая талантливая молодая девушка, только что приехавшая из провинции, Мария Алексеевна Оленина. Юлия Федоровна с великим энтузиазмом говорила про эту свою ученицу и называла ее не только замечательным талантом, но прямо «феноменом», так много она проявляла музыкальной способности, художественной чуткости, так охватывала сразу истинный характер и все оттенки выразительности и драматичности. Присутствующие были необыкновенно заинтересованы мнением и приговором Ю. Ф. Платоновой.

В это время приехал к М. А. Балакиреву отец М. А. Олениной — А. П. Оленин, никому из присутствовавших не известный, кроме хозяина. По нашей просьбе М. А. Оленина в тот же вечер приехала с отцом в наше собрание и пела романсы, сочинения всех главнейших новых русских композиторов. Слова Платоновой оправдались. Все гости М. А. Балакирева нашли ее ученицу необыкновенно даровитой по натуре, всего более по ее декламации и драматическому выражению, в том роде, который поражал тогда всех русских композиторов. Все были восхищены и только просили М. А. Оленину продолжать свое учение и развитие» («Новости и биржевая газета», 17(30).I.1902).

Кроме Балакирева и Чайковского на вечере присутствовали почти все «кучкисты»: Римский-Корсаков, Глазунов, Лядов, Дютш<sup>1</sup>, Щербачев<sup>2</sup>, все Стасовы. Со многими из них Оленина позже сотрудничала, включая их произведения в свои программы. Ее дружба с Балакиревым сохранилась на долгие годы. Не ирония ли судьбы, что именно тот член «Могучей кучки», который сыграл наибольшую роль в ее жизни и творчестве и с которым Олениной не суждено было встретиться, был Мусоргский!

**М. А. Оленина-д'Альгейм:**

«Этот вечер и был моим дебютом в Питере и моим первым знакомством с членами «Могучей кучки». Все они были в сборе, кроме, конечно, Мусоргского и Бородина, умершего зимой. Балакирев встретил нас очень радушно.

— Не споете ли нам что-нибудь?

— С большим удовольствием, — отвечаю я и иду к роялю. Саша садится мне аккомпанировать, а сам ни жив ни мертв, так взволнован, попав сразу в среду им обожаемых композиторов. Я же никого ясно не вижу, да и не гляжу ни на кого. Пою романс Чайковского «Забудь так скоро, Боже мой». Когда кончила, Стасов воскликнул:

— У, какая гадость! — Он ведь ни с кем и ни с чем не считался, всегда говорил прямо хвалу и критику свою. Все при его возгласе покатались со смеху, даже сам автор романса. Я очень любила мелодичность и свежесть его песен, но меня всегда смущал текст их. Чайковский как-то уж очень беспечно относился к выбору стихотворений, а я особенное внимание обращала на слова и придавала им большое значение.

Пропела я еще несколько романсов Чайковского, Римского и Кюи да один — Бородина. Затем хозяин позвал нас поужинать. На этом собрании я была единственной дамой, и Милий Алексеевич <Балакирев> посадил меня по правую руку, рядом с собой. <Казалось>, это была великая честь

<sup>1</sup> Дютш Георгий Оттонович (1857 — 1891) — русский дирижер, композитор, педагог, собиратель народных песен.

<sup>2</sup> Щербачев Николай Владимирович (1853 — ?) — пианист и композитор, ученик Ф. Листа, близкий «Могучей кучке».

для такой молоденькой певицы. Но эта молодая певица была я, <a> я была, как уже сама определила, настоящая юродивая <и никакой чести не почувствовала>» (СВ).

Прямота и бесцеремонность Стасова были легендарны. Так что нет особых оснований сомневаться в возможности описанного Олениной случая. Другое дело — реакция Чайковского. Известно, какими сложными и далеко не всегда гладкими были его отношения с членами «Могучей кучки». Мог ли он так легко отнестись к словам Стасова, которые как раз и отражали отношение последнего ко всем, кто не ратовал за «Новую русскую школу», и в частности к музыке Чайковского?

Оленина не обладала выдающимися тембром или силой голоса. Она очень рано сделала для себя главной целью в пении художественную выразительность и передачу текста в музыке. Что касается репертуара, то в петербургский период ее вокального образования это была в основном музыка композиторов «Могучей кучки», и, конечно, в первую очередь — Мусоргский.

Вскоре, однако, Олениной пришлось расстаться со своим первым вокальным педагогом.

**М. А. Оленина-д'Альгейм:**

«Осенью, вернувшись в Питер, я продолжала работать с Платоновой, но не очень долго, месяца два, потому что она сразу меня испугала, сказав, что к весне даст мне учить роль Снегурочки, а я знала, что эта роль — для высокого сопрано, а у меня, как я чувствовала, было меццо-сопрано, и притом довольно низкое. Я побоялась, чтобы моя профессора, которая, видимо, ошибалась в определении моего голоса, не сорвала мне его. Я стала понемногу пропускать уроки, жалуясь на головную боль, и только к праздникам заявила, что доктор запретил мне петь: я не хотела сразу ее обидеть.

Это было около рождественских праздников, Владимир Васильевич Стасов про это узнал и потащил меня к А. Н. Молас<sup>3</sup>. Александра Николаевна согласилась работать со мной, а когда я с тетей спускалась от нее по лестнице, Стасов вопил мне сверху: «Мы от вас ждем, слышите, ждем!» Видимо, и тогда уже он и другие предвидели во мне исполнительницу им по душе» (СВ).

Уроки с А. Н. Молас, посещения оперы в Петербурге, общение с музыкантами и, конечно, музыка «кучкистов» составляли содержание жизни Олениной в Петербурге. Александр Алексеевич Оленин подчеркивает в своих воспоминаниях атмосферу вечеров у Молас: «Это был особенный кружок. Там собирались по воскресеньям Римский-Корсаков с женой, Блюменфельды<sup>4</sup>, Щербачевы и много других, но главенствовал на вечерах В. Стасов, оглашая комнаты своим зычным голосом». Некоторые впечатления были особо памятными: у одних знакомых, читаем мы в воспоминаниях Марии Алексеевны, она слышит, как доктор Ильинский<sup>5</sup>, большой друг Мусоргского, пел «Забытого» (так назвал автор вначале эту «Балладу»), и его исполнение, — добавляет Оленина, — меня тогда поразило и запало мне в душу» (СВ). Мир Мусоргского все больше занимает ее воображение.

**М. А. Оленина-д'Альгейм:**

«Конечно, я была очень счастлива, но все же думаю, что мы испытываем совершенное счастье и радость только тогда, когда можем сказать себе, что выполнили безошибочно заданную себе задачу. Тогда наша

<sup>3</sup> Молас Александра Николаевна (1845 — 1929) — русская певица, активный участник собраний Балакиревского кружка, пропагандист произведений композиторов «Могучей кучки».

<sup>4</sup> Блюменфельд Феликс Михайлович (1863 — 1931) — пианист, дирижер и композитор, первый исполнитель многих произведений А. К. Лядова, А. К. Глазунова и других; дирижировал премьерами опер Н. А. Римского-Корсакова.

<sup>5</sup> Ильинский Владимир Никанорович — друг Мусоргского, врач. Обладал хорошим баритоном. Первым исполнял все главные мужские партии в операх Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского и Кюи, а также новые романсы. Был ревностным популяризатором вокальных произведений Мусоргского.

душа ликует, так ликует, что ее радость ни с чем не может сравниться. Я часто могла сказать себе, что задачу выполняю честно: я ведь тоже всегда придавала особое значение словам, как того искал и хотел сам Мусоргский.

Музыкальный критик Пьер Лало дал такую оценку, что будет более скромно о ней умолчать. <Я не слишком скромна>, вовсе нет. Я просто никогда ничего не делала с целью получить похвалу или награду, и я уверена, что такие мысли неминуемо должны отразиться на качестве нашего исполнения.

Критику <Лало> я прочла только в 29-ом году. <18 апреля 1901 года в газете «Le Temps»> он писал о своем впечатлении: «Голос, интонация, дикция, выражение — все это так естественно, так правдиво и верно, так проникновенно и в таком слиянии с музыкой, гармонирует так глубоко, что нам кажется, что вы слышите не голос артистки, но самое музыку». Я уверена, что такое исполнение доступно каждому при неперемennom условии абсолютного отказа от своей собственной личности и <при условии> предоставления своих сил, телесных и душевных, автору, с которым тогда и образуется как бы тайный союз — и все его мысли и желания становятся нашими. <Это> вовсе не трудная задача, а такая веселая, радостная!» (СВ).

И этому кредо она оставалась верна всю свою творческую жизнь.

Мария всеми силами стремилась завершить свое профессиональное образование. Поэтому, когда дядя д'Альгейм стал звать в Париж сестру Варю учиться под его руководством живописи, Мария тоже решает ехать с сестрой. К тому времени, по свидетельству Олениной, она уже два года занималась с А. Н. Молас. И хотя эти занятия приносили удовлетворение, молодой певице хотелось расширить свои горизонты, попробовать свои силы в новой обстановке.

\* \* \*

Они поселились в 9-м квартале Парижа, недалеко от студии, нанятой дядей. Здесь, в Париже, очень скоро состоялось знакомство Олениной с дальним родственником, троюродным братом Пьером д'Альгеймом, решительным образом повлиявшее на ее дальнейшую судьбу. Не последнюю роль сыграли их общие музыкальные интересы и увлечения. Чрезвычайно заинтересованный проблемами русской культуры и особенно русской музыки, Пьер д'Альгейм очень сочувствовал музыкальным устремлениям своей троюродной сестры. В нем всегда было что-то от Пигмалиона: увлечение талантом молодой певицы перешло в сильное любовное чувство. В то время ей было двадцать четыре года. Вскоре у д'Альгеймов родилась дочь Марианна, которой суждено было прожить трагически короткую жизнь.

**М. А. Оленина-д'Альгейм:**

<Настоящей свадьбы <моей с Петром> не было, как ее считают православные. Нас благословил лишь мэр 12-го квартала Парижа. А в России наш брак, конечно, был недействителен, да и отец мой в России и мать в Париже желали, чтобы мы венчались в церкви. Полетели разные переговоры, хлопоты в Синоде и т. д. Мы не хотели перечить, нам все равно было. Но вот вышло совсем по-иному: оказалось, что Синод запросил порядочную сумму за признание нашего гражданского брака, и Петр спросил меня, как я обо всей этой истории думаю и согласна ли я платить Синоду. Я ему откровенно заявила, что считаю такую трату совершенно лишней, что нам нужны деньги на наше дело и что без венчания в церкви мы можем обойтись очень хорошо, а об узаконении моего положения в России я вовсе не хлопочу. Тогда мы только что вернулись из Брюсселя, где блестяще прошли конференции о Мусоргском. Вот вы можете еще раз убедиться в моем совершенном игнорировании всех принятых правил жизни» (СВ).

Союз Марии и Пьера д'Альгейм был не просто браком — это было соединение замысла и воплощения, идеи искусства и ее осуществления, в котором оба участника перенимали друг у друга мысль и дело. Несомненно, что Пьер

оказывал огромное влияние на жену, но правда при этом и то, что последняя оставалась ярчайшей творческой индивидуальностью и что именно она передала мужу свое увлечение музыкой Мусоргского, ставшее в конце концов общим делом их жизни. Мария Алексеевна всегда подчеркивала роль д'Альгейма в осуществлении этого дела: «Петр д'Альгейм был главным заправилкой всей нашей деятельности, и без него ничего бы, верно, не вышло».

Начало совместной работы Марии Олениной и Пьера д'Альгейма относится к 1895 году. Молодая певица стояла на пороге своей карьеры, и деятельность, которую она начинала, была совершенно необычной для Франции. Это были так называемые «конференции о Мусоргском». Начались они почти случайно. Когда друзья познакомили Пьера с произведениями Мусоргского, д'Альгейм пришел в восторг не от одного лишь творчества Мусоргского, но и от его воззрений на искусство, которые совпадали с его собственными.

Очень скоро было решено познакомить парижан с Мусоргским, и д'Альгеймы стали готовиться к будущим «конференциям». В них должны были принять участие кроме Пьера как «конферента», то есть лектора-комментатора, пианист Карл Форстер, ученик Листа и товарищ Падеревского<sup>5</sup>, и Мария Алексеевна. «Конференции» 1896 года были знаменательным событием не только для парижан, которые впервые открывали для себя Мусоргского, но и для самой Олениной: это было начало ее пути к «Дому песни». В это время складывалась ее философия, в основе которой был отказ исполнителя от себя в пользу автора, публики и художественной правды. Оленина видела свою задачу в том, чтобы, забыв себя и отказавшись от своего исполнительского эгоизма, раствориться в замысле композитора и поэта, полностью подчинить себя ему. Исполнительская деятельность, следующая такой философии, по мнению Марии Алексеевны, не предполагает финансового успеха и не терпит рекламы.

#### М. А. Оленина-д'Альгейм:

«Я всегда была против рекламы, считая ее несовместимой с достоинством артиста. Мне был дорог успех у моих слушателей, а о славе по окончании карьеры я не заботилась. Она приобретается главным образом тщательной рекламой, а я от нее отказалась, и мы не стали тратить на нее деньги. Петр был того же мнения, как и я. На всех моих концертах только за билеты брались деньги, все же остальное (бюллетени, программы) давалось, а не продавалось. И так было еще до основания Общества «Дом песни» (СВ).

«Конференции о Мусоргском» 1896 года нашли отклик не только в Париже, но и в далекой России. Русская музыкальная пресса оценила успех русской певицы в Париже, большое впечатление произвел и успех русской музыки. Для парижской и позже брюссельской публики «конференции» были первым знакомством с вокальным Мусоргским. Успеху способствовал выход книги Пьера д'Альгейма, представлявшей собой, по словам «Русской музыкальной газеты», очерки «касательно тех внешних и внутренних форм русской жизни, которые отразились в сочинениях Мусоргского» («Русская музыкальная газета», март 1896). «Конференции» были приурочены к пятнадцатилетию со дня смерти композитора. Каждая «конференция» состояла из двух разделов: лекции Пьера д'Альгейма и концертного отделения в исполнении Марии Олениной, которой аккомпанировал Форстер. По сути, это было начало концертной деятельности певицы.

Для того чтобы представить себе реакцию французов и позже бельгийцев на «конференции», нужно знать степень знакомства или, вернее, степень незнакомства французской и бельгийской публики, да и вообще слушателей Запада с русской музыкой. Первым серьезным критиком, который пытался познакомить своих соотечественников с русскими композиторами, был Гектор Берлиоз. Личные контакты с Глинкой позволили ему рассказать парижан-

<sup>5</sup> Падеревский Игнацы Ян (1860 — 1941) — польский пианист, композитор, общественно-политический деятель. В 1919 году премьер-министр и министр иностранных дел Польши.

нам о Глинке как об авторе гениальных произведений, хотя в то время не было никаких возможностей услышать эти произведения.

Если единичные русские вокальные произведения уже начинали звучать в программах французских и бельгийских исполнителей, если некоторые из них стали издаваться с французскими текстами, то это были сочинения только Чайковского и, пожалуй, Кюи. В наиболее трудном положении находилась музыка Мусоргского с ее неповторимо русской самобытностью, ритмической и гармонической необычностью, которая, казалось бы, нарушала все принципы музыкальной традиции, к которой привыкла парижская публика.

И именно тогда, на этом фоне, начались «конференции о Мусоргском» — тщательно подготовленные концерты-лекции, как бы назвали их в наше время, для которых Пьером д'Альгеймом были сделаны специальные переводы и на которых впервые появилась и засверкала молодая Мария Оленина. Это ознакомление с вокальным Мусоргским, по словам П. Веймарна, было уже не случайное, но «практическое»: музыка его звучала понятнее, музыка его звучала достаточно часто, чтобы к ее необычности можно было привыкнуть и принять ее. Музыка эта исполнялась настолько талантливо, что пройти мимо нее было невозможно, и в программах «конференции» против каждого произведения стояло привлекательное «1<sup>re</sup> audition» — «первое исполнение». И все это в то время, когда и дома, в России, Мусоргского еще не оценили!

Совместное путешествие супругов в Россию состоялось в 1896 году. Д'Альгеймы не ограничились Москвой, они посетили также Петербург, Истмино и Нижний Новгород. Одна встреча во время этой поездки произвела на Оленину глубокое впечатление. Это была встреча во время Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде.

#### М. А. Оленина-д'Альгейм:

«В Нижнем тогда была сказительница Орина Федосова<sup>7</sup> из Вологодской, если не ошибаюсь, губернии, а может быть, из Олонецкой. Я хорошо помню, как шли ее выступления в большом театре города, почти пустом, потому что такая артистка мало кого интересовала. Кое-какие чиновники приходили, да и показывал ее, именно показывал, официальный знаток русских былин и песен. Он был очень озадачен, когда она, придя в первый раз на сцену, вдруг заявила: «Нельзя ли всем слушателям ко мне поближе сесть, а то они вон где, высоко да далеко, пусть сойдут, им слышнее будет, да и мне легче». Наверху, конечно, были студенты и вообще публика небогатая. Ученый человек как ни старался объяснить старухе, что никак нельзя исполнить ее желание, но она не унималась и стала петь лишь тогда, когда бедная публика с верхнего балкона сгруппировалась в первых рядах.

Пела она причитания вдовы. Профессор просил слушателей заметить, что после каждого «куплета» она делает голосом своеобразные «фиоритуры». «И что ты, батюшка, какие тут фуритуры? Это слезы да рыдания». После этого причитания она пела одну из старых былин. Ее она повторила и на следующий день, но с некоторыми изменениями в описании природы. Мы пошли с мужем спросить ее, почему она так изменяет текст былин. «Вчера ведь сумрачно было, дождливо, а ныне солнышко, вот и рассказ другим стал», — разъяснила она. Да, Федосова была необыкновенная артистка, в лучшем смысле этого слова» (СВ).

«Я побывала у нее <после выступления>. Во время короткого дружеского разговора, на чудном языке «сказителя» она посвятила меня в самые скрытые тайники дара исполнителя. Она научила меня тому, что такое пение в *природе*, в человеческой природе.

В то время я не вполне поняла ее. Ее речи возбудили во мне работу мысли, и только много позднее они предстали предо мной в том свете, к которому в то время мои глаза еще не были подготовлены» (М. А. Оленина-д'Альгейм, «Заветы Мусоргского» /М. 1910/).

<sup>7</sup> Федосова Ирина (Орина) Андреевна (1831 — 1899) — русская сказительница, вопленица. Ее тексты использовали в своих произведениях Н. А. Некрасов, М. М. Пришвин и другие.

Необычайно интересны те выводы, к которым пришла певица после знакомства с исполнением Федосовой: ее мысли о творческом акте художника-исполнителя раскрывают нам, как этот акт творческого воплощения музыки происходил у нее самой, и в какой-то степени объясняют, как он действовал на ее слушателей.

**М. А. Оленина-д'Альгейм:**

«В наше время — время обновления — первая задача исполнителя, к которой мы должны подойти волей или неволей, не состоит ли в том, чтобы дать место пению в естественном выражении чувств. Я, конечно, не могу припомнить теперь буквальных слов сказительницы, так как не придавала им тогда того значения, какое они получили для меня позднее: подсказанные ею мысли развивались, и это продолжалось долго, хотя я и была глубоко заинтересована этим вопросом. Сильное впечатление затрагивает в душе нашей центр, где рождаются чувства, а вместе с ними потребность высказать и проявить их. Если впечатление сравнительно слабо — оно выльется в словах; более сильное и внезапное проявится криком, и в этом отношении природа наша осталась неизменной с основания. Но на этом крике останавливается способность выражать внутренние чувства у человека «цивилизованного». У человека же, сохранившего общение с природой, чувство, столь же сильное, и не только физическое, но и душевное, вызовет «пение».

Не то же ли самое делают народные сказители, приглашенные «оплакивать» покойника: они как бы восполняют притупленное чувство скорби, чувство, уже не действующее у тех, кто прибегает к их помощи, но живущее в их душе.

Федосова с двенадцати лет ходила на похороны и свадьбы. Позднее она ходила на проводы рекрутов, которых оплакивают, как покойников. У Федосовой сохранился целый том «Причитаний», очень выразительных.

Не то же ли самое делает и художник-творец, с той только разницей, что никто не просит у него этой услуги: выражение его скорби витает в концертных или театральных залах. Чье же это дело, как не исполнителя <...>, вернуться к Природе и содействовать более правильному взгляду на вещи. И если это дело его привлекает, если он дает себе отчет в том, что безусловное первенство за художником-творцом, если он хочет достойно разделить с ним его могущество, воплощая его, — то пусть он берется за исполнение Мусоргского.

*Скажите* внутри себя свою скорбь, *кричите* о ней для себя, отдавшись ей, — *пойте* о ней для других. В таком случае вы в состоянии будете превосходно и с надлежащим настроением исполнить „Сиротку”» («Заветы Мусоргского»).

Москва не принесла супругам д'Альгейм, по сути, никаких интересных музыкальных встреч, особенно тех, которые были бы связаны с музыкой Мусоргского. Уверенность, что пропаганду Мусоргского нужно продолжать и во Франции и в России, внушали Олениной друзья в Петербурге.

**М. А. Оленина-д'Альгейм:**

«Тогда уже вышла партитура «Бориса Годунова» с новой оркестровкой Римского-Корсакова. Александра Николаевна <Молас> негодовала на своего зятя: «Никогда эта партитура не войдет в мой дом!» Она много рассказала нам о последних тяжелых годах Мусоргского, о критике всеми его товарищами его творчества, о полном их непонимании того, что он сочинял тогда, и об его окончательной размолвке с ними. Вспомнила она, как раз Мусоргский, очень их (семью Молас. — А. Т.) сам любивший, сидел с ними вечером за чайным столом и, услышав в прихожей голоса двух кучкистов и не зная, как избежать встречи с ними, вдруг поднял скатерть и быстро спрятался за <под?> стол! Александра Николаевна поскорее увела новых гостей в другую комнату, чтобы Мусоргский мог уйти из дома.

Стасова еще не было в Петербурге, а Милий Алексеевич <Балакирев> сказал так о новой оркестровке «Бориса»: «Она совершенно была излишней, оркестровка автора несравненно лучше подходила к его народной

драме. Римскому можно извинить — у него такая многочисленная семья». Балакирев был не без юмора, не злого, но все же довольно язвительного, да и себя не всегда щадил» (СВ).

Парижские и брюссельские музыкальные критики все чаще говорили о необычной певице из России, исполнявшей музыку неизвестного Мусоргского. Деятельность д'Альгеймов по пропаганде музыки Мусоргского в Париже и Бельгии продолжалась и становилась известной и в России. В газете «Новості» от 12 декабря 1901 года музыкальный критик С. Кругликов писал:

**С. Кругликов:**

«Уже давно слежу по заграничным журналам о замечательной деятельности артистки, имя которой ставлю в заголовок настоящей заметки. Пять лет, как она, отчасти в Брюсселе, главным же образом в Париже, с неуклонной энергией пропагандирует русскую вокальную музыку <...> Супруги д'Альгейм <...> особенно тяготеют к Мусоргскому. Для него ими сделано много. Он (Пьер д'Альгейм. — А. Т.) — отдельным томом издал интересный этюд о Мусоргском, превосходно перевел тексты его опер и романсов на французский язык. Она — все сочиненное Мусоргским для пения в совершенстве изучила. И тут одна была забота: не о репертуаре певицы с таким-то голосом, а лишь о том, чтобы *всего* Мусоргского показать не имеющей о нем понятия западной публике.

Среди длинного ряда вечеров, где фигурировали оба: муж — как воодушевленный лектор, комментатор обещанных афишею песен, жена — как блестящая, тонкая исполнительница, — бывали часами длившиеся сеансы полной самоотверженности. Певица, забывая о себе, <...> без усталости пела всю оперу с начала до конца, со всеми ее как женскими, так и мужскими партиями. Так было, например, в брюссельском *Maison du peuple* перед двутысячной толпой рабочего люда, пришедшей в восторг от пропеты г-жою д'Альгейм с 8 ч. вечера до 1 ч. ночи всей «Хованщины» Мусоргского».

Оленина не хотела ограничивать себя выступлениями во Франции и Бельгии. Пришла пора, чтобы русскую певицу услышали в России.

\* \* \*

Концерты в Москве и Петербурге состоялись в конце 1901 — начале 1902 года. Этому предшествовала переписка Олениной с Балакиревым и Кюи, в которой певица просила совета и помощи друзей для своего дебюта на родине. Сохранившиеся письма Балакирева помогают воссоздать атмосферу подготовки к первым выступлениям Марии Алексеевны на родине. Балакирев, понимавший, как много в карьере Олениной-д'Альгейм зависит от их успеха, проявлял экстраординарную заботу о молодой певице, писал рекомендательные письма, предупреждал от возможных ошибок, поддерживал в ней уверенность в себе, хотя последнее, в силу характера Милия Алексеевича, ему было непросто: он весьма мрачно смотрел на перспективы серьезных музыкантов в России, и особенно в Петербурге. Оленина советовалась с Милием Алексеевичем по поводу составления программы предстоящих выступлений. С трогательной самоотреченностью он готов пожертвовать ради успеха Марии Алексеевны своими собственными произведениями, исключая их из программы.

И вот наконец 26 октября 1901 года Оленина-д'Альгейм пела на вечере московского «Кружка любителей русской музыки». Через несколько дней состоялся ее первый сольный концерт в Москве. Этот дебют был началом частных гастролей в Москве, с радостью принявшей певицу.

**С. Кругликов:**

«Прежде всего удостоверяю, что заграничные мнения о г-же д'Альгейм как о певице отнюдь не преувеличены. По ним я даже меньше ожидал, чем услышал (на концерте 26 октября. — А. Т.). Это истинный тип романсной исполнительницы, настоящая *Kammer-sängerin*, как говорят немцы.



Голос, положим, не особенной силы, тембр не поражающей красоты, но звук выработан, хорошо поставлен, несется свободно вдаль, гибок, ясен, содержателен, богат красками. Декламация поразительная, каждая фраза — плод вдумчивой, художественной работы, живого, непосредственного таланта. Способность овладеть настроением вещи, проникнуться характером изображаемого там лица — совершенно исключительная. И при всем том безупречная музыкальность...» («Новости», 12.XI.1901).

Концерт в Петербурге был более сложным делом. Еще в 1897 году в письме к Александру Оленину Балакирев высказывался крайне пессимистически о том, как петербургская публика примет Оленину-д'Альгейм.

**М. А. Балакирев — А. А. Оленину:**

«Очень радуюсь успехам Вашей сестры и глубоко скорблю, что анти-музыкальность Петербурга, развившаяся главным образом благодаря усилению консерваторских преподавателей в городе, не дает мне надежды на то, чтобы она должным образом была оценена нашей холмогской публикой, а такой другой музыкальной и талантливой певицы, как Ваша сестра, я не знаю» (А. А. Оленин, «Воспоминания и письма»).

Совет Балакирева обратиться к Кюи оказался полезным: с его помощью концерт в Петербурге состоялся 17 декабря 1901 года. Успех петербургского дебюта Олениной был скромным. Однако появилась двусмысленная рецензия в газете «Новости», как будто хвалившая второе отделение, но ругавшая первое. Рассыпанные там и сям порицания и похвалы давали завуалированную отрицательную картину концерта. Но главное, что в оценках критика полностью отсутствовало понимание того, что и программа концерта молодой певицы, и ее исполнение были чем-то новым на русской концертной эстраде.

Зато это хорошо понял и точно сформулировал в своей рецензии Цезарь Кюи, который первый сказал, хоть и другими словами, что с появлением Олениной в русскую музыку пришел новый исполнительский жанр камерного пения. Кюи услышал в Марии Алексеевне первую русскую камерную певицу.

**Ц. А. Кюи:**

«Вчерашний романсовый вечер в Малом зале консерватории представляет для музыкального Петербурга крупное событие: в зале мы познакомились с чрезвычайно талантливой и оригинальной артисткой, г-жой Олениной-д'Альгейм; это было настоящее откровение.

Оригинальность ее заключается в следующем:

Во-первых, она дает концерты одна, без пособия пианистов, скрипачей, виолончелистов, и таким образом получают настоящие романсные вечера без посторонних примесей.

Во-вторых, на этих вечерах она исполняет целые группы романсов того же автора. Так, вчера она исполнила 8 романсов Шумана и 10 Мусоргского, вследствие чего получилась цельность впечатления и возможность многосторонней оценки автора.

В-третьих, г-жа Оленина все поет наизусть. Вчера с бисами она спела 40 романсов, которые едва ли составляют и четверть ее необъятного репертуара.

В-четвертых, г-жа Оленина — артистка убежденная: она не идет за публикой, не гоняется за успехом, не подлаживается под вкусы; она поет то, что она ценит, что ей дорого, и в пропаганде любимой музыки она проявляет замечательную самостоятельность и смелость. Достаточно сказать — *horribile dictu* — она поет Мусоргского.

Мусоргскому особенно не повезло в Петербурге: его оперы забыты. Романсные исполнители тоже не охотники до Мусоргского. И в самом деле, в его романсах так мало любви (из 10-ти, исполненных г-жой Олениной, один только был любовный); к тому же они так трудны ритмически, так трудны по интонации, фразировке, выражению. Но что они и музыкальны, и исполнимы, это доказала вчера г-жа Оленина — только для этого нужно иметь ее любовь, ее понимание, ее талант. Мусоргский и Шуберт имели наибольший успех во вчерашнем концерте» («Россия», 18.12.1901).

После концерта 17 декабря Мария Алексеевна сразу решает дать свой самостоятельный концерт без расчета на «подписных» слушателей Русского музыкального общества. Этот концерт должен был решить, выступать ли Олениной в Петербурге в будущем или ограничить свою концертную деятельность Москвой. Шла речь о завоевании своей петербургской аудитории. Это была битва, которую Оленина-д'Альгейм намеревалась выиграть. Концерт состоялся в марте 1902 года. Вот как вспоминает о нем Александр Алексеевич Оленин.

**А. А. Оленин:**

«В условленный час мы с М<илием> А<лексеевичем> сошлись в зале Кредитного общества; до начала концерта оставалось минут 20, а зала была почти пуста. М. А. страшно волновался и охал: «Ведь это будет провал, и не только Марии Алексеевны, а истинного искусства. Не надо, не надо было рисковать», — твердил он на все лады.

Раздался первый звонок, и вдруг публика повалила, в полчаса вся зала была переполнена. Ни одного свободного места. Надо было видеть радость Милия Алексеевича, хотя он тут же честил публику всячески за привычку опаздывать. «Надо было их не пускать в залу», — ворчал он, но видно было, что это говорилось уже так себе, от избытка чувств.

Успех был полный, громадный. Концерт закончился со всеми бисами около часу ночи. Когда мы вышли с М. А. на улицу, он стал нанимать извозчика, к удивлению моему, не на Коломенскую (его улицу), а на Литейный проспект. Оказалось, что он непременно хотел заехать к сестре, чтобы ее поздравить. В этом сказался весь Балакирев, глава боевой „могучей кучки ”» (А. А. Оленин, «Мои воспоминания о Балакиреве» /в кн.: «Милий Алексеевич Балакирев. Воспоминания и письма». Л. 1962/).

Пребывание д'Альгеймов в России было знаменательно не только концертами, но и драгоценными часами общения с русскими друзьями, встречами с Балакиревым, Стасовым, Молас, Кюи и другими. В 1901 году д'Альгеймы побывали у Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне.

**М. А. Оленина-д'Альгейм:**

«Вот как мы там очутились. Это было после моего первого концерта. Он был в ноябре. <Потом> мы поехали на праздники в имение матери Петра, которая уже года два как поселилась там, вернувшись окончательно на свою родину. В том же поезде из Москвы ехала и Софья Андреевна. Узнав, что мы в одном с ней вагоне, она пригласила нас в свое купе и также просила приехать в Ясную Поляну, где все ее семейные разделены на два лагеря: один за Мусоргского и за меня, другой — против, если не меня, то, во всяком случае, против Мусоргского.

Больше всех против была старшая дочь, в то время замужем за Сухотиным, а этот Сухотин был в родстве с д'Альгеймами. Лев Николаевич это знал, конечно, и после уже все дразнил Татьяну: «А я встретил твоего кузена д'Альгейма!» И в самом деле он раз его встретил зимой. Петр ехал из Тулы к матери или обратно, не помню. <Это было> поздно вечером. Увидев вдали всадника, Петр спросил ямщика, кто бы это мог быть. «Не кто иной, как граф. Он каждый день почти верхом ездит, во всякую погоду». Это так и оказалось. Узнав Петра, Лев Николаевич остановил лошадь, привязал ее сзади к саням, а сам уселся возле Петра, да так и путешествовал с ним верст десять.

Лев Николаевич, между прочим, спросил Петра, что он думает о его нападках на великих писателей Данте и других в его книге «Что такое искусство?». Петр ответил, что, зная его за хорошего охотника, он понял, что <Толстой> стрелял не в самих Орлов, а в их идолов. Толстой помолчал немного <и> вдруг продекламировал без малейшей ошибки «Les Phares» Бодлэра.

Лев Николаевич с большой симпатией отнесся к Петру <во время нашего визита в Ясную Поляну> и весь тот день только с ним и говорил. После обеда и перед вечерним чаем я пела. Но рассказу сперва о моей встрече со Львом Николаевичем. Приехали мы часов около одиннадцати, до завтрака, на котором сам хозяин не присутствовал. Я довольно долго беседовала с графиней. Тут она мне и сказала о мнении обо мне своей будущей belle fille. А раз рассказала, то, очень может быть, это значило, что с этим мнением она была не согласна.

После завтрака пришел и сам Толстой. Графиня представила ему меня первую, и я, как вы понимаете, смотрела на него во все свои близорукие глаза. Потом мне сказал кто-то, что он именно любил, чтобы ему прямо в глаза смотрели. Познакомься с Петром (очевидно, ошибка в рукописи и следует читать: «Поздоровавшись с Петром». — А. Т.), Лев Николаевич усадил его где-то в гостиной, и у них завязался, верно, его интересовавший разговор, потому что около трех часов он вдруг предложил всем гостям своим прогулку на розвальнях к засеке (это лес, окружающий Ясную Поляну, как я думаю). Толстой хотел показать Петру родник, «никогда не замерзающий». Я не помню хорошенько, но мне думается, что Петра снабдили валенками, чтобы он мог спуститься в довольно глубокий овраг, где находился этот родник. На мне были свои валенки. Когда мы подъехали к оврагу, Лев Николаевич спросил: «Кто хочет идти с нами в овраг?» Никто не хотел, все отказались, кроме Сергея Львовича <и нас>. Я, конечно, тоже полезла, хотя сугробы были довольно-таки глубокие и было градусов двенадцать холода. Спустившись в овраг, мы четверо прошли еще несколько сажень. Остановившись у родника, Толстой сказал: «Вот» — и замолчал. Спустя несколько минут Петр взглянул на него и увидел, что Толстой плакал. <Я думаю, что> для него родник незамерзающий был как бы символом его самого.

Вернувшись, сели пить чай, и Лев Николаевич сел против меня. Может быть, графиня уже успела ему сказать, что я не совсем дура, и он вздумал сам меня проэкзаменовать. Стол в их столовой очень длинный был и узкий, так что я хорошо могла видеть моего *vis-à-vis*, несмотря на мое плохое зрение. Вдруг, обращаясь ко мне, он спросил: «Думаете ли вы, что совершенно глухой композитор может создавать гениальные произведения?» Меня этот вопрос так озадачил и мой ответный взгляд, верно, был полон таким удивлением, что, не дожидаясь моего словесного ответа, Толстой сказал: «*Oui, je comprends, je comprends*» (Да, я понимаю. — А. Т.).

Затем он удалился к себе, но пришел опять, когда все уже обедали, и сел возле Петра.

После обеда <я пела>, но не сразу, а часов в девять графиня повела меня к роялю. Гольденвейзер<sup>8</sup>, с которым она тут же меня познакомила, сидел уже у рояля. Он был очень тонкий музыкант, блестящий виртуоз и, как позже я узнала, был профессором Московской консерватории. Он был очень дружен с семьей Толстого и часто приезжал в Ясную Поляну. Я пела Мусоргского, но не одного его, <а также> и Шумана и Шуберта. Этот всех больше нравился Льву Николаевичу <...>.

После того, что я спела из «Детской», <Толстой> сказал, что не понимает, как музыка может изобразить движения. Я ответила: «Так же, я думаю, как и слова писателей». Еще спела я «Сиротку» и «Колыбельную Еремушки», но потом вернулась к Шуберту.

Вдруг я подумала, не спеть ли мне «Полководца» теперь с его французским текстом — я тогда еще его по-русски не успела выучить. «Полководец» был у меня в рукописи переложен ниже и назван Петром «*La ju rerre*». Гольденвейзер, может быть, не знаком был с этим произведением Мусоргского. Много из его творчества в то время не знали, а только от меня услышали. Когда я кончила петь «Полководца», Толстой воскликнул: «*Чье это сочинение?*» Да и все были в восторге — думали, что какой-нибудь французский композитор был его автором. А когда я назвала Мусоргского, Толстой заявил: «Как же мне толкует, что Мусоргский плохой композитор? Ведь то, что мы сию минуту слышали, более чем прекрасно». Тут, я подумала, противники Мусоргского должны были нас повесить... <Больше> мы не ездили в Ясную Поляну» (СВ).

Встречи в России еще больше укрепили Марию Алексеевну в сознании своей миссии — пропагандировать русскую музыку и способствовать ее исполнению в России и за ее границами. Она обсуждает с Балакиревым возможности организации русских концертов в Париже. Должен был состояться и кон-

<sup>8</sup> Гольденвейзер Александр Борисович (1875 — 1961) — русский пианист, композитор, педагог, музыкальный писатель и общественный деятель. При советской власти долгое время директор и ректор Московской консерватории.

церт в Берлине, но был отменен из-за довольно крутого характера Марии Алексеевны, которая часто бывала непримирима, когда дело касалось ее взглядов, иногда весьма идеологизированных. Эпизод с несостоявшейся поездкой в Берлин начался очень мирно.

**М. А. Балакирев — А. А. Оленину:**

«Дорогой Александр Алексеевич,

Не так давно я имел известие из Берлина о том, что издатель наш Циммерман<sup>9</sup>, там обитающий, желает осенью или зимой организовать в Берлине ряд маленьких концертов, количество коих будет зависеть от их успеха. В них он предполагает исполнить ряд изданных им фортепианных пьес моих и Сергея Михайловича<sup>10</sup>, а также наши романсы, им изданные.

Мне пришло в мысль дать ему совет пригласить для этого дела Марию Алексеевну, как гениальную исполнительницу русских романсов, которая, как совершенно неизвестная в Германии, не предьявит тяжелых условий, какие может предьявить Циммерману немецкая певица с известным именем <...>.

Обращаюсь к Вам за содействием, чтобы Вы убедили ее не *квасить себя*, пока еще голос есть, и не пропускать случая, если таковой представится, познакомиться с собою Берлин, откуда (при успехе) для ее концертных действий открытой сделается вся Германия и Австрия.

Ваш всей душой М. Балакирев».

(А. А. Оленин, «Воспоминания и письма»).

В ответ на свое предложение Балакирев получил категорический отказ возмущенной Марии Алексеевны: она не желает участвовать в предприятии, которое предназначено обогатить его устроителей. Оленина боролась против власти денег и эксплуатации в искусстве.

**М. А. Балакирев — А. А. Оленину:**

«Дорогой Александр Алексеевич,

Сейчас получил письмо Ваше и ахнул, прочитавши в нем о взгляде Марии Алексеевны на устроителей концертов, которые, конечно и несомненно, устраивают их для наживы, равно как и артисты (не исключая, конечно, и Марии Алексеевны) и композиторы выступают в публику с той же целью, желая извлечь материальную пользу из Богом данного им дарования, которое, при умелом и практическом его продуктировании, может вознаграждать по-царски, а без антрепренера артисту никогда не достигнуть успеха.

Не понимаю, какие эксплуататорские ужасы могут представляться Вашей сестре в предложении Циммермана, в пополнение личности коего скажу Вам следующее: он затратил большие деньги на издание наших сочинений, предполагая, что они имеют большую художественную ценность, а потому вполне естественно, он желает поработать в пользу распространения их в публике.

Неужели сестра Ваша может требовать, чтобы издатель бескорыстно служил искусству ради только искусства, как будто ему не нужно ни есть, ни пить, ни содержать семью. Ведь, однако, и сестра Ваша не приглашает в свои концерты публику ради искусства, а берет с них деньги, а потому как же может она порицать издателя, желающего публику познакомить не с чем другим, как с изданными им музыкальными произведениями?

О какой эксплуатации может говорить Мария Алексеевна, когда в Германии имени ее никто не знает и, приглашая ее по моему совету, Циммерман может оказаться еще в убытке?

Мне будет жаль, если Ваша сестра оттолкнет этот случай, может быть, единственный, поконцерттировать в Германии без всякого для себя убытка, а может быть, даже и с барышом, и, давая совет Циммерману, я

<sup>9</sup> Циммерман Юлий Генрих (1851 — 1923) — музыкальный издатель и владелец фабрики духовых инструментов, основатель музыкального издательства в Петербурге с филиалами в Москве, Лейпциге, Лондоне и Риге. Издатель произведений Балакирева.

<sup>10</sup> Очевидно, С. М. Ляпунов, тесно связанный с «Могучей кучкой».

главным образом имел в виду доставить Марии Алексеевне случай показать себя в Германии.

Ваш всей душой М. Балакирев».

(А. А. Оленин, «Воспоминания и письма»).

Концерт в Германии так и не состоялся, и «радикальные» взгляды свои Мария Алексеевна сохранила до конца своей жизни, хотя отступления от них оказывались неизбежными. После гастролей в Лондоне 1912 года, которые, конечно, были коммерческими, без чего они просто не могли бы состояться, она категорически осудила самый институт гастролей, ибо они дороги, а это заставляет предпринимателей-антрепренеров повышать цены на билеты. Лучше пусть концертных турне не будет совсем. То, что при этом будет большая потеря для самой музыки, которая окажется недоступной для публики, как-то ускользало от внимания Марии Алексеевны.

Концерты в Москве и Петербурге были переломным моментом в вокальной карьере Олениной-д'Альгейм: с этого времени она перестала быть «русской, живущей в Париже», начинается истинно *интернациональная* концертная деятельность *русской* певицы. С 1901 года Оленина делит свое время между Россией, Францией, Бельгией и Швейцарией, а в 1912 году совершает большую поездку в Англию. Д'Альгеймы сотрудничают и общаются с лучшими французскими музыкантами. В этот период начинается многолетняя совместная работа Марии Алексеевны с Альфредом Корто<sup>11</sup>, Дариусом Мийо<sup>12</sup>, а позже дружба с Надей Буланже<sup>13</sup>. В 1901 году с рецензией на концерт Олениной-д'Альгейм, составленный исключительно из песен Мусоргского, где она пела с Корто, выступил в Париже Клод Дебюсси.

#### Клод Дебюсси:

«Композитору (Мусоргскому. — А. Т.) нельзя и желать более верного интерпретатора. Все в ее исполнении было выражено с точностью, которая граничила с чудом. В «Детской» нельзя не отметить молитву девочки перед сном, в которой переданы движения, нежное волнение детской души и даже восхитительное жеманство девочек, когда они подражают «большим». В колыбельной кукле можно думать, что каждое отдельное слово, подсказанное с таким удивительным чутьем, способно воспроизводить картины, полные таинственного волшебства, присущие детскому воображению» («Revue blanche», 15.IV.1901. Цитируется по рукописи Олениной-д'Альгейм).

\* \* \*

Оленина-д'Альгейм всегда отличалась либеральными взглядами и, как многие русские интеллигенты, сочувствовала тем, кто был внизу социальной лестницы. Революция 1905 года и послереволюционный период только обострили ее озабоченность проблемами социальной справедливости. Если образованный русский воспринимал события революции в их прямом политическом контексте, то для Олениной все эти животрепещущие вопросы России проходили сквозь призму музыки — главного способа ее самовыражения и коммуникации с действительностью. И музыка композиторов «Могучей кучки», казалось, была идеальным проводником этой коммуникации. Хотя ее суждения сегодня могут показаться наивными (какими они, наверное, и были), их реализация в музыкальной интерпретации Олениной приобретала совсем не наивную убедительность выражения, которая, по словам современников, так свойственна была певице.

<sup>11</sup> Корто Альфред (1877 — 1962) — швейцарский и французский пианист, дирижер, музыкальный критик и педагог. В 1905 году со скрипачом Жаком Тибо и виолончелистом Пабло Казальсом создал трио, получившее мировую известность. Близкий друг семьи д'Альгейм.

<sup>12</sup> Мийо Дариус (1892 — 1974) — французский композитор, дирижер, музыкальный критик и педагог. Представитель направления политональности в музыке. Участник знаменитой «Шестерки». Несколько его вокальных сочинений Оленина-д'Альгейм исполняла впервые.

<sup>13</sup> Буланже Надя (1887 — 1977) — французский педагог и композитор.

М. А. Оленина-д'Альгейм:

«Помните арию баритона Хованского в «Хованщине» — «Спит стрелецкое гнездо»? Я никак не могу согласиться с приписанием ее боярину и доносчику Шахловитому. Верно, Римский-Корсаков нашел, что одна ария не составляет роли персонажа, и просто прицепил ее к роли доносчика. Я не думаю, что этого хотел автор. Не дал ли он последнее слово такому же свидетелю — юродивому в «Борисе Годунове»? Если бы он хотел поручить главное слово свое, слово заключительное, другому лицу, он смог бы вернуть или оставить на дороге после ухода Дмитрия и всей толпы в последней сцене драмы не юродивого, а старого монаха Пимена. Я часто в концертах пела эту арию «Спит стрелецкое гнездо»...

Мусоргский предсказал грядущую судьбу всех князей и богатых людей и поручил это предсказание объявить миру женщине, раскольнице Марфе в «Хованщине»: «Узнаешь, мой княже, нужду и лишения, великую страду-печаль. В той страде, в горячих слезах познаешь ты всю правду земли». <Но> не все поняли это пророчество, да надо сказать, что так бывает со всеми речами поэтов и других мыслителей: хотя смысл их и понимают, но как-то к нему относятся беспечно, без страха, как к поэтическим выдумкам. Вообще правду люди не любят слушать и понимать» (СВ).

Проживши почти пятьдесят лет вне России, Оленина-д'Альгейм всегда оставалась русской. Ее великолепная русская речь и ее любовь к русскому слову не потускнели вдаль от той почвы, на которой она выросла. Русской певице нужна была русская публика. Эта идея постепенно зрела и в конце концов привела Марию Алексеевну к самому важному этапу в ее жизни — к «Дому песни», который был создан в период расцвета Олениной-д'Альгейм как певицы.

Пение Марии Алексеевны никогда не было записано на пластинку. «Вначале, — говорила мне певица в 1963 году, — было не до записей: концерты, новые программы, да и не было ни денег, ни потребности. А потом, когда умер Петр, денег совсем не стало, и было поздно об этом думать. А я к тому же никогда не доверяла никаким машинам, в том числе и микрофону». Так получилось, что мы узнаем о том, какой певицей была Оленина, не слушая ее пение, а из косвенных источников: воспоминаний, статей и газетных рецензий. Тем не менее эти источники дают довольно детальную картину того, как современники воспринимали вокальное искусство этой оригинальнейшей художницы.

Многие современники Олениной-д'Альгейм свидетельствуют, что голос ее был небольшой, не очень красивого тембра и что ее вокальная манера не отличалась безупречностью. Когда листаешь страницы газет с рецензиями на концерты певицы, поражает разнообразие мнений. Среди отзывов о голосе Олениной встречаются радикально противоречащие друг другу мнения. С одной стороны — «голос, и раньше не отличавшийся красотой и силой, теперь еще больше потускнел» («Московские ведомости»), «если бы только ее интонация была всегда безупречной и тон голоса равномерно распределен по всему диапазону» («Daily Telegraph»); с другой — «эта артистка <...> обладает очень высоким дарованием и голосом исключительной чистоты» («Musical News»), «ее голос продемонстрировал богатство тембра, имеющего иногда особую мягкость» («Morning Post»). Иногда создается впечатление, что в подавляющем большинстве слушатели не замечали недостатков: «редкая способность сообщать своему голосу различные тембры, то металлический, то мягкий, ласкающий», «техника <...> превосходна и заключается в великолепной дикции, фразировке» (Ц. Кюи). Более того, часто голос и манера певицы оценивались положительно, а еще чаще ее недостатки воспринимались как нечто незначительное в сравнении с ее достоинствами.

Очевидно, что Оленина не была первоклассной вокалисткой. Тем не менее ее слава и популярность были исключительны, и основой этого были особая музыкально-декламационная выразительность, искренность и полное «растворение» Олениной-д'Альгейм в тексте и музыке песни. Об этих качествах Марии Алексеевны как певицы очень хорошо сказала мне вдова Дариуса Мийо Мадлен Мийо, когда я посетил ее в декабре 1991 года в Париже: «Оленина-д'Альгейм была абсолютно чистая — как золото. Она как будто не имела от-

ношения к нашему миру, но хорошо чувствовала его». Мы сидели в квартире Мийо на площади Пигаль. В этой квартире, наверное, бывала, и не один раз, Мария Алексеевна (Мийо жили здесь с незапамятных времен и даже сохранили эту квартиру во время второй мировой войны, которую они провели в Америке). «Она была очень русская, — рассказывала мне г-жа Мийо, — не очень высокая, худая, полная энергии. У нее не было возраста. Она жила в своем мире. И не важно, был ли ее голос хорошим: ее невозможно критиковать — она выше критики».

Стремление к содержательности привело Оленину к необычному для ее времени составу и построению программ концертов, из которых певица изгнала все случайное или имеющее назначение эффекта. Программы Олениной всегда имели центральную идею. Как все серьезные музыканты, певица думала в первую очередь о том, что она исполняет. Отсюда тематическое единство, психологизм и историзм ее концертов. Так, для концерта в Малом зале Петербургской консерватории 11 января 1917 года Марии Алексеевне пришла счастливая мысль включить «пушкинское» отделение, в котором она пела романсы Глинки, Даргомыжского, Бородина, Римского-Корсакова, Рахманинова, Кюи и Мусоргского на стихи поэта. Сегодня подобная тема концерта не вызовет удивления: это нормальная монографическая тема. Во времена Олениной вокальные вечера были полны случайных, без всякого смысла объединенных сочинений. Тематически цельный подход Олениной-д'Альгейм был своего рода революцией.

Интереснейшее свидетельство впечатления, которое производило пение Олениной-д'Альгейм, свидетельство как философское, так и эстетическое, оставил Андрей Белый, который посвятил Олениной одну из статей, вошедших в сборник «Арабески» (1911). Характерны подзаголовки пяти ее главок: «Круговорот» (безумие и хаос мира, «мы — существа, возникшие на холодной коре огненного бреда»), «Символ» («В искусстве мы познаем идеи, возводя образ к символу. Символизм — это метод изображения идей в образах»; Ницше о драме как символе), «Мистерия» («Мистерия дала формы музыкальной драмы». Ницше «искал спасения в музыке, называя музыкальную драму (Вагнера. — А. Т.) последним звеном, завершающим культуру», но «Вагнер только один из пионеров, возвещающих нам о слиянии поэзии с музыкой»; истинное слияние происходит не в музыкальной драме, а в песне). Две последние главы этюда Андрея Белого называются «Оленина-д'Альгейм» и «Концерт». В «Концерте» Белый описывает выступление Олениной перед публикой, состоящей из мещан-«сюртучников». Контраст между приземленностью зала и возвышенностью и простотой певицы является лейтмотивом главы. Здесь-то мы и «видим», как пела Оленина — жрица искусства.

#### Андрей Белый, «Оленина-д'Альгейм»:

«Когда перед нами она — эта изобразительница глубин духа, — когда поет она нам свои песни, мы не смеем сказать, что голос ее не безукоризненный, что он прежде всего невелик. Мы забываем о качествах ее голоса, потому что она больше чем певица.

Отношение музыки к поэтическим символам углубляет эти символы. Оленина-д'Альгейм с замечательной выразительностью передает эти углубленные символы. Она оттеняет свое отношение к передаваемым символам бесподобной игрой лица. Поэтический символ, осложненный отношением к нему музыки, преобразенной голосом и оттененной мимикой, расширяется безмерно.

Мы не можем себе представить искусство, полнее соединяющее поэзию с музыкой, вне драмы и оперы. Но драма и опера сложностью средств, необходимых для их исполнения, ослабляют непосредственно бьющую струю Вечности. Современная драма и опера грозят пасть под бременем осложнившейся техники. Не должна ли рождающаяся мистерия принять огненную форму песенных пророчеств?

Абсолютное слияние музыки с поэзией возможно только в душе человека. Вот почему <...> появление Владимира Соловьева, Никиша, Олениной-д'Альгейм знаменательно для нашей культуры.

Оленина-д'Альгейм развертывает перед нами глубины духа. На всем этом лежит тень пророчества о будущем.

Мистика, брызжущая из старинных песен в исполнении Олениной-д'Альгейм, может оказаться рычагом, на котором впоследствии люди перевернут всю действительность.

Вот почему сложность затрагиваемых идей-символов пением Олениной-д'Альгейм накладывает на нее печать религиозного служения» (Андрей Белый, «Арабески» /М. «Мусагет». 1911/).

Мария Алексеевна и Пьер д'Альгейм, близкие к кругам символистов, были знакомы с философско-религиозной системой Рудольфа Штейнера, с его антропософией и эвритмией, которые тогда стали одним из наиболее распространенных увлечений среди поэтов, художников и вообще людей искусства. В мире искусства были попытки связать идею штейнеровского распределения энергии с исполнительским мастерством. Одним из рьяных прозелитов Штейнера долго оставался, например, великий русский актер Михаил Чехов. Имеются сведения, что этими идеями интересовался и Пьер д'Альгейм, а вместе с ним, конечно, и Мария Алексеевна. Что же касается влияния Штейнера на ее исполнение, то это весьма темная область: нет никаких данных, что Оленина изменила свою исполнительскую манеру или стала петь как-нибудь иначе после знакомства с антропософией. Тем не менее Андрей Белый подчеркивает «мистическую силу» в связях Олениной-д'Альгейм и ее аудиторией.

#### Андрей Белый, «Концерт»:

«С крепко подвязанной маской на лице среди озаренных электричеством зал скользит чей-то беспечно-небрежный черный контур. Над бездною скользят дамы, наводя лорнеты и обмахиваясь веерами. Над бездною колышутся фалды сюртуков, застегнутых на все пуговицы. Все без исключения затыкают масками зияющую глубину своих душ, чтобы из пропасти духа не потянуло сквозняком. Когда дует Вечность, эти люди боятся схватить мировую лихорадку.

Кто-то кому-то шепчет: «Талантливая певица»... И только?

Нет, нет, конечно, не только, но не спрашивайте ни о чем, не срывайте с души покровов, когда никто не знает, что делать с подкравшейся глубиной.

Но тише, тише.

Высокая женщина в черном как-то неловко входит на эстраду. В ее силуэте что-то давящее, что-то слишком большое для человека. Ее бы слушать среди пропастей, ее бы видеть в разрывах туч. В резких штрихах ее лица простота сочеталась с последней исключительностью. Вся она — упрощенная, слишком странная. Неопределенные глаза жгут нас непомерным блистаньем, точно она приближалась к звездам сквозь пролеты туманной жизни.

Поет,

О том, что мы забыли, но что нас никогда не забывало, — о заре золотого счастья. Стенания ее, точно плач зимней вьюги о том, как брат убил брата... Из далеких мировых пространств раздается жалоба старого Атласа, в одиночестве поддерживающего мир.

То, что казалось прозрачным и сквозило бездной мира, вот оно опять потускнело и ничем не сквозит. Вот стоит она онемевшим порывом. Стройная ель, обезумевшая от горя, так застывает в мольбе.

Но она уходит. Гром рукоплесканий раздается ей вслед. Бесцельны порывы титана у карликов. Великие чувства и малые дела.

Маскарад возобновляется. Плятья шелестят. Маска спрашивает маску: «Ну что?» Маска отвечает маске: «Удивительно».

Когда она поет, все сквозит глубиной. Но если хочешь окунуться в эти бездны, неизменно пока разбиваешься о плоскость.

Когда же это кончится?» («Арабески»).

Певческая карьера Олениной-д'Альгейм длилась около сорока лет — с 1898 по 1935 год. Ее интенсивный период, однако, закончился в 1922 году со смертью Пьера д'Альгейма. После этого были лишь спорадические концерты. Таким образом, мы говорим об относительно коротком двадцатилетнем периоде. Но как много было сделано!



В чем же пафос певческой деятельности этой замечательной певицы? Говоря о ее блистательном таланте, о ее просветительстве и других проявлениях музыкально-общественной деятельности, нельзя не сказать, что, пожалуй, самым главным в Олениной-певице была ее направленность в будущее, как призывал Мусоргский, «к новым берегам». Когда я встретился с Марией Алексеевной, она думала и говорила о сегодняшнем и завтрашнем дне камерного вокального исполнительства как человек, принимающий активное участие в музыкальной жизни. Ей было девяносто три — в этом была вся Оленина. Она была в русской музыкальной культуре связующим звеном: пришедшая в русскую музыку после смерти Мусоргского и на закате деятельности «Могучей кучки», М. А. Оленина-д'Альгейм соединила это прошлое нашей культуры с ее настоящим и будущим, XIX век с XX.

Уже в самом начале своего пути Оленина осознавала ограниченность аудитории «конференций» в Париже и Брюсселе, ей нужно было выступать перед более широкой аудиторией, чем «Дом искусств» в Брюсселе, она хотела испытать свое искусство если не перед народом, то по крайней мере перед обычными любителями музыки.

В 1902 году, в России, певицу ожидал первый удар со стороны тех русских, на которых она больше всего рассчитывала: это было полное непонимание Мусоргского большей частью «образованного» русского общества. Как пример такого непонимания Оленина вспоминает, как устроительница постановки «Хованщины» в деревне для народа утверждала, что опера Мусоргского и роль Досифея представляют собой сатиру на фанатизм.

Каждый такого рода случай только усиливал непобедимое стремление певицы «соприкоснуться еще <раз> с той средой, которую необходимо будет когда-нибудь завоевать, так как в ней, и только в ней, артист может найти <...> сокровища, которые остаются нетронутыми» (М. А. Оленина-д'Альгейм, «Дом песни» (в дальнейшем — ДП), 1910, № 6).

Задачи, которые ставила себе певица, были бескомпромиссными, честность перед самой собой беспрецедентной. Вот как она вспоминает свою первую серьезную встречу с русской публикой 26 октября 1901 года.

#### М. А. Оленина-д'Альгейм:

«Что должен был дать первый концерт перед русским народом, с которым я до сих пор встречалась лишь на его истинном поле деятельности, на земле, который я там узнала и полюбила?»

Выступая на эстраду, я перед самой собой дала обязательство искренно сказать то, что я испытаю в течение этого вечера.

Программу я составила, по обыкновению, не в целях «внешнего» успеха, а ввиду того единственного успеха, который меня интересует. Моя задача — пробудить в слушателях путем постепенной подготовки, вызывающей их доверие и отвлекающей их от обычных впечатлений окружающего, ту внутреннюю деятельность, которая одна лишь позволяет быть истинным сотрудником в явлениях искусства. Как только это доверие достигнуто, как только необходимое условие удаления от обычной обстановки осуществлено, надо вести слушателя к вершинам искусства, следуя известному ритму чувств, знание которого нас вооружает.

Первая часть была составлена из самых оживленных песен Мусоргского и заканчивалась «Гопаком». Во время нее я чувствовала, как в Брюсселе, поддержку со стороны публики, импульсивной и искренней. Но существенной для меня являлась именно вторая часть, посвященная наиболее захватывающим произведениям.

И я должна сознаться, — несмотря на внешний успех, на аплодисменты и овации, — что мне не удалось достигнуть успеха в том смысле, как я его понимаю. Я не могла подняться на высоту, я должна была остаться на полпути, ограничиться внешней драматической стороной исполняемого. Несмотря на попытки подняться и увлечь других остались безуспешными, и я, привлекая внимание публики, находилась перед Мусоргским в положении того солдата, который кричал сержанту: «Сержант! Я взял пленника!» — «Приведи его!» — «Не могу, он меня держит!»

Третья часть была для меня особенно важной. Я принесла городскому народу то, чему я научилась от деревенского. Я исполнила отрывок из былины о Вольге и Микуле, где русский Гомер прославляет производи-

тельную силу и ставит ее впереди другой, способной лишь разрушать. И я не чувствовала себя понятой. Последующие лирические песни «доставили удовольствие». Но я все-таки чувствовала себя перед публикой, которая слишком освещена электрическими огнями, ослеплена ими и потеряла, вместе со своими руководителями, драгоценную способность смотреть внутрь себя, ту способность, которая делает народ, оставшийся поэтом и музыкантом, в связи с природой, Учителем Учителей. Я говорю все это вполне откровенно» (ДП, 1910, № 6).

Ясно было, что необходимо встречаться со своими слушателями, встречаться постоянно, устанавливая с ними все больше внутреннего контакта. В это же время Оленина наблюдает усиление коммерциализации и обуржуазивания искусства на «Народных концертах» в Париже. Стремление обрести своего слушателя в России и на Западе привело певицу к идее «Дома песни».

**М. А. Оленина-д'Альгейм:**

«„Дом песни“, как известно, был основан в 1908 году в Москве. Пьеру хотелось устроить серию лекций совместно с русскими интеллигентами. И первая такая лекция состоялась! В ней участвовали Рачинский, Лурье, Белый и я. Тема была: символика в искусстве» («Автобиографические материалы»).

Лекция, о которой говорит Оленина, состоялась 6 ноября 1908 года. Участие Андрея Белого, включившего в свое выступление две темы: 1) «Песня и современность» и 2) «Жизнь песни», — было не случайным: поэт с особым интересом пытался осмыслить роль песни в поэтическом творчестве. 21 ноября — вторая лекция А. Белого для публики «Дома песни». На этот раз тема — «Символизм». С самого своего зарождения движение символистов уделяло песне большое внимание. Дом д'Альгеймов был частым местом встреч поэтов-символистов и других литераторов, которые искали место и смысл искусства в жизни человека. Кроме Белого, здесь бывали Вячеслав Иванов, Александр Блок, Сергей Соловьев и другие.

**Андрей Белый:**

«Встретился с нею у Г. А. Рачинского: в лоск уложил меня Петр Иванович; и пленила певица величием своей простоты; с той поры — я, Рачинские <...> в антрактах спешили вырваться к ней в уборную, чтобы цветок получить от нее, удостоиться после концерта беседы за ужином: с нею; так медленно крепло знакомство: в сближение» (Андрей Белый, «Начало века»).

Для Белого песня была важным синтезом искусства, и он писал об этом в разное время. Пытаясь установить связь всех явлений искусства, он видел в песне одно из высших проявлений творческого духа, который изменяет жизнь человека. Одним из таких проявлений искусства было для Белого и творчество Олениной-д'Альгейм.

Деятельность д'Альгеймов шла в одном русле с поисками символистов, стремившихся к созданию синтеза искусства. Таким поиском была теория В. Иванова о «соборном театре», который должен совместить в себе музыку, поэзию, живопись, слово и действие. В. Иванов говорил об участии зрителя в актах искусства, о коллективных «оркестрах», где зритель принимает участие в театральном действе, к которому будет приобщен весь народ. В этом смысле идеи «Дома песни» весьма близки мыслям, заложенным в теории соборного театра. Ведь речь шла о создании целой сети «домов песни», в которых широкие массы слушателей объединятся в общем акте искусства музыки и звучащей поэзии.

Первая московская лекция была началом эволюции «Дома песни» от отдельных лекций-«конференций» до серьезной музыкально-просветительской организации со своим уставом, развернувшей разнообразную деятельность сначала в Москве, затем, с 1916 года, в Петрограде, с планами открытия отделений в ряде европейских столиц.

Типичный сезон «Дома песни» состоял обычно из двух-трех циклов по шесть-семь концертов, даваемых в течение осенне-зимнего периода. Основная часть концертов в каждом цикле были сольные вокальные вечера Олениной-д'Альгейм. Один вечер представлялся какой-нибудь другой певице или певцу и один концерт сезона исполнялся Марией Алексеевной по программе, составленной членами «Дома песни».

Для Марии Алексеевны в жизни не было ничего важнее ее искусства: ни личные интересы, ни семья, ни дочь, ни муж не могли прервать работу певицы. И в этой полной отдаче было даже что-то страшное. Только переступив через порог норм обычного, нормального, любящего своих близких человека можно было выдержать тот темп жизни и нагрузку, которую несла Оленина-д'Альгейм. Начало работы «Дома песни» совпало с ухудшением состояния дочери д'Альгеймов Марианны, больной туберкулезом. Марианна умерла в 1910 году. Этому предшествовал период, проведенный в санаториях и клиниках, где девочка находилась без своих родителей: в Москве были объявлены концерты «Дома песни». Когда перед Марией Алексеевной встал выбор между чем-нибудь личным и относящимся к искусству, она выбирала искусство. Спеть «Колыбельную смерти» было важнее, чем любое отвлекающее личное дело, даже смерть дочери...

Философия и задачи «Дома песни» были изложены в первом выпуске ежемесячника «Дом песни», начавшем выходить через два года после его организации. В качестве эпиграфа к каждому выпуску «Дома песни», да и ко всей его деятельности были взяты слова-призыв Мусоргского: «К новым берегам!» Создатели «Дома песни», таким образом, видели задачи своей деятельности не в сохранении тех позиций, что были завоеваны «Могучей кучкой» во второй половине XIX века. Они ощущали себя идущими вперед, в век XX. Создатели «Дома песни» видели основу своей деятельности в триединстве композитора, интерпретатора и публики. Из этого триединства и возникает мысль об идеальной публике и идеальном исполнителе. Каков же он, этот исполнитель? Об этом Мария Алексеевна писала в своей книге о Мусоргском<sup>14</sup>.

**М. А. Оленина-д'Альгейм:**

«Исполнитель — это живая книга. От него самого зависит, где и как ее прочтут. От него зависит навести мысль чтеца (то есть слушателя. — А. Т.) на мысль автора <...>; от него зависит передать мысль автора, проникаясь ею настолько, чтобы свет, преломляясь на чистой странице, осветил присутствующих» («Заветы Мусоргского»).

«Художник-созидатель с помощью толкователя не создает, а находит свою публику среди людей, созданных по его подобию <...> Эти-то люди и составляют истинную публику в области искусств. Те, кто говорят о необходимости воспитать ее, руководить ею, посвятить ее в тайны искусства, — питают несбыточные мечты: они хотят стать богами, но ведь богов давно нет. Эта-то публика должна сама себя воспитывать, самостоятельно руководить собой» (ДП, 1910, № 1).

Деятельность Общества «Дом песни» была поистине энциклопедической. Первое место тут занимали, конечно, концерты Олениной-д'Альгейм и других исполнителей с разнообразными программами вокальной камерной музыки. Но не только концерты привлекали членов общества. «Дом песни» организовывал циклы лекций по вопросам музыки, поэзии и психологии искусства. Совершенно новым явлением были уроки и учебные программы, которые постепенно добавлялись к уже установившимся концертно-лекционным формам работы. Трудно переоценить издательскую работу «Дома песни», который с самого начала печатал бюллетени, выходившие несколько раз в год перед основными концертами сезона и содержавшие программы и тексты переводов исполнявшихся произведений, а также новости и сообщения о работе «Дома песни». Важнейшей и, может быть, имевшей наибольший зарубежный резонанс

<sup>14</sup> Книга Олениной-д'Альгейм о Мусоргском была написана по-французски и издана в Париже в 1908 году под названием «Le Legs de Mussorgsky». В 1910 году вышло русское издание книги «Заветы М. П. Мусоргского» в переводе В. И. Гречаниновой (Москва, изд. журнала «Музыка и жизнь»).

нанс частью деятельности «Дома песни» были его русские и международные курсы, результатом которых стало появление интереснейших поэтических и музыкальных сочинений и их публикаций.

Атмосфера концертов-лекций «Дома песни» была особой, совсем не похожей на то, к чему привыкла публика. Белый вспоминает свою первую лекцию и то, как была устроена эстрада.

**Андрей Белый:**

«Афиши висят; все билеты распроданы; сделаны по специальным рисункам трибуны «демисиркулэр» (полукруглые. — А. Т.). Над трибунами, видно, работало воображение «Мерлина», так мы звали его (древний волшебник в кельтской мифологии, имеется в виду П. д'Альгейм. — А. Т.): как закрыть ноги лектору, чтоб дать возможность метаться направо-налево, склоняясь на локоть: направо-налево; и тут курс мелоластики преподавался мне как лектору; и на извозчике в консерваторию (Малый зал) тут же меня отвез: показать, как стояли трибуны — для Мари, — для меня: направо-налево, меж ними, совсем в глубине, — инструмент Богословского; стиль — «треугольник», наверно, вычерченный ночью им» («Начало века»).

Примеры лекционных циклов «Дома песни» мы находим в сезоне 1909/10 года. Только за один этот период членам общества было предложено шесть разных циклов. По понедельникам, например, проходили лекции Артура Ф. Лютера из цикла «Мировая поэзия», посвященные немецким лирикам. В них шла речь о поэзии Клопштока, Бюргера, Гюнтера и других предшественников Гёте, так же как и о самом Гёте. Затем следовали Шиллер и поэзия романтизма (Новалис, Brentано, Эйхендорф и Уланд), после чего лектор анализировал творчество поэтов «мировой скорби» (Платен и, конечно, Гейне).

По четвергам на французском языке читались лекции из цикла «Психология искусства». Лектор Пьер д'Альгейм посвятил эту серию из семи бесед «анализу чувства в области исполнения». Серия «Анализ чувств» затрагивала важнейшие для супругов д'Альгейм идеи сотрудничества между художником, исполнителем и публикой. В этих лекциях Пьер д'Альгейм сумел выразить не только свои взгляды на исполнительское искусство, но и нечто более конкретное: он, по сути, рассказал, как поет Оленина-д'Альгейм.

**Пьер д'Альгейм:**

«У исполнителя основное, первичное чувство (вера) принимает особый характер самоотречения. В самом деле, его миссия есть воплощение. Он должен отдаваться исполняемому произведению и должен жить своим сознанием только в нем и посредством его.

Ему становится ясным, в чем состоит и к чему сводится его миссия посредничества, с каким благоговением он должен принять сокровище, доверенное ему художником-творцом, как он должен хранить его, стараясь ничего не извлечь из него для своей личной выгоды, и как он должен заставить публику принять это сокровище во всей его неприкосновенной целостности. <...> здесь все чувства сливаются в полное и окончательное самоотречение: артист умер для мира, он живет в постоянном, непрерывном общении с идеалами своих великих учителей» (ДП, 1910, № 4).

Лекции д'Альгейма затрагивали актуальные проблемы исполнительского мастерства, которые злободневны и в наше время: связь музыки и текста, связь музыки и жеста — и иллюстрировались исполнением необычных произведений, которые сами по себе становились событием культурной жизни. 16 лекций Оскара фон Риземана<sup>15</sup> о «развитии немецкой песни как художественной формы», серия лекций Сергея Мюрата, посвященная французской лирике, цикл «Песнь и романс XVIII века в России» Е. В. Богословского<sup>16</sup> и беседы Н. В. Досекина об «Автономии искусств» — все прочитанные в сезоне

<sup>15</sup> Риземан Бернхард Оскар (1880 — 1934) — немецкий музыковед, учился в России с 1899 по 1904 год.

<sup>16</sup> Богословский Евгений Васильевич (1874 — 1941) — пианист и музыковед.

1909/10 года — могли бы украсить концертный сезон любого филармонического общества в наше время.

Ежемесячник «Дом песни», в котором, по словам Марии Алексеевны, авторство большого числа материалов принадлежало Пьеру д'Альгейму, стал значительным явлением в русской культурной жизни. На шести—восьми страницах очень крупного газетного формата «Дома песни» из номера в номер печатались статьи Гектора Берлиоза, французского критика Андре Шеврильона, Пьера д'Альгейма, высказывания Баха, Бетховена, Шиллера, Листа, Мусоргского, Вагнера и других деятелей искусств, а также тексты переводов произведений Мусоргского на немецкий и французский, сообщения о текущих событиях музыкальной жизни, объявления о конкурсах общества и др.

Большое место в «Доме песни» и других изданиях общества занимали материалы о Мусоргском. Здесь были статьи о нем, излагалось содержание либретто его опер, публиковались данные об исполнении музыки Мусоргского в России и за границей. Но, пожалуй, наиболее значительной публикацией была перепечатка этюда о Мусоргском Бэллега<sup>17</sup>, написанная в 1901 году.

Автор рассказывает о том, как «странная русская» открывает французам неведомый до того мир музыки Мусоргского.

**Камилл Бэллег:**

«Не довольствуясь посвящением ему части своего времени и труда, г-н Пьер д'Альгейм у своего собственного очага нашел и создал превосходную истолковательницу для своего любимого композитора. Эта артистическая чета стала считать заботы о безвестном гении как бы своей священной обязанностью, своего рода фамильным достоянием. Они оба его прославляли: один своими лекциями и статьями, другая, еще красноречивее, своим пением.

Я никогда не забуду того дня, когда они оба впервые открыли мне Мусоргского. Это было в один из зимних дней в скромной квартире. Прекрасный женский голос запел. Он пел сначала отрывок из оперы «Хованщина»: гаданье Марфы. Медленно, непонятными для меня словами, которые мне тут же потихоньку переводили, в звуках столь же чуждых, но уже понятных самих по себе меланхолическая кантилена предвещала какому-то неизвестному мне герою его мрачное будущее. Окончив пение, артистка помолчала несколько мгновений, потом начала снова.

На этот раз радость озарила ее лицо, оживила ее голос, радость дерзкая, почти злая. В диких ритмах она запела любовную песнь крестьянки. Затем раздалась героические баллады, гимны мрачного блеска и суровости, наводящей ужас, гимны войны, крови и смерти. За ними последовали другие песни, еще более задушевные и, быть может, еще более захватывающие...

И, наконец, мы услышали, как на больничной койке стонал, умирая, сам композитор, покинутый, непризнанный певец стольких смертей. «Комнатка тесная, тихая...» — вздыхал голос в смертельной агонии, и, действительно, нам показалось тогда, что в стенах этой комнаты сосредоточилась также вся красота этой странной музыки со всем ее ужасом» (ДП, 1910, № 4).

Замечания Бэллега о трех важнейших циклах Мусоргского: «Детской», «Песнях и плясках смерти» и «Без солнца» — были основаны не только на их нотном музыкально-поэтическом материале, но в первую очередь на впечатлениях от их исполнения Марией Алексеевной и дискуссий об их содержании с певицей и Пьером д'Альгеймом. Вот вдохновенные пением Олениной мысли критика о смерти у Мусоргского и о смерти самого Мусоргского, которыми он заканчивает свой этюд.

**Камилл Бэллег:**

«У Мусоргского умирают не так, как в немецкой балладе, — смертью далекой и фантастичной; смерть у него обыкновенна и ужасна, она преследует человека с колыбели. Однажды, когда великая артистка, познакомившая нас с этой сценой («Колыбельной» из «Песен и плясок смер-

<sup>17</sup> Бэллег Камилл (1858 — 1930) — французский музыкальный критик.

ти». — А. Т.), спела ее в концерте, к ней подошла молодая дама в трауре и подавленным голосом сказала: «М-те, это поразительно, но не следует подобным вещам петь перед публикой». Быть может, она была права. Музыка Мусоргского глубоко потрясает и почти невыносима не только для тех, кого поразило горе, но и для тех, перед которыми проходит оно как картина.

Вот мы и дошли до конца нашей «грустной, страшной и порою мрачной прогулки». Сам Мусоргский должен скоро умереть. Последний цикл его романсов «Без солнца» — его последнее рыдание, последний вздох. Самые горькие вопли отчаяния Верлена, которыми он вдохновил современную музыку: «Из тюрьмы» Рейнальда Хана или очень тонкая, текучая песня Дебюсси «Мое сердце плачет, как дождь над городом» — далеко не сравняются с тем беспросветным отчаянием, которое заливает и совершенно подавляет эти несколько тактов Мусоргского <...>. Никого нет в живых из тех, кого воспел русский музыкант. Умер царь Борис, умерли раскольники <...>, могильным сном спит мужичок под снегом, кости солдат белеют на поле битвы, а «в доме без детей» стоит пустою маленькая кроватка. Умер, наконец, и сам скорбный создатель стольких несчастных героев, и вот в стенах его комнаты, вокруг его больничной койки, кажется, собрались все эти мертвецы, чтобы присутствовать и почтить его смерть» (ДП, 1910, № 8).

Невозможно упомянуть все важные материалы и публикации «Дома песни». Но, пожалуй, важнейшими из них были издания, связанные с конкурсами, российскими и международными, организованными обществом. С 1908 по 1913 год было организовано восемь конкурсов (пять российских и три международных). В пятом (международном) конкурсе принял участие Морис Равель. Как сообщалось в бюллетене общества, «премия была разделена между Морисом Равелем (французская, испанская, итальянская и еврейская песни), Александром Жоржем<sup>18</sup> (шотландская и фламандская) и Александром Олениным (русская)».

К сожалению, после 1913 года конкурсы «Дома песни» пошли на убыль в связи с материальными затруднениями общества, которые не были новостью, так как, по сути, все годы существования «Дома песни» были годами борьбы с безденежьем. Однако с приближением первой мировой войны и во время войны дела общества еще более осложнились. Тем не менее за шесть лет конкурсы «Дома песни» сыграли свою немалую роль в музыкальной жизни не только России, но и за ее пределами.

С началом первой мировой войны «Дом песни» оказывается перед лицом многих трудностей, в первую очередь — материальных, а после революций 1917 года и особенно к 1918 году его деятельность радикально сокращается. Грустно читать последний протокол заседания правления общества, состоявшегося в то время, когда казалось, что отъезд д'Альгеймов во Францию откладывался на неопределенный срок «по обстоятельствам переживаемого времени» и они еще могли что-то сделать в России.

#### Протокол заседания правления Общества «Дом песни»:

«Заслушан был доклад Председательницы М. А. Олениной-д'Альгейм о предполагаемой деятельности Общества в настоящем летнем сезоне. Председательницей было доложено, что, ввиду неотъезда ее за границу по обстоятельствам переживаемого времени, она полагала бы не прекращать обычной деятельности Общества летом. Затруднение представляется лишь в подыскании подходящего помещения; такое помещение предлагает, однако, Обществу член Общества В. В. Рузская. Помещение это заключается в даче, находящейся в Погонно-Лосином острове Богородского участка г. Москвы. Участок 87/39.

Постановлено: согласиться с докладом Председательницы и принять в распоряжение Общества дачу, предлагаемую членом Общества В. В. Рузской, выразив г-же Рузской глубокую благодарность» (из рукописного черновика протокола Общества «Дома песни»).

<sup>18</sup> Жорж Александр (1850 — 1938) — французский композитор.

Решения этого собрания никогда не были воплощены в жизнь: в ноябре 1918 года д'Альгеймы покинули Россию, и русская страница истории «Дома песни» была перевернута в последний раз.

«Дом песни» был уникальной организацией для своего, и не только своего, времени. Его особенностью было то, что, не будучи ни в коем случае элитарным, он в то же время не сводил проблемы исполнительского искусства до уровня «понимания музыки всеми». Несмотря на прокламированную цель найти, а не воспитать свою публику, «Дом песни» постепенно превратился в просветительское общество единомышленников, которое постоянно росло. Эстетическое, просветительское и культурное влияние деятельности «Дома песни» на русскую (и в какой-то степени зарубежную) музыкальную жизнь нельзя переоценить. Программы «Дома песни» стали моделью для музыкально-просветительских организаций в России.

#### Андрей Белый:

«Роль четы д'Альгеймов, мужа, организатора «Дома песни», жены, единственной, неповторимой исполнительницы песенных циклов для первого десятилетия нового века, — огромна; они двинули вперед музыкальную культуру Москвы <...> думается: нигде в европейских столицах публике не предлагался с таким вкусом, подбором такой материал, как тот, который предлагался московской публике д'Альгеймами <...> если в Италии знали Скарлатти и Перголези, в Англии — песни на слова Бёрнса, в Германии — песенные циклы Шумана и Шуберта на слова Гейне и малоизвестного у нас поэта Мюллера, то Москве вместе с Глинкой, Балакиревым, Римским-Корсаковым, Бородиным и песенными циклами Мусоргского (кстати, до появления д'Альгеймов малоизвестными) показывались и Скарлатти, и Перголези, и Рамо, и Григ, и Шуман, и Шуберт, и Лист, и Гуго Вольф: в песнях; из года в год «Дом песни» учил Москву и значению песенных циклов, и роли художественного музыкального перевода, и истории музыки, не говоря уже о том, что семь-восемь ежегодных концертов, тщательно составленных, изумительно исполненных, с программами, сопровождаемыми статейками и примечаниями, заметно повышали вкус тех нескольких тысяч посетителей концертов, часть которых позднее вошла в сотрудничество с д'Альгеймами, когда концерты «Дома песни» стали закрытыми» («Начало века»).

\* \* \*

Когда в 1903 году Блок, потрясенный искусством Олениной, предсказывал в письме к С. М. Соловьеву тридцатитрехлетней певице близкую смерть («мне кажется, что она не проживет долго»), он даже не мог предположить, что ей предстояло еще почти семьдесят лет жизни, охватившей несколько поколений и эпох. Это была жизнь, полная великих взлетов, противоречий и высокой драмы. Столетнюю свою жизнь Оленина разделила почти поровну между Францией, где начался ее расцвет как певицы, и Россией, которая слышала Оленину-д'Альгейм в ее лучшие годы. Она прошла страшный путь русской дворянки и интеллигентки — от рождения в 1869 году в усадьбе Истомино, в глубине России, до вступления в коммунистическую партию Франции в Париже 1946-го, от прозябания в парижском приюте для престарелых артистов до смерти в приюте для престарелых в Москве. Более двадцати лет расцвета своего таланта она разделила между Францией и Россией, сорок лет своего угасания провела во Франции и вернулась в Россию в 1959-м, чтобы умереть там в 1970-м. Она была знаменита в России и Франции, внесла огромный вклад в искусство обеих стран и много раз была ими забыта и при жизни вычеркнута из списка живых. Она пережила своих дочь и мужа, почти всех родных и друзей и, наверное, всех своих товарищей по искусству.

Жизнь Олениной-д'Альгейм представляет особый интерес: она проходила в самой гуще важнейших явлений искусства и культуры России и Франции конца XIX — начала и середины XX века, в которых певица принимала активнейшее участие.

Типичным примером злостности, актуальности творчества певицы являются и связи между музыкально-общественной деятельностью Олениной-д'Альгейм и поэтическим движением русского символизма. Когда в

1908 году супруги д'Альгейм открывают свой «Дом песни», это событие находит глубокий отклик в среде русских поэтов-символистов, формулировавших в тот период свои основные эстетические положения. В квартире д'Альгеймов в Москве собираются и обсуждают свои идеи младосимволисты, среди них — Андрей Белый и Вячеслав Иванов. Символисты осознавали мир как проявление всеобъемлющей, синкретической культуры. В письме к А. Блоку в 1903 году Белый пишет, что «искусство должно быть многострунным» (многострунность по Белому — это показ явления во многих планах). Продолжая эту мысль, Вяч. Иванов говорит об искусстве, приобщающем весь народ. И эти идеи ведут прямо к «Дому песни», который был создан, чтобы приобщить к музыке и звучащей поэзии широкие массы. Идеи младосимволистов и «Дома песни» о всенародном распространении искусства удивительным образом совпадали.

**Андрей Белый:**

«В те дни он (д'Альгейм. — А. Т.) мечтал о рождении ячеек, подобных «Дому песни» в Москве, во всех центрах пяти континентов земного шара; и тут выявлялся в нем откровенный мечтатель-чудак, высказывавший свои утопии о связи художников, поэтов и музыкантов всего мира, воодушевленных концертами Мари, его жены:

— «Кан Мари шантерá...» («Когда Мари споет...»).

Она должна была запеть из Москвы — всему миру <...>.

«Дом песни» немедленно-де распространится из Москвы, организуясь в Берлине, Париже, Вене, Лондоне, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Бомбее; во всех центрах поэты, художники, певцы и певицы, которых он и Мари при нашем участии вооружат молниями художественного воздействия, обезглавят тысячеголовую гидру порабощения...» («Начало века»).

Белый видит в Олениной-д'Альгейм особую миссию: в ней искусство проникает в глубины жизни, она — «особого рода духовная руководительница» (статья «Певица» /«Мир искусства», 1902, № 11/). Символисты находили соответствие между музыкой Мусоргского (и тут, конечно, не обошлось без влияния Олениной), поэзией и живописью передвижников. Речь шла о распространении символизма, охватывающего все искусства, в иерархии которых музыка занимает верховное положение.

Каким-то необъяснимым образом Оленина затрагивала своим искусством то, что волновало ее современников: рядовых слушателей, писателей, поэтов, мыслителей. Ее встреча со Львом Толстым в 1901 году вызвала с его стороны такие вопросы, которые свидетельствуют именно об этом. Пение Марии Алексеевны заставляет Толстого как бы вновь задуматься над проблемами, которые он обсуждал в своей книге «Что такое искусство?» и которые впоследствии были модифицированы и расширены в статье «О Шекспире и драме». В период, когда д'Альгеймы посетили Ясную Поляну, раздумья писателя об искусстве несомненно продолжались. Даже не касаясь подробно содержания идей трактата Толстого, которые многими современниками были встречены как проявление крайнего религиозного догматизма и мракобесия, можно увидеть, что в разговорах с Олениной и д'Альгеймом Толстой как будто подвергал проверке то, что было столь резко сказано в «Что такое искусство?».

Именно в этом плане прозвучал его вопрос к Олениной о том, может ли совершенно глухой композитор создавать гениальные произведения. Вопрос был не случаен. В толстовском списке создателей «ложного искусства», включавшем Шекспира, Брамса, Рихарда Штрауса, Вагнера, Листа, Берлиоза, Данте, Софокла и Еврипида, был и Бетховен. В своей книге Толстой писал: «Я знаю, что музыканты могут довольно живо воображать звуки и почти слышать то, что они читают; но воображаемые звуки никогда не могут заменить реальных, и всякий композитор должен слышать свое произведение, чтобы быть в состоянии отделать его. Бетховен же не мог слышать, не мог отделять и потому пускал в свет произведения, представляющие художественный бред» (Л. Н. Толстой, «Что такое искусство?»). Это было написано в 1897 году. Теперь, в 1901-м, писатель, как бы проверяя свою правоту (и, быть может, сомневаясь?), задает вопрос Олениной.

Так же звучит его сомнение, выраженное в вопросе о том, «как музыка может изобразить движение». Толстой сказал это после исполнения Марией



Алексеевной «Детской» Мусоргского, в которой композитор как раз очень успешен в музыкальной передаче движения и физического действия (см., например, ремарку Олениной о песне «В углу», в которой в музыке «слышно», как нянька заталкивает мальчика в угол). И, конечно, вопрос Толстого не случаен. В разделе своего трактата, посвященном Вагнеру, Толстой утверждает невозможность синкретичности искусств и с издевкой говорит о провале попыток композитора «Нибелунгов» передать в музыке движение, когда «странник ударяет копьём в землю, из земли выходит огонь и слышатся в оркестре звуки копья и звуки огня», или в сцене «с выходом чудовища, сопровождаемым его басовыми нотами, <...> все эти рычания, огни, махания мечом». Появились ли у автора «Что такое искусство?» после пения Олениной сомнения в своей правоте, мы не знаем, но само замечание Толстого, возможно, говорит о том, что Оленина заставила его задуматься.

Единственным, но важным совпадением мыслей Толстого об искусстве со взглядами Олениной д'Альгейм было определение связи человека, воспринимающего искусство, с автором-художником. Искусство заразительно, говорит писатель, оно заражает воспринимающего чувством, которое соединяет его с автором и с другими людьми. Чувство это внутреннее. И дальше высказывание Толстого почти повторяет кредо Олениной о триединстве композитора, певца и публики: «Главная особенность этого чувства в том, что воспринимающий до такой степени сливается с художником, что ему кажется, что воспринимаемый им предмет сделан не кем другим, а им самим и что все то, что выражается этим предметом, есть то самое, что так давно уже ему хотелось выразить. Настоящее произведение искусства делает то, что в сознании воспринимающего уничтожается разделение между ним и художником, и не только между ним и художником, но и между ним и всеми людьми, которые воспринимают то же произведение искусства. В этом-то освобождении личности от своего отделения от других людей, от своего одиночества, в этом-то слиянии личности с другими и заключается главная привлекательная сила и свойство искусства». У Толстого упор на социоэстетической стороне единства автора и его аудитории, у Олениной подчеркивается эстетический, художественный аспект. Тем не менее оба говорят о сходных вещах.

И, наконец, последний штрих общения Марии Алексеевны с Толстым: она впервые открывает писателю «Полководца» Мусоргского, а с ним и самого композитора. И это не только «открытие» нового композитора. Это спор о самой музыке. Своим исполнением Оленина как бы опровергает идею автора «Крейцеровой сонаты» о развращающем влиянии музыки, чей герой высказывает многие мысли самого писателя о музыке, среди которых главная — музыка вызывает в человеке лишь нездоровое возбуждение: «И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим на душу образом, — вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, <...> раздражающим душу образом». Песня Мусоргского в исполнении Олениной-д'Альгейм производит огромное впечатление, «отменяет» то, что писатель говорил о музыке прежде. «Ведь то, что мы сию минуту слышали, более чем прекрасно!» — воскликнул Толстой после пения Марии Алексеевны. Не иронично ли, что великий писатель земли русской в 1901 году, когда французы и бельгийцы уже слышали и полюбили Мусоргского, открывает для себя с помощью Олениной автора «Песен и плясок смерти», да и то на французском языке!

\* \* \*

Трудно сказать, что было самым главным в Олениной — музыкально-общественный деятель, музыкальный мыслитель, исполнитель? Наверное, все, вместе взятое. И все же важнее всего в Марии Алексеевне была певица, та «кристаллическая нота», пользуясь выражением Манделъштама, что являлась из «первоначальной немоты», внутренней тишины. Недаром ее выступления вызывали реакцию, не сравнимую ни с чем на концертной эстраде. Верный хронолог таланта Олениной, Андрей Белый писал:

**Андрей Бельй:**

«...никто меня так не волновал, как она; я слушал и Фигнера<sup>19</sup>, и Шаляпина; но Оленину-д'Альгейм такой, какой она была в 1902 — 1908 годах, я предпочту всем Шаляпиным; она брала не красотой голоса, а единственной, неповторимой экспрессией.

Ничего подобного я не слышал потом.

Криком восторга встречали мы певицу, которую как бы видели мы с мечом за культуру грядущего, жадно следя, как осознанно подготавлился размах ее рук, поднимающих черные шали в Мусоргском, чтоб вскриком, взрывающим руки, исторгнуть стон: «Смерть победила».

Поражали: стать и взрывы блеска ее сапфировых глаз; в интонации — прялка, смех, карканье ворона, слезы; романс вырастал из романса, вскрываясь в романсе; и смыслы росли; и впервые узнание подстергало, что «Зимнее странствие» («Зимний путь» Шуберта. — А. Т.), песенный цикл, не уступит по значению и Девятой симфонии Бетховена» («Начало века»).

Было некое противоречие в том, как сама певица думала о своей скромной, полностью лишенной личных амбиций роли посредника между композитором и публикой и тем, как энтузиастически ее воспринимали многие слушатели: как медиума или жрицу, саму достойную поклонения. С некоторой амбивалентностью пишет Оленина о своем желании не отменить, а задержать, отложить аплодисменты, чтобы внутренняя тишина продолжилась и после окончания произведения перешла в тишину внешнюю. Но восторженная тишина в таком случае только подчеркивала роль жрицы, отвергаемую Марией Алексеевной, которая часто называла себя «юродивой».

«Юродивость» Олениной не была для нее пустой фразой или позой. В этом феномене, синонимами которого были идеализм и жизненная непрактичность, проявлялась ее полная противоречий личность. Мария Алексеевна много страдала от своего идеализма, но она значительно больше гордилась им, он был большей частью ее жизненной философией. И в этом громко прокламируемом, заранее обдуманном отсутствии практичности Олениной-д'Альгейм нашел свое отражение менталитет определенной части русской интеллигенции. Много раз на протяжении долгой жизни певица отказывалась видеть мир таким, каков он есть. Мария Алексеевна была соткана из противоречий и была «юродивой» в таком же смысле, как был «юродивым» сам Мусоргский: в мире, где господствует конформизм, они оба говорили правду, и это была художественная правда, которая не всем приходилась по вкусу. Оленина-д'Альгейм всю жизнь отстаивала свое право на инакомыслие и была неутомимой пропагандисткой своих художественных идей.

Щедро одаренная огромным талантом, полная противоречий, абсолютно поглощенная своим искусством, мать, для которой пение важнее жизни дочери, бесребреница, нетерпимая, искренняя, престопагодная, скромная, утонченная, русская, французенка, музыкальный мыслитель — по мнению одних, по мнению других — кукла в руках д'Альгейма, писательница, барыня, Оленина была великой русской певицей, чье имя не должно быть затеряно в движущемся потоке времени. Несправедливо погребенная под напластованиями десятилетий, почти что вычеркнутая из отечественной культуры, Оленина-д'Альгейм вновь входит в наш сегодняшний смутный день, может быть, особенно остро нуждающийся в таком бескорыстном творческом подвижничестве, входит как наша современница, без которой не было бы важных страниц русской культурной истории прошлого, настоящего и будущего.

<sup>19</sup> Фигнер Николай Николаевич (1857 — 1918) — русский певец, тенор.

---

---

# ПО ХОДУ ДЕЛА

ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ

\*

## ОРТОДОКС, ИЛИ НОВЫЕ ПУРИТАНЕ

«3 мая», № 7 за прошлый год. Статья Владимира Иваницкого «Эпоха новой анонимности». Статья, в общем, о культуре, о ее нынешней и грядущей жизни. Есть мысли весьма любопытные, однако все тонет в безвкусном, наукообразном языке, в наспех, наобум подобранных цитатах (Ясперс, Ренуар, Мандельштам, Соколов, Стендаль, Мачадо, Герцен, Ранке, Блок), которые так и хочется высыпать из статьи на стол, разложить на кучки, привести в порядок, а лишнее возвратить автору с поклоном.

Впрочем, и язык и цитаты — дело личного вкуса. (Хотя перед чтением Вл. Иваницкого я читал «Статьи по духовной культуре» крупнейшего русского этнографа и филолога XX века Дмитрия Константиновича Зеленина, вышедшие в издательстве «Индрик», и поражался, как стилистически ясно и просто писал он о самых, казалось бы, сложных научных вопросах.) Я же благодарен Вл. Иваницкому за то, что в его статье мелькнуло наконец определение, которое я сам давно подыскивал и которое, увы, так и не пришло мне на ум.

Но — по порядку. В конце статьи Вл. Иваницкий удостоил и литературу своим взглядом и, между прочим, заметил, что сейчас «наиболее популярны две точки зрения. По первой — литература стремительно приватизируется, возвращается к себе, отходит от идеологической сверхценности и профетизма (и слава богу), становится человеческой, нормальной. Она, конечно, теряет в масштабе, зато приобретает в естественности, человечности, просто в правдивости, а главное, в свободе. Литература была и будет частным делом, и писаться она станет просто из любви к ней, из интереса, игры и удовольствия.

По второй — необходимо посыпать себе голову пеплом — тосковать о «великой русской литературе» и бороться с ее врагами, по более мягкому варианту — скорбеть о «смерти искусства», стремясь что есть силы создать историософское Пророчество, поднимающее дух народа (более жестко — поднимающее на борьбу), или, уж если ничего другого не остается, использовать дар слова напрямую, возвращая литературу ко временам устного существования».

Здесь все как будто верно в целом и — ложно по частностям, что заставляет усомниться и в целом. Да, две точки отсчета существуют. Два вектора, два силовых поля, которые определяют внутреннее культурное самочувствие нынешних писателей и заинтересованных в судьбе литературы читателей. Понятно, что симпатии Вл. Иваницкого на стороне первого лагеря. И каким бы объективным он ни старался выглядеть, язык выдает его с головой.

Посудите сами. Итак, писатели, отказавшись от мифа о великой русской литературе (кстати, эти слова совсем не обязательно ставить в кавычки), по Иваницкому, создают литературу и «нормальнее» и «человечнее», чем та, что была прежде. Это я слышал не только от Иваницкого. Про это мне прожужжали уши и Вайль, и Генис, и Парамонов, и Курицын. Здесь логика проста: демократия скучна, но человечна, а диктатура жутко интересна, но жестока. Вот и выбирай. Когда этот выбор мне навязывают в области политической, я смиряюсь, выбираю, конечно, демократию. Но когда этот выбор мне навязывают в области литературной, мне хочется топнуть ногой.

Такое впечатление, что все новые критики, которые охотно говорят о преимуществах «демократической» литературы перед «имперской», являются наследниками не то Ленина, не то Луначарского. Империя — имперская литература, демократия — демократическая литература. На самом деле все это фикции. На самом же

деле «имперская литература» — это такая литература, которая была бы желательна для империи в идеальном, беспримесном выражении. Для идеальной Российской империи было бы желательно, чтобы все писатели походили если не на Кукольника, то на Карамзина. Заметьте, это была бы отнюдь не самая плохая литература, но, конечно, смешно сравнивать ее с той, что мы имели в действительности.

Конечно, для демократии, в ее опять-таки идеальном выражении, желательно иметь такую литературу, идеальный образ которой часто живописует в своих статьях, например, П. Вайль. Не могу сказать, что это была бы дурная литература. В ней место Кукольника в имперском варианте, видимо, занял бы Сергей Довлатов, идеальный писатель для идеальной демократии «по Вайлю». И все равнялись бы на него и писали нормальную, человеческую прозу, немного смешную, немного драматичную, немного эстетскую, в общем, «теплую».

Но этого нет. Вместо нормальной, человеческой литературы российская демократия выбросила наверх Пригова и Вик. Ерофеева. Разумеется, они — только знаки общей ситуации в новой литературе, когда даже писатель старой закалки, Владимир Маканин, после человечнейшего (хотя, очевидно, еще «имперского») рассказа «Ключарев и Алимужкин» пишет куда менее человеческую вещь «Сюр в пролетарском районе», а затем — «Стол, накрытый сукном...», где человечность можно угадать, лишь памятуя о «старом» Макадине — о «Прямой линии», «Отдушине», «Антилидере». Когда талантливая Петрушевская явно боится «отстать» от менее талантливой Нарбиковой — например, кое в каких «животных сказках». Когда отличный новеллист Анатолий Курчаткин, автор рассказов «Сверчки» и «Полоса дождей», пишет роман «Стражница», эдакое псевдофрейдистское сочинение с постмодернистскими потугами, о котором даже сочувственная писателю критика ничего сочувственного сказать не могла.

И здесь мы переходим ко второй части цитаты из Иваницкого. Да, есть и вторая точка отсчета, и лично я имею честь на ней стоять. Только непонятно, зачем Вл. Иваницкий предлагает мне сыпать пепел на голову. Я, слава богу, не азиат, а европеец. Мне повезло родиться в одной из культурнейших европейских стран, России, которая волей судеб оказалась в горькой, трагической ситуации в XX веке, но вовсе от этого не утратила волю к культуре, а, быть может, как раз напротив... Я думаю, Вл. Иваницкий это прекрасно знает, как и то, что скорбеть о «смерти искусства» в России принято со времен еще Баратынского, если не раньше; что скорбеть и тосковать о потере идеала — это и есть нормальное свойство художественной натуры; что, напротив, вялое признание за литературой частной, ни на что не претендующей роли есть признак культурной импотенции; что наличие «вражды» в культуре есть, пожалуй, самое верное свидетельство о том, что она еще жива.

Гораздо интереснее прогнозы Вл. Иваницкого. Здесь он пишет: «...мы увидим борьбу между двумя процессами. С одной стороны, диссоциации и мутации, когда можно будет ожидать отечественную повесть Борхеса с Джойсом, Кафки с Омаром Хайямом, Лескова с Аленом Роб-Грийе. С другой — противоположная линия будет прилагать усилия по всемерному дистанцированию от влияний с целью создания если не «мононационального мифа», то по крайней мере некоего пуризма. Судьба этого второго процесса будет прямо зависеть от того, насколько глубоко окажутся искания пуристов и насколько их сознание будет способным к неформальному, открытому мышлению, а не замкнется в голом отрицании».

Вот это по-нашенски! «Борьба», «линия», «усилия», «искания», «цель» — какие все славные, упругие, культурные слова! За это можно простить и определение, которое едва ли покажется приятным тем, кто стоит на второй точке зрения. ПУРИСТЫ. ПУРИТАНЕ... Впрочем, почему бы и нет? Откроем словарь иностранных слов:

«ПУРИЗМ (лат. *purus* — чистый) — 1) стремление к чистоте и строгости нравов, иногда показное; 2) излишне строгое стремление очистить язык от иноязычных элементов, неологизмов или от слов и выражений, имеющих вульгарный оттенок»; «ПУРИТАНЕ — сторонники строгого образа жизни, строгих нравов»; «ПУРИТАНСКИЙ — отличающийся строгим, аскетическим образом жизни». Остается соединить все это вместе, спроецировать на культурное самочувствие жителя Рос-

сии конца XX века — и получаем примерный образ будущего ПУРИСТА, который мне, например, весьма симпатичен.

Я предпочел бы назвать его ОРТОДОКСОМ (по-гречески *orthos* — прямой, верный), но, если Иваницкий настаивает, готов согласиться на ПУРИСТА. Вот черты этого славного товарища, каким я представляю его в близкой мне области литературы.

Он молодой, веселый. Иногда любит выпить. Водки. Чистой. Нервная гримаса на его лице случается только при словах «лизинг» и «консалтинг», а также при виде двадцать пятой книжки Владимира Сорокина. Последнего он не станет читать не потому, что по вкусу своим «реалист», а просто по безразличности.

В известной степени этот молодой человек — страшный сноб и эстет. Чтение Аксакова, Лескова, Шукшина для него именно высокое эстетическое наслаждение, а все новейшие игры в словесность отвращают его слишком явной эстетической нечистотой и без-образием в точном смысле. А поэтому если этот молодой человек и решится стать писателем, то отмерит семь раз, чтобы не оказаться в дураках и не стать противным себе. Писательство для него не «игра», не «удовольствие», а служение тому, что он сам почитает высоким и священным. Вслух, впрочем, он этого не скажет. Бойся пошлости.

И еще — самое главное. Этот молодой человек, не зануда и не моралист, тем не менее, не будет «плюралистом». Ни в коем случае! Здесь и проявится его «ортодоксальность», то есть искреннее убеждение в том, что его мысли, его вкусы, его мнения причастны истине, а все противоположное — ошибочно. Нам пока трудно смириться с тем, что подобное унастроение и будет самым верным признаком окончательной победы свободы; мы все еще приноравливаемся к свободе, а не живем в ней. По поводу формулы Вольтера: «Я готов положить голову за то, чтобы враг мой свободно высказывал свое мнение» — новый молодой человек скажет: «Зачем же так высокопарно? Врага надо любить не «демократически», а по-человечески, по-христиански! Голову же лучше сложить за свои, а не чужие мнения». Он предпочтет этой формуле простые слова Конста. Леонтьева, высказанные им в письме к К. А. Губастову: «Варька затапливает камин и садится разливать мне чай... Я беседую с ней о деревенских делах и отчасти о войне... Она спрашивает: «а греки за нас?»... Я говорю ей: «Бог за нас, и все будут за нас, а кто не за нас, тому будет худо...»

В этой фразе нет агрессивности. Есть правильная и нормальная вера в истинность своего убеждения и готовность взять ответственность за него, не перекаладывая ее на чужие плечи.

Конечно, мой портрет нового пуританина — это лишь схема, вернее, даже шарж. Но я убежден, что Вл. Иваницкий по существу прав: в ближайшее время движение новых пуритан будет набирать обороты. Это будет нормальная реакция на культурные искажения, которые принесла с собой российская демократия. В частности в литературе — реакция на «помесь Борхеса с Джойсом, Кафки с Омаром Хайямом, Лескова с Аленом Роб-Грийе». Не обойдется и без крайностей, даже нелепостей, даже комических нелепостей, но и они будут естественны с культурной точки зрения, как бороды и красные рубахи молодых славянофилов.

Правда, возможен и другой вариант. Российская демократия не сможет обеспечить минимум стабильности в стране, без чего невозможно полноценное развитие культуры. Что ж, тогда вместо молодых симпатичных пуритан и ортодоксов с университетскими дипломами и царем в голове явится нечто иное...

Не явится. Бог за нас!



## ОППОЗИЦИОНЕРЫ, НО НЕ КАРБОНАРИИ

М. А. Давыдов. «Оппозиция Его Величества». Дворянство и реформы в начале XIX века. Ассоциация «История и компьютер». Max-Planck-Institut für Geschichte. Москва — Геттинген. 1994. 197 стр.

**В** название автор вынес знаменитую фразу из речи П. Н. Милюкова (Лондон, 1909 год), заявившего, что, пока в России существует конституционная монархия, «русская оппозиция останется оппозицией Его Величества, а не Его Величеству». Под это определение, если трактовать его достаточно широко, подпадают и главные герои книги, составлявшие такого рода оппозицию при Александре I, равно чуждые и мечтаниям декабристов, и идеалам аракчеевщины. Это прославленные генералы, участники великих войн начала XIX века, любимцы армии, элита русского общества того времени: М. С. Воронцов (светлейший князь, командующий русским оккупационным корпусом во Франции в 1815 — 1818 годах, впоследствии наместник Кавказа, сложнейшая фигура, отнюдь не уместающаяся ни в пушкинскую эпиграмму о «полуподлеце», ни в тот образ, в каком он предстает на страницах «Хаджи-Мурата» Толстого; кстати, именно Воронцов при эвакуации Москвы в 1812 году сделал то, что в «Войне и мире» делают Ростовы, — снял с подвод собственное имущество, чтобы разместить раненых), Д. В. Давыдов и А. П. Ермолов (эти два имени в комментариях не нуждаются), А. А. Закревский (в 1812 году директор Особенной канцелярии при военном министре, то есть глава русской разведки, позднее генерал-губернатор Финляндии, министр внутренних дел и московский генерал-губернатор), П. Д. Киселев (фаворит двух императоров, освободитель молдавских крестьян, в 1835 году подготовил проект крестьянской реформы, проваленный окружением Николая I) и, наконец, И. В. Сабанеев (этот рано и незаслуженно, как доказывает М. Давыдов, забытый человек был любимцем Суворова и Кутузова, одним из самых образованных и гуманных генералов русской армии).

Итак — фельдмаршал (Воронцов), четыре полных генерала и генерал-лейтенант (Денис Давыдов). Один аристократ и миллионер, остальные — выходцы из среднего дворянства, главным источником дохода которых было служебное жалование. Старший из них (Сабанеев) родился в 1772 году, младший (Киселев) был на шестнадцать лет моложе. Тем не менее по воспитанию и мировоззрению все шестеро принадлежали «веку Екатерины». Оттуда, из этого легендарного золотого века русского дворянства, линия преемственности тянулась ко «дням Александровым», но после победы над Наполеоном она трагически раздвоилась: от потемкинских деревень — к военным поселениям, от эпикурейского вольнодумства — к Сенатской площади. Герои книги М. Давыдова, сохраняя в себе синкретизм ушедшей эпохи, так и не слились окончательно ни с одной из этих двух ветвей.

Автор характеризует их как «первых лишних людей русского XIX в.». Они могли стать опорой Александра I, если бы после 1815 года тот продолжил начатые им реформы, но, как известно, маятник качнулся в другую сторону. В то же время их оппозиционность режиму, в котором на первые роли вышли Фотий и Аракчеев, была не столько социальной, сколько личной, а фронду и революционность всегда разделяет большее расстояние, чем лояльность и фронду. Советская историография предпочитала сокращать первое и увеличивать второе. Хотя в число «важных государственных лиц», на чье сочувствие и, возможно, содействие рассчитывали декабристы, наряду с Мордвиновым и Сперанским входили Ермолов, Закревский, Киселев и Воронцов, для них же самих это было абсолютное исключение. Если, скажем, Н. И. Тургенев считал, что высшее проявление народного духа и любви к родине не только в сопротивлении иноземной агрессии, но и в борьбе с деспотизмом, то Ермолов никогда не подумал бы сравнить 1812 год с какими бы то ни было попытками насильственного изменения существующего строя.

Отчасти судьба героев книги М. Давыдова напоминает судьбу сегодняшних шестидесятников, которые, не отрицая основные ценности системы, требовали их очищения и в определенный момент готовы были на сотрудничество с властью, пожелая та ими воспользоваться. Кого-то из них система отбросила (как Ермолова), кого-то перемолола и приспособила к себе (как Закревского), а те из шестидесятников, кто с огромным опозданием все-таки был призван к управлению страной, очень скоро оказались сметены новым поколением политиков (как то произошло с Киселевым уже при Александре II). Эта аналогия столь же соблазнительна, сколь и условна (история глубже любых аналогий), и нужно отдать должное М. Давыдову: при всей своей откровенной современности и полемичности он избегает такого рода прямых сближений, дающих, в общем-то, лишь иллюзию понимания.

Собственно говоря, основная концепция книги выражена автором предельно просто: «Ставить наших героев и им подобных перед дилеммой: либо Тайное общество (не говоря уж о царевубийстве), либо «передние» Аракчеева, все равно что предложить человеку на выбор застрелиться или принять яду, когда у него есть возможность просто выйти вон в любую дверь». М. Давыдов стремился передать многовариантность жизни, в которой человек способен сохранить достоинство, не обязательно уходя при этом в так называемую «частную жизнь», и тут начало XIX века не слишком отличается от конца XX. В книге сочувственно цитируются слова Сперанского о том, что в стране есть только два сословия — «рабы государевы и рабы помещичьи», то есть дворяне и крепостные крестьяне, и «первые называются свободными только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов». Вместе с тем автор показывает, что присущее его героям (прежде всего, конечно, Ермолову) понятие личной чести — это иное обозначение того самосознания личности, которое позднее будет названо внутренней свободой: оно позволяет человеку оставаться в гармонии с самим собой под прессингом жестких внешних обстоятельств. Ведь честь никак не равнозначна гордыне, напротив, она предполагает систему строгого, порой трагически безысходного самоограничения (в этом, между прочим, своеобразный оптимизм книги, посвященной не самым светлым временам в истории России).

К счастью, работу М. Давыдова невозможно свести к набору каких-то сугубо социальных схем. Этому противоречит и то обстоятельство, что шестеро главных ее героев составляли, как выясняется, одну компанию: судьба свела их еще в юности на полях сражений (по словам одного из них, они «познакомились... не в передних и не на вахтпараде»), и им удалось надолго сохранить дружеские отношения. Свидетельство этой дружбы — их многолетняя переписка. Они располагали уникальной возможностью писать друг другу все, что вздумается: должностное дежурного генерала Главного штаба, занятая в 1815 году Закревским (он же взял на себя роль объединяющего центра всей разбросанной от Тифлиса до Варшавы компании), позволяла ему и его друзьям отправлять письма с самыми надежными почтальонами — фельдъегерями («Я буду писать также и по почте... разумеется, не на крепком бульоне» — так один из шестерых обозначил будущую «проблему достоверности и репрезентативности эпистолярных источников для того времени»). Кажется, не будь этой замечательной переписки, не было бы и самой книги.

Автор принадлежит к числу тех историков, для кого источник — это не инструмент, используемый при возведении научных концепций, а почва, из которой они прорастают, сохраняя взятое у нее тепло. С одинаковой тщательностью в книге рассматривается все, что представлялось важным для наших героев и чему они посвящали свои письма. А в них с равной степенью заинтересованности обсуждались вопросы, кажушиеся нам ныне несоизмеримыми: политика России на Кавказе и создание в армии ланкастерских школ взаимного обучения, дарование Польше конституции (Ермолов и Закревский против, Киселев и Воронцов за) и недостаток образованных офицеров, крепостное право и право командующего корпусом вносить некоторые изменения в солдатскую форму одежды, военные поселения (оказывается, вопреки легенде многие либерально настроенные современники осуждали их не из общегуманных, а прежде всего из сугубо экономических соображений) и денежные дела. Примечательно, что, хотя пятеро из шестерых были людьми небогатыми, тут они проявляли крайнюю щепетильность: к примеру, Де-

нис Давыдов, решив жениться и получив в связи с этим от Александра I «аренду в шесть тысяч рублей», счел долгом отказаться от нее, когда свадьба расстроилась. Разумеется, все это можно сложить в пирамиду, где основание — вопросы, так сказать, низкие, а вершина — проблемы наиболее исторически значимые, но в таком случае исчезнет то, что составляет едва ли не главное обаяние книги, — ощущение нерасчлененного «шума времени». Несомненно, авторский монтаж, и весь-ма искусный, здесь присутствует, но цель его как раз в том, чтобы усилить это ощущение, создать «эффект калейдоскопа», когда каждый следующий узор вбирает в себя элементы предыдущего и в то же время нет и не может быть какого-то одного, соединяющего в себе все остальные.

Думается, автором двигал тот единственный импульс, который и создает настоящего историка, — вполне иррациональная любовь к определенной эпохе и определенным людям, если и способным объяснить что-то в нас самих, то лишь в силу этой изначально бескорыстной любви. Разумеется, когда по поводу Ермолова, сказавшего, что на Кавказе «и добро надобно делать с насилием», М. Давыдов замечает: это любимый тезис российских реформаторов, а по сути дела — парафраз идеи о том, что цель оправдывает средства, современные аллюзии не могут не возникнуть. Но возникают они, повторяю, не как результат сознательно творимой аналогии, а как производное того естественного для историка мироощущения, которое лучше других выразил еще Плутарх: он полагал, что в самом богатстве своих сущностей история находит щедрый источник для созидания подобий.

Леонид ЮЗЕФОВИЧ.



## АЗЕФ В ЗЕРКАЛЕ СВОИХ ПИСЕМ

Письма Азефа. 1893 — 1917. Составители Д. Павлов, З. Перегудова. М. «Тerra». 1994. 287 стр.

**И**мя Евно Азефа (1869 — 1918), члена ЦК партии социалистов-революционеров, руководителя их Боевой Организации, осуществившей ряд террористических актов против царских министров, и вместе с тем секретного сотрудника охраны, «сдавшего» ей своих же товарищей, вошло в обиход как синоним провокаторства и вероломства.

При всем том о самом «великом провокаторе» наш читатель до недавнего времени знал крайне мало. Долгие десятилетия книги об Азефе не издавались, а те, что появились в 20-х годах, позже изымались из библиотек и уничтожались. Писать о нем перестали даже в специальных исторических работах и журналах. Лишь совсем недавно, после отмены цензурных ограничений, у нас изданы были книги эмигранта Б. Николаевского «История одного предателя», документальный роман Р. Гуля «Азеф» («Генерал БО») и т. д. Ныне к этим публикациям прибавился фундаментальный том «Письма Азефа». Составители его историки Д. Павлов и З. Перегудова ввели в научный оборот двести писем Азефа, адресованных им своим полицейским начальникам, друзьям-революционерам, жене и другим лицам. Большинство этих писем публикуется впервые.

В письмах фигура Азефа раскрывается достаточно полно, в разных ипостасях. Вот юноша-студент добровольно предлагает услуги осведомителя охране за скромное вознаграждение. Его письма того периода в Департамент полиции начальникам разного ранга исполнены известной робости, отчасти, возможно, наигранной: «Готовый к услугам покорный Ваш слуга...», «Ваше почтенное письмо... с чеком мною получено» и т. д. Постепенно, по мере того как Азеф осваивает азы полицейского сыска, все прочнее утверждаясь в роли осведомителя, а с другой стороны, обретая вес в рядах партии эсеров и среди членов ее Боевой Организации, тон его писем меняется. Со своими работодателями он говорит уже без прежнего подостерзания, сухим, лаконичным языком, подчас требовательно, с нажимом. Идет ли речь о чисто практических шагах — кого из его сподвижников арестовать,



кого оставить на свободе, дабы подозрение в измене не пало на него, — или же он добивается очередной прибавки к жалованью.

На первый взгляд представляется некой психологической загадкой тот факт, что Азеф за все пятнадцать лет своей секретной службы в полиции ни разу не прокололся вплоть до внезапного провала в 1908 году, когда последовали разоблачения историка Владимира Бурцева, редактора журнала «Былое». Бурцев, выражаясь современным языком, провел «независимое журналистское расследование» и получил неопровержимые доказательства, что Азеф годами водил за нос как революционеров, так и охранку. Последней он давал наводку на отдельных боевиков (никогда не раскрывая все карты), а тем временем с другой вооруженной группой ставил теракты против министров и губернаторов.

Как же ему удавалось долгое время действовать столь безнаказанно?

Сам взлет Азефа объясняется целым рядом причин. Начальство, как правило, ему не препятствовало, когда Азеф проявлял инициативу, завязывая новые связи в революционных кругах, не регламентировало каждый его шаг. Постепенно у эсеров Азеф сделался своим, притом незаменимым, человеком, а со временем возглавил их Боевую Организацию, этот карающий меч партии. Здесь особенно ценили его деловые качества, собранность, выдержку, волю. Со своими боевиками Азеф, по подсчетам того же Бурцева, реализовал около тридцати террористических актов. Получалось, что все эти операции проводились как бы с благословения охранки: ведь руководил ими свой человек. Но, в сущности, для начальника Петербургского охранного отделения генерала А. Герасимова напористый, двуличный, циничный Азеф превратился в неуправляемое и грозное орудие. (Не случайно, потерпев крах, Азеф увлек в беду и своего всемогущего патрона, которому официальные круги не могли простить публичного скандала, связанного с разоблачением махрового провокатора.)

Став своим в обеих структурах, Евно Азеф вынужден был все время подыгрывать той и другой стороне. Впрочем, рисковость игрока была присуща его натуре. Биограф «великого провокатора» Б. Николаевский отмечал, что после своего провала тот осел в Берлине, порвал с прошлым и занялся коммерцией, но вскоре пристрастился к азартным играм. Возможно, замечает автор книги «Конец Азефа», «этим путем его натура в известных пределах удовлетворяла свою потребность в острых ощущениях».

До поры до времени Азефа от разоблачений спасало и то обстоятельство, что обе структуры, в которых он укоренился, были герметически замкнуты и там существовал строго иерархический порядок. В Департаменте полиции об истинной роли Азефа знали два-три высших должностных лица. В ЦК партии эсеров о конкретной террористической деятельности «товарища Ивана» (партийная кличка Азефа) тоже были информированы единицы. И охранка и ПСР считали Азефа преданным человеком и с ходу отвергали все подозрения, возникавшие на его счет. О вероломстве, двуличии Азефа ни Гершуни, ни Савинков, ни Чернов и слышать не желали. Тем сильнее был испытанный ими шок, когда тайное стало явным, когда измена в самом сердце их боевого штаба оказалась выставлена на всеобщее обозрение. Окончательно оправиться от такого удара ПСР уже не смогла.

Закономерно, что в силу своего конспиративного характера не менее крупная по численности в России (наряду с эсеровской) большевистская партия тоже не была застрахована от измены в своих рядах. Сначала, когда последовало шумное разоблачение Азефа, большевики не скрывали своего торжества по поводу оконфузившихся эсеровских лидеров. Но их торжество оказалось недолгим. В самом большевистском ЦК, как оказалось, тоже сидел соглядатая охранка — Роман Малиновский. И линия поведения руководителей большевиков при этом во многом повторяла тактику эсеров. Не случайно позже Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства, изучавшая дело Малиновского, в постановлении от 8 июня 1917 года отмечала: «...слухи о сношениях Малиновского с деятелями охраны были энергично опровергаемы в печати как самим Ульяновым (Лениным), так и другими представителями большевиков».

Конечно, Азеф оказался более крупной фигурой, нежели Малиновский. Это был своего рода гений провокации, двойничества, мгновенного перевоплощения. В письмах Азефа эта его «многоликость» выявляется с особенной полнотой. Доста-

точно сопоставить два-три его послания, направленных разным адресатам в одно и то же время. К примеру, 7 января 1909 года только что ускользнувший от членов партийного суда Азеф, пребывая за границей на нелегальном положении, шлет одному из лидеров ПСР, Виктору Чернову, письмо, исполненное благодарного негодования: «Ваш приход в мою квартиру вечером 5 января и предъявление мне какого-то гнусного ультиматума, без суда надо мною, без дачи мне какой-либо возможности защищаться против возведенного полицией или ее агентами гнусного на меня обвинения, — возмутителен и противоречит всем понятиям и представлениям о революционной чести и этике... Мне же, одному из основателей партии с. р. и вынесшему на своих плечах всю ее работу в разные периоды и поднявшему благодаря своей энергии и настойчивости в одно время партию на высоту, на которой никогда не стояли другие революционные организации, приходят и говорят: „Сознавайся, или мы тебя убьем“». И в тот же день он пишет своему шефу, генералу А. Герасимову: «Дело дрянь... 2 дня тому назад вечером ко мне явились на квартиру для опроса. Я с целью затягивал так, чтобы им пришлось в 2 часа ночи уйти, с тем чтобы возобновить рано утром опять. Я же в 3 1/2 часа ночи ушел без всего из дому и уже не возвращался, уехал ранним поездом. Думаю, что за мной не поехали, хотя не вполне уверен. Положение трудное, искать будут... На случай, если бы мерзавцам удалось меня разыскать и покончить со мною, то я оставляю у Вас это письмо для моей супруги...»

В послании жене, полным клятв в любви и верности, он умоляет последнюю не покидать его, заверяя, что стал всего лишь «жертвой роковой ошибки», совершенной в юности, «но не подлецом». При этом свои клятвы в вечной любви к жене и детям он перемежает (видимо, с целью растрогать женское сердце) восклицаниями типа: «Одно только может отчасти отчистить меня — это моя смерть. Это единственное, что осталось для меня».

Но гибнуть он вовсе не собирался и особых мук от разлуки с женой не испытывал. Он опять играл, лицедействовал. У Азефа была давняя и прочная связь с кафешантанной певичкой, которую он вывез из Петербурга в Германию во время своего бегства. В Берлине они обосновались по подложным паспортам как муж и жена. Заделавшись коммерсантом, бывший провокатор играл на бирже. В пору своих кратких деловых отлучек он посылал своей пассии слезливо-сентиментальные письма, подписываясь словами «твой единственный бедный зайчик».

Война между Германией и Россией спутала карты Азефа. После того как полиции стала известна его подлинная фамилия, Азефа арестовали. Парадоксально, что Азефа заточили в Моабитскую тюрьму как опасного террориста, которого немцы собирались впоследствии передать российской стороне. Все письма Азефа на имя берлинского полицей-президента, в которых провокатор убеждал адресата в фиктивности своего членства в партии эсеров, ибо на деле он-де способствовал срыву многих террористических актов, разбивались о твердолобость и упрямство этого полицейского чина. Полицией-президент продолжал твердить, что содержит под стражей «опасного русского анархиста». Впрочем, дни Азефа были уже сочтены: тяжелая почечная болезнь вскоре по выходе из Моабита свела его в могилу...

Публикаторы и комментаторы рецензируемого тома полемизируют с предыдущими историками, занимавшимися «феноменом Азефа», относительно значения его писем. Оспаривается, к примеру, мнение В. Бурцева и П. Щеголева, которые оценивали подобные эпистолярные материалы прежде всего как «человеческие документы», помогающие лучшему «уяснению образа Азефа». Д. Павлов, автор предисловия к настоящему изданию, пишет, что «эпистолярное наследие «великого провокатора» является не только комплексом документов большого нравственного (со знаком минус) заряда, но и ценным источником по истории революционного и общественного движения в России конца XIX — начала XX века».

Конечно, для историков письма Азефа будут полезны и в этом плане. Но прошлое страны они вряд ли станут изучать по такого рода субъективным источникам. Да и для большинства читателей это издание интересно именно потому, что в нем представлены как раз «человеческие документы», характеризующие знаменитого провокатора. Такой интерес тем более оправдан, что, как уже выше отмечалось, подлинные свидетельства об Азефе (в том числе и его письма) много лет не публиковались. К тому же старые публикации о нем, появившиеся в 20-е годы, воспри-

нимаются ныне иначе, нежели тогда. Так, например, В. Невский, автор предисловия к упоминавшейся уже работе Б. Николаевского «Конец Азефа», пишет: «Читая рассказ об Азефе, чувствуешь, что ты точно купаешься в клоаке... Мы жили под этим режимом; верится, что в нашем строе не может быть ни азефщины, ни малиновщины, и не будет их потому, что мы до мельчайших подробностей изучим, почему же появлялись азефы при старом режиме». Утверждения В. Невского о невозможности появления азефщины при новом строе теперь (с учетом многих печальных обстоятельств последующих десятилетий) кажутся излишне оптимистическими.

Увы! Опыт азефщины был хорошо усвоен лубянским ведомством и взят на вооружение. Поэтому его и не хотели предавать дальнейшей огласке. Попрание всех нравственных норм (что уже отличало методу самого Азефа) получило дальнейший размах при Держинском и его преемниках — Ягоде, Ежове, Берин и других. Когда мораль стала подменяться чисто идеологическими догмами, требованиями революционной целесообразности и заявлениями большевистских вождей, что все способствующее победе коммунизма достойно похвалы, азефщина расцвела так пышно, как об этом не мог помышлять и сам ее духовный отец. Достаточно вспомнить такие иезуитски спланированные операции, как пресловутый «Трест», где были задействованы сотни мелких и крупных провокаторов, двурушников и убийц. Каждая подобная акция сопровождалась заманиванием нужных чекистам людей в ловушки либо их похищением и смертью в лубянских подвалах. Одним словом, методика азефщины была широко освоена чекистами на практике.

Вопрос же об оценке писем Азефа — как надежного исторического источника или как «человеческого документа» — достаточно дискусионен. Можно согласиться с публикаторами в другом — в том, что этот эпистолярный том поможет будущим исследователям найти ответы на многие вопросы, связанные с историей царской охранки. Приходится лишь сожалеть, что в столь добротном и толково составленном издании не нашлось места для перевода многих немецкоязычных посланий Азефа из Моабита. Видимо, на переводе решили сэкономить два листа бумаги. Но тем самым пострадало реноме издательства «Терра», за короткий срок завоевавшего читательский авторитет рядом серьезных публикаций. Ведь большинство читателей «Писем Азефа», слабо владеющих или вовсе не владеющих немецким, воспримут это как неуважение к ним.

И будут правы.

С. ЛАРИН.

### *Уважаемые читатели!*

Если вы не являетесь подписчиками «НОВОГО МИРА» и хотите купить отдельные номера журнала, вы можете это сделать в нашей редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», за кинотеатром «Россия») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 до 17 часов.

Наложением платежом журнал не высылается.

«НМ».

---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## «КАК ДУХ НАШ ГОРЕСТНЫЙ ЖИВУЧ...»

*Уважаемая редакция!*

*В восьмом номере вашего журнала за 1994 год появилась рецензия Алены Злобиной на две книги, связанные с судьбой выдающейся русской поэтессы Анны Барковой (А. Баркова, «Избранное». Из гулаговского архива. Иваново. 1992; Леонид Таганов, «„Прости мою ночную душу...“». Книга об Анне Барковой. Иваново. 1993).*

*Сейчас Москва наконец откликнулась на неоднократные пожелания издать поэтессу в столице: сдан в печать двухтомник Барковой «Сочинения». Его вызвалось довести до читателя историко-литературное общество «Возращение». Предисловие к этому двухтомнику, вероятно, будет интересно для читателей «Нового мира», так как здесь много места отведено полемике с новомирским критиком, который, на наш взгляд, творит новый, и весьма губительный для творчества Барковой, миф.*

*Думаю, что спор о поэтессе может стать знаком живого внимания к ее уникальному таланту, и тем самым мы в какой-то мере вернем долг человеку, чье имя на долгое время было вычеркнуто из русской литературы.*

*Л. ТАГАНОВ.*

**Д**аже сейчас, когда мы уже немало знаем о жизни и творчестве Анны Барковой, это имя еще не нашло подобающего ему места в истории русской литературы. Причина тому — поразительная своеобычность, независимость личности поэтессы, не желающей вписываться в какой-то определенный ряд современных умозрений. Она по-своему интересна «демократам» и «консерваторам», неозападникам и неославянофилам. Но что-то мешает партийно-групповому сознанию, какой бы ориентации оно ни придерживалось, воспринять ее полностью своей. Слишком уж она сама по себе. Слишком личностна.

Казалось бы, совсем недавно один из наших критиков наконец-то разгадала тайну Барковой, воскликнув: «Фанатик скептицизма!» Найденная формула была подкреплена соображениями о тотальном отрицании поэтессой всего и вся, о сатанеющей душе, которая сама кидается в когти дьявола, о Зле, обороняющемся против зла, и т. д. В качестве вывода значилось: «...ни в Бога, ни в добро, ни в идеалы Анна Баркова не верила, перепроверив их логикой; оттого-то вечные антагонисты у нее сменили окраску: вместо битвы света и тьмы — борьба ослепительного мрака со скучной и скудной серостью». Боже мой, неужели так проста тайна поэта?! Боюсь, что на наших глазах рождается новый миф о Барковой, отлучающий ее (в который раз!) от большой литературы. Ведь если она вся от дьявола, от сатанеющей души, то о каком высоком духовном смысле ее поэзии можно говорить?

Но против новых мифов о Барковой протестует прежде всего сама поэзия Анны Барковой. В ней, конечно же, мы услышим и сатанинский смех, и резкое чертовское «нет» в адрес многих устоявшихся истин. Да и как иначе, если в одном из стихотворений Баркова прямо пишет, что в детстве пожатием руки благословил ее на дальнейшую жизнь сам Князь тьмы... Есть, однако, в поэзии Барковой и другое. Тоска по Божескому, истинно человеческому. Слова благодарности тому, кто проник сквозь «тягостные тучи» и рассеял дремучий сон души:

К тебе навстречу с робостью иду  
И верую, что есть бессмертья знаки.  
И если по дороге упаду,  
То упаду под светом, не во мраке.

Эти поздние стихи Барковой — своеобразный катарсис всего ее творчества, главное в котором — терзания раненого сердца, судороги души, готовой, кажется,

вот-вот признать свое поражение перед тьмой, но в каком-то последнем усилии все-таки прорывающейся к свету.

А начиналось все с Иваново-Вознесенска, черного фабричного города, где она родилась в 1901 году, где прошли ее детство и юность. Через всю жизнь пронесла Баркова горькую память о «мутной избе», в которой ей довелось встретить начало жизни:

Городская изба, не сельская,  
В ней не пахло медовой травой,  
Пахло водкой, заботой житейскою,  
Жизнью злобной, еле живой.

Что поддерживало ее тогда? Что не дало бесследно раствориться в унылой повседневности российских буден? В первую очередь — натура, характер, изначальная внутренняя сила, заложенная в ней. «С восьми лет, — запишет впоследствии Баркова в своем дневнике, — одна мечта о величии власти через духовное творчество». Девочка из «мутной избы» тянулась к культуре, к Достоевскому, Ницше, Эдгару По...

Очень рано обозначается центральная коллизия жизни и творчества Барковой: злой здешний мир и тайное подвижничество души, являющейся основной ценностью человеческого существования.

На какой-то миг, в революционные годы, Барковой покажется, что наконец-то душа и повседневность слились в нечто единое. Запреты сняты. Все дозволено... Тогда-то и будет ею создана «Женщина» (1922) — одна из самых странных, косноязычных книг в поэзии того времени. Книгу заметят. А. В. Луначарский напишет к ней восторженное предисловие. Найдутся и ругатели. Но вряд ли кто поймет «Женщину» до конца. Что-то было в этой книге «поверх барьеров», поверх самой тогдашней Барковой, «теоретически» тяготеющей к пролеткультовским представлениям о происходящем.

Мир двоится. Человек двоится. Поэтический ключ к «Женщине» — образ души, которая каждый миг зарождается и каждый миг умирает, вечно не та (стихотворение «Душа течет»). С одной стороны, книга прославляла революцию, воспевала красноармейку «с красной звездой на рукаве». С другой стороны, «Женщина» предвещала гибель тем, кто доверился этой же революции. Гибель — России, гибель — поэту, опьяненному революционным бунтарством. Недаром книгу завершало стихотворение, названное «Прокаженная»:

Это тело проказа источит,  
Растерзают сердце ножи;  
Не смотрите в кровавые очи,  
Я вам издали буду служить.  
Моя песнь все страстней и печальней  
Провожает последний закат,  
И приветствует кто-то дальний  
Мой торжественно-грустный взгляд.

Все страшное, что случится с Барковой дальше, напророчено в этих стихах. Одиночество, бездомность, более двадцати лет ГУЛАГа. И даже «кто-то дальний», освобождающий поэтессу от проказы злого времени.

Стихотворение «Прокаженная» написано в двадцать втором году, то есть в то самое время, когда, обласканная самим А. В. Луначарским, Баркова жила не где-нибудь, а в Кремле. Была личным секретарем наркома провешения... Значит, именно в Кремле она поняла всю дьявольскую подоплеку происшедшего? Именно в этой цитадели марксизма-большевизма пришло к ней окончательное прозрение относительно ложности ее недавнего революционно-романтического порыва? Полагаю, все так и было.

В Кремле Барковой написана и пьеса «Настасья Костер» (издана отдельной книгой в 1923 году и больше никогда не переиздавалась). В ней рассказывается об огневолосой атаманше, поднимающей холопов на бунт (действие происходит в XVII веке). Читаешь пьесу — вспоминаешь то, о чем в свое время писал Н. Бердяев: «Россия — страна бескомпромиссной свободы и духовных далей, страна странников и искателей, страна мятежная и жуткая в своей стихийности, в своем народном дионисизме, не желающем знать формы»<sup>1</sup>. В пьесе Баркова любитесь та-

<sup>1</sup> Бердяев Н. Судьба России. М. 1990, стр. 21.

кой Россией и вместе с тем ужасается, видя гибельность ее пути. Героиня сгорает в огне, зажженном ею самой. Она проиграла, потому что сделала ставку на краденую икону. Злом хотела победить зло.

«Женщина» и «Настасья Костер» оказались первыми и последними книгами, увидевшими свет при жизни Барковой. И в этом есть своя трагическая закономерность. Кремлевскому опекуну поэтессы стало ясно: советского Шиллера из ученицы не получится. Ученица же поняла: после «Настасьи Костер» ей в Кремле, да и в советской действительности в целом, места нет. Иконы здесь краденые. И она ушла в ночь, в безвестность. Стала потаенным литератором. Иллюзий в отношении будущего не было. За три года до первого ареста в своем «ночном» блокнотике (потом он окажется на Лубянке) она напишет:

Все вижу призрачный, и душный,  
И длинный коридор  
И ряд винтовок равнодушных,  
Направленных в упор...

Я не буду останавливаться на перипетиях гулаговской судьбы Анны Александровны Барковой (отсылаю к книге «Прости мою ночную душу...»). Для меня важнее всячески заострить мысль о духовной доминанте ее творчества, отнюдь не сводимой к фанатическому скептицизму. При этом хотелось бы особо подчеркнуть следующее: уникальный опыт жизни и творчества Барковой неотделим от трагического опыта России XX столетия. Добро и зло, любовь и ненависть, правда и ложь существуют здесь в таком драматическом переплетении, какого еще не ведала история.

Ее любимым фольклорным героем был сказочный Иван-дурак. И здесь она поразительно совпала со своим постоянным оппонентом (что отразилось в ее дневниках 50-х годов) В. В. Розановым. «Иван-дурак — не просто воплощение «мудрости непротивления», религиозной и социальной индифферентности, но залог неистребимости русского характера, и в том, как неизбежно преодолевает он социальные соблазны и утопии, навязываемые ему братьями старшими, ясно ощущался для Розанова оптимизм русской истории»<sup>2</sup> — так пишет один из исследователей розановского творчества, но кажется, что здесь говорится и о Барковой.

Ее стихи об Иване-дураке, составившие особый цикл, также пронизаны идеей «неистребимости русского характера». Иван у Барковой — это Россия, чья душа остается живой, несмотря на все превратности российской истории. У Ивана отняли волю, над ним издевались, надевая шутовской колпак. Но истребить Ивана нельзя. Рано или поздно он возвращается.

Автобиографический подтекст сказочного образа, созданного Барковой, вне сомнения... Был в ее жизни страшный час. В марте 1935 года она ознакомилась с первым своим приговором: пять лет ГУЛАГа. Показалось, что жизнь кончилась. Там, куда ее посылают, не будет стихов, не будет никакого духовного творчества. И она пишет заявление на имя наркома Ягоды, где просит подвергнуть ее высшей мере наказания, то есть расстрелять... Но скоро выяснилось, что в гулаговском аду она не только не перестала быть сама собой, но именно там обрела полную уверенность в своем творческом призвании. В перерыве между первым (1934 — 1939) и вторым (1947 — 1956) «путешествиями» (так Баркова называла свои лагерные отсидки) она писала друзьям о пребывании в Карлаге: «В общем, я не жалею, что пять лет жарилась и морозилась в монгольских степях. Как часто я вспоминала пророческие стихи из моей первой книги:

Взлечу же хоть раз и кану  
В монгольских глубоких степях.  
.....  
Посею последнюю силу  
В сожженной монгольской степи.

Так же почти и вышло» (из письма П. А. и М. Н. Кузько от 14 апреля 1940 года).

<sup>2</sup> Налепин А. Л. В. В. Розанов и народная культура. — «Контекст-1992». М. 1993, стр. 113.

Поразительно, но именно в лагере откроется перед ней мировое пространство истории. Здесь она расслышит голоса героев прошедших эпох, заставляющих поверить в неисчерпаемые возможности человеческого духа. Здесь она откроет в себе то, о чем раньше просто не догадывалась. Выдающимся русским поэтом Баркова становится не на «воле», а в ГУЛАГе. Парадокс! Особенно если иметь в виду знаменитое высказывание В. Шаламова о сугубо отрицательном значении лагерного опыта. Но парадокс Анны Барковой стал в русской литературе, русской культуре в целом, доказательством неисчерпаемости духовной силы человека, неистребимости русского Ивана-дурака.

Еще много будут писать о разнообразии лагерной поэзии Барковой. О ее поразительном психологизме в раскрытии людей, очутившихся за колючей проволокой. О символической многомерности ее образа России. О ее вещих поэтических прогнозах. Впрочем, и сейчас понятно, что поэзия Барковой далеко опередила современную ей литературу в плане философско-социального, политического взгляда на будущее.

Лошадьми татарскими топтана,  
И в разбойных приказах пытана,  
И петровским калечена опытом,  
И петровской дубинкой воспитана.

И пруссаками замуштрована,  
И своими кругом обворована.  
Тебя всеми крутило теченьями,  
Сбило с толку чужими уменьями!

Ты к Европе лицом повернута,  
На дыбы над бездною вздернута,  
Ошарашена, огорошена,  
В ту же самую бездну и сброшена.

И жива ты, живым-живехонька,  
И твердишь ты одно: тошнехонько!  
Чую, кто-то рукою железною  
Снова вздернет меня над бездною.

(Словно бы в наше «вздернутое» время написано это стихотворение «Русь».)  
Дата под стихотворением — 1964-й...

Не только в стихах, но и в дневниках, письмах, а еще больше в прозе Барковой мы открыли ту же потрясающую дальновидность. Вот, например, повесть «Как делается луна». Написана она в 1957 году. Баркова представила здесь сразу два будущих кремлевских переворота: антихрущевский заговор 1964 года и горбачевская перестройка 80-х годов. Кстати сказать, за эту повесть и подобные ей произведения Баркову отправили в «третье путешествие» (1957 — 1965). В самый разгар хрущевской оттепели! Для Барковой, однако, ничего удивительного в этом не было. Не верила она ни в какие оттепели.

Сейчас иногда можно услышать такое мнение о Барковой: да, интеллектуально она опередила время, да, ей было даровано какое-то дьявольское знание будущего. Но обладала ли она собственно лирическим талантом? То есть тем талантом, который привлекает своим сокровенным «я», неповторимым изгибом личного существования? Автор статьи «Фанатик скептицизма» рассуждает на этот счет так: «Кажется, нет в России другого поэта, который так мало уделил бы внимания собственно лирическим темам, личному переживанию — и который так лирически лично проживал бы социальные трагедии. Отчасти в этом повинна судьба: когда «личная жизнь» проходит в бараке, когда любовь вспыхивает среди «оград колючих» — тогда, конечно, в любовный стих на равных со страстью войдут конвоиры».

«Конвоиры» действительно рядом. Но только не «на равных». Между лирической героиней Барковой и ими — любовь как охранная грамота личности. Об этом и пишет поэтесса в одном из лучших своих лагерных стихотворений:

Как дух наш горестный живуч,  
А сердце жадное лукаво!  
Поэзии звенящий ключ  
Пробьется в глубине канавы.  
В каком-то нищенском краю

Цинги, болот, оград колючих  
Люблю и о любви пою  
Одну из песен самых лучших.

Поэзия Барковой прекрасна разнообразием ликов ее лирической героини. Она может быть язвительной, желчной, мрачно-патетической и трагически сокровенной, неожиданно являющей ахматовскую ноту, которая, казалось бы, напрочь противопоказана Барковой. Вслушаемся:

Как пронзительное страдание,  
Этой нежности благодать.  
Ее можно только рыданием  
Оборвавшимся передать.

Баркова слишком любила жизнь в ее духовно-творческой сущности, чтобы отдать душу на заклятие пессимизму. И не только смерти она боялась, когда, чувствуя конец, просила отпеть ее в церкви. Боялась забвения, боялась остаться в памяти людей ведьмой на метле... Слава богу, стихи ее печатаются, книги издаются. Их читают. Они волнуют. Побуждают к сопереживанию. Сбывается пророчество поэтессы, написавшей в своих завещательных стихах: «Превыше всего могущество духа и любви». Будем помнить этот завет Анны Барковой.

Леонид ТАГАНОВ.



**«Новый мир»** — 70 лет издания.

**«Новый мир»** — более 800 номеров с момента основания.

**«Новый мир»** — зеркало сегодняшней российской словесности.

Уважаемые читатели! Если вам удобно самим приехать за номерами журнала, не оплачивая почтовые расходы, то вы можете оформить подписку на «Новый мир» прямо в редакции по адресу: Малый Путиковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 до 17 часов.

В розничную продажу журнал не поступает, наложенным платежом не высылается.

Зарубежные читатели могут подписаться на **«Новый мир»** в германской фирме «КУБОН УНД ЗАГНЕР».

Kubon & Sagner, D-80328 München Germany  
Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d  
Fax (089) 54-218-218



## КОРОТКО О КНИГАХ



**Д. К. ЗЕЛЕНИН. Избранные труды: статьи по духовной культуре 1901 — 1913 гг. М. «Индрик». 1994. 400 стр.**

Появление первого тома избранных трудов великого русского этнографа XX века Дмитрия Константиновича Зеленина (1878 — 1954), на мой взгляд, — событие. Сегодняшний жадный интерес к национальным, этническим проблемам обусловлен не только распадом СССР (распадом, так сказать, советского самосознания и вспышкой русского и любого другого этнического чувства в рамках бывшего СССР). Сдвиг идет при переходе от промежуточного аграрно-индустриального общества, коим и была наша держава, к обществу индустриальному и постиндустриальному. Русская крестьянская культура умерла, и то, что собирают сегодня фольклорные и этнографические экспедиции на руинах и пепелищах, это в значительной мере омертвевшие останки тысячелетней аграрной культуры России. За прогресс приходится платить...

Поэтому интерес к последнему выдающемуся этнографу России XX века вполне закономерен. После забвения нескольких десятилетий в 1991 году наконец-то издали его уникальную работу «Русская (восточнославянская) этнография» (М. «Наука». 1991. 512 стр.) с очень ценным в фактическом отношении послесловием К. В. Чистова, много лет изучавшего наследие Д. К. Зеленина.

Но вдумайтесь! Книгу (единственную в своем роде книгу по русской этнографии) пришлось для издания 1991 года переводить с немецкого языка на русский. А все дело в том, что книгу эту удалось издать в 1927 году только на немецком языке в Лейпциге. Авторский экземпляр был утерян. Атмосфера конца 20-х — начала 30-х годов не способствовала занятиям наукой. Об издании на русском языке нечего было и думать. С горечью писал Д. К. Зеленин перед смертью в родную Вятку местному журналисту В. Г. Пленкову: «За 70 лет моей

жизни мне пришлось пережить много тяжелых минут и треволнений... Этнография, в области которой я работал, теперь считается не актуальной; старую народную деревенскую культуру теперь не принято даже вспоминать, тем более изучать. У меня готова большая работа «Русский сарафан», и ее нельзя напечатать» (письма опубликованы автором этих строк в журнале «Советская этнография», 1988, № 2).

Трагична была судьба большого ученого, разночинца, сына дьячка из Вятского захолустья, своим колоссальным трудолюбием создавшего эпоху в этнографии. В распространенной шутке, что Дмитрий Константинович Зеленин (кстати, в сталинские десятилетия единственный член-корреспондент Академии наук из этнографов) написал больше, чем весь коллектив Института этнографии, есть доля истины. За свою жизнь Д. К. Зеленин опубликовал триста шесть работ: книг, статей, очерков, рецензий. Более пятидесяти из них посвящены родному Вятскому краю

Вновь изданный том Д. К. Зеленина составлен из своеобразных мини-монографий этнографа, посвященных русской обрядовой культуре. Публиковались они в начале XX века в местных изданиях мизерным тиражом: «Великорусские народные присловья как материал для этнографии», «Народные присловья и анекдоты о русских жителях Вятской губернии», «Троещеплятища», «Русские народные обряды со старой обувью», «К вопросу о русалках».

Том предваряет насыщенная обобщающим материалом вступительная статья Н. И. Толстого, а заключают детальные комментарии Т. А. Агапкиной, Л. Н. Виноградовой и других. Составителем тома является А. Л. Топорков. Это, безусловно, ценнейшее в научном и историко-культурном отношении издание, в котором давно нуждается наша наука. Хотелось бы верить, что изданный при финансовой поддержке Международного фонда «Культурная иници-

атива» первый том Зеленина не станет последним.

Хочется надеяться, что составители следующих томов сочтут нужным обратиться наконец к архиву Дмитрия Константиновича, хранящемуся в Петербурге, и начать издание никогда не публиковавшихся работ ученого по русской народной одежде и другой тематике. Ведь гигантский труд его жизни — «Этнографо-географический словарь» (объемом в триста печатных листов) — так и не увидел света.

Будем ожидать также, что сможем и более отчетливо разглядеть личность знаменитого этнографа в комментариях и послесловиях будущих статей. Из вступительной статьи Н. И. Толстого разглядеть личность Д. К. Зеленина практически невозможно. Автор не воспользовался даже единственной опубликованной на сегодня автобиографией ученого. В определенной мере это может выглядеть оправданным. Дан структурный анализ творчества великого этнографа на основании его опубликованных работ. Но ведь массив неопубликованных трудов Зеленина может качественно изменить представление о нем. Особенно его работы 30 — 40-х годов, когда, яростно критикуемый в печати, он был вынужден писать «в стол». Одна из последних прочитанных им перед смертью рецензий на свои работы называлась «Против антимарксистских извращений в изучении одежды» («Советская этнография», 1954, № 3)<sup>1</sup>.

Выход в свет тома избранных работ Д. К. Зеленина это не просто мемориальное издание, это базовый материал для современных изысканий и исследователей. Идеи ученого о системном

анализе народной культуры как единого исторически сложившегося целого сегодня актуальны как никогда.

Виктор Бердинских.

Вятка.

\*

**ГАСТОН БАШЛЯР. Психоанализ огня. М. «Прогресс». 1993. 174 стр.**

Книга своеобразнейшего французского мыслителя и культуролога Гастона Башляра, написанная в 1937 году, стала новацией в психоаналитической традиции. Классический психоанализ занимается в основном рассмотрением глубинных слоев человеческой психики — его объектом является сам человек; Башляр же поставил вопрос несколько иначе: предметом его анализа стал феномен огня и только потом — те представления и комплексы, которые огонь вызывает в человеческой психике. Естественно, Башляр рассматривает огонь не только как природное явление, но и как социокультурный феномен. Огонь для Башляра — одно из универсальных начал объяснения мира, ключ к пониманию множества вещей и явлений. Но главное, пожалуй, то, что огонь в большей степени, нежели другие «первоначала» мира, обладает свойством противоречивости, в силу чего наиболее точно соответствует человеческой природе, что и позволяет Башляру связать человеческий опыт, психику человека с огнем.

Новацией оказался и стиль Башляра: никто из классиков психоанализа не позволял себе такой экспрессивности, никто не опирался столь сильно на свой личный опыт. В его изложении, на первый взгляд, нет строгой логики, однако читатель и не требует ее, как мог бы потребовать от любого другого научного исследования. Дело в том, что, несмотря на попытку Башляра объективировать свои идеи, сделать их близкими научным, он все-таки больше философствующий писатель, эстетик, нежели ученый. Он прекрасно совмещает профессионализм высокообразованного специалиста (эпистемолога, в 30-е годы — лидера «нового рационализма») и увлеченность настоящего поэта.

Башляр, как Юнг, много внимания уделяет архаическому мышлению, начиная свое исследование с древних представлений об огне. Он полагает, что воображение человека постоянно «воспроизводит работу примитивной

<sup>1</sup> Александр Александрович Формозов, известный современный историк, описал мне впечатления от доклада Д. К. Зеленина на юбилейной сессии Академии наук в начале 1950 года. Формозову, впервые видевшему Зеленина, врезались в память два момента. Слишком уж разительно отличался Зеленин от прилично одетой профессуры своим старым и обшарпанным костюмом. И второе: доклад его был посвящен первобытному церемониалу. В повестке дня тема казалась ничем не лучше и не хуже других специальных тем. Но по мере того, как Дмитрий Константинович читал о первобытных людях, ползавших на животе и лизавших пятаки у вождей, вспоминает Формозов, у него, как и у многих в зале, начали возникать вполне определенные ассоциации. Аудитория сидела с каменными лицами. Осталось не ясно, сознательно выбрал Зеленин эту тему или просто дошито упустил из виду бьющие в глаза параллели.

души», несмотря на прогресс научных знаний. Однако Башляр не высказываетя определенно по поводу истинности этих представлений. Он говорит о своей книге как о «реестре заблуждений», почерпнутых из вековых традиций, из забытых сочинений алхимиков, и в то же время для него не оставляет сомнения тот, проявившийся еще в древние времена, факт, что огонь — явление столь же общественное, сколь природное. Ведь первое объективное знание об огне — универсальный запрет, который порождает первый комплекс, связанный с огнем, — «комплекс Прометея».

Чрезвычайно интересны размышления Башляра о связи огня и фантазии, об особом рода сосредоточенности, которая возникает только близ огня, причем это созерцание способно вызвать как биофилические, так и некрофилические реакции у человека. Башляр характеризует последние как «зов огня», или «комплекс Эмпедокла». По его мнению, тотальная, бесследная смерть в огне является для человека некой гарантией перехода в иной мир, он оказывается прямо-таки замороженным идеей смерти в момент созерцания того, как огонь пожирает поленья. Огонь же как побудитель биофилического начала в человеке наделен сексуальным смыслом и связан с изначальным стремлением к любви. Даже эдипов комплекс Башляр умудряется истолковать в контексте огня.

Налицо противоречие: огонь связывается и с добром, и со злом, с любовью и со смертью, что еще раз подтверждает заявленный в начале тезис. Но Башляр идет еще дальше: он исследует «превращенные формы» огня — вещества, в которых огонь невидимо присутствует в скрытой форме (кислота, спирт). Описывая эти «огненные» вещества, Башляр выделяет некий «комплекс Гофмана» (гофмановские саламандры в пламени жженки): «огненная вода», пушш, горящий на глазах у изумленной публики, согревает человека и изнутри, что «свидетельствует о совпадении интимного и объективного опыта».

Пытаясь определить место огня в научном мышлении, Башляр приводит массу невольных заблуждений, отличительной чертой которых являются субстанциализм и анимизм — следствия наивного понимания феномена огня. Однако эти наивные представления неизымаемы из человеческого бессозна-

тельного. Таково, скажем, восприятие огня как своего рода личности. Ребенок видит сопротивление огня, ведь его сложно как зажечь, так и погасить, «субстанция капризна; значит, огонь — личность». А кроме того, устоявшееся за счет языковых метафор, дошедших до нас еще с древних времен, представление о том, что огонь питается, словно живое существо, имеет порой больше власти над нами, нежели самые строгие научные доказательства.

Примечательно, что Башляр то прямо ссылается на архаические представления, то отвергает их как несостоятельные. Он не столь последователен в своем отношении к первобытной психике, не в такой степени опирается на ее изучение, как К. Г. Юнг. Для Башляра наивные представления скорее вспомогательная область, для Юнга — основа, базис. Наиболее укладывается в рамки традиционного юнговского психоанализа исследование сексуального характера добывания огня. В способе получения огня путем трения усматривается сублимация либидо, и оснований для этого предостаточно: куски дерева обычно берутся разных пород, их форма тоже весьма символична, ритмичность движений, атмосфера удовольствия и праздника вокруг добывания огня — все это позволяет даже не искушенному в психоанализе читателю догадаться о символическом смысле этого древнейшего действия.

Вообще характер исследований Башляра весьма диалектичен, и последняя проблема, на которой хотелось бы остановить внимание, — «диалектика чистоты и нечистоты» огня. Огонь идеализируется в представлении людей в связи с идеей очищения, имеющей как чисто психологическое, так и научное объяснение. Но есть и другая сторона: огонь преисподней локализуется в «нечистом» месте и предстает символом зла.

Надо заметить, что как раз эти «блуждания» по кругам противоречий наполняют книгу живой поэзией, пробуждают фантазию. Архаические представления, пронизывающие книгу (несмотря на критику их, предпринятую автором), позволяющая современному человеку, оторванному от древних психологических корней, ощутить свою символическую причастность к космосу.

Книга Башляра — прежде всего обширное поле деятельности для мысли самого читателя.

**В. Кургузова.**

---

---

## РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



**АЛЕКСАНДР ВАДИМОВ. Жизнь Бердяева. Россия. Oakland [USA]. 1993. 287 стр., илл. (Modern Russian Literature and Culture. Studies and Texts. Vol. 29.) Berkeley Slavic Specialties. 1993. 287 стр., илл.**

Герой этой книги — столь яркая и маркированная фигура, что всякое свидетельство его или о нем, даже на фоне переизбытка сегодня таких свидетельств, сразу задерживает на себе взор. В данном случае внимание привлекает и имя автора книги, Александра Вадимова (Цветкова), исследователя-энтузиаста, недавно ушедшего от нас после долгой и мучительной болезни и героически трудившегося над избранным предметом до последнего дня. Свою недолгую жизнь — а умер он на двадцать восьмом году от роду — он посвятил русскому философу: организовал первый в России музей Бердяева, тщательно собирая и описывая экспозиционную коллекцию, занимался текстологическим анализом, работал над изданием бердяевских сочинений, наконец, охотно делился своими недожинными знаниями.

Автор успел увидеть свой труд вышедшим в свет, труд, представляющий собой первый том задуманного жизнеописания, но не успел дописать второго тома, который мог бы иметь подзаголовок: Франция. Тому предпослано посвящение: «Светлой памяти протоиерея Александра Меня».

В книге решается двуединая задача: описать по возможности полнее жизнь Бердяева, и так, чтобы из этого повествования вставала его живая личность; передать через повседневные факты биографии запечатленный в них облик философа, ибо в реакциях личности на самые будничные вещи, в его обращении с близкими, встречаемыми и поперечными она не меньше рассказывает о себе, чем в откликах на события эпохи. Как Достоевского мы ценим и любим в том числе и за то, что он из чувства чести взял на себя тяжкий груз долгов своего покойного брата, также и личность Бердяева вырастает в наших глазах, когда мы узнаем из книги не столь уж известный факт о его готовности отказаться от доли наследства в пользу брата и его семьи. Или вот другой характерный эпизод, затерявшийся в анналах «Киевской газеты» и извлеченный на свет А. Вадимовым, он тоже заставляет вспомнить Достоевского с его страстной отзывчивостью на пограние человеческого достоинства. Бердяев выступает в газете с открытым письмом «Вопрос чести» в защиту человека, покушавшегося на жизнь своего жестокого оскорбителя, и доказывает, что случай этот «менее всего подходит» под категорию «уголовного преступления», что «тут глубокая трагедия» оскорбленной личности.

А вот история, рассказанная Б. Зайцевым, о том, как Бердяев «взбеленился» и набросился на своего коллегу по Лавке писателей за какую-то его неуместную игривость, а потом, смущенный, пришел просить прощения. «Это в его духе, — заключает воспоминатель. — Натура прямая и благородная, иногда меры не знающая». И в другом месте подтверждается то же: «Николай Александрович мог приходить в ярость, мог хотеть, но этого тайного, тихого (подчеркнуто мной. — Р. Г.) фанатизма в нем не было». Прямоту, горячность (неодобрительно именуемая сегодня эмоциональностью), крупность натуры Бердяева оттеняется в данном случае на фоне скрытного, упрямого характера его супруги.

По ходу чтения книги мы понимаем, что крупный человек не только раскрывается в повседневных мелочах, но своим присутствием и поведением творит из текущей действительности крупные события. Он баламутит ее фальшивую гладь, обнажает ее русло, а иногда и меняет течение.

Январь 1919-го, водворение новой рутины, страшного распорядка вещей. Союз писателей, нужно почтить вставанием память убиенных революционеров К. Либкнехта и Р. Люксембург. Бердяев один остался сидеть, в первом ряду... Он перекрашивает «карту будней»: в Лавке писателей все торгуют, а Бердяев главным образом философствует.

Жизнеописание Бердяева опирается на его философскую автобиографию «Самопознание», но дополнительно охватывает массу разнородных источников: воспоминаний, архивов, писем, протоколов допросов и устных свидетельств. Книга изобилует фактическими деталями, которых так не хватало прежде для связного представления о жизненной канве и которые помогают уяснить и общественную эволюцию, и ход философского творчества Бердяева. Есть факты совершенно новые.

Мы узнаём из книги Вадимова о первом, написанном, очевидно, в 1897 году, «самостоятельном, законченном и относительно объемном произведении» философа «О морали долга и о морали сердечного влечения», которое было изъято у его автора при аресте и затем пропало. Узнаём и о первых, доселе неизвестных публикациях Бердяева — появившихся в мае 1898 года в журнале «Мир Божий» двух рецензиях на книги Б. Поллока «История политических учений» и Г. Ольденбурга «Будда, его жизнь, учение и община». Приводится описание атмосферы на заседании Религиозно-философского общества в 1909 году в Петербурге, где Бердяев выступал с докладом. Он чувствует отчуждение от ближайшей ему петербургской среды с ее оккультно-мистическими воспарениями. И цитируемое далее письмо с признанием философа: «Во мне образуется и крепнет чувство христианской церковности и чувство рыцарства по отношению к Христу» — сразу объясняет, что дает крепость человеку в его противостоянии модным завихрениям. Многозначительно звучит для нас свидетельство М. В. Сабашниковой-Волошиной, передающей впечатление немецкого журналиста Пауля Шеффера, посетившего послереволюционную Москву и побывавшего также на философских «вторниках» у Бердяева: «Вы сами не знаете, в каком духовном богатстве вы здесь, в Москве, живете...»

Таких открытий для читателя, и не новичка, а достаточно подготовленного знакомством с «Самопознанием» и текущей литературой о Бердяеве, немало.

Но есть и досадные недоговоренности, дефицит авторского комментария. Без сомнения, интересно узнать об анкете журнала «*Mercur de France*», предложившего Бердяеву, среди других европейских интеллектуалов, вопрос: «Присутствуем ли мы при разложении или при развитии религиозной идеи в современном человечестве?» Однако самого главного — ответа на этот существенный вопрос, хранящегося во французском журнале начала века, мы не узнаём, на него нет даже намёка. Далее. Если уж цитируются воспоминания А. Белого и Б. Зайцева о скандале в Московском литературно-художественном кружке между Белым и неким беллетристом, то описания одной механической стороны дела — шума и жестикуляции, без объяснения, о чем шум, — согласитесь, мало. Это что-то вроде немого кино без титров. Если говорится, что «свидания и новые разговоры» между Мережковскими и Бердяевым в Париже в 1908 году «не ладилась», и чем дальше, тем больше, то еще важнее для читателя было бы узнать, в чем суть этих разногласий, закончившихся «полным разрывом», но таких разъяснений нет. Сообщается, что такового-то числа после чтения доклада о Гюисмане у Бердяева «была битва со Столпнером», докладчик «возражал с большим подъемом», — но ни слова о предмете «битвы» и сути спорщицкого воодушевления.

Та же таинственность сохраняется в отношениях Бердяева с «путейцами», весьма значимых для обеих сторон и в свое время нашумевших. Цитируется: «С Булгаковым встретились хорошо, и он дружественно настроен после нашей переписки». И рядом, без перехода, выдержки противоположного толка о «все обостряющихся спорах» между Бердяевым и Булгаковым. Но и дружественность переписки, и обострение споров равно остаются покрыты туманом. А вот из письма Бердяева другая загадка: «Философов был разъяренный» (чем?), «общение с Мережковскими невозможно» (почему?). Кто такая «В. С.», кто «модный адвокат»?

Из всех этих примеров авторской скупости вовсе нельзя, однако, вывести, что таков принцип, положенный в основу книги, ибо в других ее местах, напротив, подробно излагается и содержательная сторона дела, часто с опорой на текст «Самопознания» (как, например, при описании сектантского учения «бессмертников»).

Встречаются в книге и дефиниции — по касательной к предмету, как в случае с газетой «Утро России»: ведь важно не то, что она «московская», а то, что она правокадетская. Еще меньше можно согласиться с характеристикой изданий так называемого «Христианского братства борьбы» как «полноценного преемника» «Вопросов жизни», хоть бы и «в их общественной части», поскольку «Братство» в отличие от идеологов «Вопросов жизни» проповедовало революционное насилие (вопреки объявленному христианству).

Тем не менее все эти несовершенства (а где их нет?!) не меняют первоначальной оценки: эта книга — подвиг служения боровшегося со смертным недугом человека. А что может быть выше этого?!

И конец ее — делу венец — великолепный. И провиденциальный для понимания дальнейшей судьбы Бердяева, высылаемого за границу. Это — из рассказа Е. Рапп, плывущей на «эмигрантском» пароходе, о птице, которая сидела на мачте в продолжение всего пути, по поводу чего капитан заметил: «Это необыкновенный знак».

Рената ГАЛЬЦЕВА.

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**А. Аверченко.** В «Новом Сатириконе». 1917 — 1918 гг. Рассказы и фельетоны. Составитель Н. К. Голейзовский. М. «Круг». 1994. 68 стр. 10 000 экз.

**А. Аверченко.** Роковой выигрыш. Рассказы. Составитель С. С. Никоненко. М. «Дом». 1994. 390 стр. 50 000 экз.

**Нина Берберова.** Рассказы в изгнании. М. Издательство имени Сабашниковых. 1994. 334 стр. 20 000 экз.

Сборник, готовившийся еще при жизни и при участии автора. Включил в себя наиболее известные ее рассказы, среди которых «Акомпаниаторша», «Роканвиль», «Воскрешение Моцарта», «Мыслящий тростник» и др.

**Илья Габай.** Выбранные места. Стихи. Проза. Публицистика. Письма. Составитель Г. С. Эдельман. М. «Весть» — «ВИМО» ТОО «АРТ+N». 1994. 206 стр. 1000 экз.

Самое полное из существующих в России издание текстов Ильи Янкелевича Габая (1935 — 1973), известного правозащитника. Кроме стихов, частью уже опубликованных в сборнике «Посох» (М. «Прометей». 1990), в сборник вошла художественная и документальная проза («Повесть временных лет. Фрагменты романа», «У закрытых дверей открытого суда»), «Последнее слово», произнесенное им на процессе 19 — 20 января 1970 года в Ташкентском городском суде и ставшее одним из ярчайших документов уходящей эпохи 60-х годов, письма из лагеря друзьям и близким. В качестве предисловия помещены воспоминания Марка Харитонова «О Илье Габая».

**Валентин Ежов.** Белое солнце пустыни. Киноповести. Екатеринбург. Издательство «Ладъ». 1994. 400 стр. 100 000 экз.

Сборник работ одного из самых известных отечественных кинодраматургов, куда вошли сценарии популярных фильмов («Баллада о солдате», «Белое солнце пустыни») и сценарии, ждущие экранного воплощения («Вольная жизнь» и др.).

**Фазиль Искандер.** Детство Чика. Рассказы. М. «Книжный сад». 1994. 462 стр. 25 000 экз.

**Юрий Казарин.** После потопа. Стихотворения. Предисловие Майи Никулиной. Екатеринбург. Бизнес-центр «Директория». 1994. 64 стр. 1000 экз.

Вторая книга поэта, уже обратившего на себя внимание книгой «Погода» (Свердловск. Среднеуральское книжное издательство. 1991).

**Сергей Каледин.** Поп и работник. Повести. М. ВАГРИУС. 1994. 286 стр. 15 000 экз.

**Сергей Надеев.** В библиотеке снов. Стихотворения. М. «Academia». 1994. 30 стр. 200 экз.

**Нина Садур.** Ведьмины слезки. Книга прозы. М. Журнал «Глагол». 1994. 288 стр. 5000 экз.

Первая, как ни странно, книга прозы одного из самых известных писателей «новой волны». В нее вошли романы «Алмазная долина», «Чудесные знаки спасения», повести «Юг» и «Ветер окраин», около 20 рассказов.

**Давид Самойлов.** Черта. Книга стихотворений. М. «Весть». 1994. 35 стр. 1000 экз.

Подавляющее большинство стихотворений публикуется впервые (из архива Самойлова).

**Владимир Сорокин.** Норма. OBSCNRI VIRI. Издательство «Три Кита». М. 1994. 256 стр. 5000 экз.

Новая книга Сорокина, в которую вошли тексты 1979 — 1984 годов, частично опубликованные («Падеж» и др.), частично незнакомые читателю. Кроме прозы

здесь — стихи, а также графические композиции из слов и букв и другие изобретения. Черная респектабельная обложка должна, видимо, подчеркнуть образцово авангардное на сегодняшний — или вчерашний? — день содержание.

**Борис Чичибабин.** 82 сонета и 28 стихотворений о любви. М. Агентство «ПАН». 1994. 200 стр. 5000 экз.

**Уильям Шекспир.** «Гамлет» в русских переводах XIX — XX веков. М. «Интербук». 1994. 670 стр. 50 000 экз.

Издание содержит четыре русских переводческих версии «Гамлета»: перевод А. Кронеберга, выполненный в середине прошлого века; перевод К. Р., названный им «Трагедия о Гамлете, принце Датском» (начало нашего века); и, наконец, — почти одновременно выполненные перевод Б. Пастернака и малоизвестный, имевший только одно издание перевод Анны Радловой. Знаменитый перевод М. Лозинского обойден здесь как раз по причине его широкой известности (?). В отдельном разделе помещен монолог Гамлета «Быть или не быть» в переводах М. Лозинского, П. Гнедича, А. Месковского, Н. Маклакова и других. Подобного рода издания предназначены специалистам, и потому изданная «Интербуком» (и несомненно полезная) книга обескураживает полным (!) отсутствием научного аппарата — историко-литературных статей. Отсутствуют даже справки о переводчиках. Наличие коротенького предисловия, а также «канонических» примечаний М. Морозова, обычно воспроизводящихся во всех изданиях пастернаковского «Гамлета», положения не меняют.

**С. Абрамович.** Пушкин в 1833 году. Хроника. М. «Слово». 1994. 618 стр. 10 000 экз.

**Д. Волкогонов.** Ленин. Политический портрет. В 2-х книгах. М. «Новости». 1994. 30 000 экз. Книга 1 — 478 стр.; книга 2 — 510 стр.

**Голоса.** Воспоминания узниц гитлеровских лагерей. Составление, редакция Л. Гуревич. Перевод с французского. М. «Возвращение». 1994. 208 стр. 1000 экз.

**Н. Пунин.** О Татлине. Составители И. Н. Пунина и В. И. Ракитин. Комментарии В. И. Ракитина и А. Г. Каминской. М. Литературно-художественное издательство «РА». 1994. 128 стр. 2000 экз.

В сборник вошли работы известного искусствоведа Николая Николаевича Пунина (1888 — 1953), посвященные творчеству и личности Татлины на фоне художественной жизни России начала века. Статьи дополнены извлечениями из писем и дневниковых записей Пунина. Издание снабжено иллюстративным материалом.

**Уолтер Лакер.** Черная сотня. Происхождение русского фашизма. Перевод с английского В. Меникера. М. «Текст». 1994. 432 стр. 10 000 экз.

**Уолтер Лакер.** Черная сотня. Истоки русского фашизма. Вашингтон. Problems of Eastern Europe. 1994. 478 стр.

Книга о крайне правых политических партиях и движениях в России. Историю их исследователь прослеживает от начала века (первая часть — «До революции») до наших дней. Дан анализ элементов правозэкстремистских концепций в официальной советской идеологии (часть вторая — «Коммунизм и национализм. 1917 — 1987»). Современной ситуации посвящены части третья и четвертая: «Шабаш ведьм. Посткоммунистическая эпоха» и «Борьба за власть после 1987 года». Автор рассматривает идеологию российских «новых правых» (Антонова, Кургиняна, Дугина, Шафаревича и других), характеризует отдельные партии и движения («Память», «Союз»), дает портреты политических деятелей (Нина Андреева, В. Жириновский). В конце — аннотированная библиография.

**Е. М. Мелетинский.** О литературных архетипах. М. Российский государственный гуманитарный университет. 1994. 136 стр. 3500 экз.

Книга написана на основе курса лекций, который известный ученый читает на филологических факультетах Москвы. Состоит из двух частей: часть первая — «Происхождение литературно-мифологических сюжетных архетипов», часть вторая — «Трансформация архетипов в русской классической литературе. Космос и хаос. Герой и антигерой».

Составитель С. Костырко.

## ПАМЯТИ ИГОРЯ ДЕДКОВА

Игорь Александрович Дедков стал автором «Нового мира» при Твардовском, в начале 60-х годов. И в первых же рецензиях и статьях поставил во главу угла твердые нравственные и эстетические принципы, от которых потом не отступал в течение всей своей жизни. (Случай для нашего времени редкий, почти исключительный.) Молодой критик ценит в литературе знание жизни, но не «холодное и рассудочное знание того, как должно и не должно быть». Уважает честность и искренность, но: «Бывает искренность тщеты, откровенность зла». Ему претят конформизм и угодничество, однак уже в ту пору он предвидит, что проблему правды в искусстве, да и в самой жизни не разрешить на баррикадах: «Вопрос не в том — «чернить» или «воспевать». Куда насущнее и труднее войти «внутрь», увидеть жизнь из глубины ее собственного течения»...

Писатель с такой мировоззренческой позицией не мог быть обласкан властью. Дедков испытал и гонения, и могильную глухоту позднего застоя. Тем более почетное место занял он в умах читателей, покоренных безупречным вкусом критика и его негромким, но чистым и твердым, располагающим к безграничному доверию голосом. Даже в самые безнадежные времена он находил в себе силы писать и печататься, не допуская при этом ни единой фальшивой ноты, а с первыми переменами вошел в редколлегия обновленного «Нового мира».

Литературное наследие Дедкова, его разнообразную журналистскую деятельность еще будут серьезно изучать и оценивать, для этого нужно время. Но вот масштаб его личности, его общественная роль ясно видны уже сейчас. Для меня Игорь Александрович на протяжении последних пятнадцати лет, что я его знал, был одним из очень и очень немногих, на ком держалась сама донельзя истонченная духовная ткань нашей жизни. Слова Дедкова оказывали целебное воздействие на слабые или надломленные души читателей, помогали им и в самых трудных условиях не потерять собственного достоинства, веры в людей.

Игорь Александрович был «старомоден»: слово письменное не расходилось у него с устным, произносимым в узком дружеском кругу, а то и другое — с его поступками. Он олицетворял ту глубинную провинциальную русскую культуру, что всегда, а сегодня в особенности, привлекает надежды России (не будучи провинциалом ни по рождению, ни по широте необъятного своего кругозора). Дедков принципиально отвергал деление людей по «сортам» и «видам», элитарные и кастовые замашки, культурную замкнутость, он избегал партийных и клубных сборищ и прочих «тусовок», в которых вращалась и продолжает вращаться значительная часть нашей так называемой демократической интеллигенции. Если искать в нынешнем времени наследников истинно демократических традиций русской литературы прошлого века, я бы назвал его первым. Не знаю, как относился Игорь Александрович к поэту Некрасову, но, когда вспоминаю высокий, чуть нахмуренный лоб Дедкова, скорбную иронию в уголках всегда твердо сжатого его рта (таким и в гробу лежал), мне слышится давнее, еще в младенчестве с материнского голоса врезавшееся в память:

Бесполезно плакать и молиться —  
Колесо не слышит, не шадит:  
Хоть умри — проклятье вертится,  
Хоть умри — гудит — гудит — гудит!

Многим хотелось бы остановить, хотя бы приостановить страшное колесо, но не всякому такое по силам. Дедкову это удавалось.

Будучи одним из духовных лидеров сопротивления тоталитарному насилию в 60 — 80-х годах, этот человек с незапятнанной совестью, подлинный рыцарь демократии умирал на исходе 1994 года в «свободной» и «демократической» России почти в неизвестности, хорошо сознавая нерадостный итог пронесшегося над страной вихря: «Будто время не властно, будто оно стоит. Революция как наводнение, но река возвращается в русло, и те же берега, и вода опять зацветает... Из черных «волг» пересели в белые «мерседесы», и — старая песнь: Господь терпел и вам велел, бедный да возблагодарит богатого, слабый да убойтся сильного, больной пусть уступит место здоровому...» (Из статьи 1993 года.)

«Погоди, ужасное круженье!  
Дай нам память слабую собрать!»

Печальна судьба человека, взявшего на себя столь тяжелый и неблагодарный в наше время труд творить человечность. Но и величественна. Ибо каждый, кому посчастливилось так или иначе соприкоснуться с Игорем Александровичем Дедковым, становится лучше.

Сергей ЯКОВЛЕВ.



## SUMMARY



The poetry section of the issue contains poems by Yuri Kublanovsky, Mikhail Kreps, as well as by Polish poets Wisława Szymborska (translation by Natalia Astafieva) and Zbigniew Herbert (translation by Vladimir Britanishsky).

We are also publishing a series of short stories by Ludmila Petrushevskaya under the common title «Waterloo Bridge», as well as short stories by Galina Shcherbakova, «The Joy of Life», and «The Quiet Room» by Irina Polianskaya.

The novel «Onlyria» by Anatoly Kim is to be ended (see the beginning in No 2).

In the section «Writer's Diary» we are beginning to publish chapters from the book by Vitaly Shentalinsky «The Revived Word», on the KGB's archives ( to be ended in No 4).

The section «Philosophy. History. Culture» is presented by the notes by Sergei Zalygin «The Two Prophets» about Lenin and Dostoevsky.

In the section «Times and Customs» we are publishing a selection of readers' comments of the essays by Mark Kostrov and the marginal notes by language and literature teacher L. Aizerman which have been published before.

In the section «In the World of Art» we are publishing extracts from the book «She's Both the Music and the Word» by musicologist Alexander Tumanov, about singer M. A. Olenina-d'Alheam.

The section «By the Way» is presented by the polemical reflections «The Orthodox Person, or the New Puritans» by critic Pavel Basinsky.

In the section «Book Review» Leonid Yuzefovich reviews the book «His Majesty's Opposition» by historian M. Davydov; Sergei Larin reviews the publication of letters by famous Russian provocateur Azef.

In the section «From the Editorial Mail» Leonid Taganov writes about the poetry by Anna Barkova.

In the section «Briefly About Books» V. Kurguzova reviews the book «Psycho-analysis of the fire» by philosopher Gaston Bashliar; Viktor Berdinskikh reviews ethnographical works by V. Zelenin.

Our traditional sections «Russian Book Abroad» and «Bookshelf» are to be found in this issue.

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, С. В. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев** (зам. главного редактора)

Коммерческий директор **В. Д. Васковский**

---

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

---

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

---

Сдано в набор 20.11.94 г. Подписано к печати 10.1.95 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютере редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл. печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.), 28,02 уч.-изд. л.

---

Тираж 26.000 экз. Зак. 56. Цена договорная.

---

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.  
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».  
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

## В 1995 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;  
АННА АННЕНКОВА. Впервые в Европе (пристрастные впечатления);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);

В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);

МИХАИЛ БУТОВ. Астрономия насекомых (рассказ);

НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Роман воспитания;

БОРИС ЕКИМОВ. Последний рубеж (очерк);

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Однофамильцы (рассказ);

ИГОРЬ ЗОТИКОВ. Три дома Петра Капицы (воспоминания);

СЕРГЕЙ КИРИЛОВ. О судьбах «образованного сословия» в

России;

ИГОРЬ КЛЯМКИН. Новая демократия или новая диктатура?

Н. КОРЖАВИН. В соблазнах кровавой эпохи (воспоминания, часть вторая);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Кавказский пленный (рассказ);

Т. Г. МОРОЗОВА. В институте благородных девиц (воспоминания);

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина (роман);

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. У нас в богадельне (повесть);

ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕР. 16-й день Хэпворта 1924 года (рассказ; перевод с английского);

АЛЕКСАНДР ТЕРЕХОВ. Натренированный на победу боец (роман);

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Русская опера и геополитика;

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА. К истории национал-большевизма в

России;

ЮНОСТЬ СЕСТЕР ЦВЕТАЕВЫХ. Неизвестные тексты и материалы;

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ. Письмо из Солигалича в Оксфорд (роман);

а также новые произведения АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, АЛЕКСАНДРА БОРОДЫНИ, АНДРЕЯ БЫСТРИЦКОГО, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, МИХАИЛА КУРАЕВА, ОЛЕГА ЛАРИНА, ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, МИХАИЛА ЛЕОНТЬЕВА, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, АНДРЕЯ НЕМЗЕРА, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, ИРИНЫ СУРАТ, ДМИТРИЯ СУХАРЕВА, БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ, ЮЛИЯ ШРЕЙДЕРА, ДМИТРИЯ ШУШАРИНА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ ПРОДЛИТЬ  
ВАШУ ПОДПИСКУ!**